



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
В. Г. БОНДАРЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Г. М. ГУСЕВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Д. А. ЖУКОВ,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Г. РАСПУТИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
С. Н. СЕМАНОВ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ

Проза

- Александр ПРОХАНОВ
Стеклодув. Роман 7
- Андрей БЕЛОЗЁРОВ
Сын. Рассказ 85
- Владимир ПРОНСКИЙ
Листопад. Рассказ 96
- Ринат МУХАМАДИЕВ
Свои люди. Рассказ 113

Поэзия

- Юрий ВОРОТНИН
Две линии — жизни и смерти 3
- Юрий ПЕРМИНОВ
Мне делить с народом нечего... 81
- Геннадий СКАРЛЫГИН
Родные места 93
- Ярослав ВАСИЛЬЕВ
Мы будем сурово
и праведно жить... 103
- Наталья ИЩЕНКО
Киммерийские напевы 107
- Наталья ХАРЛАМПЬЕВА
Жизнь — великая река... 119

Очерк и публицистика

- Евгений ДОЛГИНИН
Саяно-Шушенская ГЭС:
размышления после аварии 140
- Андрей ФУРСОВ
Опричина — воспоминание
о будущем? 147
- Татьяна ШИШОВА
Какую личность формирует
"Программа 2100"? 175
- Наталья ФЕДЧЕНКО
Не верь написанному... 185
- Сергей СЕМАНОВ
Австрийские уроки
для русских 191
- Михаил ДАНИЛОВ
Прозрение... 195

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

В. Д. Попов —
зам. главного редактора —
(495) 625-02-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
зав. отделом критики,
отдел поэзии —
(495) 625-41-03

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Н. С. Соколова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Вячеслав ТЕТЁКИН
На южноафриканском
направлении 212

Геннадий ГУСЕВ
Кавказский пленник 231

Дневник современника

Александр КАЗИНЦЕВ
Поезд убирается в тупик 124

Память

Нинель ШАХОВА
19 августа 1991... 204

Критика

Николай КРИЖАНОВСКИЙ
Необъяснимые правила прозы .. 237

Ирина ГРЕЧАНИК
Остаться самим собой 246

Александр РАЗУМИХИН
Отцы и дети в “Накануне” 267

Андрей ВОРОНЦОВ
Метод Собакевича 274

Александр КАЗАРКИН
Возвращение Георгия
Гребенщикова 277

Николай ПЕРЕСТОРОНИН
Роду-племени крестьянского 282

Среди русских

художников

Марина ПЕТРОВА
“Певец просторов и света...” 251

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Ю. Г. Бобкова, Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. П. Кривоносова

Зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Сдано в набор 10.07.10. Подписано в печать 30.07.10. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 23,7. Заказ № 2681. Тираж 8200 экз.

Адрес редакции: Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес журнала в интернете: www.nash-sovremennik.ru

E-mail: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по e-mail не принимаются)

Отпечатано в типографии ОАО “Издательский дом “Красная звезда”,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. www.redstarph.ru

ЮРИЙ ВОРОТНИН



ДВЕ ЛИНИИ — ЖИЗНИ И СМЕРТИ

* * *

Здесь ветер колючий,
Здесь в речках озноб,
Надвинулись тучи,
Как шапка на лоб.

Тяжелое поле,
И месяц — не май,
Но вольному — воля,
Спасенному — рай.

Не крепким приказом,
Не цепью литой,
Рождением связан
Я с этой землей,

Где воздух в отлогах
Горчит, словно дым,
Где в праздники Бога
Встречаю живым.

ВОРОТНИН Юрий Иванович родился в 1956 году в поселке Пирово Тульской области. Окончил Тульский политехнический институт. Печатался в альманахе "Поэзия", в "Литературной газете", в газете "Московия литературная". Автор книг "Стихотворения" и "Осень в райских садах". Член Союза писателей России. Живет в городе Дедовск Московской области

* * *

Предзимье, и воздух притравлен дымком,
И сырость морозом прижата.
И съжилось время, как перед прыжком,
Предчувствуя лютые даты.

Я помню, что было в иные века,
Я знаю — всё замкнуто кругом.
И ходит дождями худая тоска
За мною по осени цугом.

Но все же пока не взлетела звезда,
Смотрю, сколько силы хватает,
Как медленней жизни речная вода
Течет и шугой зарастает.

* * *

Сколько раз я к поре листопада
Привыкал, но никак не привык.
Безутешное время распада
На поверку не хуже других.

Под ногами достаточно тверди,
Крепок разум, заучен урок.
И две линии — жизни и смерти,
По пути не сошлись поперек.

Нам хватает и зрелищ и хлеба,
Кто в зеленом был, стал в золотом,
Но смотрю и смотрю я сквозь небо,
Словно знаю, что будет потом.

* * *

Всё, что было, забудется,
Быль быльем порастет.
В темной чаще заблудится,
Темной ночью уснет.

Как руда, переплавится
Суетою сует.
Ничего не останется
Через тысячу лет.

Но сквозь тьму беспросветную
По лихим временам
Ходят сказки заветные
От отцов к сыновьям.

Слово в слово — не иначе,
К шепотку шепоток,
Пусть родные кровиночки
Затвердят назубок.

Пусть рождаются Егории,
Коль в Отечестве дым,
Я не верю Истории,
Верю сказкам родным.

Бесы пляшут по улицам
На моей стороне,
И стоим с Ильей Муромцем
Мы спиною к спине.

* * *

Дом в средней полосе, засыпанный сиренью,
Окошко на звезду с калиновым лучом
И сад, где соловей поет живой свирелью...
Чего еще желать? Печалиться о чем?

Полжизни, как глоток, но жажда не иссякла,
И сладок каждый вдох, и меток каждый взгляд,
И сладостно тянуть остатки дней по каплям...
Но отчего в душе тревога и разлад?

Что знаешь ты про жизнь, что думаешь о смерти,
Что прячешь на свету? Что ловишь в решето?
Опять твоя тоска, пронзительна, как ветер,
Такое б рассказал! Не слушает никто.

И смотришь на звезду, как будто ты оттуда
Поклоны бьешь земле, как будто ты туда.
И ввысь летит сирень в движенье безрассудном,
И тянется лучом к сырой земле звезда.

* * *

В эту грозную ночь ветер шелкал кнутом,
Тьма вязала концы и начала.
И спросил я у Тьмы: “Что же будет потом?”
“Белый Свет будет”, — Тьма отвечала.

Дотерпел я, дождался, забрезжил рассвет,
Зацепился за землю лучами.
И спросил я, тревожась: “А что же вослед?”
“Будет Тьма”, — Белый Свет отвечал мне.

И упорствуя, каждый стоял на своем
И одно выговаривал Имя.
И веревкой вилась, и горела огнем
Жизнь моя, как граница, меж ними.

* * *

Птицы мои — воробьи да синицы,
Лес мой — береза да изредка дуб.
Время припомнится, место приснится,
Дымом домашним потянет из труб.

Век свой живу день за днем в благодати,
Щебетом птичьим колышется лес,
Места хватило и времени хватит
Путь проложить от земли до небес.

Там, в небесах, в силу вечной привычки,
К райским уладам спокоен и скуп,
Птиц позову — воробьев да синичек,
Лес посажу свой — березу да дуб.

И, как награда, за верность пристрастью,
В темную ночь иль средь белого дня,
Время и место сойдутся крест-накрест,
Чтобы крестом указать меня.

ДЕД НИКОЛАЙ (День Победы. 1965)

“Победителей нет.
Нас война раскатала по косточкам,
По воде, по траве,
По дорогам из мерзлых камней”.
Дед погибших друзей,
Как живых, звал по имени-отчеству
И про темную ночь запевал,
Что всех темных темней.

“Не вернулся никто,
Ты не верь, что с войны возвращаются.
И живые и мертвые
Вечно прописаны там”.
Сам себе наливал,
И жалел: “Быстро водка кончается”,
И вождя поминал,
И его боевые сто грамм.

* * *

И вытянет песня твой голос струной,
Уладит мотив со словами.
Что будет с тобой, и что было со мной,
Твердыней стоит между нами.

Всё дальше и дальше уводит мотив,
Слова переходят границу.
И праздную я, словно вдруг отпустил
На волю певучую птицу.

Закончится песня — и нас тишиной,
Как снегом случайным, остудит.
И я уношу все, что было со мной,
Ты с тем остаешься, что будет.

Когда-нибудь, может, с небес залетев,
В слова и созвучья играя,
Мне спустится в сердце заветный напев,
Но это уж сказка другая.

* * *

По утрам разгорается ветер,
Выдувает из бездны рассвет.
И живу я, как будто бессмертен,
Не жалею ни зим и ни лет.

Кто-то жизни моей не заметит,
Кто-то тихо прошепчет вослед:
“Как живет он! Как будто бессмертен.
Не жалеет ни зим и ни лет”.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



СТЕКЛОДУВ*

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он оставил машину с шофером на заснеженной Бронной. Пешком, наслаждаясь блеском и красотой вечерней Москвы, стал спускаться по Тверской вниз, повторяя путь, который столько раз за долгую жизнь совершал среди этих фасадов. Оставаясь каменными, неизменными, со своими арками, лепными украшениями и мемориальными досками, они, словно недвижимые берега, наполнялись струящейся, в вечных переливах рекой, по которой уносились его воспоминания. Всё в одну сторону, вниз, от туманного Пушкина с живой, брошенной в снег розой, к янтарно-белому Манежу и розовым башням с высокими, в рубиновом зареве звездами. Когда-то мама, держа его детскую руку, хотела перейти просторную полупустую улицу. Навстречу, едва их не сбив, промчался черный, на белых шинах, лакированный “ЗИС”. За стеклом лимонно-желтое, недовольное, промелькнуло лицо Молотова. Здесь же, школьником, он шагал в весенней первомайской толпе среди флагов, шаров, транспарантов, держа за древко красный флажок, и на площади, среди ликующих возгласов, восхищенных лиц, увидел на мгновение розовый кристалл мавзолея. Далеко, в кителе и фуражке — Сталин. Сказочное видение, пронесенное сквозь целую жизнь. Юношей, стоя на тро-

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”. Живет в Москве

* Журнальный вариант.

туаре, смотрел, как мимо, в грохоте, в дрожании земли, шли на парад танки, — бугры и уступы зеленой брони, стоящие в люках танкисты, едкая синяя гарь, и когда стальная волна прокатилась мимо витрин и окон, на асфальте — седая насечка, запах гудрона и стали. С девушками, — каждый год разные, с полузабытыми лицами, полузабытым смехом, запахом и цветом волос, гуляли, забредая в кафе, и он смотрел, как бегут за окном автомобили, и сквозь тонкую трубочку близкие женские губы всасывают сладкую струйку коктейля.

Теперь он шел по Тверской, по свежему, бело-синему снегу, рассеянно любуясь праздно толпой. Нескончаемо лился глянцеви́тый поток автомобилей, из которых, у дверей ресторанов и ночных клубов, выходили молодые, красиво одетые люди. То просияет серебристой синевой соболинýй воротник, то из распахнутой шубы сочно брызнет шелковый галстук. Как алмазный водопад, низвергались вниз белые лучистые огни. Вверх, навстречу поднимались нескончаемые рубиновые сгустки. Его глаза ликовали, наслаждаясь янтарными витринами, полыхавшими вывесками и рекламами, под которыми снег трепетал фиолетовым, алым, зеленым. Дома, озаренные магическим светом голубоватых и золотистых светильников, казались ледяными дворцами, воздушными замками, в волшебных переливах, таинственных излучениях. Город был дивно красив, сказочно великолепен, и казалось, в нем идет вечный праздник, собраны неземные богатства, и жить в этом городе было упоительным счастьем.

Он проходил мимо тяжеловесного помпезного здания, облицованного грубым гранитом. В складках гранита лежал снег. Черная липа была усыпана драгоценной огненной капелью, словно райское дерево. Центральный телеграф казался космическим кораблем, в его глазнице медленно вращалось голубое мистическое око. Клубилась у театра толпа. Сверкали хрусталами и самоцветами дорогие отели. Автомобильный поток соскальзывал к площади, загибался, ускользал за огромный черный уступ Государственной думы, в фасад которой угрюмо и незыблемо, словно на скальное изображение, был врезан герб СССР.

Среди гранита, в темном монолите дома, сияла прозрачная витрина. Ювелирный магазин, спрятанный в каменную толщу, приоткрывал свои чудесные сокровища, манил толпу россыпями драгоценных камней, золотыми ожерельями и браслетами. В витрине восседала женщина, вся в бриллиантах, то ли статуя, то ли заколдованная царица, очарованная хранительница несметных богатств. Тонкое лицо, обнаженная шея и руки были бархатно-черные, словно она явилась с берегов Нила или Ганга, принадлежала к слову жриц. Волосы ее были цвета платины, чуть голубые, — признак таинственной расы. Быть может, той, что некогда населяла землю и покинула ее по неизвестным причинам, оставив занесенные песками города, заросшие джунглями храмы, покрытые льдами и морскими водами капища.

Он остановился перед витриной, чувствуя зрачками волшебную силу недоступной женщины, спящей в хрустальном саркофаге с открытыми глазами. Она казалась ему странно знакомой. Словно он где-то ее встречал, она являлась ему мимолетно. Мелькнула среди других и была забыта, чтобы вдруг возникнуть через много лет на Тверской. Быть может, он видел ее на рауте в Вашингтоне, среди офицеров американской военно-морской разведки, — игривый бокал с шампанским подносила к фиолетовым губам. Или на рынке в Равалпинди, среди разноцветных огоньков и лампадок, когда быстро темнело, в небе дышало аметистовое вечернее облако, уныло кричал муэдзин, и она грациозно прошла, задев его белой накидкой. Или стояла на берегу Меконга, среди разгромленных статуй буддийского монастыря, и он проплывал мимо на военном катере, залобовавшись ее смутным лицом. Или она была женщиной его сновидений, если вся его долгая жизнь была сном, и этот сказочный город, и дерево в драгоценных гирляндах, и глобус в синей глазнице, и видение Сталина, — все это длящийся сон, предполагающий скорое пробуждение.

Он смотрел на женщину, испытывая к ней влечение. К ее прекрасному темному лику с открытыми, без зрачков, как у каменных статуй, глазами.

К обнаженной высокой шее, на которой переливалось бриллиантовое кольцо, вспыхивающее разноцветно при малейшем движении зрачков. К ее оборотительным гибким рукам с тонкими запястьями, на которых сверкали лучистые камни, и хотелось коснуться губами ее хрупких пальцев, целовать узкую ладонь, теплую жилку, скрытую драгоценным браслетом, чувствуя сияющий холод и блеск камней. Он приближал к витрине лицо, мысленно целуя полуоткрытую грудь, угадывая под шелковым платьем ее длинную шелковистую форму и малиновый сосок. Ему хотелось взять в руки тонкую шиколотку и, целуя колени, скользить ладонями вверх по гладкой темной ноге, чувствуя, как она наливается силой, начинает трепетать. Глаза его были жадно раскрыты, восхитались бриллиантами, которые брызгали цветными лучами. Казалось, женщина пробуждается, начинает чуть слышно дышать, слабо улыбается, и они, разделенные стеклом, приближают друг к другу лица. Это напоминало сон, соитие во сне, сладкое вождление, которое он никогда не испытывал. Он утолял это вождление ненасытным созерцанием, дрожанием зрачков, в которых страстно переливались бриллианты.

Вдруг почувствовал бесшумный толчок. Затмение в левом глазу. Будто перед глазом опустили темную шторку, и бриллианты, которые он созерцал, погасли. Перед другим глазом он продолжали лучиться, сыпать разноцветные искры, переливаться стоцветной росой. Он закрыл этот глаз ладонью, наступила полная тьма. Только слышался шорох машин, женский смех, пролетело душистое облачко табака. Убрал ладонь, — темноликая женщина отодвинулась вглубь витрины, сидела отстраненно, как изваяние, равнодушно демонстрировала бриллианты.

Он понимал, что ослеп на один глаз. Слепота наступила мгновенно и безболезненно, будто у него изъяли из глазницы око, наполнив полость мягким непрозрачным составом. Это не испугало, а удивило его. Удар, который он испытал, последовал с высоты, из мглистого московского неба, и явился ответом на его вождление, на его жадное созерцание. Будто кто-то запрещал ему прелюбодейство, наказывал за соитие с целомудренной жрицей. Он отвел от витрины зрячий глаз, все еще сберегая в нем пленительный женский образ. Испугался, что померкнет и этот глаз, не желавший расставаться с запретным зрелищем. Отошел от витрины, надеясь, что, удалившись с места грехопадения, вновь обретет зрение.

Вдоль переносицы проходила вертикаль, и все, что было левее этой вертикали, оставалось объатым тьмой. Правая же сторона была полна блестящих автомобилей, свежего снега. Переливалось райское дерево. Проходившие мимо мужчина и женщина целовались.

Это было знамением. Было посланием свыше, которое он не мог разгадать. Было словом, безмолвно и властно к нему обращенным, и это слово погасило его око. Внезапность случившегося вызывала в нем ощущение, что кто-то, безмянный, долго и терпеливо наблюдал за ним, — не день и не два, а, быть может, целую жизнь, терпел то, как он проживал эту жизнь, и, наконец, не стерпев, послал ему гневный знак.

Так объяснял внезапное свое ослепление Петр Андреевич Суздальцев, стоя на Тверской, под черной, увитой гирляндами липой, словно под древом познания Добра и Зла. Всмотривался слепо в загоревшиеся кнопки мобильного телефона, звонил шоферу, вызывая машину.

Он явился в военную клинику к врачу-офтальмологу, заметив выражение равнодушной любезности на его длинном смуглом лице. Веки у врача были пятнистые, розовые, словно после ожога. В потухших глазах пациентов кипела тьма, брызгала в глаза офтальмолога раскаленными брызгами. Врач, оснастив свой лоб окуляром, зажег портативный фонарик с раскаленным лучом. Луч сверкнул по здоровому глазу, ушел в глубину пораженного ока, рассыпался на мельчайшие искры, окружавшие черную тьму. Слово луч разбился о преграду, превратился в мельчайшую пыль. Офтальмолог убрал луч, снял со лба окуляры, и Суздальцев заметил, что на лице его появилось почти испуганное выражение, и пятна на веках порозовели, словно это был ожог тьмы.

- Вы переносили когда-нибудь сотрясение мозга?
- Контузило в Афганистане.
- Не болели гепатитом?
- Было дело. После работы в Анголе.
- Не страдали серьезными инфекционными заболеваниями?
- Тропическая малярия, после Никарагуа. Меня лечили по кубинской методике, ударными порциями антибиотиков.
- Испытывали в настоящее время сильные стрессы?
- Доктор, мы все испытываем сегодня непрерывный стресс.
- Пересядьте, пожалуйста, в это кресло.

Суздальцев занял место перед оптическим прибором с двумя застекленными трубками. Его голову поместили в стальной капкан, — лоб охватывал обруч, подбородок упирался в плотную лунку. Врач снова водил лучом, направлял его под разными углами в глубину померкшего глаза, будто исследовал глухую пещеру, стараясь разглядеть наскальные рисунки. Луч превращался в легкую пыльцу, окружавшую темноту. Второй, зрячий глаз, содрогался от вторжения раскаленной иглы, будто она выжигала большой иероглиф, и в этом иероглифе чудилась бриллиантовая женщина, россыпи камней на смуглой груди.

— Положение очень серьезное, — произнес офтальмолог голосом, в котором слышались сострадающие, печальные нотки. — Вы перенесли инфаркт глаза. Кровоизлияние, разрыв артерии, паралич глазного нерва. У вас в глазу, если так можно выразиться, кровавый кисель. Под угрозой — второй глаз. Вам необходима немедленная госпитализация.

Пока врач писал направление в госпиталь, Суздальцев, не пугаясь, ощущая неизбежность и предопределенность случившегося, старался представить свое око как флакон, наполненный малиновой жидкостью. Бесшумная пуля попала в глазницу, взорвалась бриллиантовой вспышкой, превратила драгоценный сосуд в кровавый сгусток, во вместилище тьмы.

Машина отвезла его в госпиталь, и он покорно и терпеливо передал себя в руки врачей. Без тени испуга, без надежды на исцеление готовился к полной слепоте. Воспринимал ее не как внезапное несчастье, а как таинственное послание Того, Кто до этого распахивал перед ним бесконечные зрелища мира, открывал фантастические картины бытия, принуждая их созерцать. Повинуясь приказу свыше, он мчался с широко распахнутыми глазами навстречу зрелищам, стараясь их понять и запомнить, покуда их не убрали, как убирают с мольберта картины великих мастеров, опускают на окна темные шторы.

Его поместили в отдельную палату, и его дни делились на две половины, — утреннюю, когда он подвергался многочисленным процедурам, и послеобеденную, когда врачи отступали, и он был предоставлен себе самому.

Утром ему делали несколько уколов — в мышцу, безболезненные, словно укус комара, и в глаз, когда тончайшее острое больно впивалось под глазное яблоко, и в жидкий кровоподтек впрыскивалась целебная сыворотка. Его пропускали сквозь сложный конвейер оптических приборов, когда в глаз, раздвигая веки и не давая моргать, вставлялась трубка, и врачи, сменяя друг друга, вонзали лучи, стреляли легчайшими сгустками воздуха, заставляли наблюдать движение зеленоватой корпускулы, воздействовали на пораженные ткани подобием солнечных лучей, побуждая глаз откликнуться на солнечный свет. Ему вбрызгивали в вену красящее вещество, оно проникало в сосуды глаза и, подвергаясь рентгеновскому облучению, обнаруживало картину разрушения. “Сосудистую катастрофу”, — как говорили врачи. Он рассматривал цветную компьютерную фотографию пораженного глаза, и она была похожа на аэрофотосъемку темного озера, в которое впадает множество ветвящихся ручьев и речек. Образ его слепоты, снятой из космоса.

Ему представлялась вареная голова семги с приоткрытым зубастым ртом и серебряными пластинами жабер и то, как он вычерпывал из рыбьей башки темно-золотой глаз. Вареное рыбье око лежало в ложке с желтоватым белком и тускло-остекленелым зрачком. Еще он вспоминал убитого в пустыне Регистан вертолетчика, которому в голову попала пуля крупнокалиберно-

го пулемета. Одна половина лица была срезана до кости, а из другой свисал на кровавых нитях огромный бело-желтый глаз.

Его подвергали лазерному воздействию. Сестра закапывала в глаз препарат, расширяющий зрачки, и когда она над ним наклонялась, он чувствовал щекой ее мягкую грудь. Врач с короткой седоватой стрижкой и жестким лицом снайпера всаживал в пораженный глаз разящие очереди, пробивая крохотные отверстия, сквозь которые должна была уйти кровавая жидкость. Каждый удар лазера сопровождался шипящим звуком, попадание отмечалось светящейся робкой пыльцой, напоминавшей далекий, гаснущий фейерверк. Зато второе, зрячее око пугалось солнечной огненной вспышки, которая наполняла глаз невыносимым светом, расплавленной белой плазмой. Лишенный возможности моргать, с широко раскрытыми веками, глаз ужасался вторжению слепящего света. И это странно напомнило ему солнце Герата, когда он поднимался на вершину каменной башни, где был расположен командный пункт. Предстояла массированная бомбардировка города, и кто-то немой и грозный направлял из небес бесшумные слепящие вспышки, то ли запрещая ему смотреть, то ли, напротив, безмолвно принуждая: “Смотри”!

Оказавшись в палате, он принимал телефонные звонки от бывшей жены, пожелавшей его навестить. От детей, которые волновались за него и просили позволения прийти. От немногочисленных друзей, прослышавших о его несчастье. Он всем отказывал, отшучивался: “Я теперь одноглазое Лихо”. “Одноглазый циклоп Полифем”. Предпочитал одиночество, чувствуя, что ему предстоит новый, быть может, завершающий период жизни, и нужно к нему подготовиться.

Он смотрел на себя в зеркало оставшимся зрячим глазом. Словно перед наступившей слепотой хотел себя запомнить. Пепельно-бледное, в металлических морщинах и складках лицо. Узкие, тесно сжатые, с тайной насмешкой губы. Упрямый лоб, на котором насечками нанесены все его победы и поражения. Худая, с жилами и колючим кадыком шея. Под хмурыми бровями — настороженные, недоверчивые серые глаза, один из которых поражен прямым попаданием, а другой уже захвачен в тончайшую сетку прицела.

Грядущее сгушалось, как сумерки, готовые перейти в непроглядную ночь. Это не пугало его, но сулило новые переживания, ощущение новой, поставленной перед ним задачи. Тот, Кто поставил перед ним очередную задачу, не был руководителем военной разведки, из тех, что в разные годы отправляли его на воюющие континенты с требованием доставить в Центр уникальную военную или политическую информацию. Этот верховный руководитель был Тем, Кто создал его из крохотного пузырька протоплазмы, сотворил из него человека, выпустил в жизнь, поручив добывать в этой жизни, от рожденья до смерти, таинственные знания о бытии, добываясь прозрения среди затмевающих разум земных катастроф. Потеря зрения была не злополучным событием, не болезнью, а необходимым условием для того, чтобы увидеть прожитую жизнь иными глазами, обрашенными внутрь. Угасание внешнего зрения сулило раскрытие сокровенных внутренних очей, которыми он сможет увидеть Создателя. Стоя перед ним, отчитаться за прожитую жизнь, высыпать ему в ладонь ничтожные крохи знаний, которые ему удалось собрать. И Создатель рассмотрит эти маковые росинки и сдует их с ладони за ненадобностью. Или пересыплет в драгоценный ларец, где собраны крупицы опыта, доставляемые испокон веков другими разведчиками.

Он ложился на кровать, закрывал глаза и старался заглянуть вглубь души, ожидая, что откроются внутренние очи, и он узрит небывалые, невиданные прежде картины. Но внутреннее зрение лишь повторяло внешнее. Виделась все та же сухая саванна Мозамбика, заминированная пустошь “аэродрома подскока”, и крохотный, похожий на стрекозу самолет приземляется, блестя винтом. Душная никарагуанская сельва в горячих болотах, и он раздвигает грудью липкую тину, неся на плече ствол миномета.

Внутренние очи оставались запечатанными. А внешние подвергались воздействию оптических приборов, лучей, лазерных вспышек, которые были бессильны перед Тем, Кто затмил ему зрение. Взял в невидимую длань его прозрачный, вдоволь насмотревшийся глаз, стиснул, пропуская сквозь паль-

цы стеклянную влагу, и лишь сверкнул в пустоте серебряный крестик штурмовика, наносящего удар по Герату.

Он вернулся из клиники домой, сосредоточенный и спокойный, позволяя ухаживать за собой приезжающим детям. Смотрел, как розовеет в вечернем воздухе зимняя Москва, словно прощался с нею. Видел, как начинает льдисто мерцать высотное здание на площади Восстания, похожее на голубую, высеченную из льда скульптуру. Прощался с оттенками розового, золотого, зеленого. Чутко ждал, когда к нему явится Тот, Кто позволял ему напоследок налюбоваться на этот мир.

На его столе красовалась небольшая ваза из синего стекла, прозрачная, рукотворная, с вкраплением пузырьков, с хрупкими стеклянными нитями, оставшимися от трубочки стеклодува. Это было знаменитое гератское стекло с особыми переливами лазури, оттенками зелени и морской синевы, возникшими от добавлений в расплавленное стекло горных изумрудов и лазуритов. Среди шатров и дуканов гератского рынка, среди черной, как вар, толпы была мастерская стеклодува. Бесцветным пламенем сиял раскаленный тигель. Плескалась вялая жидкость стекла. Краснолицый стеклодув наматывал на длинную трубку прозрачный шар света. Дул в него, расширяя щеки и выпучивая фиолетовые глаза, словно играл на флейте. Шар расширялся, из белого превращался в алый. Начиная темнеть, зеленеть. Мастер ударом ножа откалывал хрустальную пуповинку. И ваза, окруженная лазурным сиянием, остывала на верстаке, словно крохотная, спустившаяся из неба планета.

Суздальцев ощупывал вазу пальцами, чувствуя ее хрупкость и колкость. Приближал лицо, наслаждаясь той особой, мусульманской синевой, в которой присутствовало божественное свечение, вызывавшее в душе сладостное благоговение. Поворачивал вазу, любуясь игрой пузырьков. Стекло сохранило в себе воздух Герата, в котором высились смуглые изразцовые минареты, сухо и ярко желтели глинобитные дома Деванчи, на клумбе, перед мечетью краснели розы; колонна бронетехники, разведя пушки “елочкой”, втягивалась в узкую улицу, и он, нагнувшись с брони, сорвал вялую душистую розу.

Он любовался вазой, и свет начинал в ней меркнуть, она темнела, как гаснущая голубая лампада. Пропал ее видимый образ, в руках оставался невидимый, хрупкий на ощупь предмет, а в глазнице еще трепетала синева. Но она исчезала, словно стеклодув втягивал обратно свое дыхание, убирал из глазницы изображение вазы.

“Ну вот, я ослеп”, — подумал Суздальцев, пугаясь не тьмы, а присутствия Бога, который был явлен ему в лазури, и теперь, отобрав зрение, ждал, что слепец станет открывать в себе духовное око, чтобы им созерцать необозримые просторы духа. “Боже, я ослеп, и теперь я Тебя увижу”. Он ожидал, что ему явится Божье лицо, как тот “Спас Ярое око”, что он видел в Третьяковской галерее, куда в детстве, в морозный московский денек, водила его мама. Но Спас не являлся, а стоял в глазах бархатный мрак.

С тех пор время его потянулось, как тревожное ожидание и непрерывная печаль. Он вглядывался в себя, надеясь, что в душе вот-вот раскроется глаз, неподвижный и ясный, заключенный в треугольник, рассылающий во круг лучи ясновидения, каким изображают в храмах “Божье око”. Но внутренне зрение оставалось все тем же, внешним, — было наполнено видениями, среди которых прошла его жизнь. Песчаная насыпь с железнодорожной колеей, ведущей к тайландской границе. Сахарно-белый Бейрут с дымом одинокого взрыва. Синее шоссе под Лубанго с исковерканной, сожженной “тойотой”.

Теперь он много лежал с раскрытыми глазами, которые были запечатаны сургучом, как депеша, предназначенная для могущественного получателя. Он больше не мог читать и вспоминал стихи, которые, словно предчувствуя слепоту, выучил наизусть и теперь декламировал вслух, изумляясь их новому звучанию. Это были стихи Гумилева. Суздальцев находил в них множество созвучий, отыскивал странное тождество, с которым жизнь умершего поэта воспроизводилась его жизнью.

“Туркестанские генералы” были стихами о нем, молчаливом и одиноком, безмолвно пережившим исчезновение великого времени, уход России с Востока, куда некогда, через Устюрт и Мангышлак, двигались русские полки, покоряя Хиву и Бухару.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он вспоминал дворец Тадж, где размещался штаб Сороковой армии, янтарного цвета, похожий на французский Трианон, окруженный пепельно-розовыми и сиреневыми склонами, туманными от полдневого жара. Вспомнил тот же дворец, но ближе, с полукруглыми переплетами окон, с лепными украшениями на желтом фасаде, на котором все еще сохранялась рябь осколков. Поднимался к дворцу по серпантину, среди пожухлых от зноя яблонь, сплошь увешанных красными литыми плодами. В ночь, когда брали дворец, по этому серпантину двигались боевые машины пехоты. В яблонях, у корней, были зарыты расстрелянные гвардейцы Амина, и красные, глазированные плоды были полны сладким соком той кровавой ночи.

Еще он помнил лестницы и коридоры дворца, по которым сновали потные от зноя штабисты. Раскрытые двери кабинетов с висящими картами, полевые телефоны, кричащие в трубки офицеры. На этаже, недалеко от кабинета командующего, была деревянная стойка бара с золоченой резьбой. Ощупывая точеные завитки и соцветья, можно было отыскать пулевые отверстия той автоматной очереди, которая сразила Амина. Пуля, прошедшая сквозз мякоть его тучного тела, все еще таилась в древесных волокнах бара.

Начальника разведки, который вызвал его из гарнизона, не было на месте, он находился на выезде в Кабуле, и его заместитель, белесый, синеглазый майор с запекшимися губами, кинул на стол фломастеры и устало предложил подождать, — через пару часов начальство вернется и вызовет его на доклад. Уходя, Суздальцев увидел, как майор жадно глотает жидкий чай из стакана, и в расстегнутом вороте нервно дрожит кадык.

Он покинул штаб и снова оказался в пекле. Предгорья, бесцветные и седые, слабо струились в стеклянных миражах, и воздух, который он вдыхал, входил в легкие сухой обжигающей струей. Высоко на холме, парящее, словно летающая тарелка, виднелось лазурное строение. Ресторан, в котором Амин принимал именитых гостей. Сейчас в нем размещался зенитный расчет, охранявший подлеты к штабу, хотя было неясно, какой летательный аппарат, преодолев хребты, может спикировать на янтарный дворец из расплавленного стеклянного неба.

Не хотелось спускаться с горы в военный городок с серыми казармами, офицерскими “модулями”, ребристыми ангарами, среди которых солдаты в выгоревших на солнце рубахах перемещали какие-то бессмысленные тумбы. Сновали замученные гарнизонные женщины в блеклых платьях. Катил бензозаправщик. Не хотелось видеть одноэтажное здание, окруженное акациями, в котором обитал представитель ставки, надменный генерал с аристократической щеткой усов. О генерале ходили слухи, будто он, страдая желудком, выписал из Союза корову, которую доставили в Кабул самолетом. И теперь она паслась где-то поблизости, в складках холмов, поедая целебные полыни, нагуливая молоко, которое пил генерал.

Суздальцев не пошел в городок, а направился вниз с горы, напрямик через сад, надеясь отыскать укромное бесплодное место. Лечь на сухую землю в прозрачной тени поблекших кустов, подремать, слыша посвисты невидимой птички, думая сквозь сон о русской корове, живущей в афганских холмах.

Среди сада не нашлось ему места, сквозь плоды и листья выглядывал желтый дворец. Его, лежащего под яблоней, могли увидеть из окон офицеры. Пройдя сквозь сад, он натолкнулся на пост охранения. В земляном капонире стояла боевая машина пехоты. На пыльной броне сидели солдаты, вяло жевали галеты. Осмотрели его оловянными от зноя глазами.

В поисках уединения он забрался на бугор, надеясь укрыться за его гребнем в тенистой складке. Но когда поднялся, услышал голоса, стуки металла,

рокот двигателя. В ложбине на красноватой земле стоял четырехосный тягач, и перпендикулярно к его платформе острая, как огромный заточенный карандаш, возвышалась ракета. Вокруг двигались люди в черных комбинезонах, ярко блестели домкраты, подпиравшие тяжеловесную установку. Ракета была из тех, что использовались по скоплениям моджахедов в кишлаках и городских предместьях, когда применение авиации было затруднено из-за мощной противовоздушной обороны, вертолеты и штурмовики несли потери. Такая ракета падала в тесные кварталы глинобитных строений, разносила их фугасным зарядом, а несгоревшее топливо учиняло гигантский пожар, в котором плавилось железо и камень. Суздальцев, не спускаясь к ракете, присел на склон, наблюдая приговора к пуску.

Солдаты продолжали укреплять гидравлические опоры. Офицеры то забирались в кабину установки, то снова начинали двигаться вокруг тягача. Один из них держал вертушку, крутившую лепестки в потоках жаркого ветра. Другой неразборчиво, хрипло говорил по рации. Суздальцеву казалось, что сверху он различает на руке офицера обручальное кольцо, — временами загорался золотой ободок. В прогалы холмов, среди которых пряталась ракета, клетчатый, словно розовая вафля, виднелся Кабул.

Суздальцев, сидя на жарком струящемся склоне, представлял удаленный кишлак, сухой, горчичного цвета дувал, домашний очаг, над которым склонилась женщина в сиреновой долгополой накидке. Ее черные волосы, разноцветные камушки бус. На утопанной земле бродят куры, шалют и резвятся дети, и женщина, распрямляясь, отводит смуглой рукой упавшую на лицо прядь волос. И другая женщина, жена офицера в крохотном городке, за тысячи километров отсюда. Выкатывает в палисадник коляску, достает из нее ребенка, раскрывает белую млечную грудь, подносит младенца к розовому соску, и тот крохотными губами впивается в сладкую материнскую мякоть. Огромное пространство, разделявшее двух этих женщин, было стиснуто в малом зазоре пускового устройства, между медными клеммами, сквозь которые проскочит искра. И можно сбежать с холма, объяснить офицеру с обручальным кольцом свойство испепеляемого пространства, в котором гибель одной женщины влечет неминуемую гибель другой. И от воли ракетчика зависит сбережение жены и ребенка, пусть просунет между медными клеммами хоть бы этот вялый, блеклый листок, останавливающий проблеск искры. Он сидел, перетирал пальцами листок неизвестного горного растения, выдыхал его пряную горечь.

Пуск ракеты был косвенно связан с его прибытием в штаб армии по вызову начальника разведки. Уже несколько месяцев на территорию Афганистана, в отряды моджахедов, поступали американские “стингеры”. Переносные зенитно-ракетные комплексы с инфракрасным и ультрафиолетовым наведением, от которых авиация несла огромный урон. Сбитые вертолеты и штурмовики лишили войска возможности проводить масштабные операции, сеяли панику среди авиаторов, заставляли их подниматься на недосыгаемую высоту, откуда невозможно было громить наземные цели. С горькой иронией вертолетчики, утратившие господство в воздухе, называли себя “космонавтами”. Ход военных действий ощутимо менялся, грозя переломом. “Стингеры” по тропам переправлялись из Пакистана, растекаясь по приграничным районам. Уже применялись моджахедами под Джелалабадом и Хостом, Файзабадом и Гордезом. Батальон спецназа под Лашкаргахом, откуда прилетел Суздальцев, был нацелен на перехват караванов, с которыми “стингеры” должны были проникнуть в окрестности Шинданта и Герата. Предотвратить их расползание в приграничных с Ираном районах.

Вся деятельность разведки была направлена на поиск ожидаемых караванов. Шла работа с агентурой в окрестностях Кандагара, совершались неустанные разведывательные полеты над песчаной пустыней Регистан. Караваны не появлялись, но их приближение ощущалось по множеству косвенных признаков.

Суздальцев увидел, как ракетный расчет кинулся прочь и стал прятаться в неглубокий, отрытый в стороне овраг, к которому от платформы тянулась кабель. Стало тихо. Розовела вдалеке вафля Кабула. Он ощутил большой

укол в сердце, словно ударила крохотная острая искра. Под соплом ракеты зашипело, вырвался белый пар, раскрылась огненная юбка, из которой вверх скользнуло тело ракеты. Повисла среди грохота, опираясь на шар огня. Пошла ввысь, раздувая шипящее пламя, все быстрее и быстрее, извергая из сопла ослепительный свет. Рванулась, уменьшаясь, меняя траекторию, пульсируя факелом, роняя на землю стихающий рев. Ушла в блеклую голубизну, оставив на земле рыжее, окруженное копотью костровище, горчичную пыль, которая медленно оседала на холмы, на окоп, на полевые зеленые звезды его погон. Тишина. Кабул, похожий на розовый отпечаток. Где-то в поднебесье мчится ракета, приближая к кишлаку чудовищный взрыв.

Сзади, на склоне, зашуршали шаги. Сбегал порученец, одергивая под ремнем мешковатый китель:

— Товарищ подполковник, начальник разведки вас ждет.

Суздальцев поднялся и последовал за порученцем, видя, как сыплются из-под его подошв мелкие камушки.

Он старался вспомнить лицо начальника разведки, которое с годами было, затуманилось, запылилось. Исчезло вместе с другими унесенными лицами. Небольшой влажный лоб, на котором загар кончился у корней волос, и розовел рубец от только что снятой пятнистой кепки. Бледные залысины с редкими желтоватыми волосами. Тревожные, сквозь очки, глаза, которые часто моргали, словно хотели выдавить накопившееся ядовитое солнце. Рот усталый, нена начальственный, почти просительный, выговаривающий звук “р” с легким бурлением.

— Вот об этом я вам и хотел сообщить, Петр Андреевич. Эта информация поступила из Центра, от нелегалов в Иране. Иранцы тоже, как и мы, охотятся за “стингерами”, засылают в район Герата группы захвата. Операция, в которой вы задействованы, имеет, стало быть, два направления. Не пустить караваны в район Герата. И не позволить иранцам перехватить зенитно-ракетные комплексы. Центр считает, что в случае захвата иранцами “стингеры” могут попасть в руки террористов, и где-нибудь в районе Гамбурга или Рима начнут падать пассажирские лайнеры. А это, как вы понимаете, нам ни к чему. За ходом операции следят сразу несколько членов Политбюро, МИД и лично Юрий Владимирович. У вас есть шанс увеличить число звезд на погонах или, напротив, уронить в пыль имеющиеся. Каково-то их из пыли опять доставать. — Начальник разведки кисло улыбнулся, и на его облупленном носу сильнее заблестели капельки пота. Он недавно переболел гепатитом, собирался, не дослужив срок, вернуться в Союз. Отдавал операцию на откуп Суздальцеву, тайно от нее отрекаясь.

— Вот посмотрите, где предположительно базируются иранские группы. И на каких тропах они могут перехватить караваны, — он шелестел указкой по большой настенной карте, где извивались дороги и реки, зеленели низины и желтели предгорья, краснели стрелы осуществляемых войсковых операций и в черных овалах значились цифры бандформирований и имена полевых командиров. Суздальцев смотрел на карту, а видел бронегруппы, идущие по ущельям, пикирующие на кишлак вертолеты, ловких, с красными лицами бордачей, скачущих по камням, и огромный слепящий взрыв от упавшей ракеты: медленная черная копоть, похожая на сутулого великана.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром он покинул свою комнату в гарнизонном модуле и вышел на пепельный плац, где совершался развод батальона. Стояли повзводно шеренги солдат в серых панاماх. Командиры делали доклад комбату, получая задания по несению гарнизонной службы. Глинобитные казармы, блочный офицерский модуль, кунги с антеннами, накрытые маскировочной сеткой, — всё было в сухом жарком солнце. Саманная изгородь окружала гарнизон, и по периметру были зарыты в землю боевые машины. Перед воротами выселились мешки с песком, с узкими пулеметными гнездами. Выгоревший, едва розо-

веший флаг висел над штабом. За оградой мутно мерцала свалка с металлическими вспышками консервных банок. Грифы совершали круги в бесцветном небе, неохотно садились на помойку, выгибая голые злые кадыки. В стороне приоткрылся незаметный саманный домик, где разведчики встречались с приходившими в гарнизон агентами. Там же велись допросы. Там же находилась тюрьма.

У входа в домик Суздальцева поджидал его заместитель майор Кось, — лысый череп, пшеничные усы над презрительными, оттопыренными губами, мясистый нос и выгоревшие до белизны брови с водянисто-синими, навывкат, глазами. Его большое, неумное тело было готово двигаться, лезть на броню, плюхаться на железную скамью вертолета, шумно падать в бассейн недавно построенной бани. При допросах наносить зубодробительные удары в бородачатые лица пленников.

— Ну что, Петр Андреевич, получил втык или благодарность от начальства?

— Скорее втык, Анатолий Иванович. Недовольны, что у нас до сих пор ноль результатов. Пригрозили, что устроят звездопад с погон. А вообще, дали вводные по иранской тематике.

— А по китайской, часом, не дали? Дали бы лучше вводные по итальянской тематике, мы бы отсюда куда-нибудь в Неаполь махнули. Попили бы настоящее вино, отведали морскую кухню, посмотрели на красивых женщин и забыли бы эту чертову дыру, где хорошо только грифам помоечным.

— Есть что-нибудь новенькое от братьев-мусульман? Или по-прежнему тянут резину? Похоже, они морочат нам головы, наводят на ложный след. Тем временем груз малыми порциями преспокойненько пересекает пустыню и расплазается по гератской “зеленке”. Есть информация от доктора Хафиза?

— Сообщил, что скоро вернется из Кветты. Придет, не раскрывая себя, с контрабандным грузом. Доставит списки пакистанских агентов и явки в кишлаках по периметру пустыни. Будем брать.

— Цены ему нет, Хафизу. Но, похоже, со “стингерами” у него прокол.

— Вчера посылали “вертушки” в район Банадира и Хан-Нишина. Всё пусто.

— Надо поднажать на братьев.

— Сейчас поднажмем.

Они вошли в дом, где было прохладно, сквозь тесное оконце проникал пучок солнца. Стоял стол с полевым телефоном, бутылка “колы”. На табуретках сидели два здоровенных прапорщика, Корнилов и Гмыря. Встали, козырнули вошедшим офицерам.

— Ну, давай, Корнилов, веди сюда сначала Гафара, младшенького. Доктору его вчера показали?

— Все кости целы, а шкура заживет как на собаке.

Прапорщик вышел и через несколько минут вернулся, толкнув в комнату пленного афганца.

Гафар был невысок, худ, с голыми ключицами под разорванной блеклой рубахой. На стриженной голове краснела усыпанная бисером шапочка. Из черной, начинавшей сесть бороды выглядывала фиолетовая распухшая губа. Он прикоснулся к ней тонкими пальцами. Было видно, что у него выбиты зубы, и он то и дело нащупывал языком оставшиеся пустоты. Когда он приподнимал руку, рубаха под локтем расходилась, и открывался на ребрах синий вспухший рубец от удара ремнем. Он переступил порог комнаты, заклоняясь ладонью от майора, словно ожидал немедленного удара. Чернильные глаза дрожали страхом, тоской, ожиданием мучений.

— Садись, — произнес майор Кось. — Да садись, тебе говорю! — он толкнул пленного к табуретке, и тот присел, ссутулился, желая занимать как можно меньше места на табуретке, на которой вчера испытал столько боли и мук.

— Ну вот, дорогой Гафар, пришло время нам опять с тобой поговорить, — майор рассматривал афганца своими голубыми глазами доброжелательно и насмешливо, как рассматривают занятого зверька, от которого ждут потешных реакций. — Как себя чувствуешь? Я вчера погорячился, огласен. Но ведь ты сам меня довел.

Суздальцев не испытывал жалости к афганцу. Тот являлся одним из звеньев в расследовании, от которого зависел исход операции, успех изнурительных действий множества людей, жизнь авиаторов, чьи машины, сбитые “стингерами”, превращались в комья огня. Афганец был всё той же “деталью войны”, которая подвергалась здесь, в комнате для допросов, интенсивным нагрузкам, чтобы, в конце концов, не выдержать и сломаться.

— Так что прошу тебя, Гафар, пожалей и себя и меня. Мне было тоже вчера не сладко. Давай, говори всю правду.

Суздальцев отмечал у майора хорошее знание фарси, которым сам он не мог похвастаться. Конь отлично владел оттенками разговорной речи, а также изысканными оборотами персидской поэзии, декламируя наизусть главы из “Бабурнаме”, певуче и сладостно, закатывая голубые глаза. Теперь он наклонялся к афганцу сильным мускулистым телом, держа кулаки в карманах, чтобы их грозный вид не пугал избитого пленника.

— Так будешь ли, дорогой Гафар, говорить правду?

— Господин, я говорю правду, — произнес афганец, складывая молитвенно руки, и Суздальцев заметил, какие розовые красивые у него ногти и длинные смуглые пальцы. — Не знаю ни про какой караван.

— Правильно говорят о себе афганцы. “Думаем одно, говорим другое, делаем третье”. Но я хочу, чтобы ты и думал, и говорил, и делал одно и то же. А то я опять рассержусь.

— Господин, этот лгун Хамид говорит неправду. Не знаю ни про какой караван. Хамид зол на меня за то, что я прогнал его баранов. Его бараны пришли на мое поле, стали пить воду из моего арыка. Я их погнал, они побежали, и один баран сломал себе ногу. За это Хамид меня ненавидит. Не знаю ни о каком караване.

— Если ты будешь врать, я сломаю тебе ногу, как тому барану. Слушай меня внимательно. Люди о тебе говорят, что ты получил от кого-то большие деньги, купил грузовик и ездил на нем в Кветту, перевозил оружие. Теперь тебе поручили переправить сюда ракеты, и я хочу знать, где и когда пройдет караван.

— Господин, какое оружие я возил из Кветты? Мука, рис, масло. Два раза возил бензин и партию резиновых калош. Грузовик не мой, мне сдал его в аренду инженер Азис, но я вернул ему грузовик, потому что не хватает денег с ним расплатиться. Я бедный человек, господин.

— Инженер Азис сказал, что ты возил на его грузовике оружие, и у тебя в Пакистане есть друзья-военные. Они поручили тебе встречать караван с ракетами. Скажи, по каким тропам в пустыне пойдет караван? В Хаджа-Али, в Сурхдуз, в Кандаду? Там есть колодцы, и верблюды могут напиться. Или в Палалак, в Дехши, где нет колодцев, и ракеты повезут на “тойотах”?

— Господин, не знаю ни про какой караван.

Майор грозно рыкнул, замахнулся, и афганец отпрянул и съезжился. Кулак майора повис над красной бисерной шапочкой, готовый вдавить ее в плечи ударом.

Глаза пленника были похожи на ягоды черной смородины — чернильные, без зрачков, с золотой искрой. Фиолетовая тьма выдавала беспредельный ужас, ожидание мук, предчувствие неминуемой смерти. Золотой проблеск говорил о страстном желании жить, о надежде спастись, о мелькающих в сознании способах обыграть жестокого человека, в чьих руках находилась его жизнь. Узкое, избитое тело афганца искало лазейку, куда бы могло ускользнуть.

Майор Конь убрал кулак. Продолжал допрашивать благожелательно и спокойно, чтобы душа афганца не нырнула от страха в темную норку, не затаилась там, трепеща от ужаса. И тогда ее придется выковыривать ударами, криком, выкуривать из норы, как затравленного зверька.

— Дорогой Гафар, твой брат Дарвеш признался, что вы оба на днях встречаете караван на краю пустыни. Дальше ведете его на север, в Калахисам и Хурмалик. Там передаете груз другим проводникам, которые доставят его в Герат.

— Господин, мой брат Дарвеш не мог такое сказать. Ему нельзя отлучаться из дома. Наша мать живет у Дарвеша, она очень больна и может вот-

вот умереть. Дарвеш не может уехать из дома и оставить мать умирать. И я не могу уехать из дома. Мы оба хотим быть рядом с матерью, когда она станет умирать.

— Ты, собака, умрешь раньше матери! — майор Конь схватил афганца за горло под ключковатой бородой, стал сжимать, так что глаза пленника полезли из орбит, а на лбу, от переносицы, уходя под красную шапочку, вздулась жила.

— Придушу тебя, как собаку! Выкину тебя на помойку, и пусть грифы обклеивают твоё вонючее тело! Когда пойдет караван? По каким тропам, собака?

— Аллах свидетель, не знаю! — хрипел афганец, и из его распухших губ вываливался синий язык.

— Хорошо, — сказал майор Конь, отпуская хрипящее горло, — ты клянешься Аллахом. И при этом врешь. Сейчас посмотрим, как ты любишь Аллаха, какой ты правоверный и как ты готов выполнять заветы пророка!

Он полез в ящик стола. Извлек пухлую, в кожаном переплете книгу — Коран, найденный им в разоренной мечети, куда угодил снаряд. Суздальцев помнил, как майор Конь ходил по ломким голубым изразцам, приказывал солдатам собрать лазурные осколки, чтобы выложить ими стенки бассейна. Теперь рядом с баней переливался лазурью бассейн, куда громко падало распаренное могучее тело майора.

— Смотри, — майор выложил книгу на стол, раскрывая ее на первых страницах. Суздальцев видел арабскую вязь, раскрашенные, из цветов и листьев, узоры, толстые, замусоленные прикосновением пальцев страницы. Прочитал слова второй Суры: “Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного! Алеф-Лям — Мим. Эта книга, несомненно, наставление для тех, Кто страшится гнева Бога”.

Афганец смотрел на лежащую книгу, в которой, словно легкие струйки дыма, извивались арабские строчки, и в этих прозрачных летучих дымках звучало Божественное Слово.

— В этой книге живет Аллах. Ты клянешься его именем. Я буду рвать эту книгу, совершая грех, который невозможно простить. Но книгу эту буду рвать не я, а ты, своей ложью, своей лживой клятвой. Своим лживым языком, своими грязными руками ты будешь разрывать священную книгу, в которой обитает Аллах!

Суздальцев видел, как ужаснулся афганец. Как остановилась в нем жизнь, пойманная в страшную западню, из которой не было выхода. Пытка, которая ему предстояла, была страшнее побоев, смертельней электрического тока, невыносимей зрелища убитых детей. Его заставляли осквернить сияющую Бесконечность, безбрежную Доброту, всевышнюю Любовь. Принуждали попрасть божественную силу, которая сотворила Вселенную, породила звезды и землю, ледники и пустыни. Этой силой сберегались родные кишлаки и мечети, могилы предков и кричащие в колыбелях дети. Ему предлагали осквернить Божество, к которому он обращался с детства, опускаясь на молитвенный коврик. К которому зывали святые пророки, попадали жившие до него соплеменники и будут принадлежать еще не родившиеся внуки.

— Говори! — майор ухватил страницу, сжимая ее крепкими пальцами. Суздальцев видел орнамент из розовых цветов и зеленых побегов, струйки арабской вязи, желтоватые от табака ногти майора с темными кромками грязи.

— Молчишь? — майор выдрал страницу. Она издала треск живой разрываемой ткани. Суздальцеву показалось, что в пленника ударила молния, от которой у него побелели глаза. Ему рассекли пуповину, соединявшую его с бытием, и он корчился в пустоте, окруженный тьмой.

— Говори, по какой тропе пройдет караван? — майор рванул вторую страницу, на которой Суздальцев успел прочитать: “Но для неверных все равно. Увещевал ты их, иль нет. В Аллаха не уверуют они”.

Казалось, пленник потерял рассудок. Боль, которую он испытывал, была не связана с мучением плоти. Кончался мир, сыпались с неба звезды, па-

дали горы, из пустынь излетал огонь, и это он своей ложной клятвой, своим святотатством навлекал гнев Господень.

— Где пройдет караван?

Суздальцев чувствовал, что в глинобитной комнате с грязным столом, левым телефоном, жестяным ведром у порога пульсирует страшная молния. Боль, которую исторгал афганец, плавил глинобитные стены, пластмассовый корпус телефона, грубые ботинки прапорщиков. Рука майора, готовая вырвать страницу, казалась горячей головней, с пылающими костями и жилами. И он сам, Суздальцев, был помещен в огненный тигель, в котором испепелялась его нечистая плоть и несправедная душа.

— Где пройдет караван? — рука майора начинала выдирать третью страницу.

— Господин, я скажу! Скажу, господин! Караван пройдет мимо колодцев Зиарати и Чакул.

— Сколько верблюдов?

— Четыре.

— Когда?

— Завтра. Я должен их встретить у колодца Тагаз.

— Брат тоже должен встречать?

— Брат остается дома. Мать у нас умирает.

— Вот и хорошо, дорогой Гафар, — спокойным голосом, отпуская страницу, произнес майор, — теперь Аллах тебя простит. А страницы мы снова подклеим. Книги надо беречь, — он бережно вложил выданные страницы в Коран, благоговейно провел рукой. — Завтра тебя и брата мы возьмем в вертолет. Будем вместе встречать караван... Корнилов, уведи этого придурка, — по-русски приказал майор Конь.

Прапорщик приподнял за шиворот хилого афганца, толкнул к дверям.

— Ты, Петр Андреевич, пойди посмотри радиоперехваты. А я еще допрошу его братца. Если врут, завтра их обоих грохну.

Суздальцев пересекал серый плац, искрящийся множеством песчинок, которые ветер приносил из пустыни. Низко, в слюдяном блеске, прошли вертолеты, бортовые номера “44” и “46”, — капитан Свиристель со своим ведомым Файзулиным летели в пустыню на досмотр караванов. Двое солдат тащили на кухню мешок картошки, было видно, как из дырок мешка торчат проросшие картофельные стебли. Из хозблока, где размещалась кухня и прачечная, выглянула официантка Вероника, черноволосая, смуглая, как цыганка, с сильной, свободно плещущей грудью. Прикрыв ладонью глаза, смотрела вслед вертолетам. Была “фронтальной женой” капитана Свиристеля, сопровождала его вылеты цыганской ворожкой.

Суздальцев работал в “секретном отделе” с радиоперехватами. Над пустыней, в разных направлениях, со стороны Пакистана и Ирана носились позывные. Переговаривались полевые командиры. Окликались друг друга уходящие на задания группы. Давали знать о себе бредущие по пустыне караваны. Все это кружилось, металось, как чайники в пиале чая. Шифры и позывные было невозможно привязать к поселениям и ведущим через пустыню дорогам. Местонахождение караванов и боевых групп оставалось не выявленным. И только особым воображением, бессознательным созерцанием Суздальцеву удавалось совместить голоса эфира с координатной сеткой пустыни. Было странное чувство, что пустыня уже пропустила сквозь себя груз “стингеров”. Сквозь пески пролегал коридор радиомолчания, по которым, с выключенными рациями, мог пройти караван. Это было недостоверно, имело малую вероятность, не исключало допросы пленных и облеты песков. Пустыня хранила тайну. Была запечатана для него, русского офицера разведки. На ней лежали огненные сургучные печати, над которыми, словно легкие семечки, кружили вертолеты.

Он думал о докторе Хафизе, который поставлял из Кветты драгоценную информацию. Доктор Хафиз из службы безопасности “ХАДа” был белоzubым черноусым красавцем, с которым Суздальцев встречался в Ташкенте, а потом в штаб-квартире “ХАДа”, в Кабуле. У него была странная, неудобная

для разведчика примета, — половина головы была седой, словно эту половину, рядом с черными, курчавыми волосами, накрывал белый парик. Говорили, что он поседел от пыток, когда находился в тюрьме Пули-Чархи, вместе с другими, арестованными Амином партийцами. Внедренный в Кветту, поставляя верблюдов для караванов с оружием, он вскрывал их маршруты, наводя вертолеты. Общась с проходящими из Афганистана погонщиками, он многое знал о пакистанской агентуре, о базах оружия в кишлаках, о тайной сети, сотканной пакистанцами вокруг Кандагара. Через несколько дней с очередным караваном доктор Хафиз прибудет в Лашкаргах, и они встретятся на окраине города, на конспиративной квартире.

Вечером он сидел в модуле вертолетчиков, в комнате, где жил замкомэска Леонид Свиристель. Тут же находились его друг и “ведомый” Равиль Файзулин и Вероника, “фронтальная жена” Свиристея. Ее заботливые руки облагородили суровое жилище пилота, — занавесочка на окне, салфеточка на тумбочке, штора, скрывающая вместе с летными комбинезонами и бушлатами женские сорочки и платья. Не было по углам пустых бутылок, пепельницы с окурками, замызганных у порога ботинок. Стояла вазочка с робким цветочком пустыни, клетчатый панцирь черепахи, из которого выглядывали матерчатые лоскутки и иголка. Над кроватью висел старинный азиатский кинжал и гитара. Все разместились за столом, под рукодельным матерчатым абажуром, угощаясь шипучкой из баночек “Си-Си” и бутылок “7 UP”.

— Опять, Петр Андреевич, прочесываем квадраты впустую. Хоть бы какой-нибудь занюханый верблюдище попался, какая-нибудь задрипанная “тойота”. Хоть бы по ней построчить из курсового пулемета для очистки совести, — Свиристель мотал золотистым хохолком, округлял рыжие глаза, и его молодому легкому телу было тесно на стуле, он выгибал в разные стороны шею, был похож на птицу, готовую взлететь и выбравшую направление полета. — Когда же у нас будет реализация разведанных?

— Может, завтра будет, — сказал Суздальцев, вспоминая красную шапочку пленного афганца, хрустящую, выдираемую из Корана страницу.

— А я вот наколдую, Лёня, и не будет вам каравана, — сказала Вероника, отбрасывая с загорелого лба блестящую черную прядь. Ее темные, с голубоватыми белками глаза с обожанием смотрели на Свиристея. Смуглое цыганское лицо было исполнено нежности и счастливой преданности, и было видно, что ей нравится все в любимом человеке, — его мальчишеский хохолок, нетерпеливое мигание глаз, лихая, мелькавшая в них беспашанность. — Меньше стреляете, целее будете, мальчики. Наколдую, и никакого вам каравана.

— Знаем твоё колдовство, — хмыкнул Файзулин, коричневый от солнца, крепкий, как желудь, с блуждающими глазами, которые, казалось, все высматривают в красных песках Регистана пыльное облачко бегущей “тойоты”, бусины верблюжьего каравана. — Зайди за модуль, и увидишь твоё колдовство. На клумбе камушками выложила вертолет, на нем номер “44”. Поливаешь водой, чтобы он у тебя цветами расцвел. А в этой чертовой пустыне лей, не лей, все равно на клумбе одни камни останутся. Вот и все твоё колдовство.

— Ты дурачок, Файзулин. Я цыганка, свое дело знаю. Я над водой пошепчу, заговорю ее, воду, и полью вертолет. Вот он и приходит цел, невредим. И ты, Файзулин, приходишь, хотя у тебя на лбу “46” стоит. Держись командира, и будешь живой.

Вероника посмеивалась, блестя белыми зубами, подкалывала Файзулина, и тут же, переводя взгляд на Свиристея, сладко замирала. Ее красивое, с резкими чертами лицо словно выпадало из фокуса, становилось размытым, туманным от страсти и обожания. Темные брови вразлет, пунцовый рот, смуглая открытая шея, ложбинка груди, у которой обрывался загар и начиналась пленительная белизна, — всё обращалось к любимому человеку, принадлежало ему безраздельно. Долгим, опяненным взглядом она смотрела на Свиристея, и когда кто-нибудь замечал этот взгляд, вздрагивала и смущенно опускала глаза.

— Ну что глядишь на меня? Волосы дыбом встают! — грубовато, насмешливо произнес Свиристель. Сделал страшное лицо, потянул себя за хохол, и тот еще больше вздыбился на макушке, превратился в золотой завиток.

Суздальцев видел эту клумбу под окнами модуля, на которой любовно, смуглыми руками Вероники, был выложен из камушков вертолет. Из темных — похожий на рыбу фюзеляж. Из белых — круг винта. Из розовых — звезда и цифра “44”. Он знал, что Вероника засеивает клумбу добытыми в Лашкаргахе семенами цветов, старательно поливает из самодельной лейки, — из пластмассовой, с продырявленными отверстиями бутылки. Иногда клумба начинала робко зеленеть, но потом солнце пустыни сжигало зелень, превращало клумбу в раскаленный противень. Ворожба Вероники напоминала детскую игру, когда дитя из черепков и стеклышек выкладывает в песочнице нехитрый рисунок или вычерчивает на морском пляже чье-нибудь лицо или имя. Это детское колдовство было тайноведением, доставшимся по наследству от забытых предков. Сотворяя образ животного с рогами, или воина с копьем, или женщины с заостренными грудями, древний пращур стремился овладеть духами, — добыть на охоте зверя, победить на войне врага, привести на ложе женщину, которая родит ему потомство. Вероника, наследуя все женские суеверия и страхи, была колдуньей. Заговаривала свое счастье, сберегая суженого. Истребляла его врагов, окружая непроницаемым кругом боевой вертолет Свиристеля. Кропила “живой водой”, продлевая свое бабье счастье, недолговечное на войне.

— А правда, мальчики, вы бы меня брали пред вылетом на вертолетную площадку. Я бы ваши вертолеты водой кропила. Раньше священники перед боем солдат “святой водой” кропили.

— У тебя для священника ряска коротка, — засмеялся Свиристель. Потянулся к Веронике и коснулся рукой ее смуглого, выглядывающего из-под юбки колена.

Суздальцев был знаком с суеверьями войны, сам был ими опутан.

Одним из суеверий, которым защищал себя Суздальцев и которое оставалось его личной тайной, неизвестной никому другому, — было чтение наизусть стиха Гумилева. Того стиха, что был записан когда-то в тетрадку его юношеской рукой. Там были такие слова: “Упаду, смертельно затоскую, / Прошлое увижу наяву, / Кровь ключом захлещет на сухую, / Пыльную и мятую траву”. Этим стихотворением Суздальцев предрекал себе смерть, говорил о ней, как о случившейся. И тем самым разочаровывал смерть, которая всегда предпочитала являться неожиданно, ударить из-за угла, захватить врасплох. Когда ее поджидали, называли по имени, подставляли ей грудь, она отворачивалась и отступала. Ждала, когда жертва забудется и не прочитает охранительную молитву.

— “Святая вода”, говоришь? Цыганское, говоришь, дело? — Файзулин яростно, зло набросился на Веронику. — А где же была твоя “святая вода”, когда Мишу Мукомолова сбили? Где было твое “цыганское дело”, когда его жареные кости в фольгу заворачивали? Ведь ты свою клумбу и тогда поливала, только тогда на твоём вертолете стоял номер “36”, бортовой номер Миши?

Вероника беззвучно ахнула, отпрянула, словно ее хотели ударить. Ее пунцовые губы побелели, глаза наполнились слезами, а черные, со стеклянным блеском волосы, казалось, утратили свой блеск. Вспышка Файзулина была обожанием, которое он испытывал к другу и командиру Свиристелю. Была ревнивой неприязнью к Веронике, которая отнимала у него друга, вторгалась в их дружбу своей женской страстью. Была больным воспоминанием о гибели товарища, у которого Вероника числилась “фронтальной женой”, слишком быстро о нем забыла, перенесла свое страстное поклонение на Свиристеля.

Все молчали, будто в воздухе продолжал висеть звук удара. Первым заговорил Свиристель, словно хотел погасить свою вину перед погибшим Мукомоловым, у которого, пускай после смерти, отобрал любимую женщину. Вину перед Вероникой, которую не смог защитить от жестокого упрека Файзулина. Вину перед Файзулиным, страдавшим от поспрадания святынь любви и товарищества.

— Миша Мукомолов был летчик от Бога. Ходили с ним на десантирование, сопровождали колонны, летали на удары в кандагарской “зеленке”. У него был звериный нюх, когда искал караваны. Брал след и находил по запаху, как гончий пес. Шел на удары, как заговоренный, будто и впрямь его “живой водой” кропили. Десантников вытаскивал почти из могилы, — весь в дырках, винты прострелены, а людей забирал с того света. Погиб не в бою, а когда возвращались домой, проводив за Кандагар колонну. Там есть чертово место, Таджикиан. Когда-то был кишлак, но его перемолотили снарядами. Сверху ни домов, ни улиц, будто белой мукой посыпано. Все оттуда ушли. Наверное, “духи” в норы зарылись и стерегли вертолеты. Я видел, как пошла ракета. Струйка курчавая, догнала с хвоста и ударила. Может, наша “стрела” трофейная. А может, и “стингер”, хрен ее знает. Смотрю, из “тридцать шестого” дым пошел. — “Миша, горишь!” А он только успел: “Свиристель, прощай! Веронике поклон передай!” Упал в Таджикиане. Вижу, как “духи” из-под земли вылезают и бегут к вертолету. Я отработал “нурсами”, только ошметки летят. Окружил вертолет взрывами. Забрали Мишу, весь экипаж погиб. Иду обратно, смотрю — по тракту две “бурбухайки” пылят. Я зашел и давай их долбить. “За Мишу! За Мишу! За Мишу!” Я эту трассу ракетную, этот хвостик курчавый во сне вижу. Мы эти “стингеры” возьмем или нет, Петр Андреевич? — повернулся он к Суздальцеву.

— Завтра брать будем, — ответил Суздальцев, вовлеченный своими суеверьями, тайными страхами и предчувствиями в клубок людской ненависти, дружбы, любви.

Суздальцев вдруг почувствовал, что операция, которую он проводил, близка к провалу. Противник его обыгрывает. Отвлекает внимание на ложные цели, заставляет тратить драгоценное время. Уводит, как птица, притворяясь подранком, уводит охотника от гнезда. Пока он допрашивает двух упрямых афганцев, прослушивает радиоперехваты, летает на досмотр в пустыню, “стингеры” окольными путями и безвестными тропами движутся на север к Герату. И завтрашний день, как и прежде, не принесет результатов.

— Смерть, она любит, когда с ней шутят. Она ведь большая шутница, — Свиристель улыбался, прикрывая глаза выпуклыми дрожжащими веками. — С ней поиграть можно в кошки-мышки, казаки-разбойники, или в “русскую рулетку”. Как раньше офицеры, — забивали пулю в барабан револьвера, крутили и подставляли к виску. Повезет — не повезет. Хорошая игра, офицерская, смерти очень нравилась.

— Слава Богу, у вас револьверов нет, — Вероника, пугаясь, смотрела на его дрожжущие веки, под которыми что-то мерцало, переливалось, рыжее, беспощадное и шальное. — Теперь-то вам нечего к виску приставлять.

— Револьверов нет, а часы есть, — Свиристель оголил запястье, на котором блестяли часы — “сейка”, в золоченом облупленном корпусе. — Можно со смертью в часы поиграть.

— Это как? — загорелся Файзулин, глядя на свои тяжелые, командирские, с фосфорным циферблатом часы. — Это как же играть-то?

— Смотри! Часы, они где? Там, где пульс, где частота сердца, — Свиристель выгибал запястье, перехваченное наборным браслетом, под которым синели вены и натягивались жилы. — Значит, часы показывают не просто время, а время твоей жизни, твое личное время, а значит, и время твоей смерти, — он с упоением смотрел на пульсирующий бег секундной стрелки, словно засекал мгновение собственной гибели. — В твоих часах твоя жизнь и твоя смерть. В моих — моя. У Петра Андреевича — его. У Вероники — ее. Если мы часы кинем в шапку, а потом станем вытаскивать, какие кому достанутся, то мы поменяемся жизнями, поменяемся судьбами и смертями. Например, моя смерть к тебе перейдет. Его — к тебе. Ее — ко мне.

— Здорово придумано, — восхитился Файзулин. — Значит, я могу твою смерть на себя взять? Я готов.

— Глупости, — Вероника испуганно возражала. — Это всё равно что смерть за ушами щекотать. Она, как кошка, спит, спит, а потом как вцепится.

— Ну и ладно, — все больше загорался Файзулин. — То она нас мучает, а то мы ее помучаем. Поморочим ее.

— Так что, сыграем? — крутился на стуле Свиристель, трепеща хохолком.

— Я готов.

— А вы как, Петр Андреевич?

— Я согласен.

Свиристель достал из угла старую солдатскую панаму с ремешком и зелеными пуговицами. Мужчины стянули с запястий и кинули в панаму часы.

— Может, не надо, Лёня? — противилась Вероника.

— Делай, что говорят!

Вероника неохотно, повинувшись приказывающему взгляду Свиристеля, взяла с тумбочки свои часики на кожаном ремешке и положила в панаму. Четыре спички разной длины соответствовали каждая определенным часам. Самая длинная — С. Покороче — Свиристеля. Еще короче — Файзулина. И совсем короткая — Вероники. Она сложила спички вместе, сжимая пальцами, выставляя кончики. Протянула руку, предлагая мужчинам тянуть жребий. Смотрела на спички проницательно, остро, шевеля губами. Словно творила заговор, колдовала, вторгалась в мир темных сил, отводя эти силы от любимого человека. Что-то путала, слетала, рвала. Отводила смерть от Свиристеля, приближала ее к себе.

Суздальцев смотрел на ее пухлые свежие губы. На дрожащие слезным блеском глаза. На приоткрытую грудь с пленительной шелковистой ложбинкой. На голую, держащую спички руку. И вдруг испытал волнение, слабое сотрясение, мгновенно устыдившись своего мужского желания.

— Тянем! — произнес Свиристель и выхватил спичку. Все сделали то же. Файзулин и Вероника получили свои часы обратно. А Суздальцев и Свиристель поменялись часами.

— Отличные часики, Петр Андреевич! — Свиристель застегивал браслет, играя граненым стеклом. — Раньше менялись нательными крестами, а мы поменялись часами. Теперь мы с вами братья, Петр Андреевич.

Суздальцев смотрел, как на доставшихся ему часах трепещет стрелка. Вдруг почувствовал в груди перебой, нарушение ритма, словно в сердце влетела и угнездилась пульсирующая спиралька.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утреннее солнце начинало жечь вертолетную площадку. Два пятнистых вертолета казались ящерицами на солнцепеке. Замкомэска Свиристель смотрел, как загружают “цинки” с патронами в его машину с номером “44”, показывал карту второму пилоту и борттехнику, и те водили по карте пальцами, о чем-то переспрашивали командира. У соседней машины с номером “46” расхаживал Файзулин, хлопал ладонью по барабану, из которого, как из гнезда, торчали клювики реактивных снарядов. Казалось, он проверяет на прочность барабан, подвеску, пятнистый фюзеляж с красной звездой, на которой, едва заметная, виднелась заплатка — след попадания. Перед вертолетом стояла группа спецназа, — полтора десятка солдат в панамах, с автоматами, в “лифчиках” с “рожками”, гранатами, с ранцевой ракетой, над которой раскачивался хлыстик антенны. У троих были гранатометы, из-за спин веером торчали остроконечные заряды. У одного миноискатель. У всех были фляги с водой. Перед строем расхаживал командир группы, длинноногий, худой, в спортивных штанах и куртке, в стоптанных кроссовках, похожий не на офицера спецназа, а на спортивного тренера. И только притороченный к поясу десантный нож, короткоствольный автомат и набитый снаряжением “лифчик” выдавали в нем опытного разведчика, предпочитающего тяжелым ботинкам удобные кроссовки, в которых сподручнее мчаться по горячим барханам, уклоняясь от очередей неприятеля. Он делал последние наставления группе, в которых мало говорилось о поставленной задаче, а присутствовали скупые, ободряющие слова. Своеобразная смесь ритуального заклинания и

предполетной молитвы, которая должна была уберечь группу от превратностей полета, сплотить солдат и командира в семью, где каждый бережет жизнь соседа, словно тот является ему близким родственником.

Всё это видел Суздальцев со стороны, придерживая у плеча брезентовый ремень автомата, чувствуя на бедре холод фляги, еще не нагретой жаром пустыни. Он слабо надеялся на успех операции, которая повторяла предшествующие. По наводкам агентов, по сбивчивым показаниям пленных вертолеты отправлялись в квадрат пустыни, где ожидалось появление “стингеров”. Борт “44”, облегченный, без спецназа, шел впереди, монотонно облетая красные, марсианского цвета, барханы. Ему сопутствовал борт “46”. В случае обнаружения цели головная машина делала очередь из курсового пулемета, принуждая караван остановиться. Начинала снижаться, совершая над караваном круги. Вторая машина приземлялась в песках, недоступная для ударов гранатомета. Спецназ выскакивал и бежал на досмотр, в то время как первая машина барражировала, описывая круги, прикрывая группу всей мощью своих ракет и реактивных снарядов.

Это был полет, один из последних, после которого можно было считать, что “стингеры” благополучно миновали пустыню, просочились на север малыми порциями и теперь продвигаются в районы Шинданта и Герата.

Из ворот гарнизона показался майор Кость, тяжелый, лысый, вразвалку, с расстегнутым воротом, из которого поднималась играющая жилами шея. На плече, стволom вниз, висел автомат. Глаза сердито шурились на солнце, на сухое мерцанье свалки, у которой, на запах свежих объедков, уже опустилось несколько грифов. Он шагал, и от его ботинок клубилось солнечное облачко пыли. Следом, один за другим, шли пленные афганцы, два брата, Гафар и Дарвеш. Руки связаны за спиной. Хламида, истерзанная во время допросов, несвежего, грязно-белого цвета. Малиновая шапочка на голове Гафара, резиновые калоши на босу ногу, неопрятная борода, в которой порыбыи раскрывался глотавший воздух рот. Его брат Дарвеш был крупнее, широкоплеч, черная, с металлическим отливом борода, затравленные злые глаза, над которыми срослись иссиня-черные брови, съехала на лоб рыхлая чалма. Из-под его сандалий взлетала пыль, и он ступал за братом, что-то торопливо говорил ему на ходу. За ними вышагивали два здоровенных прапорщика, принимавшие участие в допросах, сонные, недовольные, с тусклыми лицами, вяло понукали афганцев.

— Ну что, Петр Андреевич, поищем иголку в стоге сена, — произнес Кость, пожимая Суздальцеву руку. — А ты, Гафар, дух пустыни, смотри. Не найдем караван, я тебя пристрелю, клянусь Аллахом, — обратился он к афганцу, который мелко затряс головой, прислонился к груди Дарвеша, и тот приподнял плечо, чтобы голове брата было удобнее на его широкой груди.

Спецназ, позвякивая оружием, нырял в глубину вертолета. Под тяжестью солдат поскрипывала металлическая лестница. В полутемном проеме исчезали панамы, автоматы, гранатометы. Командир группы, пружина на кроссовках, взглядом пересчитывая солдат, заскочил последним.

— Ну, давайте, мусульмане, — Кость подтолкнул к вертолету Гафара. Тот топтался. На связанных руках мучительно шевелились пальцы. Боялся ступить на лестницу и потерять равновесие. Кость грубо и сильно подсадил его. Толкнул в глубину машины. Тот зацепился за порог, и с его ноги соскочила калоша, упала на землю, черная, с малиновым зевом. То же самое Кость проделал с Дарвешем, и афганец, уже из машины, оглянулся на майора черными пылающими глазами.

Пустыня Регистан, красная, как Марс, тянулась к югу, до границы с Пакистаном, откуда по пескам, груженные контрабандным товаром и оружием, шли караваны. Либо верблюды — их медлительные ленивые вереницы, с тюками и переметными сумками на горбах, с чернолицыми и сухими, как стручки, погонщиками. Либо юркие неприхотливые “тойоты”, поодиночке или парами пересекавшие барханы. Мчались наугад, без дорог, оставляя на песке причудливые надрезы. Стальной грузовичок с пулеметом на крыше, емкий кузов, где лежат промасленные автоматы, ящики с минами или заваленные верблюжьей колючкой ракеты “стингер”.

Суздальцев, поставив между ног автомат, наблюдал приближение пустыни. Это напоминало сближение с красной планетой, таинственно возникавшей в иллюминаторе. Сначала на серой земле появлялся тонкий рыжеватый полумесяц, — принесенный из пустыни песок зацепился за камень, копил песчинки, старался превратиться в бархан. Но менялся ветер, и песок улетучивался, так и не сложившись в бархан. Полумесяцев становилось больше, они были выгнуты все в одну сторону. На темной земле возникало округлое, оранжевое вздутие, песчаный холм, еще одинокий, окруженный каменной землей. Первый песчаный оплот, закрепившийся на краю пустыни. Вздутый становилось все больше. Круглые, разных размеров, они напоминали пузыри, которые извергала земля. Идеальной формы купола, возведенные неведомыми строителями. Вспучивались, смыкались кромками, поглощали черную землю. Сплошное оранжевое море пузырилось внизу, источая стучки жара, старалось лизнуть вертолет своими пламенными языками. Регистан округлился марсиански — красными барханами, и казалось, вертолет в высоте перелетит с одной раскаленной вершины на другую.

Файзулин в шлемофоне выглянул из кабины, встретился глазами с Суздальцевым. Сжал кулак и, окунув большой палец вниз, сделал жест, известный еще со времен Рима. Жест означал “Смерть!”. Суздальцев взглянул в иллюминатор и на волнистых песках увидел след, выходящий из-за горизонта, который завершался бесформенным колючим комком и мазками сажи. Это была разбитая, месячной давности, “тойота”. Наводку на нее прислал из Кветты доктор Хафиз, и он, Суздальцев, летал на “реализацию разведанных”.

Солдаты прижимались к иллюминаторам, кричали друг другу на ухо что-то неразборчивое за шумом винтов. Майор Конь подмигнул Суздальцеву синим, с белесыми ресницами глазом. Суздальцев вспомнил удары “нурсов”, взрывливших песок вокруг удиравшего автомобиля. Солдаты бежали из-под винтов к дымящемуся остову, вокруг были разбросаны ящики с автоматами, валялись два трупа — водителя в обгоревшем пиджаке и сопровождавшего груз бородатого моджахеда. Солдаты рылись в обломках, стаскивали в вертолет оружие. И один всё никак не мог снять металлический перстень с распухшего пальца шофера.

Конь достал пистолет, сунул дуло в ноздри Гафару, что-то сердито крикнул. Афганец часто закивал головой, залепетал разбухшими от побоев губами.

Вертолеты тянули над пустыней, их тени волнисто скользили по барханам. Они пересекали квадрат, где обычно пролегал караванный маршрут. Днем, заметив одиночную машину, вертолетчики без предупреждения поражали ее снарядами. А если это была ночь, били по мерцавшим огням. Пустыня была усеяна остовами подбитых машин. На целомудренно-чистых песках оставалась черная копоть.

Теперь они летели в стороне от караванных троп, где на карте был помечен колодец Тагаз и где, по словам афганца, должен был пройти караван.

Суздальцев прижался лбом к иллюминатору, чувствуя дребезг стекла. Пески из красного кварца тянулись монотонно, вздувались и опадали, порождая в сознании странное кольхание, сонную одурь. Казалось, снизу к вертолету тянутся туманные духи, окутывают вертолет мгlistой дымкой, проникают сквозь обшивку, дурманят. Будто внизу дымился огромный кальян, и сладкая муть кружила голову. Это был сон наяву, чары пустыни.

Он почувствовал толчок, словно вертолет перепрыгнул с одной ступеньки на другую. Он очнулся. Очнулись солдаты, крутя панамы. Очнулся майор Конь, перекладывая автомат из руки в руку. Очнулись пленники, которые, казалось, спали, сблизив головы. Из кабины выглянул Файзулин в шлемофоне, кивком подзывая Суздальцева. Тот подошел. Через голову бортмеханика, сквозь ребристое остекление кабины увидел впереди, на желтых песках, черточку, похожую на изогнутого червячка. Головная машина с номером “44” нырнула ниже, делала слабый вираж, заходя на караван.

— Этот? — крикнул сквозь рокот винтов Файзулин. — До колодца Тагаз километров восемьдесят.

Майор Конь сдернул с сиденья Гафара, подтащил к кабине, втиснул в тесное пространство, где на металлической штанге поместился борттехник. Схватил афганца за шиворот и стал нагибать его голову, как делают с кошками, словно старался ткнуть бородой в караван.

— Твой? — рычал он. — Твой, говорю, караван?

Афганец мучительно дергался, всматривался в цепочку верблюдов, а майор толкал его взащей, перекивая металлический рокот:

— Мы в районе Тагаза. Ты клялся Аллахом. Твой караван?

— Мой, господин, — тоскливо оглядываясь, произнес афганец. Суздальцев видел, как съехала ему на лоб красная шапочка, как болезненно раскрывается в бороде его разбитый рот, в котором был виден сломанный зуб. Глаза афганца жмурились, словно не хотели видеть бескрайние пески и черные горошинки затерянного в песках каравана.

— Садимся, — крикнул Конь Файзулину. Оттащил афганца на место.

Вертолеты совершали одинаковые развороты. Шли вниз, сближаясь с караваном. Суздальцев знал: Свиститель уже выпустил очередь из курсового пулемета, дырявя песок, делая знак остановиться. Погонщики, понимая язык пулемета, начинают сползать с верблюжьих горбов, чтобы покорно ждать, когда побегут спустившиеся с неба солдаты и станут осматривать свисающие тюки. Или, если в тюках оружие, к небу взметнутся гранатометы, отбиваясь от машин дымными выстрелами. И тогда вертолеты, один за другим, станут пикировать на караван, ударяя остриями снарядов, превращая караван в месиво крови, костей и песка.

Вертолеты поделили функции. “Сорок шестой” с десантом стал приземляться у каравана в точке, недоступной для гранатометного выстрела. “Сорок четвертый”, сверкая винтами, на “бреющем” стал нарезать круги, охватывая караван устрашающим блеском и грохотом, готовый взмыть и направить сверху истребляющий удар.

Суздальцев чувствовал, как покачивается вертолет, нащупывая землю. За стеклами бушевала рыжая буря песка. Борттехник отворил дверь — хлопок жара, колючий вихрь проникли в вертолет. По знаку командира солдаты, щуря глаза, стали выпрыгивать, падая сверху на близкий бархан. Командир скакнул последним, исчезая в полукруглом проеме, словно кинулся в печь.

— Присмотрите за этой гребаной парой! — крикнул Конь, указывая стволом на афганцев. — Если что, дырявьте! — и тяжело прыгнул, проваливаясь в рыжий огонь. Суздальцев видел, как просунулось из кабины рыльце короткоствольного автомата. Заметил, как прижались друг к другу братья. Прихватив оружие, прыгнул, ощутив на лице наждачное прикосновение песка.

Несколько секунд бежал с закрытыми глазами, слыша, как удаляется звон винтов и остается за спиной песчаная буря. Открыл глаза. Смугло-золотая лопать бархана. На ней бегущая веером цепь, — за каждым солдатом отпечатки следов. Острые, работающие в беге локти, белесые панамы, выставленные автоматы. Сильные скачки командира, — длинноногий, с “лифчиком” на животе, похож на кенгуру. Майор Конь, блестя лысиной, мощно бежит, вышвыривая из-под подошв буруны песка. Впереди, приближаясь, застыли четыре верблюда. Выгнули шеи, воздели маленькие головы, на боках пестреют тюки. Рядом с опущенными руками погонщики. Черные, похожие на маски лица, белые тюрбаны, долгополье балахоны. И в нем, Суздальцеве, внезапная жаркая сила, бурный азарт, нетерпение ловца, перед которым возникла дичь. Долгожданный караван, который выискивали и подстерегали неделями, выследили, застigli врасплох, и ему некуда скрыться, он захвачен в кольцо пятнистой, носящейся кругами машиной, легкими в беге солдатами, их прыгающим на длинных ногах командиром.

Он бежал, стараясь не отстать, всасывал раскаленный воздух. Песок был нежный, как заплата. Глаза следили за недвижными, в белых балахонах, погонщиками, за их упавшими вдоль тела руками, ожидая, что эти руки метнутся вверх, выхватят из-под одежд автоматы, и тогда — уклоняться от пуль, кидаться на шелковистый бархан, посылать вслепую долбящие очереди, слыша издали чмокающий звук попаданий.

Страх мешался с азартом охотника, превращался в пьянящее веселье, в котором были бессознательная молитва, яростное ожидание схватки и мимолетное изумление. Вокруг — огненная бесконечность пустыни, и в этой марсианской пустоте малая горстка людей сближается, чтобы превратить свою встречу в убийство. И внезапное, Бог весть откуда, видение, — он, юноша, держит в руках сосульку, смотрит сквозь синий лед на девичье лицо, видит, как во льду переливается розовое, белое, голубое.

Подбежали, охватили караван полукругом, наведя автоматы, чтобы каждый верблюд и погонщик оказался под прицелом. Верблюды, худые, с ключковатой шерстью, поднимали надменные головы, блестели чернильными, в белых ресницах, глазами, скалили желтые зубы. Укрепленные на горбах, свисали на бока полосатые, покрытые латками тюки, раздутые острыми выступами. Четыре погонщика, тощие, узкоплечие, с одинаковыми чернотелыми лицами, тревожно смотрели из-под рыхлых тюбанов. На плечах висели шерстяные покрывала, защищавшие среди пекла, греющие во время холодных ночлегов.

— Салям Алейкум, — майор Конь, не приближаясь, переводил автомат с одного погонщика на другого. — Откуда идете? Что за груз?

Погонщики бормотали невнятные. Суздальцев не мог разобрать ни единого слова. Один улыбался, моргал трахомными глазами, показывая беззубые десны. Поднял долгопалую пятерню, указывая за горизонт, откуда тянулись верблюжьи следы.

— Это белуджи. Ни черта не понимаю! — сплюнул на песок Конь. — Давайте, приступайте к досмотру.

Командир группы, перебросив автомат в левую руку, правой охлопывал погонщиков, одного за другим. От чалмы, по плечам, вдоль ребер, тормоша накидку, рубаху, вислые шаровары. Чувствовалось, что тела этих обитателей пустыни состоят из одних костей. Всю плоть иссушил жар, сожгло солнце, оставив на черепе и на фалангах пальцев сморщенную черную кожу.

Солдаты не опускали автоматы, шурились на слепящий свет. Качался на виражах, описывал стрекочущие эллипсы вертолет. Другая машина в стороне трепетала винтами. Суздальцев, подойдя вплотную, чувствовал, как пахнут животные, сухой, исходящий от погонщиков запах дыма и блеклой материи, ровный жар накаленных тел, в которые впились бесчисленные лучики, отраженные от песчинок кварца. Испытал внезапную усталость, разочарование. Белуджи не были перевозчиками оружия. Дикие, чураясь встреч, скитались по пустыне, разбивая в безлюдных местах свои черные шатры, питаясь крохами, которые им дарила пустыня. Не им офицеры пакистанской разведки доверяют вести караван с драгоценным грузом. Не их обучают искусные инструкторы приемам борьбы с вертолетами, методам конспирации, тактике ближнего боя.

Солдаты осматривали поклажу. Протыкали мешки стальными штырями, прислушиваясь, не звякнет ли железо, не упрется ли штырь в железный ствол или мину. Солдат в наушниках водил кольцом миноискателя по полосатой материи, вслушиваясь, не запищат ли наушники, оповещая о спрятанном металле. Что-то слабо похрустывало от ударов штырей. Верблюды чмокали, брезгливо выставляя раздвоенные губы. Позвякивали бубенцы. Командир отряда выхватил из брезентовых ножен десантный нож. Провел по мешку снизу вверх, и оттуда вылезли, посыпались ворохи верблюжьей колючки. Топливо для очага, вокруг которого к вечеру, когда спадет жар, соберется семья белуджей, глядя на маленькое красное пламя.

— Собака афганская, — выругался Конь. Перекинул через плечо автомат. Зашагал по песку туда, где трепетал винтами борт "46".

Суздальцев почувствовал глухую ярость, слепое бессилье, ненависть к замыганному, избитому в кровь афганцу. Тот обыграл их, навел на ложный караван, отвлек от истинного следа. Позволил выиграть еще один день неуловимым моджахедам, которые, минуя оживленные тракты, обходя посты и заставы, тмянут свой груз на север. Туда, где скоро начнут падать вертолеты и штурмовики, и летчики, избегая потерь, страшась смерти, станут забираться в заоблачную высоту, откуда невозможно бомбить и стрелять.

Тот же гнев бушевал в майоре, который шагал по золотому шелку песков, вдавливая грубые отпечатки.

Солдаты залезали в вертолет, разочарованные и усталые, звякали по днищу автоматами, клали у ног гранатометы. Командир стянул кроссовку, сыпал на клепаное днище струйку песка, и из продранного носка вылезал палец с грубым ногтем. Пленники прижались друг к другу плечами, что-то говорили один другому. Гафар падал лбом на плечо Дарвешу, словно искал у брата защиты.

Борттехник хотел закрыть дверь, но Конь остановил его:

— Давай взлетай. Сам закрою.

Гуще, звонче зарокотали винты, всасывая машину в пустоту неба.

Конь рывком дернул с лавки Гафара.

— Твой, говоришь, караван? Обманул меня, пес! Не меня обманул, а Аллаха! А я его не могу обманывать! Обещал тебя наказать!

Он тащил Гафара к дверям, а тот уширался, семеня ногами, одна из которых была обута в калошу, а другая босыми гибкими пальцами старалась зацепиться за днище.

— Маму поцелуй! — через плечо майора, преодолевая шум винтов, кричал Гафар брату. — Маму поцелуй! — глаза его, похожие на черные ягоды, источали тоску, слезную нежность, черный, с золотой сердцевиной страх. — Скажи, я буду ее в раю встречать! Буду в раю встречать! Буду встречать!

Глубоко внизу волновались пески, в открытую дверь врвался тугой воздух. Майор подтащил Гафара к дверям, заслоня им светлый, ревущий проем. Суздальцев видел, как в глазах Гафара загорелась жаркая ненависть, золотистая огненная тьма, и он, напрягая на шею жилы, раскрывая разбитый рот, победно, со счастливым клекотом, крикнул:

— Аллах Акбар!

Майор с силой пихнул его, и тот, выпадая из вертолета, со связанными руками, с бурлящими шароварами, продолжал кричать из бездны:

— Аллах Акбар!

Суздальцев смотрел, как майор захлопывает дверь, набрасывая на ручку стальной хомутик. Дарвеш сидел, заломив за спину руки. Поднял вверх бороду и плакал.

Они возвращались из Регистана, избрав параллельный маршрут, безо всякой надежды обнаружить караван. Сброшенный с вертолета афганец был герой, мученик за веру. Но не вызывал у Суздальцева ни восторга, ни сострадания. Еще одна смерть, которая повлечет за собой другую, быть может, его, Суздальцева. Все они были включены в бухгалтерию войны, которая суммирует число смертей, набирая из них последнее, завершающее, после которого война, насыщенная смертями, стихает.

Он снова думал о докторе Хафизе, афганском разведчике, который скоро придет с караваном и доставит драгоценные сведения, после чего начнется разгром пакистанской сети, аресты в кишлаках, допросы и пытки пленных. Страна, в которой произошла революция и длилась война, была рассечена и расколота. Была черно-белой, как голова доктора Хафиза.

Они достигли края пустыни, песок стал распадаться на отдельные круглые барханы, желтые полумесяцы и исчез, сменившись каменными утесами, от которых ложились причудливые фиолетовые тени. Сверху утес казался плоским пятном, но его тень выдавала резной контур вершины, и казалось, кто-то старательно обводит утесы кистью с фиолетовой краской.

Суздальцев подошел к кабине. Борттехник сидел на железном насесте, укрепленном в дверном проеме. Уступил Суздальцеву место. Сквозь стекла кабины был виден летящий впереди борт "44", каменистая поверхность, где каждый каменный выступ был окружен фиолетовым мазком. Суздальцев, замороженный мерным рокотом, усыпляющим металлическим звоном, смотрел на проплывавшие тени, отыскивая в них сходство с изображением животных, предметов, человеческих голов. Он увидел губастого, с поднятыми ушами верблюда. Следом — свернувшегося, с мохнатой спиной кота. Угадал в фиолетовой тени пеликаний клюв и выступающий зуб. Одна тень была по-

хожа на кулак, сжимающий флаг. Другая, своими прямоугольными уступами — на мавзолей. Он углядел горбатый нос, оттопыренную губу, курчавую шевелюру, — узнал жильца дома, в котором проживал в детстве. Это был страдающий одышкой еврей, от которого пахло одеколоном, и который дарил ему при встрече завернутый в фантик леденец. Еврей давно умер, но не исчез, а переселился в пустыню. Он увидел полную, воздетую руку, которая принадлежала учительнице математики, когда та, стиснув пальцами мелок, рисовала на доске формулы. Учительница внезапно покинула школу, куда-то переехала, и теперь было понятно куда — в афганскую пустыню. Вдруг ему померещилась темно-фиолетовая прядь волос, округлая щека, мягкий овал подбородка, — это была часть лица Вероники, и если взглядеться в глубину фиолетовой тени, можно было угадать пунцовые губы, воздетые брови, страстные сияющие глаза.

Он вдруг увидел зыбкие огненные струйки, летящие от земли в сторону борта “44”. Вереницы раскаленных пузырьков, которые излетали из тени и мчались к вертолету. Там, откуда они излетали, мерцала колючая вспышка, словно работала электросварка. Так выглядело с высоты дульное пламя крупнокалиберного пулемета, чей ствол был поднят в зенит, а рукояти сжимали кулаки моджахеда, который выцеливал пролетающую пятнистую машину.

Трассы искали в небе вертолет Свиристеля, и тот, уклоняясь от попаданий, отшатнулся в сторону, косо сверкнул винтом и лег в просторный вираж, удаляясь от колючей зеркальной вспышки. Файзулин повторял его маневр, что-то выговаривая в шлемофон. Суздальцев всматривался в тень, откуда стрелял пулемет, различая какие-то постройки, смутные комочки, прилепившиеся к склону сопки. Это был малозаметный кишлак на краю пустыни, сиротливо притулившийся у подножья горки. Здесь могли обитать пастухи, охранявшие скудный колодезь, дающие приют выходящим из песков караванам. Могла остановиться на отдых боевая группа “духов”, собиравшая силы для очередного броска в кандагарскую “зеленку” — место непрерывных боев.

— Лёня хочет зайти на них, поскоблить из “нурсов”, — крикнул обернувшийся Файзулин, и на лице его было особое шальное выражение. Такое бывает у мальчишек, которые подкрадываются к дикой кошке, чтобы свистом гнать ошалелое животное.

Суздальцев надел оставленный борттехником шлемофон, и в ушах забулькало, зашипело, измененный электроникой голос Свиристеля произнес:

— “Сорок шестой”, пройдешь следом, поработаешь пулеметом, язви их в качель! За Мишу Мукомолова, понял, “сорок шестой”?

— Понял, “сорок четвертый”, вас понял! За Мишу Мукомолова поработаю!

Обе машины удалились от стреляющей горки, сделали круг и стали к ней приближаться. Борт “44”, идущий ниже, осторожно менял курс, словно выбирал в небе место, из которого удобнее нанести удар. Они шли вдоль гряды, тень от которой напоминала зазубренную пилу. Суздальцев увидел, как из фиолетовых зубьев полыхнула молния, снизу вверх хлынули раскаленные струи, плеснули огненные ручьи. Погасли в пустоте, не задев вертолет. Снова возникли, сосредотачивая свой поток на пути вертолета, который шарахнулся, стал уходить из-под огня. Так могла стрелять сдвоенная зенитная установка, “зэгэу”, которую “духи” устанавливали в кузове грузовичка, позволявшего быстро, после произведенных выстрелов, менять позицию.

— По тебе стреляют, “сорок четвертый”! Лёня, уходи влево, — звучал в шлемофоне, окруженный хрипами, голос Файзулина.

Вертолет уходил из-под огня, а длинные щупальца хватали его в небе, впрыскивали красную жижу, подбрасывали, а потом отпустили и ушли в сторону, исчезая в бесцветной пустоте. Вертолет уходил, окруженный дымом, с исчезающим блеском винта.

— “Сорок шестой”, я ранен, сажусь! Прикрой, Равиль!

— Лёня, Лёня, держись!

Файзулин летел следом, и казалось, он хочет поднырнуть под падающий вертолет, удержать его в воздухе, унести прочь от смертельных очередей.

Суздальцев чувствовал эту страстную устремленность, видел, как наклоняется вперед Файзулин, отчаянно торопит машину, тянется к другу, хочет закрыть собой.

И внезапная, ослепляющая, как прозренье, мысль. Это он, Суздальцев, передал Свиристелю вместе с часами свою судьбу. Он наделил его своей смертью. Он находится сейчас в горящей машине, тянет на себя рукоять. В его гибнущем теле кровоточит смертельная рана. И надо отозвать эту смерть обратно, взять ее на себя, вновь вернуть Свиристелю его счастливую долю, его удачную судьбу, его жадное стремление жить. Но не было сил, не было воли и мужества. И, зная, что совершает неотмолвимый, подобный убийству грех, он отстранялся, отталкивался от дымящего вертолета. Спасался от смерти, оставляя в ее объятьях другого.

Словно отыскав подбитую машину по предсмертному возгласу, вновь заработала зенитка. Точно, без промаха, всадила в вертолет два параллельных жидких огня. Пилила фюзеляж, из которого валил дым, сыпались искры, и машина начинала жутко вращаться, заваливалась. Из черной копоти тоскливым птичьим криком прозвучало:

— Прощайте, мужики! — кончился треск в шлемофоне.

Вертолет падал, а его до земли провожали струи огня, пока он не рухнул. Пятнистый, перевернутый корпус. Черные колеса шасси, словно скрюченные птичьи лапы. Отлетающая жирная сажа.

Все это видел Суздальцев из кабины, когда они прошли на “бреющем” сквозь дым подбитой машины, пропуская рядом спаренную трассу зенитки. И чувство облегчения — смерть его миновала. И чувство позора — он повинен в смерти другого.

Подбитый борт “44” дымил на склоне, и Файзулин посадил машину у подножья, на каменистую площадку, из которой выступали зубья черного кварца. В открытую дверь первым кинулся командир спецназа, выманивая солдат, но не послал их к подбитому вертолету, а уложил полукругом, пряча за камни, создавая круговую оборону. Майор Копь, захватив автомат, шурясь от гремящих винтов, побежал вверх, туда, где чадил пятнистый фюзеляж. Суздальцев, испытывая тоску, толкаемый чувством вины и каким-то отчаянным суеверным бесстрашием, бросился догонять майора, вырываясь из вихря жгучей кварцевой пыли. За ними большими скачками бежал командир группы и пятеро солдат с гранатометами. Они бежали вверх, приближаясь к вертолету, когда сверху, от вершины, ударили очереди. Выбивали из кварца черные брызги, и все, кто бежал, упали на склон, зазмеились, выбирая лунки и камни, защищавшие их от выстрелов. Очередей становилось больше. Суздальцев видел, как на вершине скапливаются “духи”, — их белые и голубоватые балахоны, пузырящиеся в беге шаровары, пышные матерчатые ворохи на головах. Одни стреляли, присев, от живота. Другие бежали вниз, были видны их бороды, развешенные накидки, поблескивающее в руках оружие. Весь склон был в бегущих моджахедах, которые возникали на вершине, задерживались, выпускали наугад автоматные очереди и начинали сбегать вниз, туда, где чадил вертолет.

— Козлы бородатые! — хрипел майор, стреляя из-за камня и снова прячась, загоняемый очередями за каменный выступ. Солдаты ударили из гранатометов, и было видно, как взрывались на склоне гранаты, и одна, срикошетив, отскочила и лопнула в воздухе. Там, где вспыхивали короткие взрывы, упало несколько атакующих, но их оббегали, стремясь к дымящему вертолету.

Суздальцев понимал, что те добегут первыми, захватят тела и машину. Беспомощно оглянулся, сознавая бессмысленность своего порыва, который кончится неминуемой гибелью. При этом продолжал верить в свою неуязвимость, как если бы смерть уже израсходовала себя, забрав Свиристеля.

Он увидел, что вертолет, в котором остался Файзулин, блестя кабиной, оторвал от земли колеса. Завис, закачался, колыхаясь с бока на бок. Из-под брюха пышно польхнуло огнем. Хрипло ударило. Над головой пронеслась ревущая лавина огня, впилась в гору. Склон вскипел, забурлил, вышвыривая расплавленный камень, изрыгая душное пламя. Залп “нурсов” накрыл

гору. Когда дым начал вяло стекать с горы, Суздальцев увидел, что повсюду лежат разбросанные люди в чалмах и накидках, изуродованные ударом. Другие цепко карабкались на склон, бежали, не оглядываясь, скрываясь на вершине.

— Хорошо врезал Файзуля! — майор Конь вскочил, набычив лысую голову. Тяжело побежал, как бегут в гору лыжники, широко расставляя локти. Суздальцев кинулся следом.

Вертолет лежал косо, помяв винты, изогнув завитком хвост. Пятнистый фюзеляж был вздохмачен попаданиями. Входные отверстия вгоняли металл внутрь, выходные были окружены алюминиевыми лепестками. Дверь была сорвана, и из проема валила мутная гарь. Суздальцев, вслед за майором, проник в отсек и увидел на днище борттехника, окруженного тлеющими огоньками и струйками дыма. Он был жив, лежал на спине, совершая волнообразные движения, как если бы по нему прокатывалась непрерывная судорога. Оба летчика были мертвы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Грузовик с телами въезжал в расположение части. Навстречу гурьбой торопились вертолетчики, шли офицеры штаба. Стоял на крыльце под линялым флагом командир батальона. Из столовой, из помещений кухни и прачечной выходили женщины. Внезапно в солнечной пустоте, где чуть слышно рокотал грузовик, истошно, по спирали, взвился крик:

— Леня, Ленечка! Ты жив, ты жив! — расталкивая женщин, из столовой выбежала Вероника. Косынка съехала с черных волос. Глаза, слепые от ужаса, смотрели на грузовик. Руки были вытянуты вперед, будто она издалека хватала грузовик, цеплялась за дощатые борта, падала на доски кузова, на которых лежали убитые, и стояли на коленях военврач и фельдшер, держа над раненым борттехником капельницу. — Леня, ты жив, ты жив! — Вероника бежала за грузовиком, а ее останавливали подруги, обнимали, силой уводили вглубь строений, где на солнце висели сухие стиранные простыни.

Суздальцев пришел в офицерский модуль, в свою комнату. Сбросил пыльные ботинки. Сwoлок окровавленную куртку и брюки. Упал на кровать. Лежал, сжав веки, под которыми плыли и сталкивались видения. Фиолетовые тени, напоминавшие людей и животных. Красные волдыри пустыни. Черные, как вар, лица погонщиков. Кисточки крашеной шерсти на шеях верблюдов с подвешенными бронзовыми колокольчиками. Падающий на камни, с кудрявым дымом, вертолет. Огоньки, перебежавшие по телу борттехника. Вырванный, на красной нитке, глаз Свиристея. И неотступно, еще и еще — черная, глянцево-красная, с малиновой сердцевиной калоша.

Зрелища возникали, менялись местами, накладывались одно на другое, словно крутилась разноцветная карусель. Он переносился из одной люльки в другую. Перескакивал с пыльно-коричневого верблюда на пятнистый вертолет. Из грузовика с откинутыми бортами в черную, с малиновым зевом калошу. Голова плыла от вращения карусели, он не мог остановить дурное кружение, зная, что оно вызвано кружением земли.

Забывая, словно его умаяли летящие по кругу видения. Очнулся, когда небо за окном начинало зеленеть, и мимо модуля, стуча башмаками, прошагал взвод охраны. Отчужденно, словно вернулся после долгого отсутствия, он оглядел свою комнату. Над кроватью, на грубом ремне висело старинное афганское ружье с коваными деталями, “полкой” для пороха, щербатым от времени смуглым стволом. Над столом красовалась карта Афганистана с линиями караванных путей, пролежавших из Кветты через пустыню Регистан к Кандагару и на север, к Герату. На подоконнике лежала газетная кипа. Переложенные газетами, хранились засушенные растения, собранные им в афганских горах и пустынях. Драгоценный гербарий, запечатлевший на узорных листьях, линялых цветах и душистых корнях таинственную страну, где ему суждено воевать и, быть может, расстаться с жизнью. На столе —

электрический чайник и трофейный кассетник, и тут же, с лысым стволом и облезшим прикладом, автомат, который он не успел поставить в угол.

Он лежал и думал о провале операции. Надежд на перехват каравана со “стингерами” почти не осталось. Окончательным свидетельством провала должны были послужить сообщения о сбитых в районе Герата вертолетах и самолетах, о потерях среди летного состава. Эти потери не изменят ход войны, лишь внесут в нее дополнительное остервенение и жестокость. Его, Суздальцева, остервенение и жестокость.

В дверь постучали. Прапорщик Корнилов просунул свое сонное, грубо слепленное лицо, напоминавшее картофельный клубень:

— Товарищ подполковник, товарищ майор послал доложить, что баня готова. Он уже в бане. Так что просил звать.

Суздальцеву вдруг захотелось смыть с себя пыль пустыни, набившиеся в поры гарь и чужую кровь. Совершить омовение, в котором пар, кипяток и хлесткие удары веника выжгут навязчивое и больное чувство, что это он, Суздальцев, повинен в смерти Свиристея. Он обменялся со Свиристеем часами, поместил его в роковой для себя отрезок времени, в котором смерть настигла не его, а другого. Это было тихое безумие, которое рождало не боль, не раскаяние, а реликтовую тоску, которую испытывал дикарь под бубен шамана, вручая ему свою душу.

— Скажи майору — иду!

Баня размещалась в отдаленном углу гарнизона, была окружена саманной стенкой. Парная, сбитая из зарядных ящиков, тщательно отшлифованных, без маркировки и краски. “Каменка” из железной бочки, полная металлически-серых, напоминавших метеориты камней. Брезентовый тент от солнца, под которым находились деревянные лежаки, все из тех же зарядных ящиков, накрытые серыми шерстяными одеялами. Небольшой округлый бассейн, выложенный изразцами от разрушенной мечети, нежно бирюзовыми, с геометрическим орнаментом и арабской вязью. Это было единственное место, где душа отдыхала от изнуряющих пустынь, серой брони, стреляющих сопок.

Майор Конь уже побывал в парной, сидел на лежаке, красный, умягченный, с бисером на лбу, выпученными голубыми глазами. Поглаживал голый череп, которому досталось от раскаленного жара.

— Ну, Корнилов, ну, зверь! — говорил он, поднося к губам пшальку зеленого чая. Громко всасывал, с наслаждением выдыхал, все больше покрываясь блестящими каплями. — Я тебе говорил: “Приготовь баню, а ты — коптильню!”

Прапорщик Корнилов совлекал с себя тусклую, пепельного цвета одежду, обнажая великолепное, с рельефной мускулатурой тело, покрытое ровным загаром. Слово он был завсегдатаем морского курорта, где пляжные атлеты демонстрируют эллинские бицепсы, икры и дельтовидные мышцы. На его груди, покрытой белесой шерстью, красовалась татуировка — орел распростер крылья до самых подмышек. Когтистые лапы сжимали геральдический щит с аббревиатурой “ОКСА”, что означало “Ограниченный контингент Советской армии”. Совершенное античное тело увенчивала невыразительная бутристая голова, словно до нее не добрался скульптор и оставил ее в виде неоконченной заготовки.

— Да, скажу я тебе, Петр Андреевич, банька — единственная отрада человеку, которого, Бог знает за какие провинности, засунули в эту дыру и держат здесь, как собаку. Ни тебе красивых дам, ни изысканных вин, ни благородных разговоров. Одно свинство. Но банька — она и дама, и букет в благородном вине, и изысканный собеседник. Вот посмотришь. Когда Афганистан станет советской республикой, на этой баньке повесят мраморную доску с надписью: “Здесь мыл свое брненное тело майор Конь, который проклял эту долбаную страну, а она прокляла его”. Давай, Петр Андреевич, вкуси первый парок!

Суздальцев разделся, захватил простыню. Стыдясь своей наготы, открыл дверь парной, сунулся в туманное золотистое пекло. Почувствовал, как лизнули его огненные языки. Положил простыню на доски, сел и ссутулился,

глядя на свои голые ноги. Железная бочка была полна седых от жара камней. От них, извлеченных из расплавленной сердцевины земли, шел ровный испепеляющий дух, от которого доски зарядных ящиков стали сухими, звонкими, с проступившими каплями смолы. Тело, соприкасаясь с прозрачным пламенем, начинало таять. Из него вытапливались больные соки, улечивались страхи, испарялась усталость, умягчались узлы и рубцы. Оно покрывалось стеклянной пленкой, блестящей оболочкой, как сосуд, в который незримый стеклодув посылал свой огненный выдох. Суздальцев чувствовал, как его сотворяют вновь, создают ему новую плоть, вдувают новую сущность. Он был благодарен тому, кто столь заботлив к нему, не оставляет в своих попечениях на этой азиатской войне, возвращает утраченные веру и силы.

Дождавшись, когда сердце стало расширяться от жара, высочил из парной и кинулся в бассейн, слыша звон воды, погружаясь в лазурь, чувствуя восхитительный холод. Кто-то целовал его нежными прохладными губами, покрывал поцелуями лицо, плечи, грудь. Мимо глаз текли изразцы разгромленной мечети, на них завивались куделью арабские письма. Он прочитал обрывок надписи: “Чтоб укрепить ваши сердца и этим утвердить ваши стопы...”. Священный текст, разорванный попаданием снаряда, был извлечен из молебельни и вмурован в пол офицерской бани. На него наступали ноги, истертые о броню, о камни пустыни, попирали его. Но и попираемый, текст продолжал оставаться священным. Был обращен и к нему, Суздальцеву.

В парной прапорщик Корнилов, подпоясанный простыней, играя мускулами, охаживал эвкалиптовым венником майора, который выл, фыркал, хрипел от наслаждения и боли, словно прапорщик пытал его, как это он делал с пленниками, полосуюя вздрагивающее тело ременной плетью. Орел на груди банщика махал крылами, эмблема “ОКСА” ходила ходуном. Майор выпучивал дико голубые глаза, вздрагивал толстой спиной, на которую от ударов ложились розовые рубцы, орал:

— Корнилов, бей своих, чтобы чужие боялись! Корнилов, зверюга, шибче!

Суздальцев дождался, когда оба они, с набрякшими телами, покинут парную и плюхнутся в воду. Уселся на горячие доски, на которых высохли и сворачивались тонкие листья эвкалипта. Взял венник, завезенный в пустыню из субтропиков Джелалабада, где вызревали диковинные плоды и цвели благоуханные розы. Стал легонько похлестывать себя ворохом листьев, пахнущих смолой, оставляя на теле не больные ожоги, а розовые нежные пятна. Кропил себя душистыми каплями, умачал благовониями, и ему казалось, что тело, сотворенное волшебным стеклодувом, покрывается тончайшими узорами, изысканными письменами, в которых содержатся всё те же вечные истины и божественные смыслы.

Баня в этой жестокой пустыне, где горели вертолеты и умирали от взрывов люди, была молебельней, в которой воскресал его сокрушенный дух и умягчалось очерствелое сердце.

Они лежали под брезентовым тентом, над которым гасло бирюзовое небо, и вода в бассейне, успокоенная после падающих тел, казалась слитком зеленого стекла. Приготовленный прапорщиком чай благоухал мятой и горечью трав. Был целебным отваром, для которого изрезанная гусеницами и обожженная взрывами земля сберегла свои жизнотворные силы. Продлевала существование людей, словно надеясь на их преображение.

Прапорщик принес кальян из розового стекла, запалил огонь, насыпал табак, смешанный с дурманым зельем. Майор Конь, прикрыв чресла простыней, потягивал пьяный дым, блаженно закрыв глаза, почмокивал мундштуком.

— Ах, Петр Андреевич, какого блаженства себя лишаешь. Если бы знал, что видят глаза и слышат уши, — майор мечтательно сомкнул веки с белыми жесткими ресницами, выпустив душистый дымок.

— Что видишь, что слышишь? — Суздальцев смотрел, как отлетает дымок, как вскипает пузырьками кальян, чувствуя, какое блаженство испытывает этот ожесточенный, огрубевший человек, не шадивший на войне ни себя, ни других.

— Представляешь, как будто передо мной листают книгу с персидскими миниатюрами, “Бабурнаме” или “Шахнаме”. Если бы ты знал, как я любил в университете перелистывать эти дорогие фолианты, отпечатанные в Англии. Вижу великого Бабура, который мчится на белом жеребце в погоне за розовыми антилопами. Охотники с седел стреляют из изогнутых луков. Грациозные лани перескакивают через горный ручей. Вижу великолепный пир, на коврах восседают гости, множество драгоценных блюд и сосудов, музыканты играют на тонких дудках, и босоногая танцовщица усаждает гостей своим восхитительным танцем. Еще вижу дивный сад с кустами роз, с зелеными деревьями, на которых поют райские птицы, и задумчивый поэт гуляет по тропинкам сада, складывает рифмы о великом царе. — Майор Конь, не открывая глаз, улыбался, и из его улыбающихся губ сочилась дымная струйка, напоминавшая арабский завиток.

— Я ведь тебе говорил, что окончил университет, истфак. Диплом на тему: “Этика жизни и смерти в персидской поэзии”. Писал стихи на фарси. Ты можешь не верить, но я выучил наизусть множество глав из “Шахнаме” по подлиннику, что хранится в Британском музее.

— Почитай что-нибудь, — попросил Суздальцев, любуясь на недвижимую, словно камень, драгоценную воду, в которой отражалось бирюзовое небо и застыли лазурные изразцы.

— Слушай, дорогой подполковник, мудрость востока, к которой нам с тобой посчастливилось прикоснуться — Конь открыл глаза, в которых странно переливались бирюза и лазурь. Всплеснул рукой с неожиданной грацией, как если бы перелистывал страницы старинной рукописи с утонченной миниатюрой. Стал читать на фарси, удивляя Суздальцева изысканностью произношения, передающего музыку аристократического стиха.

Никто не вечен, хоть живи сто лет.

Всяк осужден покинуть этот свет.

И будь то воин или шах Ирана,

Мы дичь неисчислимого аркана...

Наступит время, всех нас уведут

На некий Страшный, на безвестный суд.

Длинна иль коротка дорога наша, —

Для всех равно. Дана нам смерти чаша.

Как поразмыслить, то сейчас навзрыд

Оплакать всех живущих надлежит.

— Понимаешь, подполковник, всех! И тебя, и меня, и Свиристеля! И этого Гафара, который упал с вертолета! И Дарवेशа, которому я завтра вставлю в зад электрод! Всех нас надлежит оплакать горькими молитвенными слезами. Но пред этим всех расстрелять! И тебя, и меня, и эту собаку Дарवेशа, который заставляет меня, знатока восточной поэзии, мечтателя и философа, вставлять ему в задний проход электрод! И доктора Хафиза, которого нелегкая принесет из Кветты, и мы должны будем разгрести их афганское дерьмо! Ненавижу! — он крутанулся на лежаке, так что хрустнули кости и сильней покраснели нанесенные эвкалиптом рубцы. — Ненавижу эту чертову страну и этот чертов восток! Ненавижу их хари, их бороды, их воющее тряпье, их лживые глаза, в которых собачий страх и одновременно презрение! — майор сел, набычив голову, с гуляющими на шею жилами. — Я допрашивал эту суку Гафара, бил палкой по пяткам, наплевывал на голову пакет, топил в ведре, рвал у него на глазах Коран. Он не выдал тайну. Он герой, мученик. А я злодей. Я, русский офицер, интеллеktуал, востоковед, должен возиться в дерьме, чтобы потом всю жизнь себя ненавидеть, скрываясь под чужим именем, как военный преступник. Вот через несколько дней приедет с караваном твой легендарный доктор Хафиз, и мне опять участвовать в облавах, нюхать эти зловонные шаровары, слушать эту брехню, которые они повторяют под палками. Себя ненавижу, их ненавижу, эту чертову страну ненавижу, эту гребаную войну! Сбросить бы сюда атомную бомбу, чтобы разом накрыло и нас и их, и это по-божески! Ненавижу!

Он вскочил, рухнул в бассейн, распахнув воду, так что она хлынула через край. Ушел, пузырясь, на дно и лег среди расколотых изразцов и священных надписей. Ненависть выходила из него серебряными пузырями.

Суздальцев вернулся в свой модуль и, перед тем как улечься спать, сделал в рабочий журнал несколько кратких записей. Умозаключения по поводу последних донесений из Кветты доктора Хафиза. Анализ радиоперехватов. Краткое описание сегодняшнего полета в пустыню. Предполагаемый маршрут завтрашнего, вероятно, завершающего полета, от колодца Бахадир до приграничного, у самого Пакистана, колодца Зиарати-Шах-Исмаил, после которого тематика “стингеров” закрывается, передается в разведотделы Герата и Шинданта. А он и его помощник Конь станут ждать возвращения из Кветты доктора Хафиза и вместе с офицерами “хада” начнут выкорчевывать пакистанскую сеть. Облавы в кишлаках, аресты, дознания.

Он представил себе красивое, с белозубой улыбкой лицо доктора Хафиза, с которым познакомился в разведшколе в Ташкенте. Должно быть, так выглядели черноусые воины Бабура, атакующие врагов на белых слонах. Или гордые ликами ратники Александра Македонского, пришедшие из Эллады в оазисы Кандагара и Герата. Доктор Хафиз доставит драгоценную информацию, а сам вернется в Кветту с попутным караваном, где его, быть может, ждет разоблачение, пытки в пакистанской контрразведке.

Некоторое время он сидел под лампой, чувствуя, как блаженно дышит, после всех злоключений, его усталое тело, с которого огненный пар, эвкалиптовый эликсир и лазурная влага смысли дневные кошмары и мучительные наваждения. Кончилось его раздвоение. Кончилось помрачение, связанное с переселением душ. Он был равен себе самому, немолодому, усталому, не слишком удачливому подполковнику военной разведки, уцелевшему и на этот раз в ходе боевой операции. “Сейка” в облупленном, из фальшивого золота корпусе отсчитывала общее для всех на этой войне время, из которого выпадали, но не могли его остановить отдельные жизни. Суздальцев выключил лампу и лег в кровать, готовясь уснуть, слыша, уже в полусне, отдаленный печальный выстрел, действующий как капля снотворного.

Увидел, как дверь в его комнату растворилась, и появилась тень. Остановилась у порога, зыбкая, неразличимо-темная, готовая скользнуть обратно.

— Кто? — спросил он, приподнимаясь. От порога шагнула к нему и быстро уселась на край постели Вероника, вся в темном — то ли в платье, то ли в нижней сорочке. Ее черные волосы в слабом свете окна блестели. Также блестели, дрожали, влажно переливались глаза. Ее лицо, голые, перехваченные бретельками плечи, обнаженные руки оставались светлыми. И он чувствовал, как от этой, не покрытой тканью белизны исходил жар, горячее больное волнение. Казалось, она дрожит в мучительном ознобе, ее бьет дрожь, она явилась к нему, находясь в бреду, перепутала дверь, слепо заблудилась.

— Вероника, ты?

— Расскажи, как погиб Лёня! Ты видел, как он погиб? Его не могли убить! Я поливала клумбу. Он меня все время просил: “Поливай, Вероника, и я не погибну!”. Он жив? Ну, скажи, он жив?

Она наклонялась к Суздальцеву, старалась в темноте разглядеть его лицо, старалась узнать в нем Свиристея. И Суздальцеву казалось, что он снова сходит с ума. Недавнее наваждение вернулось. Его опять подменили. Его сущность опять переселилась в другого, того, кто с раздробленной головой лежит сейчас в холодной яме, накрытый брезентом. А тот, в кого угодил снаряд, тот не умер, а живой, дышащий, сидит в распахнутой постели. Женщина своим первобытным чутьем угадала в нем любимого, пришла на ночное свидание.

— Я всё знаю. Я же колдунья, цыганка. Вы поменялись часами. Ты, ты погиб вместо Лёни, а Лёня жив, жив. Вместо тебя живет. Ты Лёня! Ты Лёня! Ты Лёня! — она жарко шептала, и ее сумасшедший шепот был колдовским заговором, шаманским клетотом, неистовым бредом, которым она отрицала смерть любимого человека, перекладывала эту смерть на Суздальцева, убивала его. Воскрешала своего жениха, своего ненаглядного.

Она протягивала руки, быстро, жадно ощупывала его лицо, стараясь угадать знакомые черты, гладила его голову, стараясь отыскать на ней хохолок.

— Вероника, да это я, Суздальцев. Я видел, как погиб Леонид, — он отстранялся, боялся ее ищущих рук. Она казалась пьяной. Быть может, накурилась того дурманного зелья, что продают на рынке расторопные торговцы в чалмах. Костяной ложечкой подцепляют из коробки. Бросают на медную чашку весов косматую щепотку сухой травы. И если ее заварить и выпить из белой пиалки. Или положить в кальян и сладко вдыхать. Или просто жевать, проглатывая терпкую слону. Ты почувствуешь, как улетучивается твоя бременная плоть, как чудесно исчезает время, как пропадают имена, и мир становится восхитительным виденьем, волшебным отражением в округлом стеклянном сосуде, висащем на трубочке стеклодува.

— Мишу Мукомолова любила, он обещал меня в жены взять. Говорил: “Вернемся в Союз, разведусь, буду с тобой жить. Уедем в Крым. Мы “чеки” с тобой скопили, купим квартиру, машину, заживем”. Вот и зажили! Мишу Мукомолова в фольгу завернули и к жене отправили. Потом с Лёней Свиристым сошлись. Как он меня любил! Называл: “Цветочек мой, Вероничка”. А я его: “Лёнчик, мой летчик”. Говорил мне: “Вернусь в Союз, разведусь с женой, ты мне будешь жена. Уедем в Сибирь, я армию брошу, стану геологов на вертолете возить. Купим машину, квартиру. Ты мне детей родишь”. Вот и родила! Завтра Лёню в фольгу завернут и к жене отправят. И тебя отправят! Смерть вам жена. А вы ей мужья!

Она сжимала Суздальцеву руку, и он чувствовал, как из ее пальцев льются в него безумные горячие токи, от которых ему становилось дурно, сладко, безумно, и он в ответ сжимал ее руку.

— Лёнчик, мой летчик! Ты жив! Ты жив! Ты жив! Ты жив!

Она потянула вверх сорочку, и на поднятых руках зашелестел, затрепетал розовый невесомый сполох. Внезапным ночным зрением он увидел ее наготу. Близкий дышащий живот с темной лункой пупка. Выпуклое, с фарфоровым отсветом, бедро. На ее воздетых руках еще трепетал розовый разряд электричества, а он уже видел темную кудель у нее подмышкой. Близкий, темный треугольник лобка. И ту отчетливо различимую границу загара, ниже которой начиналась светлая ложбинка, разделявшая полные груди с черными, как оливки, сосками.

Она сбросила с поднятых рук сорочку, сильно, душно легла на него. Жадно целовала, бормоча бессмысленно и безумно, погружая и его в душевное, слепое безумие, в торопливое бормотание, в котором его губы, задыхаясь, сами собой выговаривали: “Цветочек мой, Вероничка!”

Она ушла, не прощаясь. А он лежал, не ведая, что сотворил. Украл у мертвого товарища женщину или, напротив, продлил мертвецу жизнь...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Офицеры стояли перед штабом, на котором был приспущен линялый розоватый флаг, изъеденный песчаными бурями и ядовитым солнцем. В стороне собрались гарнизонные женщины — поварихи, прачки, официантки, и среди них Суздальцев видел Веронику, ее черный платок, темные, в слезном блеске глаза. И вторая большая мысль — эту женщину он вчера обнимал, видел ее напряженную спину с глянцевиной от пота ложбиной, подставлял ладонь под тяжелую горячую грудь с плотным соском. А в это время ее любимого заворачивали в жуткий серебрянный фантик, склеивали скотчем фольгу. И от этой мысли — головокружение, словно от толчка, колыхнулась под ногами земля.

Комбат произнес прощальную речь. Караульный взвод разрядил в воздух автоматы. Вертолетчики подхватили носилки и понесли с плаца на выход, мимо мешков с песком, мимо свалки с консервными банками, к площадке, на которой стояли две вертолетные пары. Одна из них с “грузом 200” поднялась и потянула к Кандагару, к рейсу “Черного тюльпана”, а другая, с бортовыми номерами “46” и “48” осталась в распоряжении батальона на случай экстренного боевого вылета.

Солдаты ушли в казармы, офицеры возвращались к картам, телефонам, к рутинной гарнизонной работе. Суздальцев догнал Веронику, которая всё смотрела в пустое небо, где растаяли вертолеты.

— Я хотел тебе сказать... — он попробовал тронуть ее загорелую руку. Она отшатнулась, дико на него посмотрела:

— Уйди! Ненавижу! — и почти побежала прочь. А он, чувствуя бритвенный надрез, оставленный на лице ее взглядом, угнетенный, зашагал в сторону глинобитного строения, где проводились допросы пленных.

В комнате с саманными стенами находились все тот же стол, табуретки, потресканный, в пластмассовом кожухе телефон, цинковое ведро с водой, плавающая в ней кружка, сложенная простыня с чернильным штемпелем. В комнате уже был майор Конь, в спортивном костюме, пахнувший после бритья одеколоном. Два прапорщика, Корнилов и Матусевич, одинаково большие, с круглыми тяжелыми головами, какие бывают у скифских каменных баб с едва различимым носом, ртом и бровями.

— Петр Андреевич, или мы сегодня получаем информацию и летим на “реализацию”, или можно писать рапорт начальству о провале операции и ждать, когда карающая рука сковырнет с наших погон звезды и поставит на нашей карьере кресты. — Майор был зол, под глазами набрякли мешки. Было видно, что после вчерашней бани он еще пил, и его мучает жажда. Он черпнул из ведра кружкой. Жадно глотал, проливая воду на грудь.

— Свиристея сбил не “стингер”, а двуствольная зенитка, — Суздальцев смотрел, как у майора из углов рта текут две водяные струи. — Есть надежда, что ракеты все еще не пересекли пустыню. Ясно, что Гафар, которого ты выкинул из вертолета, тянул время. Пожертвовал собой, чтобы выиграть еще один день. Значит, на счету у них каждый день. Значит, караван с ракетами уже в пути, и у нас в запасе есть сутки-другие. Допросим Дарвеша, пусть выдаст маршрут. Доктор Хафиз указал на обоих братьев, как на ключевые фигуры в транспортировке ракет.

— Я, конечно, не имею счастья быть знакомым с доктором Хафизом, — Конь кинул кружку в ведро, и она поплыла, тихо звякнув о цинковый край. — Когда мы, наконец, познакомимся, я спрошу у него, почему его наводки оказались фальшивками, и вместо ракет нам досталась резиновая калоша.

Суздальцева удивило, что майор, как и он, заметил оставшуюся на вертолетной площадке калошу. Ее блестящую резиновую поверхность и алое нутро, из которого вчера, во время ночного безумья, вырвалась ослепительная вспышка.

— Доктор Хафиз вернется из Кветты через несколько дней, и ты его можешь спросить, — отозвался Суздальцев. — Давай ближе к делу.

— Корнилов, черт тебя дери, веди сюда этого афганского Олега Кошевого, — зло приказал майор.

Кулак прапорщика толкнул Дарвеша в комнату для допросов, и сразу же распространился запах прели, пота и чего-то еще, едкого, как муравьиный спирт. Руки афганца были скручены за спиной. Под рыхлой грязной чалмой срослись густые черно-синие брови. Сильный мясистый нос выступал из черных усов и бороды, похожих на затвердевший вар. Глаза с красноватыми белками полыхали яростной тьмой, в которой страх и ненависть менялись местами, отливая фиолетовым, золотым и огненно черным. Среди этой бушующей тьмы оставалась неподвижной крохотная точка в середине зрачка, которая, казалось, вела в иное, таинственное, по другую сторону глаза, пространство, в которое не было доступа Суздальцеву.

— Ну, садись, — Конь грубо толкнул афганца на табуретку. — Привет тебе от брата Гафара. Он велел передать, что очень жалеет по поводу того, что обманул меня. Сейчас он лежит на песке в пустыне, и за ночь лисицы съели его лицо, желудок и отгрызли яйца. Он говорит, что та лисица, которая отгрызла яйца, долго плевалась и кашляла.

Конь сверху вниз смотрел на пленного, как смотрят на футбольный мяч, по которому скоро ударят. Дарвеш задрал вверх бороду, так что обнажилась жилистая шея с крупным кадыком.

— Мой брат Гафар в раю и слушает блаженную музыку, от которой забываются все земные боли и невзгоды.

— Я готов тебе устроить свидание с братом, но тогда что будет делать ваша больная мама, ваши жены и дети и весь ваш кишлак, на который случайно могут упасть бомбы? Давай лучше побеседуем, как друзья, ты мне кое-что скажешь, и я отпущу тебя к твоей доброй маме, к твоим родственникам, которые очень волнуются за тебя. Присылали человека узнать о твоём здоровье.

— Вы, господин, будете снова спрашивать меня о том, чего я не знаю. Будете бить меня, я буду кричать от боли, но вы не узнаете того, что хотите узнать. Потому что я это не знаю, — он шевелил пальцами в своих стоптанных сандалиях, и Суздальцев заметил, какие красивые, без мозолей, не изуродованные обувью у него пальцы с чуть видными черными волосками.

— Ну, хорошо, давай всё по порядку, — Конь сел верхом на табуретку перед пленным, наклонил свой голый, покрытый загаром череп и благожелательно стал спрашивать, как спрашивает у нерадивого ученика терпеливый учитель.

— Ты признался, что когда был в Кветте, ходил на базар и покупал верблюдов. Значит, ты готовил караван для перевозки через границу оружия.

— Никакого оружия, господин. Только товар. Китайская посуда, тайваньские часы, индийский стиральный порошок, радиоприемники из Гонконга. Только товар, господин!

— Тот, у кого ты покупал верблюдов, снабжает верблюдами моджахедов, перевозящих из Кветты оружие?

— Нет, господин. Верблюдов мне продал доктор Ахмед, которого все знают в Кветте. Он очень богатый торговец, у него несколько магазинов, он держит верблюжью ферму и занимается на рынке обменом денег.

— А как он выглядит, этот доктор Ахмед?

— Как все пуштуны, господин. Как я. Только одна половина головы у него черная, а другая белая, как будто ее посыпали мукой.

Майор Конь посмотрел на Суздальцева. Пленный не лгал. Доктор Хафиз, называвший себя в Пакистане доктором Ахмедом, жил под личиной богатого торговца, который снабжал верблюдами боевые группы моджахедов, перевозивших оружие. От доктора Хафиза исходили сведения, согласно которым два брата, Гафар и Дарвеш, были причастны к переброске “стингеров”.

— Не обманывай меня, Дарвеш. Наши разведчики есть в окружении доктора Ахмеда. Они слышали, как ты выбирал самых выносливых верблюдов, говорил, что эти верблюды должны быть сильнее вертолетов. Это значит, что они повезут ракеты, которыми можно сбивать вертолеты.

— Нет ничего сильнее вертолетов, мой господин. Вертолеты разрушили кишлак Хаш, где жила моя сестра, и в живых остались только собаки.

— В кишлаке Хаш только собаки и жили, — усмехнулся майор. — Ты мне скажи, Дарвеш, — когда и где пройдет караван с ракетами? Где ты должен был его встретить? У колодцев Ходжа-Али, Палалак?

— Не знаю, господин, о чем вы таком говорите.

— Корнилов, помоги вспомнить дорогому Дарвешу, — Конь встал с табуретки, ловким ударом отправляя ее в угол. — Поговори-ка с ним по телефону.

Прапорщик сбил с головы афганца чалму. Рванул с его плеч ветхую хламиду, и она с треском распалась. Усадил на стол так, что ноги его повисли. Стянул с него шаровары, обнажив белые, не ведающие загара ноги, с которых со стуком упали сандалии. Прапорщик Матусевич ловко и грубо распутал веревку на запястьях афганца, повалил его на стол и, посвистывая, прикрутил его руки и ноги к ножкам стола. Афганец лежал голый, широкогрудый, с литыми мускулами, вздернутой бородой и клочковатым черным пахом. Водил по сторонам выпуклыми ненавидящими глазами, издавая оскаленным ртом странный шипящий звук.

— Я тебе буду в телефон говорить: “Дорогой Дарвеш”. А ты мне отвечай: “Алло”. Только не громко, а то твоя мама услышит.

Корнилов поставил на табуретку растресканный полевой телефон. Размотал двухцветную жилу, разделенную на два провода — синий и красный.

К обеим проводам были припаяны медные пластины. Корнилов потер их наждачной бумагой, счищая зеленоватую окись, и шлепнул одну — на лоб афганца, другую — на его вздрогнувший живот. Прапорщик Матусевич с проворством санитаря подхватил лежащую на окне простыню, встряхнул. Накинул на живот афганца, пропустив концы под столом, стягивая в тугой узел. Распустил тряпичную чалму и туго обмотал голову пленника, прижимая ко лбу медную пластину.

— Пить охота, — сказал Конь, черная из ведра воду. Жадно пил, бурля в кружке ртом. Недопитую воду плеснул на простыню, которая пропиталась и прилипла к животу афганца. Корнилов подхватил ведро и плеснул на пленника. Тот охнул, напряг мускулы, вода текла на пол, и сквозь мокрую полупрозрачную ткань был виден темный пупок, медная пластина и курчавые волосы паха.

— Алло, дорогой Дарвеш, как слышишь меня? — майор схватил трубку полевого телефона. Прапорщик Матусевич извлек из углубления в телефонном корпусе ручку “динамо”, стал яростно, с хрустом, крутить. В ответ раздался истошный вопль афганца. Матусевич вращал рукоять. Из открытого белозубого рта рвался непрерывный крик боли. Глаза выдавились с красными, готовыми лопнуть сосудами. Тело дрожало и билось. Мускулы на плечах напряглись и вспотели. Сквозь мозг и распухшее тело, в желудок, в пах, в семенники била незримая молния. Майор, склоняясь над пленным, заглядывая в его выпученные глаза, кричал в трубку:

— Алло, Дарвеш, как слышишь меня? Скажи, дорогой, когда пойдет караван. Сколько верблюдов? Названья колодцев? Где и когда?

Матусевич отпустил ручку. Крик прекратился. Афганец бурно дышал, выплевывая слюну, и казалось, на его груди, там, где находилось сердце, набух волдырь.

— Соberись с мыслями, Дарвеш, и скажи, когда и где пойдет караван. Лучше скажи. Иначе я буду использовать тебя, как изолятор на электрическом столбе. Где и когда?

— Ничего не знаю... Не мучьте меня, господин... — вываливая распухший язык, произнес пленный. — Аллахом клянусь, ничего не знаю!

— Ну вот, опять телефонный разговор! — Конь приподнял трубку. Прапорщик Корнилов скинул рубаху, обнажил могучую волосатую грудь, на которой распростер крылья грозный орел. Схватил рукоятку телефона и стал яростно крутить, направляя в бурлящее тело афганца жуткую непрерывную молнию, от которой тот хрипел, дрожал щеками, издавал звериный рев, брызгая слюной.

Суздальцев чувствовал, что где-то в дрожащем теле присутствует знание, которое афганец невероятными усилиями удерживает в себе. Чужая боль вызывала у Суздальцева ответное страдание, которое он гасил уколами анестезии. Беззвучно повторял: “Так надо. Так надо”. Казалось, все в нем начинало неметь и гложуть. Но кто-то незримый, заглядывая в пыльное оконце, требовал: “Смотри!” И он смотрел на искрящую под мокрой простыней пластину. На бугрящийся пах, в котором судорожно поднималась в предсмертной похоти плоть. На махающего крыльями орла, схватившего когтями аббревиатуру “ОКСА”. На безумное, с хохочущими глазами лицо майора, который склонился над истязаемым и, казалось, впитывал его боль, его крик, его хрипящее дыхание.

— Хорош, — Конь остановил Корнилова, который отирал локтем взмокший лоб. — Ну ты, собака, последний раз спрашиваю, где и когда пройдет караван. Иначе я буду пропускать через тебя ток, пока ты не превратишься в аккумуляторную батарею. Где и когда, собака?

Афганец обмяк, его закрытые веки дрожали, в них скопился пот. Из губ на бороду текла кровавая слюна. Грудь дышала с переборами, будто сердце замирало, а потом начинало бешено биться.

— Не знаю, господин... — пролепетал он, ворочая синим искусанным языком. — Клянусь Аллахом!

— Давай, Корнилов, прочисть ему током кишки!

— Не надо, господин... Я скажу... Караван с ракетами вышел из кишлака Путлахан... Я должен его встречать у колодца Дехши...

— Когда должен встречать?
— Сегодня.
— Сколько верблюдов?
— Шесть.
— Сколько ракет?
— Не знаю. Мне сказали, чтобы я не боялся. Если к каравану подойдут вертолеты, их собьют ракетами.

— Спасибо, дорогой Дарвеш. Ты настоящий друг! — произнес Конь и по-русски, резко повернувшись к прапорщикам, приказал: — Этого козла с нами в вертолет! — хлопнул по плечу Суздальцева. — Вот, подполковник, как надо работать. Надо знать закон Ома. На входе — амперы, на выходе — информация. Айда к вертолетам!

Вертолетная пара с бортовыми номерами “46” и “48” готовилась к взлету. Отряд спецназа — всё те же солдаты в панاماх, длинноногий командир с туго набитым “лифчиком”, похожий на кенгуру, — грузили на борт гранатометы, миноискатели, рацию. Запрыгивали в отсек, усаживались на скамьях. Прапорщик Корнилов, в форме, в “лифчике”, с автоматом, подсадил в вертолет Дарвеша, и тот, истерзанный, в разорванной хламиде и в мокрой, просевшей чалме, бессильно рухнул на железное сиденье, уложив на колени длиннопалые, онемевшие от веревок руки. Майор Конь наставлял Файзулина и командира второго борта.

— В зону действия ПВО не входить. Выдерживать высоту и дальность. Дальность выстрела “стингеров” — до пяти километров, высота поражения — до трех с половиной. Увидишь караван, сразу на боевой разворот, и души всем, что есть, — Конь оглянулся на вертолеты, у которых барабаны были набиты снарядами, висели на подвесках ракеты, тускло отливали воронеными стволами пулеметы и пушки. — Давай сюда карту! — он водил по карте пальцем, указывая на ней кишлак Дехши, и от него сектор пустыни, где предстояло встречать караван. — Среди погонщиков находятся инструкторы, способные бить из “стингеров”. Что значит по-английски “стингер”, знаете? — пилоты мотнули головами. — “Жалящее насекомое”. Вроде шершня. В задницу укусит, и больше не сядешь.

— Постойм, — хмыкнул Файзулин, шлепнул себя по ягодицам и пошел к вертолету.

Они взлетели и взяли курс на солнце, слепившее кабину.

Суздальцев остро смотрел в пески. Ум был ясен, зрачки зорко следили, мышцы были тонкими, гибкими, готовыми к броску, к бегу. Стремительно приближался момент, искупавший долгие недели поисков, тягостные ожидания, злое бессилие. Не напрасны были допросы пленных, пытки электрическим током, гибель Свиристеля, безумная и преступная ночь с Вероникой. Не зря они неделями висели в огненном небе пустыни, расшифровывали радиоперехваты, изучали агентурные сводки доктора Хафиза. Весь размытый, расплывчатый рисунок борьбы сходилась в точку вертолетного удара, в огненный фокус победы. Суздальцев смотрел на приборную доску, на которой, среди циферблатов, были индикаторы ракетных пусков, залпов неуправляемых реактивных снарядов.

Два раза на оранжевых песках они видели занесенные остовы разбитых “тойот”, — тех, что месяц назад подбил Свиристель по точным наводкам доктора Хафиза. Следы от машин исчезли, запорошенные песком. Сами “тойоты” казались окруженными туманным облачком, словно вокруг них дымились бесчисленные песчинки.

— Лёня поработал! — сказал в шлемофон Файзулин, — Теперь за Лёню мы поработаем!

Впереди возникла малая темная точка. В бинокль Суздальцев разглядел одинокого верблюда с едва различимой поклажей. На горбе, похожий на вторую верблюжью голову, возвышался погонщик.

— Разведчик, — крикнул в ухо Суздальцеву Конь. — Обойти стороной, не спугнуть основной караван.

Вертолеты ушли с курса, обманывая наблюдателя, делая вид, что покидают район. Летели по широкой дуге, словно развешивали над пустыней не-

видимую сеть. Улавливали добычу, обкладывали флажками, чутко выслеживали дичь. Суздальцев испытывал нетерпение, азарт охотника, предвкушение удачи.

Впереди, у горизонта, возник едва различимый прочерк. Быть может, мираж, сгусток жаркого воздуха, в котором тонули лучи. Черточка отделилась от горизонта, снова слилась. Отслоилась и стала приближаться. В бинокль Суздальцев разглядел вереницу верблюдов, запаянных в стеклянный жар. Их число менялось, они то сливались, то разделялись, пока не превратились в отдельные темные бусинки, нанизанные на незримую нить. Казалось, вертолеты чутко дрогнули, заострились, ярче простушили цифры на бортах, словно в машинах появилась свежесть, хищная устремленность. Через пространство пустыни они вошли в контакт с медлительными животными, оседлавшими их людьми. Прочертили между собой и ними невесомые прозрачные нити.

— “Сорок шестой”, вижу цель! — зарокотало в шлемофоне.

— Цель вижу, “сорок восьмой”! — отозвался Файзулин — Иди на сближение, на сближение! Бей с ходу, бей с ходу! Почеши их “нурсами”, “нурсами”! Я добавлю ракетами. Потом поработаем пушками. За Лёню! За Свиристеля!

— Есть за Лёню, за Свиристеля! Почешу их всем, что имею!

Злее звенели винты. Вертолеты соединяла блестящая струна. Их несла вперед воющая сила, словно вслед машинам дула труба.

Суздальцев торопил стремление машин. Они шли наперерез каравану. В бинокль было видно, как верблюды пустились вскачь, понукаемые наездниками. Он ждал, что оттуда, где бежали животные, и клубился под их ногами песок, и на горбатых спинах восседали наездники в тюрбанах, — откуда прынут кудрявые трассы, станут ввинчиваться в небо, приближаясь к вертолетам, и летчики, спасаясь от попаданий, бросят машины в противоракетный вираж.

Но выстрелов не было. Караван приближался. Головной вертолет по-рыбы нырнул. Застыл на мгновение. От него, в продолжение полета, рванулись к земле заостренные клинья, черные, мерцающие огнем ураганы. Было видно, как вокруг каравана встали рыжие фонтаны песка. В песчаном облаке мерцало, рвало, падали и шарахались верблюды, летели в стороны закутаные в балахоны люди. Продолжая снижение, вертолет брызнул из-под брюха огнем. Черные клювы впились в землю, превращаясь в сплошное дрожащее пламя. Казалось, громадные пальцы пробегают по клавишам, и под каждым пальцем взрывается тусклый огонь.

Вертолет, завершая удар, отвернул, показав круглое блюдо винта. Суздальцев почувствовал, как дрогнула штанга, на которой сидел, как машина наполнилась гулким колокольным ударом. Из-под кабины вперед ушли две дымные колонны. Удаляясь, сошлись, превращаясь у земли в шары огня. Будто кто-то сгреб караван, отшвырнул в сторону, оставив на песке две круглые, полные дыма рытвины.

— За Лёню! За Свиристеля! — кричал в шлемофон Файзулин, долбя из пушек пыльное, скрывшее караван облако. — За нашу Родину, огонь, огонь!

Они отвернули в пустыню, барражировали в стороне, ожидая, когда рассеется пыль.

— Сажусь, “сорок восьмой”! Прикрой! — Файзулин пошел на снижение.

Они выпрыгивали из вертолета в песчаную бурю, поднятую винтом, один за другим, все, кроме прапорщика Корнилова и понурого, истерзанного афганца. Легкие, упругие в приземлении солдаты. Их длинноногий, как скороход, командир. Тяжеловесный майор Конь. Суздальцев прыгнул последним, ощутив ногами мягкость бархана, а лицом уколы бесчисленных песчинок, хруст на зубах, жаркое полыхание пустыни. Старался, не открывая глаз, выбраться из-под ревущего вихря. Бежал за солдатами, видя, как те рассыпаются веером, держа автоматы, готовые слепо, не прицельно открыть огонь.

Там, где шел караван, реяло туманное облако, сквозь которое неясно различались разбросанные взрывами животные, бесформенные груды покла-

жи. Оттуда в любую секунду мог раздаться треск очередей, и тогда — падать на бархан, огрызаясь выстрелами, ждать, когда второй вертолет, получив от радиста сигнал, пойдет на удар, добывая из неба уцелевших стрелков, осыпая солдат спецназа колочими, на излете, осколками.

Но выстрелов не было. Суздальцев бежал на пыльное, пронизанное солнцем облако, чувствуя, как в воздухе струится гарь и запах жареного мяса, словно где-то дымился мангал с разложенными шашлыками.

В песке темнели две воронки от удара ракет, их дно было влажное, еще не прогретое солнцем, и по скатам воронок стекали легкие струйки песка. Суздальцев охватывал жадным взором пеструю картину разгрома, стараясь углядеть среди растерзанных груд зеленые пеналы с ракетами, деревянные ящики с маркировкой, где мог храниться драгоценный груз. Не находил, останавливая взгляд на отдельных фрагментах картины.

Разбросав костлявые ноги, мучительно изогнув шею, лежали убитые верблюды. У ближнего было распорото брюхо, и на песок вывалились мокрые глянцевитые внутренности. У другого был посечен бок, с множеством параллельно идущих надрезов, словно животное полосовали ножом. Из надрезов сочилась красная гуща, касалась песка и впитывалась, образуя темные ступки. Третий верблюд мучительно оскалил желтые зубы, словно пытался загрызть нападавшее с неба чудовище. У него из горла торчал невзорвавшийся реактивный снаряд с лепестками стабилизаторов. Еще один верблюд был ранен, приподнимал и ронял губастую голову, издавая длинные стоны, и из фиолетовых глаз текли слезы. Пятый, уцелевший верблюд бежал иноходью далеко в пустыне, перебирая длинными ногами, изгибая шею, окруженный стеклянными миражом, и казалось, что он не касался земли.

На барханах, взрылленных взрывами, рябых от осколков, лежали погонщики. Взрывная волна расшвыряла их в разные стороны, и они напоминали тряпичные куклы своими балахонами и неестественными позами, словно у них не было костей. Старик с коричневым лицом и седой бородой завалился, перегнувшись назад, словно смерть застала его на молитве, а удар сломал ему позвоночник и опрокинул на спину. Беззубый открытый рот старика еще хранил в себе крик то ли боли, то ли проклятия, то ли оборванной смертью молитвы. Недалеко, лицом вверх, лежал юноша, совсем еще мальчик, безусый, с пухлыми улыбающимися губами. Его смуглый кулак сжимал обрывок материи, похожей на знамя, шаровары были разорваны, и из них торчали два сверкающих костями обрубка, словно горящие красным огнем головни. Он был похож на знаменосца, сраженного во время атаки. Еще один погонщик был ранен, — приподнялся на локте, костлявой пятерней зажимал себе живот, и пятерня была красной. Он не смотрел на Суздальцева, а только тихонько всхлипывал, вбирал живот, в котором перекачивалась, выталкивала кровь нестерпимая боль. Другие погонщики лежали в стороне на склоне бархана, впечатанные в желтизну песка.

Солдаты, уже не опасаясь отпора, бродили вокруг, нагибались, что-то подбирали. Среди них, в отдалении, двигался майор Конь, который, как и Суздальцев, медленно перемещался, глядя себе под ноги. Оба обходили побоище в поисках груза с ракетами.

Песок был усеян бесчисленными осколками посуды, черепками расписных сервизов, обломками тарелок, фарфоровых ваз и стеклянных сосудов. Некоторые изделия уцелели, — лежали тарелки с золотой каймой, словно кто-то накрыл на бархане стол. Изыщный, с тонким горлом кувшин, испещренный голубыми узорами, стоял на песке, и рядом, блестя зазубренными краями, лежал осколок. Было странно видеть их рядом, словно кто-то сберег хрупкое изделие, остановив полет металла. Будто капли солнца, блестя на барханах разбросанные взрывами часы. Валялись обломки кассетников, упаковки с электробритвами, продырявленные коробки с электроутюгами. Бугрились ворохи тканей, груды шелка, рулоны ковров. Казалось, кто-то взломал платяной шкаф и вытряхнул содержимое наружу.

— Что за черт! — Конь приблизился к Суздальцеву, держа в руке кисточку для бритвы — волосяной пучок, вставленный в перламутровую рукоять. — Что за черт!

Суздальцев услышал жужжание, увидел промелькнувшую у глаз тень. Еще одна с жужжаньем промчалась, тускло сверкнув на солнце. Он увидел, как на окровавленный бок верблюда села большая сине-зеленая муха. Следом прилетела другая, блестящая, как крохотный слиток. Мухи летели из пустыни, плохались на окровавленные трупы, жадно шарили лапками, начинали сосать. Пустыня, казавшаяся неодоушевленной, ожила, почуввав запах крови. Поодиночке, тусклыми роями летели насекомые, падали на убитых людей и животных, на теплые раны, на сочные внутренности и обрубки костей, принимались за жуткое пиршество. Суздальцев почувствовал большой удар в щеку. Муха приняла его за мертвеца, ползла по щеке в поисках раны. Испугавшись, с чувством омерзения, боясь раздавить жирное насекомое, он смахнул муху. Крутанул головой, заморгал глазами, словно хотел подать насекомым знак, что он живой, его кровь запечатана в сосудах, им не отыскать на нем раны. Они шли с майором среди летящих мух, глядя, как на верблюдах и на людях, вокруг ран, словно вокруг водоноя, копошатся зелено-синие насекомые.

— Посмотри! — поздравил Суздальцева Конь, наклонившийся над телом погонщика. Суздальцев приблизился. Погонщик в зеленоватом балахоне, в широких шароварах плоско лежал на бархане, вытянув по швам длинные руки. Его грудь под полотняной рубашкой была в крови. На открытой шее виднелась золотая цепочка с брелоком. Под черными красивыми усами приоткрылся в улыбке рот, и в нем блестели зубы. Под полузакрытыми веками сонные, с поволокой, отражали солнце глаза. Чалма с головы отвалилась, лежала на песке, и голова с короткой стрижкой была открыта. Эта голова была черно-белой, словно по ней, ото лба к затылку, провели валиком с белой краской. И эту черно-белую, словно из двух половин состоящую голову, и красивые, чуть загнутые на концах усы, и улыбающийся белозубый рот узнал Суздальцев. Это был доктор Хафиз, офицер разведки, с кем познакомились в Ташкенте, несколько раз встречались в Кабуле, в штаб-квартире “хада”, все последние месяцы обменивались агентурными донесениями о продвижении караванов, о перемещении партии “стингеров”, надеясь на скорую встречу в Лашкаргахе. Теперь доктор Хафиз, бесценный агент, лежал на бархане, убитый русским снарядом по приказу Суздальцева. Оба они, Конь и Суздальцев, проиграли схватку с пакистанской разведкой, с афганским шахидом Дарвешем, который под пыткой током указал им ложную цель. Их руками расправился с опасным врагом и теперь, торжествуя, готовится к смерти, ожидая в вертолете их возвращения.

Четыре солдата, взявшись за углы ковра, несли доктора Хафиза к вертолету. Суздальцев шагал сбоку, глядя, как спокойно, вытянув руки и приоткрыв глаза, лежит на ковре доктор Хафиз, словно дремлет после тяжелых трудов. Узоры ковра состояли из сине-золотых геометрических фигур, вытканых на вишневом фоне, и повторяли древний орнамент народов, населявших страну во времена Александра Македонского. Народы бесследно исчезли, оставив после себя загадочную геометрию синих треугольников, золотых меандров на вишневом, мерцавшем ворсинками поле.

— Почему ты подставил под удар своих соотечественников, ни в чем не повинных людей? — спросил Конь у Дарвеша, вытащив его из вертолета.

— Они все теперь в раю, смотрят из неба, как вы несете на ковре убитого предателя. Их души в райских садах, а душа предателя уже корчится на адских углях.

— Сейчас и твоя душа угодит в раскаленную печь!

— Аллах Акбар! — тихо произнес Дарвеш, сделав поворот плечами вправо и влево, как это делают физкультурники во время гимнастики. — Аллах Акбар! — он разворачивал плечи, и его огненные глаза шарили по пустыне, словно искали для себя помощи и спасения. — Аллах Акбар! Аллах Акбар!

Майор поднял автомат, сунул ствол под черную бороду Дарвеша, где в горле клокотала молитва, и выстрелил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В гарнизоне, в разведотделе, его ждала шифровка из штаба армии. В шифровке сообщалось, что из Центра, по линии нелегальной разведки, поступили сведения о группе иранского спецназа, проникшей в Афганистан из Ирана, с базы Джам, для захвата зенитных ракет “стингер”. Партия ракет предположительно доставлена из Пакистана в Герат. Группой руководит офицер иранской разведки Вали. Группа базируется в кишлаках северо-западнее Герата. Подполковник Суздальцев и майор Конь направляются в Герат, в расположение 101-го полка и действуют в интересах местных разведотделов, продолжая поиски партии зенитных ракет. Для взаимодействия со службой безопасности “ХАД” выделяется офицер афганской разведки капитан Достагир. Офицерам Суздальцеву и Коню надлежит отбыть в расположение 101-го полка незамедлительно.

Конь, прочитав шифровку, хмыкнул:

— Я думал, они сдерут с нас погоны, а они отправляют нас в логово иранцев, которые сдерут с нас кожу. Здесь, Петр Андреевич, не помогут ни “аллилуйя”, ни “Аллах Акбар”, а только то, насколько твоя кожа приросла к костям.

— Приросла настолько, чтобы не хрустеть при обдирании, — вяло отшутился Суздальцев и пошел в модуль собирать вещмешок.

Вертолетом их доставили в Кандагар. Стоя у белых арок кандагарского аэропорта, Суздальцев снял с запястья “сейку” и попросил Файзулина передать Веронике часы на память о Свиристеле. Почувствовал, как вместе с часами его покинуло ощущение вины, словно оторвался от пыльного цветочка пустыни и улетел по ветру еще один лепесток его жизни.

Алюминиевый “Ан-24” дребезжал в полете, словно потерял половину заклепок. На днище, притороченные тросами, стояли грязные дизели. У иллюминаторов на железных скамьях сидели офицеры, клевали носами, попадая в полосы медленно скользящего солнца.

В Шинданте, не заходя в штаб дивизии, они узнали, что на север отправляется колонна порожних “наливников”, и решили вместе с ней добираться в Герат. Пыльные КАМАЗы с цистернами, потеки солярки на выпуклых бортах, вмятины, следы от осколков. В кбинах сидели голые по пояс водители и их смешники, занавесив боковые окна бронезилетами, кинув автоматы под ноги. За ветровыми стеклами красовались картонки, на которых химическими карандашами были начертаны названия городов: “Орел”, “Вологда”, “Брянск”, “Новосибирск”. Вся матушка Русь, приславшая на азиатскую войну своих сыновей, которые тряслись на продавленных сиденьях, крутя баранки.

Суздальцев и Конь сидели на броне головного “бэтэра”. Суздальцев, упираясь башмаками в скобу, держался за дырчатый кожух пулемета, на котором дрожали черные солнечные радуги. Мимо тянулась унылая степь, пепельные холмы, над которыми плавали стеклянные миражи. Изредка попадались заставы — мешки с землей, бетонные амбразуры, сложенные из блоков, казарма, выцветший флаг. Часовой в каске сонно провожал колонну, оживляясь, если читал на картонках название родного города. Тогда бежал вслед за машиной, кричал, и водитель кидал ему пачку сигарет, а он — какой-нибудь афганский ножичек или трофейную зажигалку.

В одном месте, у придорожного кишлака, состоявшего из нескольких полуразбитых глинобитных строений, остановились тягачи с тактическими ракетами — их заостренные корпуса, ребра тягачей, угрюмая слепая мощь механизмов дико смотрелись рядом с глиной домов, бегающими босоногими детьми, мотающей хвостом собакой. Враг, для которого предназначались ракеты, никак не вязался с видом скользящей вдоль дувала женщиной в сиреневой парандже, с пастушком в красной шапочке, подгонявшим прутиком малое стадо овец. Однако враг таился в придорожных, охваченных розовым жаром холмах. Об этом напоминали самодельные памятники, похожие на надгробья. Столбики, пирамидки со звездой, лежащая на камне пробитая каска или выдранный с корнем рулевая баранка. Места придорожных стычек, в которых погибали водители.

Расположение 101-го полка — приплюснутые сборно-щитовые казармы. Клубящееся облако пыли, и в недрах облака, утягивая его за собой, мчится “бэтээр”. Останавливается — выхлопы, гарь, чуть видимые контуры вылезавших из люков солдат. Фанерный раскрашенный щит — боевая машина пехоты карабкается на скалистый откос. Надпись: “Гвардейцы-мотострелки, учитесь действовать в горах!” Строение клуба. Арык с пленкой нефти. Солдат из шланга поливает чахлые, почти без кроны, деревья, и они, взвешенные в спекшийся шлак, жадно пьют воду.

Суздальцев и Коль представились командиру полка, неразговорчивому, с седеющим бобриком, озабоченному недавними потерями на дороге, где был подбит “наливник”. Он сообщил, что скоро состоится войсковая операция в районе Герата, и силы полка в составе дивизии войдут в город, где, как он выразился, “начинают бзить шииты” и “придется им поприщелкать хвосты”. Сослался на занятость и отрядил их к начальнику разведотдела, с которым им предстояло взаимодействовать. Командир разведбата майор Пятаков оказался маленьким, рыжим, с шальными, песчаного цвета глазами, весь в желтых веснушках. Его тело состояло из твердых комков и узлов, позволявших, — как подумал Суздальцев, — мячиком запрыгивать на броню, камнем падать в люк, сменить механика-водителя на сидении, бить из пулемета в подвижную, в чалме и шароварах, цель. Своих солдат он называл не иначе, как “звери”, помнил их не по именам, а по кличкам. Солдаты его называли “батяней”, а те, что увольнялись в Союз, писали ему письма. К Суздальцеву Пятаков отнесся настороженно, зато с Колей сошелся почти мгновенно, перейдя на “ты”.

— Про иранский спецназ не слышал, а убитых в черной чалме находил. Болтаемся, ядренить, по кишлакам, то к “дружественным бандитам”, то просто к бандитам, а кто из них укрывает спецназ, только Аллаху известно. Шиит, он и есть, ядренить, шиит.

Пятаков отвел их в офицерский номер, поселил в двухместной комнате. Сообщил, что через час в гарнизон прибудет представитель афганского “ХАДа”:

— С ними порешаете все вопросы. А вечером, ядренить, я к вам загляну, что-нибудь сообразим на троих, — и ушел, маленький, пританцовывающий, как боксер в наилегчайшем весе.

Встреча с офицером афганской безопасности “ХАД” состоялась в уединенном, на краю гарнизона домике с убранством в восточном стиле. Низенький столик, инкрустированный перламутром. Мягкие скамеечки с кривыми ножками. Ковер на стене с иранским красно-синим узором. На столе — восточные сладости. Арахис, фисташки, миндаль, черно-синий и желто-коричневый изюм — всё в фарфоровых вазочках. Блюдо с кристаллическим желтоватым виноградным сахаром, изящные пшпичики. Фарфоровый чайник с зеленым заваренным чаем и маленькие пиалки. Афганский разведчик Достигир был молод, худ, с удлинненными, чуть выпуклыми глазами, как у лани на персидской миниатюре. Это сходство усиливали сиреневые губы и крупный, с мягкими ноздрями нос на коричневом безусом лице. Он осторожно, длинными пальцами, брал из вазочки плод миндаля, расщеплял его розовыми ногтями, брал в рот, обнажая ровные белые зубы. Суздальцев разливал по пиалкам чай, чувствуя тепло, исходящее от круглых боков чайника. Достигир благодарно улыбался. Майор Коль лущил миндаль, громко жевал, небрежно сыпал сор прямо на скатерть.

— Дорогой Достигир, у вас отличный русский язык. Должно быть, вы учились в Союзе? — Суздальцев тонко польстил афганцу.

— В Харьковском технологическом институте, товарищ Суздальцев. Я инженер по мелиорации. Но сейчас революции нужны не инженеры, а солдаты и разведчики. Поэтому я работаю в “ХАДе”, — улыбаясь, ответил Достигир. — Революция — это мелиорация человеческих душ. Сначала мы преобразуем человеческие души, а потом станем преобразовывать землю, строить гидроузлы и каналы.

— Мы в Советском Союзе это делали одновременно, — хмыкнул Коль. — Преобразовывали души и строили Беломор... Балтийский канал.

— Дорогой Достагир, — Суздальцева раздражал громкий хруст орехов в зубах Коня, его неуместная шутка, само его участие в этой деликатной беседе. — Когда мы встретимся с вами в Союзе, я отдам должное вашему знанию русского языка. Теперь же, в знак уважения к вашей замечательной стране, позвольте мне говорить на вашем языке

Вторую половину фразы Суздальцев произнес на пушту. Достагир вслушивался в его произношение, как это делает чуткий дегустатор, пробуя на вкус вино.

— Благодарю вас, товарищ Суздальцев. У вас отличное произношение. Я бы сказал, с легким гератским акцентом. Вам будет легко работать в Герате, — фиолетовые глаза Достагира излучали дружелюбие, а мягкие губы, касаясь краев пиалы, шевелились, словно у лани на водопое.

— Дорогой Достагир, что вы можете нам сообщить о присутствии иранских агентов в районе Герата? Быть может, тех, недавно прибывших, которых интересуют американские поставки “стингеров”?

Афганец задумался, словно старался подыскать наименьшее количество слов для объяснения этой глубокой проблемы.

— Вы знаете, в Герате действуют агенты Ирана и Пакистана. Между ними происходит борьба. Они объединяются, если им нужно поднять очередной мятеж в Герате. И тут же, после подавления мятежа, расходятся, погружаясь каждый в свое подполье. Оружие в Герат поступает по двум каналам. Из Пакистана, из Кветты. И из Ирана, из Джама. За эти поставки идет борьба. Иранцы захватывают оружейные партии из Пакистана, а пакистанцы перехватывают иранское оружие. Мы играем на этих противоречиях, помогая одним громить других. Мы располагаем сведениями об иранском спецназе, который проник в район Герата с заданием перехватить груз “стингеров”. И мы располагаем сведениями о партии “стингеров”, которые якобы уже находятся в Герате, в районе Геванча. Эти данные нуждаются в анализе и подтверждении.

— А нельзя ли без проволочек направить советский спецназ в Деванчу и забрать “стингеры”? Если вы и впрямь располагаете достоверными сведениями? — вмешался Конь, раздраженно хлопая чаем и допуская бестактность, усомнившись в достоверности сведений, добываемых “ХАДом”. — У нас, понимаете, нет времени анализировать. Нам нужны “стингеры”, а не научные изыскания.

Суздальцева раздражали эти бестактные выходки, которыми Конь подчеркивал свое превосходство профессионала над дилетантом Достагиром.

Достагир был утонченным интеллигентом, быть может, из аристократов, примкнувших к революции.

— Дорогой Достагир, как можно познакомиться с информацией о “стингерах” в Деванче? — Суздальцев старался доверительными интонациями, выражением лица восстановить тонкую канву отношений, оборванных майором. Подхватить их на прерванном звуке.

— У нас есть агент, который живет в Деванче. Он готов встретиться с вами и передать информацию. Но он — не сотрудник “ХАДа”. Говорит, что даст информацию только советской разведке.

— Я готов, — сказал Суздальцев. — Он хочет встретиться здесь?

— Вряд ли это приемлемо. За советским гарнизоном душманы ведут постоянное наблюдение.

— Я готов встретиться с ним в Герате.

— Я передам ему о вашей готовности. Мы, со своей стороны, готовы обеспечить безопасность.

— Давай, Петр Андреевич, я пойду, — обрадовался Конь, которого тяготило промедление в работе и который нуждался в постоянной деятельности.

— Пойду я, — сказал Суздальцев.

— Почему, подполковник?

— Это мое решение, — сухо ответил Суздальцев, которого покорило фамильярное употребление “ты” и неуместное при постороннем панибратское обращение “подполковник”. — Скажите, дорогой Достагир, нельзя ли встретиться с теми, кто располагает информацией об иранском спецназе?

— Завтра, товарищ Суздальцев, состоится операция по выявлению иранской агентуры в кишлаке Зиндатджан. Вы можете принять участие.

— Непременно, — ответил Суздальцев.

Необходимый Суздальцеву контакт был осуществлен. Соглашение о сотрудничестве с “ХАДом” было достигнуто. Они допивали чай, раскалывали щипчиками кристаллический сахар, кидали в пиалки с бледно-зеленым чаем.

Достагир, в элегантном костюме, в белоснежной рубашке и шелковом галстуке был не похож на своих бородатых, черноусых соплеменников в чалмах и шароварах, наводнявших рынки, сидящих в дуканах, падающих ниц в мечетях, идущих по солнцепеку с мотыгами на плечах среди синеватого дыма кишлаков. Он был интеллигент, которого революция поманила своей ослепительной мечтой, и для осуществления этой мечты он был вынужден жестоко сражаться. Он хотел, чтобы советские офицеры, служившие для него образцом, поняли его переживания.

— Сейчас мы, афганцы, воюем и стреляем друг в друга. Империалисты натравливают одних афганцев на других. Но когда кончится война, мы начнем строить новый Афганистан, и наши нищие кишлаки станут походить на ваши цветущие колхозы. А наши города, без канализации, школ и больниц, будут такими же красивыми, как Харьков, Киев, Москва. У меня есть друг — архитектор, который проектирует новый Герат, с широкими проспектами, метро и зданием университета, похожим на МГУ. Но проектами он занимается ночью, а днем, как и я, служит в разведке. Ваша Революция служит примером для нашей Революции.

— Да, наша Революция прекрасна, — Конь сделал серьезное лицо, едва заметно пародируя афганца. — Наши колхозы оглашают окрестные нивы гулом тракторов и комбайнов. Наше метро напоминает дворцы, для которых не нашлось места на земле, и они являются самыми прекрасными в мире подземельями. Наш Университет на Ленинских горах похож на метро, но только поднятое в небо. Когда вы покончите с душманами, приезжайте в Москву, и мы вместе покатаемся у Кремля на речном трамвайчике. Товарищ Суздальцев, я, товарищ Конь, и вы, дорогой Достагир.

Суздальцев был возмущен нарочитой бестактностью майора, но Достагир как будто ничего не заметил. Сердечно попрощался, прижимал руку к сердцу, улыбался своими сиреневыми губами.

После ухода афганца Конь отправился в модуль, ожидая прихода комбата. А Суздальцев, испытывая к майору раздражение, пошел вдоль казарм, над которыми остывало от зноя зеленое вечернее небо, и соседние предгорья, днем бесцветные, блекло-серые, вдруг обрели объем, стали наливаться голубым, золотистым и розовым, предвещая вечернюю светомузыку.

На краю гарнизона, где тянулась колючая проволока и открывался сорный пустырь, он увидел остов разбитой машины. Той самой, о которой при встрече упомянул командир полка. Длинная, с прицепом, она была стянута с дороги, продрала голыми обгорелыми ободами коросту пустыни. Ребристый след гусениц, оставленный тягачом, делал у машины дугу и исчезал на бетонке. Машина лежала, расколота страшным ударом, будто у нее в двух местах был переломан хребет, раздроблен лобастый, зияющий провалами череп. Колеса прицепа были вывернуты ободами вверх, как скрюченные обожженные лапы. Цистерны были смяты, сизые от окалины, в рваных пробоинах. От грузовика шел дух солярки, окисленного металла, горелой резины. Сквозь эти жестокие недвижные запахи летел чистый ветер. У обожженных колес Суздальцев разглядел крохотный синий цветочек, нежное, колеблемое ветром соцветие. Поразила соседству железного, созданного и убитого человеком изделия и малого творения природы, которое чудом уцелело, не задетое остановившимся колесом. То же странное изумление он испытал недавно в пустыне, глядя на хрупкую вазу и упавший рядом, пощадивший ее осколок. В этом малом пространстве, разделявшем цветок и обод, в крохотном зазоре между осколком и вазой пульсировала таинственная сила, дышала мило-сердная воля. Угадывался незримый Творец, создавший цветок и машину, вазу и осколок снаряда. Стеклодув, чье дыханье сотворило окрестные горы,

окрасило их в голубой и малиновый цвет, возвысило над головой просторное зеленое небо, поместило под этим небом Суздальцева, машину, цветок.

Он тихонько хлопнул по кабине ладонью, и пустая, с обгорелой баранкой кабина отозвалась печальным звоном. Среди лохматого пепла у прогоревших сидений Суздальцев увидел два обрывка бумаги. Поднял, сдул гарь. С обугленной фотографии смотрело девичье лицо, серьезное, без улыбки, и за ним какое-то дерево, часть кирпичной стены. Снимок неизвестного города, неизвестного дома и дерева был пронесен сквозь пламя. Не сгорел, лишь обуглился. Девушку, еще не жену, не невесту, опалила война.

Другой листок был письмом, прожженным и смятым, с остатками слов. Суздальцев читал, разбирая круглый старательный почерк.

“Здравствуй, Сенечка, родненький наш сыно... Прими приветы и добрые слова от своих роди... Как же я без тебя скучаю, всё сны снятся, всё места себе не... Я Вере наказывала свитер тебе связать... А кошка наша Мурка окотилась, сразу троих... И на твою кровать всех котят перетаска...”

И этот клочок письма тоже был пропущен сквозь пламя. Сквозь него пролетели пули, капли огня и крови. Суздальцев хотел положить его обратно в кабину. Но передумал и спрятал в нагрудном кармане. Сердце слабо дрогнуло, и этот удар сердца, и то, что он не бросил, а спрятал на груди обугленное письмо, тоже свидетельствовало о присутствии в мире Творца, незримого Стеклодува.

Возвращаться в модуль не хотелось. Не хотелось видеть майора, который раздражал его, становился невыносим. Конь, казалось, чувствовал неприязнь Суздальцева и умышленно старался ее усилить. Суздальцева раздражали его вислые, неопрятные усы и синие, навывкат, глаза, наполненные дурным блеском. Раздражала манера громко жевать и сплевывать на землю. Раздражал неуловимый украинский акцент, который проявлялся даже тогда, когда тот говорил на фарси. Было отвратительно его обращение с пленными, то садистское сладострастие, с которым Конь причинял мучения пытаемым. Отвратительным был его ночной храп и дневной лошадиный хохот. И то презрение, которое он выказывал по отношению к стране, куда привела его война. И нескрываемое желание поскорее уехать и забыть навсегда землю, которой он причинил немало страданий. Суздальцев понимал, что подобные же чувства он сам вызывал у майора, и их взаимная антипатия сдерживалась необходимостью совместной работы. Две детали, вставленные в машину войны, они царапали друг друга и искрили.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Два ребристых “бэардэма”, в которых чудилось что-то лягушачье, болотное, стояли за казармами. Два солдата, голые по пояс, оба худые, гибкие, с юношескими подвижными мускулами, вытряхивали из одеяла пыль, схватившись за углы, вздувая его парусом, опуская с глухим хлопком. Одеяло было доскутное, собранное из цветастых клиньев, шелковых треугольников, серебристых квадратов. Солдаты беззлобно бранились.

— Ну, ты, Лёха, дятел! Теперь мне одеяло положено. Полежал под ним, и хватит! Отдавай, как уговаривались.

— Сам ты дятел, Колян. Мне еще один день положено. Договаривались, — три дня твое, три дня мое!

— Уже три дня прошло. Опять мухлоешь.

В их длинных цепких руках одеяло прогибалось, наполнялось тенью, а потом выгибалось, выплескивая наверх разноцветные брызги. Все еще пререкаясь, они бережно сложили одеяло. Тот, что был покрепче, повыше, с маленькой светлой челочкой на лбу, вскочил на броневик, принял от второго одеяло и исчез в люке. Второй огорченно побрел к соседней машине. Провел рукой по броне, чуть похлопал, как хлопают лошадь. И в этом жесте было что-то деревенское и печальное.

— Здорово, боец, — Суздальцев подошел к солдату, с неясным желанием чем-то утешить. — Значит, отобрали у тебя одеяло. Будешь мерзнуть.

— Да ну его, — мотнул головой солдат, поглядывая на подполковничьи погоны Суздальцева, — неохота связываться. Договорились, три дня у него, три дня у меня, а он мухлюет.

Суздальцев всматривался в худое лицо с шелушащимся носом, с сухими морщинками возле глаз, стараясь угадать в нем еще недавние детские черты, которые стерлись о горячую броню, сухую степь, наждачный ветер предгорий.

— Откуда одеяло? Трофейное?

— Караван душманский из Ирана на нас напоролся. Ночью стоим в засаде, глядим, катят. Без огней, только подфарники, щелки чуть светят. Кто может ночью с подфарниками по сухому руслу? Ясно, “духи”. Мы врезали. Подходим — никого, только подфарники светят. Открыли багажники, а там листовки, плакаты, разные журналы “душманские”. Разобранные пулеметы в брезенте. Мы оружие позабирали, перерезали бензопроводы и подожгли. Мы с Лёхой одеяло углядели. Вытащили из огня. Теперь делим, никак не поделим. У нас дома похожее есть. Бабушка из лоскутиков сшила.

Он отошел, стукнул кулаком в борт броневика, в котором находилось одеяло. Сам погрузился в машину, и оба “бэрдэма” дружно взревели, покатали к штабу.

На территорию полка въезжала военная легковушка с афганским гербом. Из нее вышли Достагир и второй афганец. Достагир был в военной форме, в фуражке с высокой тульей, которая очень шла к его утонченному аристократическому лицу. Афганец был в долгополой хламиде, в безрукавке, в чалме. Из-под черного, пышно намотанного тюрбана смотрели улыбающиеся глаза, под черными, с маслянистым блеском усами улыбались пунцовые губы.

— Познакомьтесь, товарищ Суздальцев, наш офицер Ахрам. Завтра с нами идет в Герат обеспечивать вашу встречу с агентом. Сейчас направляемся в кишлак Зиндатжан. Отлавливать иранских агентов. Вы ведь хотели тоже поехать?

Суздальцев пожимал большую теплую руку Ахрама, исподволь всматриваясь в лицо человека, с которым завтра предстояло пойти на опасное дело.

— Кто такой этот ваш агент? Откуда он знает про “стингеры”?

— Фаиз Мухаммад, живет в Деванча. Знает разные люди. Летал вертолет. Теперь не летает. — Ахрам говорил бойко, ломая русские фразы, и было видно, что ему доставляет удовольствие говорить на русском. Должно быть, подобно Достагиру, он проходил подготовку в Союзе, а вернувшись на родину, был призван в разведку. — Учился в Москве в нефтяной институт, — угадал его мысль Ахрам. Белозубо улыбался, с воодушевлением глядя на Суздальцева.

— Кто он такой, Фаиз Мухаммад?

— Летчик, летал вертолет. Бил “душман”, ловил караван. Отец большой человек в Герат. Хороший человек, доктор, лечил бедных людей. Туран Исмаил пришел к отцу, говорит: “Пиши письмо сыну. Пусть вертолет ко мне сажает. Идет ко мне воевать. Садись, пиши письмо”. Отец не писал. Фаиз Мухаммад летает горы, караван бьет, душман бьет. Туран Исмаил ночью в дом пришел, всех забирал. Отца, мать, жена, дети. Сам письмо писал: “Твоя родной плен. Если вертолет не уйдешь, ко мне не придешь, всех убью”. Фаиз Мухаммад письмо взял, командиру дал. Командир говорит: “Не летай, дети, отец спасай”. Фаиз Мухаммад говорит: “Армия пришел, клятва дал. Буду летать”. Летал, бил караван. Туран Исмаил отец убил, мать убил, жена убил, всех дети убил. Привез, перед дом бросил. Фаиз Мухаммад с ума сошел. Больница лежал. Теперь здоров. С нами дружба. Знает, где ракеты лежат. Только тебе говорит.

— Я готов с ним встретиться. Если возможно, сегодня.

— Встречу надо готовить. Она состоится завтра, — с любезной настойчивостью произнес Достагир. — Сейчас мы едем в кишлак Зиндатжан. Вылавливать иранского агента.

К ним подкатили три “бэрдэма”, усыпанные солдатами, остановились с хрустом колес. Из головной машины показался комбат Пятаков, энергичный, упругий, с лицом чуть помятым после ночных походов:

— Товарищ подполковник, — рапортовал он Суздальцеву, не покидая люк. — Командир полка приказал направить бронегруппу из трех машин для взаимодействия с афганским полком. Можете сесть ко мне в командирскую машину.

Суздальцев увидел, как из люка выглядывает лицо механика, того, что рассказывал о трофейном одеяле. Поставил ногу на резиновый скат, ухватился за скобу, подтянулся, ощутив боль в бицепсе, вызванную тяжестью тела. Солдат с автоматом потеснился, открывая ему место. Афганская легковушка покатила вперед, поднимая пыль. За ней, обгоняя ее, оставляя позади, вырываясь в открытую степь, пошла бронегруппа.

Впереди набухала коричневая клубящаяся туча пыли. Ее густое плотное тело, вырванное из земли, переходило в размытый шлейф, вяло летящий на солнце. Туча приблизилась. Колонна афганских танков с эмблемами на башнях шла наперерез через степь. Крутящиеся катки, приплюснутые башни, колыхание пушек, тусклый блеск гусениц. На броне, сжавшись, упрятав лица в повязки, сидели солдаты-афганцы. Колонна прошла, исчезая в холмах, призрачная, из одного неизвестного пункта в другой, из одной пустоты в другую, из одной безымянной войны в другую войну.

Среди блеклой степи сочно вспыхнули изумрудные посевы. Блеснул арык с водой. Черно-бархатная, орошенная земля была исчерчена яркими зелеными строчками. Вид возделанного пшеничного поля, отвоеванного у мертвой степи, говорил о близости кишлака, о крестьянских трудах, о победе, одержанной упорной жизнью над безжизненной пустыней. Кишлак возник вдалеке своими уступами, стенами, башнями, и броневик, уткнувшись в посевы, свернул на проселок, мчался вдоль поля, которое не пускало его к кишлаку, уводило в сторону.

— Давай, дуй напрямик! — комбат наклонился в люк, посылая в глубину дребезжащей машины сердитый приказ.

Машина ткнулась было в зеленое поле, раздавив колесами зеленые злаки, раздавив влажный бархат пашни. Остановилась.

— Ну, что ты, ядренить, встал. Дуй вперед! — повторил приказ комбат.

Из люка показался механик-водитель, тот самый, что рассказывал Суздальцеву о перехвате каравана, а потом погладил машину особым крестьянским жестом, каким треплют по холке жеребенка или ласкают корову.

— Лучше пообедем, товарищ майор. Хлеб жалко.

— Ты что, сдурел? Кого тебе жалко, дурень! — комбат, готовый разъяриться, наклонился к водителю, направляя в его загорелый, наморщенный лоб луч своего командирского гнева. А у Суздальцева — мимолетное, Бог весть откуда взявшееся видение, — поспевающее поле пшеницы, стеклянный блеск колосьев, синие васильки у межи, и девушка идет, держа василек, ее подол потемнел от росы, и он так любит ее загорелые ноги, ее золотистый затылок, василек у нее на губах.

— Майор, давай пообедем, — сказал он Пятакову. — На собственные похороны всегда успеем.

Пятаков смотрел раздраженно. В его рыжих глазах горели зеленые точки — то ли отражение зеленого поля, то ли искры раздражения.

— Ладно, водило, дуй в объезд.

Броневик попятился, покатил по целине краем поля, утягивая за собой остальные машины. Катили вдоль нивы, пока ни вывернули на проселок, мягко-пыльный, утоптаный и рябой от овечьих и ослиных следов. Мчались, приближаясь к кишлаку.

Суздальцев услышал сзади, ухватил краем глаза, поймал щекой гулкий удар и проблеск из-под колес второго броневика. Взрыв колыхнул землю и воздух, хрустнул в железном теле машины, сдувая с брони солдат. В черном облаке взрыва промерцало рыжее пламя, и Суздальцеву показалось, что это всё тот же зрак, что утром приветствовал его пробуждение, предлагал прожить этот день.

Колонна встала. Из подбитой фугасом, осевшей на бок машины валил серый дым, с шипеньем бил пар. Разбросанные взрывом солдаты поднима-

лись с земли, оглушенные, шатаясь, подбирали оружие. В железном коробе что-то скреблось и постукивало. С других машин соскакивали и подбегали солдаты, окружали броневик, из которого, как из перегретого котла, сочилась дымки.

Открыли хвостовой люк, и из него показалось белое, с вываренными рыбьими глазами лицо солдата. Оно мелко тряслось, отекало слюной. Он вывалился на руки товарищей. Они отвели его в сторону, и он сел на обочину, белый, трясущийся, оглушенный взрывом.

— Открыть верхний люк! — командовал Пятаков, наклоняясь к контуженному, убеждаясь, что на нем нет крови. — Верхний открыть, ядренить!

Солдаты нервно, в несколько рук, отвалили крышку. И оттуда, из голубоватого дыма, за плечи, за ремень, за китель подняли водителя. И пока извлекали запрокинутую в танковом шлеме голову, опавшие кисти, перетянутое поясом тело, Суздальцеву казалось, что время тянется бесконечно долго, тело водителя страшно длинное, не имеет конца. Его отдаленное прошлое, в котором мокрый девичий подол, смуглые ноги, василек у пунцовых губ, — это прошлое, прилетев в настоящее, сложилось в картину взрыва, в контуженных, сидящих у обочины солдат, в отпечаток ослиного копыта на афганском проселке, в длинное, извлекаемое из броневика тело водителя.

Водителя спустили с брони, уложили в пыль у колес. Его открытые, полные крови и слез глаза, не видя, моргали. На губах возникал и лопался красный пузырь. Солдаты, страшась, расстегивали его, освобождали от ремня и кителя, распарывали и снимали штаны. Освобождалось худое тело, то, что Суздальцев видел утром, его мокрый лоб с мелкой челочкой, голые, казавшиеся очень длинными ноги. Одна нога была согнута под прямым углом, но не в колене, а ниже, где сгиб невозможен. И там, на изгибе, сахарно мерцала кость. Солдаты склонились над раненым. Кто-то вгонял ему в вену пластмассовый шприц, кто-то жгутом перематывал бедро, кто-то вытирал кровавую слизь на губах.

Водитель головной машины наклонился над раненым:

— Лёха, слышишь меня? — он подсовывал под затылок друга ладонь. — Это я, Колян!

Кинулся к подорванному броневику, вытащил из него лоскутное одеяло, расстелил на дороге. Солдаты положили раненого на шелковые алые клинья, серебрястые прямоугольники, бирюзовые квадраты. Взяли за края, понесли к хвостовой машине.

— Всех контуженных в хвост! У подбитой останутся двое! Остальные на броню, и вперед! — комбат оседлал броневик, дожидаясь, когда запрыгнут солдаты. — Ну ты, ядренить, крестьянский сын! На хрен с дороги! Гони по зеленым! — и, не глядя на Суздальцева, зло сплюнул. Две машины рванулись с дороги, врезались в хлебное поле, помчались, расшвыривая из-под колес кустистые злаки, проминая в поле жирные колеи.

У стен кишлака скопились афганские грузовики с солдатами. Высилась шатровая палатка, возле которой стояли офицеры. Суздальцев, соскочив с брони, увидел среди офицеров Достагира. Тут же был и Ахрам, все в той же темной чалме, черноусый, с короткоствольным, прижатым к бедру автоматом. В палатке, в сумраке, были заметны два человека в тюрбанах, долгополых накидках. Их лица до самых глаз были закрыты повязками, словно они не желали быть узнаваемыми.

— Есть сведения, что в кишлаке скрываются иранские агенты, — сказал Достагир. — Есть или нет, кто знает. Если удастся выявить агентов, может быть, они расскажут об иранском спецназе и что-нибудь расскажут о “стингерах”.

— Что такой грустный, такой бледный? — Ахрам тронул Суздальцева за рукав, заглядывая в лицо своими теплыми, маслянистыми глазами.

Суздальцев рассказал афганцу о недавнем подрыве.

— Дышать больно! — Ахрам схватил себя за горло. — Смотреть больно! — он провел рукой по глазам. — Слушать больно! — он сжал ладонями уши. — Вот тут больно, — он надавил на грудь. — Ваш солдат, моя земля.

Его отец, его мать, его сестра! Как сказать спасибо? Если твой народ, твой дом будет плохо, скажи “Ахрам”! Приду умирать! Приду брать винтовка, брать лопата, что дашь! Придешь в Москва, так всем скажи!

В стороне, на солнышке стоял броневик, на котором прикатил Суздальцев. Пятаков уже топтался среди офицеров-афганцев, обмениваясь дружескими похлопываниями и рукопожатиями. Механик-водитель рассеянно стоял у машины, бил ботиком по скату, не находил себе места. Маленький пыльный смерч танцевал рядом с ним, словно радовался чему-то, вовлекая в свой танец солнечные лучи и пылинки, вертелся под ногами солдата.

Ближний кишлак казался крепостью, обнесенной стеной, с круглыми угловыми башнями, бойницами, с плоскими вышками виноградных сушен. Степь накатывалась на стены шарами стеклянного жара, а за стенами зеленели сады, притаилась жизнь, и чудилось, сквозь бойницы чьи-то тревожные глаза следят за скоплением военных.

Раздалась команда. Солдаты побежали к грузовикам. Залезали через борта, усаживались, выставив автоматы. Зеленый броневик с громкоговорителем встал во главе колонны. Машины тронулись к кишлаку. В воздухе, удаляясь, зазвучал вибрирующий, усиленный громкоговорителем голос, неразличимый, обращенный своим звуком к кишлаку. Булькал, хлопотал, взлетал в раскаленное небо. Ударялся в глинобитные стены и башни, будоража и тревожа укрывшуюся за ними жизнь.

“Вопиющий в пустыне”, — подумал Суздальцев, не уверенный в том, что можно выманить из этой закупоренной жизни ту ее часть, что именовалась агентурой Ирана. Отыскать в теснинах домов и виноградных сушен осторожных лазутчиков, что ночью, при свете луны, устанавливали на проселках фугасы, на легконогих осликах удалялись в пустыню, к иранской границе, препровождавая караваны с грузом пулеметов и мин.

Машины углубились в кишлак. Голос ненадолго умолк и снова возник из-за стен, медленно кружа и блуждая, создавая загадочную аналогию улочек, тупиков, лабиринтов.

— О чем он там говорит? — спросил у Ахрама Суздальцев.

— Зовет люди на митинг. Все люди на митинг. Мужчина на митинг, женщина на митинг, дети на митинг, мулла на митинг. Солдаты машина сажает, сюда vezet. Буду я говорить. Мусульмане, мир, не война. Духманы делал плохо. Кара Ягдас делал плохо. Туран Исмаил делал плохо. Надо их прогонять, винтовку брать, сам себя защищать!

Суздальцев слушал ломаную русскую речь, чувствовал усилия говорившего. Его афганская страсть не помещалась в русский язык, оборачивалась косноязычием. Словесные конструкции напоминали искривленную арматуру, и это утомляло Суздальцева.

— Знаю кишлак Зиндатджан, — продолжал Ахрам, кивая туда, где за глинобитной стеной, невидимый, блуждал великан с мегафонным голосом. — Сюда много раз ходили. Здесь я умер. Здесь я родился.

— Почему ты здесь умер? Почему снова родился?

— Смотри, дерево там! — Ахрам показал в открытую степь, где, похожее на царяину, виднелось засохшее дерево. Такой низкий место. Была река, нету, сухо. Там буровая. Я буровая привез. Под деревом палатка ставил, лагерь ставил. Сам жил, люди, рабочий жил. Дизель был. Я бурил, газ искал. Места для газ хороший. Море был, река был, давно. Земля белый, белый, ракушки. Живем хорошо, день, ночь бурим. Кишлак ходим, вода берем, еда берем. Хорошо!

Суздальцев старался представить, как на месте пыльной степи бушевало древнее зеленое море, крутились волны, перепрыгивали в волнах блестящие скользкие рыбы, а теперь осталось только пыльное дно с белым отпечатком ракушек, и на дне иссохшего моря бушует, не иссыхая, война.

— Сидим вечер, отдыхай, чай пей, рис кушай. Буровая работал, дизель работал. Глядим, лошадь бежит. Человек сидит. Быстро, быстро! Кричит. Кинул камень. Прямо чашка попал, разбил, чай пролил. На камень бумага. Письмо. Туран Исмаил письмо прислал. “Уходите, дети шайтана. Унесите железный башня. Дыру земле засыпь. Придем, будем бить, стрелять”.

Суздальцев закрыл глаза. В вечерней степи, отбрасывая длинную тень, мчался всадник, вздымая красную пыль. Промчался, развевая одежду. Камень ударил в фарфор. Расколотый цветок на земле. Облачко пыли вдали.

— Я людям письмо читал. Кто хочет, иди домой. Кто Туран Исмаил боится, уходи. Двое рабочих ушел. Дети, семья, бояться. Другой остался. Живем, дело делай. Бурим земля. Где газ, ищем!

Металлический голос бродил в кишлаке, рассказывал железную притчу. О войсках и нашествиях. О великих вождях и воителях. О мученьях и казнях. О райских садах и красавицах. Ту притчу, что изложена в великой иранской поэме в переводе с фарси на железный язык мегафона.

— Ночью палатка спим. Бах, трах! Винтовка бьет. “Выходи”! Туран Исмаил пришел, сидит на лошадь. В руках палки, тряпки горит. Кричит: “Сыны шайтана. Мое письмо читал. Не хотел уходить. Теперь я пришел”. Его люди поехал к буровой, мину клал, взрывать. Говорит: “Вы огонь земле искал. Теперь я вам огонь дал”. Меня брал, дизелист брал, другой люди брал. Из канистры солярка лил. На штаны лил, на рубаха, на волосы. Нас зажигал. Больно, страшно. Я упал, умер, в огне сгорел. Утром “бэтээр” меня взял, в больницу вез. Три месяца в больнице лежал, новую кожу получал. Опять жив, смотри!

Ахрам растерялся на груди рубаху, распахнул до живота. Всё — грудь, и живот, и плечи были в рубцах и наростах. Кожа застыла, как лава.

— Туран Исмаил убьем. Буровая поставим. Газ найдем. Будем город делать, завод!

Из кишлака возвращались грузовики. Переполненные, медленно подкатывали в облаке пыли. Из них высаживались, выпрыгивали, осторожно спускались крестьяне. Боязливые, грузные старики. Гибкая, присмирившая молодежь. Робкие женщины в цветных паранджах. Малые пугливые дети. Женщины с детьми отходили в сторону, усаживались на землю в кружок. В цветных паранджах казались разноцветными недвижимыми изваяниями. Мужчины опускались на землю, кто на корточки, кто прямо на сухие колючки. Седые и черные бороды, пышные чалмы, красные загорелые лица с крупными носами.

К людям подошел Достагир и что-то сказал. Лица, как подсолнухи, повернулись к нему. Но стал говорить не он, а Ахрам, громко и страстно, во всю мощь своей обожженной груди, как он только что говорил с Суздальцевым. Он возвышал свой голос, содрогался мускулами, приподнимался на носках, словно хотел преодолеть гравитацию, взлететь и ударить в круг притихших крестьян, разбудить их звуком своего удара о землю.

Он говорил о буровой, о коне, о камне. Показывал в сторону дерева, видневшегося в степи. Изображал буровую. Промчавшегося всадника. Горящих людей. Вонзал в землю перет, словно пробивал ее до сокровенных глубин. Разводил руками, возводя невиданный город, который возникнет здесь, среди миражей и песчаных вихрей. Простирал ладони, преподносил этот город как дар. Дарил им нечто, чем сам владел, что цвело и горело в его громогласных словах.

Но было неясно, принимают ли дар крестьяне. Снимают ли дар с протянутых рук Ахрама. Или в ужасе от него отворачиваются, не желают платить за него жизнью своих сыновей. Им не нужен рай, принесенный из-за гор и морей, а нужен все тот же древний очаг, молитвенный коврик, сухая лепешка.

Ахрам умолк. Бурно дышал. Отирал пот со лба. Пошел к шатру и отдернул полог. И оттуда выскользнули два человека с занавешенными лицами. По плечам, вокруг носов, подбородков, до самых глаз их закрывала накидка. Гибкие, в развеянных темных одеждах, они не имели лиц. Казались скользящими духами. Только в узкие прорези смотрели тревожные, зоркие, полные блеска глаза.

“Предатели”, — подумал Суздальцев. Так в советской разведке называли платных агентов, которые, живя в кишлаках, выдавали своих соплеменников, указывали на тех, кто сражался в отрядах повстанцев, устанавливал на дорогах фугасы.

Люди в повязках вошли в круг сидящих. Стали кружить, петлять. Застывали, наклонялись, продолжали кружить. Это напоминало танец, — гибкие движения, повороты, внезапные приседания, развеянные одежды. Внезапно они замирали над кем-то, приближали глаза, вглядывались. Легонько касались рукой. Тот вставал, выходил из круга. К нему подходили солдаты, отводили к машинам. А двое продолжали кружить, как кружат грифы над степью, высматривая добычу.

Они подняли и вывели прочь того, в синеватой чалме, кого не смог нарисовать Суздальцев. И другого, в розовой рубахе. Десяток людей был выведен прочь, отведен к машинам.

Двое в повязках остановили свое кружение, обвели сидевших глазами и разом пошли к палатке. Скрылись в проеме. Солдаты подсаживали арестованных в грузовик. Остальные крестьяне поднимались с земли, медленно брели к кишлаку, впереди — толпа мужчин в рыхлых тюрбанах, следом женщины в зеленых и голубых паранджах.

— Завтра пойдем Герат, — произнес, прощаясь, Ахрам. — Будем встречать Фаиз Мухаммад. Будем ракеты знать.

На броневике Пятакова он добрался до предместий Герата, где размещались “блоки” боевых машин, готова плацдарм для войсковой операции. Невидимый город лишь угадывался в далекой серо-розовой пыли. В открытой степи на солнцепеке стояли “бэмпэ”. Звякал металл. Солдаты ветошью сбивали с брони пыль. Толкали банник в пушку. Заправщик с урчанием качал в бак горючее. Чумазые, серые от пыли мотострелки, обнаженные по пояс, ополаскивались из ведер. Кричали, хохотали. Опрокидывали на голые спины брызгающие шумные ворохи. Пахло горючим, сталью, разгоряченными телами.

Комбат отправился к дальним “блокам”, а Суздальцев, оставшись у машин, вдруг почувствовал необоримую сонливость, словно его опоили зельем. Бесцветная пыль, слепое солнце, вид тусклых машин подействовали на него усыпляюще. Он влез в десантное отделение “бэмпэ” на грязный, брошенный на днище матрас:

— Немного вздремну, — сказал он крутившимся рядом солдатам. И заснул под мерные звяки, хохот и беззлобную ругань, не пуская в сновидение зеленое, раздавленное колесами поле, персидское одеяло со следами крови, зловещих танцоров в повязках, круживших среди сидящих крестьян.

Проснулся, когда в открытых дверях машины синел прямоугольник ночного неба. Выбрался наружу. Стояла та ясная синяя тьма, в которой еще угадывался недавний исчезнувший свет. Первые звезды одиноко и влажно мерцали. И в очнувшейся ото сна душе воскресла не юность, а воспоминанье о юности, не счастье, а воспоминанье о счастье, не чудо, а его слабый угасающий отблеск.

Крутом на земле светились огоньки, как лампы. В маленьких лунках стояли банки с соляжкой, копотно и чадно горели. Над ними склонились солдаты. Ставили на огонь котелки, алюминиевые кружки, плоские жестянки. Варили, жарили. Тени и свет бежали по лицам, по земле, по броне. То вспыхнет близко к огню расширенный глаз, то сверкнет гусеница, то зашипит, прольется, загорится брызгающее пламя соляжки. У ближней лунки скопились солдаты. На плоской консервной крышке шипело масло. Худой тонкорукый солдат кидал в масло лепешки, в бурлящую трескучую гуцу.

— Товарищ подполковник, присаживайтесь! Поужинайте вместе с нами! — солдат смущало появление среди них старшего офицера. Но то, как Суздальцев непринужденно улегся на их солдатский матрас, в их боевую машину, как непробудно спал среди грохота, криков, раскаленной солнцем брони, расположило их, и они не рассматривали его появление как помеху, испытывая к нему любопытство. — Закусите с нами, товарищ подполковник!

Стряпающий солдат насадил на вилку испеченную, истекающую маслом лепешку, вытащил ее из жира, положил на стопку уже готовых. Кинул в пузыри сырое плоское тесто.

— Не откажусь, — Суздальцев присел рядом, втягивая ноздрями горячий, вкусный запах рукодельного хлеба. — Где печь научился?

— Дома, у мамки. Она печет, а я ей помогаю. Вот пригодилось.

— У него и фамилия — Лепёшкин, — хохотнул рыжий здоровяк, положив тяжелую руку на сутулую спину пекаря.

Все посмеивались, нетерпеливо поглядывали на Лепёшкина, на его страпню. Ждали, когда вырастет стопка вкусного теста.

— Откуда родом? Чем занимался? — Суздальцев спросил рыжеволосого, стараясь этим обыденным вопросом приблизить к себе солдат, чтобы они забыли о его офицерском звании и приняли, как принимают путника кочевники, сидящие у степного костра.

— Я-то? Из Курска. А взяли сюда из Москвы. Я по лимиту в Москве работал, в метро. Я мозаичник-облицовщик. Полы в метро укладывал, узор на стене. Мозаику из яшмы, из лабрадора. Из яшмы клал зеленое дерево, а из лабрадора должен был класть розовых птиц. Да не успел, забрали в Афган. Когда вернусь, найду или нет свое дерево? Интересно, какие на нем птицы сидят?

Суздальцев, подобно кудеснику, легчайшим ударом зрачков оторвал солдата от афганской степи, перенес в Москву, опустил на подземную многшумную платформу. Дал насладиться толпой, сверкающим вихрем состава, а когда унеслись голубые вагоны и погас в туннеле улетающий красный огонь, открыл ему мраморный блеск стены, зеленое каменное дерево, сидящих на ветках розовых птиц.

— А ты откуда? Чем занимался до армии? — спросил он кулинара Лепёшкина.

— А я сапожник, из-под Горького, — простодушно ответил Лепёшкин. — Обувь делаю, туфли, босоножки, ботинки. Ко мне все в поселке идут. Я фасон сам выдумываю. Иду по улице, а передо мной босоножки мои цокают. На танцы приду, а там мои туфельки танцуют. На снегу следы от моих сапожек всегда узнаю. Набоекку я одну придумал с узором, вот и девушек по следам нахожу!

Суздальцев и его ударом зрачков перенес в заснеженный городок, где сосульки, сугробы, ломкая корочка льда. Хрустят по голубому снежку красные тугие сапожки. Обернулось в улыбке девичье лицо. И такая русская благодать, такой на березах иней, что галка взлетела, — и долго сыплется с ветки прохладная белая занавесь.

— А вы, близнецы? — он обратился к солдатам, и настороженные совиные глаза, круглые одинаковые головы одновременно повернулись к Суздальцеву.

— Мы из-под Гомеля, скотники, — ответил один.

— Скотники мы, — заверил другой.

— За скотиной ходим, — первый, и, по-видимому, старший, родившийся на минуту раньше, задавал в разговоре тон. — На ферме с батей работаем.

— С батей на ферме, — подтвердил второй.

Суздальцев дарил им возможность побывать в родимом селе. Мычали на ферме коровы, окутывались паром. Вдоль рогов и загривков, вдоль слезных мерцающих глаз скотник катил тележку с кормами, и два его сына в одинаковых полушубках и шапках махали вилами, сыпали корм в кормушки.

— Ну, мужики, угощенье готово! Разбирай! — Лепёшкин снял с огня кипящее масло. Пламя в банке полыхнуло выше, светлей. Пекарь раздавал жаркие пышки. Все брали, хрустели. Блестели зубы, зрачки. Шевелились губы. — Угощайтесь, товарищ подполковник!

Суздальцев принял дар, теплую ржаную лепешку, испеченную солдатом в афганской степи.

У него было странное чувство, что он это уже видел однажды. Горящие земляные лампы, военный табор в степи, яркие степные звезды. Предстоящее погружение в теснины азиатского города, где опасная чужая толпа, изразцовая зелень мечетей, нежные запахи роз. Он когда-то об этом писал, сидя за печкой в тесной избушке под колеблемой беличьей шкуркой, слыша сонные вздохи хозяйки. Лесной объездчик, возмечтав стать писателем, он оставил ради этой мечты привычную московскую жизнь, писал свой роман “Стеклодув”, неумелый, наивный, похожий на длинную сказку. В нем меч-

тательный странник покинул родные пределы, оказался в волшебной стране среди восточных мудрецов и поэтов, отважных купцов и жестоких разбойников. Страницы незаконченного, сожженного романа вдруг собрались из пепла. Превратились в живые лица, в молодые голоса, в запах ржаной лепешки, в озаренную корму боевой машины пехоты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Агент Мухаммад Фаиз, — “источник”, как называл его Суздальцев, — назначил встречу на гератском рынке, в гуще толпы, где их свидание пройдет незаметно. Переодетого в афганский наряд Суздальцева Пятаков доставит на пустое шоссе в окрестностях города, а оттуда Достагир переправит его в Герат, на рынок. В случае если информация о ракетах окажется достоверной, бронегруппа Пятакова подберет Суздальцева, и они проведут молниеносную операцию в городе по изъятию “стингеров”.

— Петр Андреевич, послал бы лучше меня. Зачем тебе дыркой в голове рисковать. А, подполковник? — Конь в утренних сумерках пил воду из носика электрического чайника. В этих небрежных словах, в чмокание и бульканье Суздальцеву почудилось нарочитое непочтение, неверие в его профессиональные качества, тайный намек на неспособность Суздальцева добиться результата. А также тонкое уличение в трусости, предполагавшее в нем готовность переложить риск операции на голову подчиненного. — Ей, ей, Андрейч, лучше бы я поехал.

— Останешься с Пятаковым. Поддержите меня бронегруппой, — сухо ответил Суздальцев, направляясь к дверям, прихватив на ходу пистолет.

В разведотделе, раздевшись, он облачался перед зеркалом в афганское платье, стараясь добиться максимального сходства с афганцем. Погрузил ноги в просторные, землисто-белые шаровары — партуг, перетянув на бедре тесемку. Долгополая, навывпуск рубаха — камис — приятно холодила голое тело. Просунул руки в вольную, без застежек безрукавку — садрый, в которой было свободно плечам. Надел узкую в талии, из легкой ткани куртку — куртый. Не сразу удалось запахнуться в пышное, бледно-голубое покрывало — шарый, и он несколько раз ширококим жестом перебрасывал его через плечо. Натянул на голову шерстяную тибетейку с продернутой золотой нитью. Сверху, придерживая светлую ткань, возложил чалму, пышную, с небрежно-изящными складками. Сунул в сандалии босые стопы, пройдясь взад-вперед перед зеркалом, стараясь воспроизвести походку афганцев, чуть сутулую, со сдержанными взмахами рук. Укрепил под мышкой кобуру с пистолетом и покинул комнату.

Быстро светало. Небо, малиновое над горами, в высоте было еще синее и холодное, но начинало бледнеть, обещая жаркий безоблачный день.

Пятаков подогнал “бээрдээм”, докладывал:

— Товарищ подполковник, к выполнению задания готов. Как было приказано, доставлю вас на пустое шоссе в шести километрах от Герата. Бронегруппа отправится следом, с интервалом в час, и займет позицию в районе сосновой аллеи. Какие будут приказания?

— Вперед, — сказал Суздальцев, залезая на броню. Спустился в люк, разместившись рядом с водителем. Броневик покинул полк и полетел по шоссе. Скрывшись от пытливых глаз броней, облаченный в восточные одежды, он смотрел сквозь бойницы на мелькавшую обочину, безлюдную степь, далекие утренние горы. Было тревожно, операция казалась непродуманной, таила в себе риски и неожиданности, но не было времени на тщательную подготовку. Риски упустить “стингеры” превышали риски погибнуть. Броневик остановился. Пятаков окунулся в люк:

— Прибыли, товарищ подполковник. Можно выходить.

Суздальцев приоткрыл дверь. Увидел пустое, в обе стороны уходящее шоссе. Серую, шершавую степь с плавной волной предгорий, из-за которых вставало маленькое колючее солнце. Опустил ногу в сандалии на асфальт, подобрал накидку и шагнул на обочину, услышав, как зашуршала сухая тра-

ва. Отошел на несколько шагов от дороги и присел на корточки, по-афгански, чуть раздвинув колени, свесив между колен ткань накидки. Броневик развернулся и умчался обратно, уменьшаясь, утягивая за собой металлическую нитку звука. Суздальцев остался один.

Было тихо, пустынно. Солнце, оторвавшееся от гор, слабо грело затылок. Не было видно строений. Только утреннее, синее, в обе стороны уходило шоссе. Веял слабый, сладковатый ветерок с запахами сухой травы. Он провел рукой по темным, корявым стеблям, узнавая среди испепеленных солнцем растений пырей и типчак с остатками колосков, черные веточки полыни, серые, с зеленью у корней, кустики верблюжьей колючки.

Он услышал далекий, нарастающий гул. На шоссе, далеко, приближаясь, показался автобус, обшарпанный, дребезжащий, покрытый линиями узорами, с мутными запыленными стеклами. Поравнялся. Сквозь стекла промелькнули бородастые лица мужчин, круглые, накрытые паранджей головы женщин. На крыше автобуса громоздились какие-то корзины, мешки. Должно быть, жители из соседних кишлаков спешили в Герат на утренний базар. Автобус прокатил мимо. Одно колесо его было приспущено и издавало хлопающий звук, который еще долго слышался, когда автобус исчез.

Суздальцев, сидящий у обочины в азиатском облачении, не привлек внимания пассажиров. Не выглядел чужеродным среди степи, являясь ее обитателем.

Через некоторое время из той же дали снова возник звук. Звенел, гудел, урчал, словно по мере приближения включались новые, издающие звук механизмы. Показался грузовик с солнечным лобовым стеклом, украшенным бахромой из кисточек, блестящих висюлек, напоминавших елочные игрушки.

Высокие борта грузовика были покрыты затейливыми узорами из стилизованных цветов и птиц, автомобилей и архитектурных сооружений. Кузов был полон темнолицых крестьян в чалмах. На крыше грузовика, в тесном дощатом загоне, виднелись овечьи головы. “Борбухайка” бодро проурчала и ушла к Герату, где уже начиналась рыночная торговля.

Сидящие в кузове крестьяне равнодушно скользнули взглядами по сидевшему у обочины Суздальцеву, не отличая его от сородичей. Одинокий степняк вышел к дороге и ждет попутную машину в Герат.

Он не сразу заметил велосипедиста, бесшумно катившего, с развевающейся накидкой. Ноги в шароварах упорно давили педали. Наклоненная вперед голова с рыжеватой бородой, в черной чалме, покачивалась в такт упругим движениям. Поравнявшись с Суздальцевым, он взглянул на него, еще и еще раз, блеснув белками, и переднее колесо несколько раз вильнуло. Велосипедист выправил руль и, отвернувшись, покатил, удаляясь, в черном плаще, с солнечным мерцанием спиц.

Суздальцев испытал тревогу. Слишком бесшумно подкрался велосипедист. Слишком пристально, с радостным блеском белков, взглянул на него, словно узнал. Велосипедиста уже не было, а тревога оставалась.

Со стороны Герата на шоссе раздался легкий стрекот кузнечика. Появился экипаж, похожий на нарядную табакерку. Моторикша — узорная кибитка, словно расшитая шелками тибетейка — на трех колесах катила по голубому асфальту, управляемая возницей. Приблизилась к Суздальцеву и остановилась, дрожа бахромой с забавными шариками, звездочками, колокольчиками. Возницей оказался Ахрам в чалме и хламиде, черноусый, с пунцовыми, расплывшимися в улыбке губами. Из глубины кибитки наклонился Достагир, теперь уже в афганском облачении, но не в том, какое носят простолюдины, а в том, в котором щеголяют зажиточные горожане. Бархатная зеленая шапочка, шитая серебром. Вольно висящий шелковый халат, под которым виднелась рубаха и брюки, остроносые блестящие штиблеты.

— Здравствуйте, товарищ Суздальцев, — белозубо улыбнулся Достагир, приглашая взглядом занять место в кибитке. — Вы настоящий афганец. Вам только не хватает мотыги или кетменя.

— Или десять овец рядом, — засмеялся Ахрам.

Суздальцев встал с обочины, оглянулся по сторонам и нырнул в кибитку, почувствовав, как она просела под его тяжестью. Мотор затрещал, и они, развернувшись, покатали в Герат.

— Как завершилась вчерашняя операция в кишлаке Зиндатджан? Что показали задержанные? — Суздальцев вдавливался вглубь повозки, не желая себя обнаружить, прижимая локтем кобуру с пистолетом.

— На допросе показали, что из Ирана пришла группа из десяти человек. Назвались торговцами, желающими приобрести изделия из гератского стекла. Главного торговца зовут Вали, средних лет, с рыжеватой бородой. По виду военный. Арендовали машину, чтобы везти в Иран купленный товар. Возможно, для перевозки ракет. Все десять двумя группами ушли в Герат и не возвращались. Пока всё.

Суздальцев на мгновение вспомнил велосипедиста, прокатившего мимо по шоссе. Его черное покрывало, яркие белки и рыжеватую бороду. Свою моментальную тревогу, которая вновь повторилась и погасла.

— Насколько надежен ваш источник Фаиз Мухаммад? Можно ли ему доверять?

— Он бывший вертолетчик. Душманы убили близких. Сошел с ума. Но теперь поправился. Его друг живет в Деванче. Рассказал про ракеты. Подробности он готов сообщать только вам.

— Где состоится встреча?

— На рынке, в чайхане “Тадж”. Конечно, это не Тадж, не дворец. Обычная чайхана. Место проверили. Безопасность обеспечена. Конечно, в той степени, в какой это возможно на рынке. Ахрам расставил своих людей.

— Мои люди — твои люди. Будем брать Вали. Будем брать ракеты, — бодро отозвался Ахрам, управляя коляской.

Они катили по пустому шоссе, обсаженному соснами, мелькали красные корявые стволы, серебристая хвоя. Степь утратила мертвенный пепельный цвет, умягчилась, брызнула зеленью. Ветер, залетавший в коляску, стал влажный, бархатный, пахнущий водой и травой. Река сочно сверкнула, заструилась протоками, солнечной рябью на перекатах, листвой на прибрежных кустах.

— Гератский мост, — произнес Достагир, когда они пересекали реку. У моста, с обеих сторон, были вырыты окопы, смуглые лица афганских солдат поворачивались им вслед. — Душманы хотят взорвать, а мы не даем.

Суздальцев заметил ствол пулемета, обращенный к реке. Спрятав корпус в кусты, стоял транспортер. От коричневых солдатских лиц, от металлических касок, от вороненого ствола пулемета брызнула тревога, полыхнула опасность, и Суздальцев остро ощутил враждебность чужой природы. Голубая вода, сочная зелень, стайка взлетевших птичек отталкивали его от себя.

Вдоль дороги, указывая на близкое предместье, потянулась низкая глиняная изгородь, и за ней молодая сочная зелень. Изгородь превратилась в высокую глинобитную стену, окружавшую жилище. Над стеной возвышался шершавый глиняный купол, словно затвердевший пузырь. Из него сочился голубоватый дымок. Сладко пахнуло горячей сосной. Перед домом стоял человек в складчатой накидке, с бородой, в чалме. И вид его был благодушен и не вызывал опасений.

Потянулись мастерские, вывески с названием аграрных хозяйств и строительных складов. Мелькнули красные самоходные комбайны советского производства, голубые тракторы “Беларусь”. Поленицы с аккуратно распиленными стволами горной сосны. Жерди, сложенные в высокие остервершие пирамиды. Предместье укрупнилось домами, кровлями, снующими вдоль дороги людьми. И они въехали в Герат, словно стали частью огромной шумной карусели, взлохмаченно-пестрой, музыкальной, мелькающей.

Улицы, накаленные, в золотистой дымке, в синеватой машинной гари, кипели. Смоляные черные бороды. Сверкающие белки. Развеваящиеся одежды. Толпа была густой, жаркой, как расплавленная смола. Истошно гудели моторикши, усыпанные блестящими, похожие на маленькие расписные шарманки, издававшие звон и стрекот. Выруливали, блестя спицами, сцеплялись в трескучие ворохи, как пестрые насекомые. Закупоривали улицу, рассыпались, продолжая катиться, звенеть. Ослики с бубенцами бежали, трясли на себе величавых наездников, закутанных в вольные ткани. Торго-

вали, спорили, тащили на спинах кули. Толкали перед собой двуколки с грудами овощей и фруктов. Пронесли коромысла с медными чашами, полными орехов и пряностей. Стояли перед дымящимися жаровнями, обмахивая их опахалами, раздувая угли, вращая гроздья шипящего мяса. Дуканы казались балаганами, в которых совершалось пестрое легкомысленное действо. Что-то вспыхивало, светилось, мерцало. Весь огромный азиатский город наполнил клубящееся непрерывное празднество. Кого-то славил, кому-то возносил думы, кому-то жаловал дары. Но в этой легкомысленной пестроте и радостной неразберихе Суздальцеву чудилась невидимая стальная сердцевина, упругая спираль, готовая распрявиться и жестоко ударить. Где-то здесь, среди лавок и веселых торговцев, притаился иранский спецназ. В тесных кварталах и глинобитных строениях были спрятаны “стингеры”.

Они приблизились к базару, из которого валила толпа, но Ахрам проехал мимо, едва не задев торговца, несущего на голове корзину с апельсинами. Мелькнуло купольное здание бани с сочащимся мыльным арьком. Кружили по городу, словно укрывались от погони, путали чьи-то следы, опасались преследования.

На пути возникли каменные стены и башни, белесые, седые, с зубцами, с чересполосицей света и тени. Крепость казалась осевшей, словно каменные богатыри погрузились по пояс в землю, и над их головами пламенела сияющая лазурь.

— Наша крепость, Эхтиар Рудин — Воля Веры, — произнес Достатир, — очень старая, лет триста. На ее месте стояла другая крепость, построенная Александром Македонским. Он завоевал Герат, построил крепость, но не смог удержаться. В Афганистане никто из чужаков не удерживается.

— Товарищ Суздальцев — не чужой, он друг, — поспешил добавить Ахрам.

Они миновали мечеть Мачете Джуаме. Суздальцев запрокинул голову, ослепленный стеклянным блеском нисходившей с неба стены. Синий воздух сгущался, принимал форму куполов, минаретов, льющихся сверху изразцовых потоков. Казалось, среди пепельно-серых домов и тускло-желтых улиц здесь стегнулась лазурь, из которой небесный стеклодув выдул мечеть своим глубоким дыханием. В ее гулких прохладных недрах таился медленный выдох — молитвы, стихов из Корана.

Они продолжали круженье по городу. Герат по-прежнему был похож на разноцветную скрипучую карусель, но в этом ворохе цвета и гама притаилась невидимая стальная пружина, готовая распрявиться и смертельно ударить. Суздальцев ловил на себе пытливые взоры прохожих, которые, казалось, разоблачили его хитрость с переодеванием. Усмешку торговца, зазывавшего в свой дуكان. Черно-огненный ненавидящий взор тучного афганца из встречной моторикши. Среди обожженной глины, крашеного ветхого дерева, надтреснутых изразцов ему мерещился блеск оружия, среди складок накидки — автоматный ствол.

Его мысль о стеклодуве получила вдруг счастливое подтверждение. Они задержались ненадолго перед маленьким дымным строением. Суздальцев заглянул в полутемный сарай. Там стеклодув в закопченном прожженном фартуке, в замусоленной повязке окунал тростниковую дудку в котел с кипящим стеклом. Озарялся, обжигался, одевался в белое пламя. Выхватывал на конце своей дудки липкую огненную каплю, стекавшую, готовую сорваться звезду. Быстро, в ловких ладонях, крутил. Дул в нее, выпучивая черные, с яркими белками, глаза. Капля росла, розовела, обретала вязкие удлиненные формы. Становилась сосудом, бутылкой, пламенеющей, охваченной жаром вазой. Стеклодув опускал ее, отрывал от тростниковой, охваченной жаром пуповины. Усталый, потный, откидывался на топчан, измученный, словно роженица. А новорожденное стеклянное диво остывало и гасло. В стекле появлялись зелень и синева. Лазурный хрупкий сосуд стоял на грязном столе, и в его стеклянные стенки были вморожены серебряные пузырьки. Дыханье стеклодува, уловленное навсегда, оставалось в сосуде.

А у Суздальцева мелькнула счастливая благоговейная мысль — перед ним в углу облачения афганского стеклодува явился Создатель Вселенной. Родил на его глазах еще одно небесное тело.

Уклоняясь от слежки, они проехали вдоль городского парка. Худой горбоносый садовник опустил к земле кетмень. Суздальцев залюбовался струящимися кронами кипарисов и тополей, желтыми пустыми дорожками, кустами, подстриженными в форме минаретов и стрельчатых арок, журчанием маленького солнечного водопада и перелетавшими изумрудными птичками. Захотелось углубиться в пар, притаиться среди благовонных кустов, рассмотреть подробнее изумрудных птичек. Отложить опасную встречу.

Они миновали центральную часть города, торговые ряды, бензоколонку. Лавировали в круговерти тяжелых грузовиков и запряженных осликами повозок. Остановились на маленькой площади, окруженной лотками. От площади вглубь квартала уходила солнечная пустая улица с глухими лепными стенами. Суздальцев смотрел в это солнечное сухое пространство, и ему вдруг неудержимо захотелось туда. Болезненный магнетизм увлекал его из-под тента повозки. Хотелось пройти по улице, почувствовать плечами тесное гулкое пространство, услышать притаившиеся за стеной голоса, уловить запах дыма и теплого хлеба. Он порывался встать. Но был остановлен Ахрамом.

— Нельзя! Деванча! Враг! Стрелять может!

И в ответ на его слова далеко на улице возник человек в черной чалме, бородастый. Медленно вышел на солнце, окруженный тенью, и рассматривал остановившуюся моторику. Также медленно канул, будто растворился в стене.

Рынок казался огромной цветной черепахой с пестрым чешуйчатым панцирем. Под костяным куполом шло шевеление, скрипы, панцирь напрягся. Чудилось, рынок медленно ползет по городу, скребется о глинобитные дома и мечети. Черная гуща втекала в главные ворота рынка, а из боковых ворот валела несметная толпа, словно рынок ее удваивал. В нем шло размножение, он роился, как пчелиный сгусток. Словно таинственная матка без усталости рожала на свет крепких, с красными лицами и черными бородами мужчин и укутанных в паранджу женщин, которые казались цветами с круглыми головками, колыхали подолами, и сквозь ткань угадывался их возраст, волнуя взгляд плавными бедрами, высокой грудью, мелькнувшей под подолом щиколоткой. Рынок бурлил, шумел головами, взрывался криками, яростной едкой музыкой, высоким стенанием муэдзина.

Суздальцеву казалось, войди он под своды рынка, и окажется в громадном тазу, в котором варят черно-вишневое варенье, задохнется, утонет, станет барахтаться среди горячих пузырей.

Они оставили свою хрупкую расписную повозку на стоянке тяжелых грузовиков — барбухаек, у которых усталые водители ели руками плов, запивая чаем. Тут же, привязанные к железным кольцам, стояли верблюды, надменно взирали на суету, иногда один или другой издавал рев, обнажая желтые зубы, и от этого свирепого рыка поднимались тучи воробьев и голубей.

— Товарищ Суздальцев, пойдём, Ахрам впереди, я за вами. Не волнуйтесь. Здесь много наших товарищей, — произнес Достагир, пропуская Суздальцева вперед. Невероятная сила и мощь, исходящая от толпы, пугала, рождала дурные предчувствия, он чувствовал свою беспомощность перед этой раскаленной энергией. И она же, эта энергия, и таинственное с нею родство притягивали Суздальцева, влекли в водовороты рынка. Прижимая локтем кобурку пистолета, запахнувшись в накидку, он двинул свои босоногие сандалии в толпу.

По нему хлопали тугие ткани накидок, задевал душистый шелк паранджи. Его теснили тюрбаны, из-под которых на секунду возникал крепкий нос, жгучие брови вразлет, огненный взгляд черных глаз. Рынок вопил, смеялся, сердился. Вокруг торговались, хлопали по рукам. Зазывали умоляюще заглядывали в глаза и назойливо тянули за рукав. Мальчишки пускали ввысь каких-то бумажных птичек с пропеллерами, и те, вращаясь, со стрекотом пикировали на толпу, не больно ударяя в головы. Кругом — веселое плутовство, азарт, жадность, наслаждение, величавое философское равнодушие. Именно с этим выражением сидел торговец, положив на одну чашу весов железную гирию, а на другую гору орехов. Господь Бог, взвешивающий благодеяния и грехи.

Суздальцев, пробираясь за Ахрамом в лабиринтах рынка, сворачивая в соседние ряды, постоянно меняя направления, старался запомнить прихотливый маршрут, выбрать опорные знаки, по которым можно было бы отыскать дорогу назад.

Лавка с кальянами, похожими на грациозных птиц, — выпуклые стеклянные грудки, пестрые хохолки, распушенные хвосты. Дукан, торгующий изделиями из меди — сияющие подносы и блюда, самовары и жаровни, разные светильники, узорные сосуды. Среди товаров расхаживал торговец в малиновой безрукавке и шароварах, протирая тряпочкой медный самовар.

На одном из поворотов сияла лавка, торгующая арабесками. Суры Корана сопровождалась разноцветными экспрессивными рисунками. Пророк, обнажив меч, на белом коне въезжает в лазурное море. Золотые купола мечетей и черный камень Кааба, окруженный арабской вязью. С раздвоенным лезвием меч, похожий на струящийся факел, и вокруг такие же пламенные, с завитками огня, арабские надписи. И среди нарядных, на серебре и на золоте, картин — роза, алая, пышная, источающая жар и сияние, помещенная в центр Вселенной. Роза Мира. Венец творенья. Любимый цветок Стеклодува.

Они погружались в рынок, как погружаются в бездну, откуда нет выхода. Среди голошений, воплей веселья и гнева Суздальцеву чудились зоркие молчаливые люди, наблюдавшие за ним из толпы, случайно задевавшие его локтем или накидкой, нырявшие в соседний проход. Его “передавали”, “вели”. Это могли быть разведчики афганского “ХАДа”. Могли быть лазутчики моджахедов. Могли быть агенты пакистанской или иранской разведки. Или англичане из Ми-6. Или ЦРУ. Среди запахов тмина и перца, восточных благовоний и сладких дымов реяли злые ветерки, исходившие от незримых преследователей. И он шел за Ахрамом, прижимая локтем пистолет.

Они миновали ряды, где менялы мусолили пачки афганей, динар и долларов. Перетягивали резинками кипы рублей и марок. Прошли сквозь ряды ювелиров, выставлявших под стеклом золото и серебро, перстни и кольца с лазуритом. Горы помидор пламенели, словно в каждом светила лампочка. Груши и яблоки отекали соком. В меховых лавках груды лежали дубленки, висели медвежьи шкуры и пятнистые меха горных барсов. Антиквары предлагали старые пуштунские украшения, в которых переливались яшмы, лазуриты, агаты.

Они вошли в мясные ряды, где на мокрых крюках висели ребристые говяжьи туши, покачивались ободранные бараны, связки обципанных кур. Пахло сырой плотью. Покупатели трогали мясо, принюхивались, смотрели сквозь ребра на свет. Торговцы снимали с крюка тушу, плюхали на плаху и с хрустом разрубали топором.

Здесь же, в окружении мясных рядов, Суздальцев увидел корчму с закопченными окнами и красной грязноватой вывеской, на которой красовалось аляповатое изображение дворца и название “Тадж”. Ахрам, не оглядываясь, прошел мимо, а Суздальцев, услышав за спиной слова Достайгира: “Входите”, — тоже не оглядываясь, растворил звякнувшую дверь харчевни.

Ему в лицо пахло кисловатым воздухом, в котором витали специи, дым и дыханье людей, поедающих пищу. Прямо у дверей сидел кассир, получая деньги, заполняя от руки розоватые чеки. Напротив, в стене было окно, в которое с кухни подавали подносы с едой, и забеганный служка с непричесанной головой и калошах на босу ногу подносил блюда. Несколько посетителей предавались трапезе. Усталый, тучный крестьянин, лицом к окну, нехотя доедал пиалу с рисом, роняя белые зернышки на бороду, грудь, облизывая жирные пальцы. От него не исходила опасность, его спина оставалась открытой, и он не ожидал нападения. Двое других у стены, похожие на братьев, весело переговаривались, посмеивались. Оборачивали в лепешку длинный кебаб, макали в соус и, запрокидывая голову, засовывали в рот. Шевелили усиками, двигали кадыками. Эти двое были защищены со спины, могли стрелять сообща. Слишком нарочито смеялись, жевали, не прятались и этим рождали тревогу. Еще один сидел в самом углу и, казалось, дремал, оставив недопитый чай. Его тяжелые веки были опущены. Чалма съехала. Грубые, черные от работы руки лежали на столе. Его позиция была безуко-

ризненной, но вид он имел бедного крестьянина из окрестного кишлака, приехавшего на рынок подработать носильщиком или сборщиком мусора.

Суздальцев моментально оглядел корчму, проведя от посетителя к посетителю траекторию стрельбы, помещая всех, включая кассира и служку, в геометрию боя. Выбрал для себя в многоугольнике наименее уязвимую точку — спиной к стене, лицом к стеклянным дверям, по соседству с запасной дверью, ведущей, видимо, на кухню, откуда раздавались раздраженные женские голоса.

Сел, приоткрыв накидку, чтобы легче было достать пистолет. Осматривался по сторонам. На стенах висели картонные портреты каких-то напыщенных воинов на фоне скачущей конницы. Портреты были в жирном нагаре от мясных супов и жареного мяса и сильно засижены мухами. Сквозь стеклянные двери и окна виднелся перламутровый рынок, долетали возгласы менял и торговцев.

Суздальцев заказал себе лепешку с люля, зеленый чай с кристаллическим сахаром и, не приступая к еде, стал ждать. Посетители входили и уходили. Встал и расплатился у входа тучный крестьянин, выхватывая узкими пальцами крупичи риса из бороды. На его место пришли и сели худой старик и мальчик, беззубый рот старка улыбался в седых усах, а мальчик, прикрывая рот ладонью, хихикал. Оставались сидеть двое, похожие на братьев, их еда была съедена, чай выпит, но они продолжали сидеть.

Дверь зазвенела, и вошел Достагир, что-то любезно спросил у кассира, заглянул в карту меню и, прихватив ее, отправился в дальний угол, чтобы видеть дремлющего пред чашкой чая посетителя. Он не смотрел в сторону Суздальцева, но тот чувствовал исходящие от него нервные токи.

Снаружи зазвучала визгливая музыка, кто-то в соседней лавке включил кассетник. Заслоняя окна, проехала повозка с перекладной, на которой висели ковры, и ковровщик, упираясь ногами, толкал повозку. И эти два события, — музыка и ковры — предшествовали звону дверей, в которых появился тощий человек в долгополой куртке и шароварах, в серой шапочке и серебристой щетине. Он тревожно, рывками, оглядел харчевню, увидел Суздальцева, шагнул к нему.

— Здравствуйте, я Хафиз Мухаммад.

— Я Суздальцев, здравствуйте.

Они обнялись, и, касаясь щекой щеки Мухаммада, Суздальцев укололся о жесткую щетину.

Уселись напротив друг друга. Суздальцев заметил, что в худых смуглых пальцах Мухаммада дрожат четки, и тот, чтобы скрыть постоянную дрожь, перебирает смуглые ядрышки.

— Не обращайтесь внимания, — Мухаммад кивнул на дрожащие руки. — Я лечился в сумасшедшем доме, и руки еще продолжают дрожать.

— Я знаю вашу историю. Почему вы решились обратиться ко мне?

— Очень много предателей.

— И в “ХАДе” предатели?

— Я располагаю информацией. Сообщил об этом офицеру “ХАДа”. После этого меня хотели похитить.

— Вы не испугались прийти ко мне?

— Мне нужно передать информацию, после этого они могут меня убить или похитить. Мне ничего не страшно. Они убили всех моих близких, и я ничем не могу отомстить. Я больше не в силах летать, — он вытянул дрожащие пальцы, на которых трепетали четки. — Вы поможете отомстить.

— Вы знаете, что меня интересует?

— Вас интересуют зенитные ракеты американского производства. Я знаю, они уже начинают действовать в восточном Афганистане, и много моих товарищей-вертолетчиков погибло от их попаданий. Теперь ракеты попали в Герат. Здесь скоро тоже начнут падать наши и ваши машины.

— Вы знаете, где эти ракеты?

— Мой дальний родственник Хамид живет в Деванче. Он дружит с соседом, который живет возле мечети. Соседа зовут Азис Ниалло. Утром, перед рассветом Хамид услышал на улице шум. К дому Азиса подкатил грузо-

вик, и люди сгружали ракеты. Хамид насчитал двадцать или двадцать пять ракет, которые были не в ящиках, а завернуты в холст. Когда машина уехала, Хамид спросил друга: “Что это?”. — “Ракеты, которыми скоро начнут сбивать вертолеты. И они больше не будут бомбить наши кишлаки”. Хамид сказал, что пойдет и расскажет в “ХАД”. Сначала он пришел ко мне и просил совета. Я посоветовал ему идти в “ХАД”. Когда он вышел из моего дома, его убили на улице. Те, кто его убил, знают, что он навестил меня, и я знаю местонахождение ракет. Поэтому они следят за мной и хотят меня убить. Поэтому я торопился встретиться с вами.

— Где находится дом Азиса Ниалло? — задавая вопрос, Суздальцев заметил, как шевельнулся и с тяжким вздохом открыл усталые веки тучный афганец в углу. Поднял черную крестьянскую руку и поправил чалму, которая съехала ему на глаза. — Где укрыты ракеты?

— Если входите с площади в Деванчу, то третий дом за мечетью. Сплошная стена, но в ней ярко-синие деревянные ворота. Он их недавно покрасил. Рядом подобных нет. Это дом Ниалло.

— Где он их может прятать?

— Не знаю. Может быть, в доме под полом. Может быть, в коровнике под сеном. Я не бывал у него в доме.

Черная крестьянская рука, поправив чалму, вяло опускалась к столу, но у тучной груди замедлила движение, прынула под накидку, выхватила пистолет. Афганец с медвежьей грациозностью отшвырнул стол, вскочил и кинулся к Мухаммаду. Тот тонко вскрикнул, вильнул из-за стола и помчался к дверям. Отрезая ему путь, бросились “братья”, расплескивая длинные брызги соуса. Выставили пистолеты и стреляли дружно, наполняя харчевню вспышками. И пока пули пробивали щуплое тело Мухаммада, он упал и полз, вздрагивая от попаданий, прижимаясь щетиной к грязному полу, и четки выскользнули из его раскрывшихся пальцев. Достагир, не вставая, прижавшись к стене, бил через стол в спины “братьев” с двух рук. Переводил пистолеты в сторону толстяка, и у того на груди лохматились красные дыры.

Суздальцев среди свистящих пуль, геометрических пунктиров, подныривая и уклоняясь от выстрелов, шарахнулся к запасным дверям, которые заранее выбрал для отступления. Он не осмысливал поля боя, действовал по наитию, повинаясь инстинкту жизни и той предварительной схеме, которую вычертил, ожидая неминуемую схватку. Но помимо желания уцелеть и выжить, в нем поместилась под сердцем добытая истина, нагроулила его, как нагроуждает женщину плод. И он уносил из-под пуль не одну свою жизнь, но драгоценную информацию — мечеть в Деванче, ярко-синие ворота в серой глинобитной стене.

Пробежал сквозь кухню с пылающим очагом и медными лоханями, в которых шипело мясо и бурлила коричневая гуща. Женщины-поварихи всплеснули руками и отскочили от страши. Он рванулся в неровный квадрат задних дверей, выскочил на рынок и увидел, как от стены дукана, распахивая локтями гору помидоров, встает человек и целит ему в лицо. И от другого дукана, разваливая пирамиду яблок, выпрыгнул по-козьиному Ахрам, метнулся, заслоня собой Суздальцева, и тот, пробегая мимо, услышал, как хлопнули в тело Ахрама пули. Бросился в мясные ряды, к розовой на солнце ребристой туше, и вслед ему, у виска, ударил выстрел, пуля пробила тушу, пропуская пучок лучей. Он услышал хруст разрываемой плоти, стук перебитой кости. В лицо пахло горелым мясом и перемолотым костным веществом. Присел, разглядев у своих сандалий втоптанную в грязь бирюзовую бусину. Взыл металлический, из виньеток и завитков, голос муэдзина. Запечатлелось навек — вдавленная в грязь бусинка, брызги солнца из пробитой туши и надсадный, парящий над рынком голос муэдзина.

Он бежал по рынку, видя, как от стен, из дверей дуканов, из-за повозок, из толпы выступали люди и начинали стрелять. По нему, по другим, стрелявшим в ответ, прошивая толпу, заваливая подвернувшихся под шальные пули. Вилял, подныривал под навесы, расшвыривал горы перца, контрабандный стиральный порошок, разливал флаконы с жидким мылом.

Бежал наугад, не узнавая рынка, путаясь в его лабиринтах. Налетал на крутящиеся вентиляторы, похожие на одноногих балерин. Утыкался в стальные часы, чьи маятники маршировали всё в одну сторону, как солдаты. Он понимал, что заблудился. Тайна, которую он нес под сердцем, не может пробиться к выходу. Синие ворота в стене, изразцовая глава мечети так и исчезнут в черном непроходимом вареве, которое затягивало его, как топь.

Вдруг сбоку просияла лавка с арабесками, — золотые и серебряные картины с мечетями и несущимися скакунами, румяные крылатые девы, окруженные святыми сурами. И среди минаретов и раздвоенных клинков он увидел розу. Сочная, дивная, растворившая лепестки, торжествующая, как центр Вселенной. Роза Мира. Любимый цветок Стеклодува.

Она позвала его, и он кинулся на ее спасительный свет. Уже узнавал дулканы с медными самоварами, лавку с кальянами, далекий, в муравьином копошении выход. Прижимая руки к груди, защищая не сердце, а таящуюся под сердцем тайну, бросился к выходу.

Моторикша стояла на прежнем месте, за рулем сидел Достагир. Ревели верблюды. Разворачивался тяжелый грузовик с затейливо расписанным кузовом.

- Ахрам убит, — сказал Достагир. — Вы добыли информацию?
- Добыл.
- Что теперь?
- На шоссе нас ждет бронегруппа. Вместе с ней в Деванчу.

Бронегруппа из трех машин стояла под соснами на окраине города. Солдаты сидели на броне, рассматривая катившие мимо “барбухайки”, лениво курили. Майор Конь вместе с Пятаковым присели у края асфальта, Конь куточком кирпичика рисовал на асфальте схему какого-то боя, и Пятаков внимательно рассматривал бруски “бэтээров”, сектора обстрела, направления ударов. Выскакивая из коляски, Суздальцев разглядел среди солдат головной машины парня по прозвищу Маркиз, милого, с пушистыми бровями солдата, которого вчера запомнил, сидя у костра.

— Ракеты в Деванче. Третий дом от мечети. Синие ворота в стене. Хозяин — Азис Ниалло. Надо брать! — торопил, задыхаясь, Суздальцев.

Пятаков пружинно распрямился, рыкнул по-командирски:

— По машинам! За мной!

Вскочил на броню, сажая рядом Достагира. Конь и Суздальцев поместились у башни. Маркиз распластался своим молодым гибким телом среди уступов и скоб. Бронегруппа рванула, окуталась синим дымом и с лязгом пошла по шоссе.

В раздавленных ветром глазах, сквозь наплывы слез перед Суздальцевым летели синие, вмурованные в стену ворота. Удалялись, а машина их наступала, а они вновь удалялись, маня синевою. Чалму сорвало ветром, и она осталась лежать на дороге. Ветер поднимал полы накидки, и они шумели, как крылья. Рядом, ухватившись за пушку, выставив лоб, набылчился Конь. Напоминал кентавра могучим торсом слитностью с машиной, его тулово с могучими мышцами произрастало из брони.

Суздальцев узнавал окрестности, мимо которых бронегруппа врывалась в город. Низкая корявая изгородь, за которой сочно, по-пасхальному, кустились зеленя. Заскорузлый глиняный купол, из которого сочился дымок. Машинный двор с красными комбайнами и синими тракторами. Гусеницы резали асфальт, высекали звук пилы, и жители в страхе отскакивали от режущего жестокого звука, сбегали с шоссе.

Город вскипел, наполнил улицы варом, нервной звенящей суетокой. Машины, не сбавляя скорость, включив сигналы и бледные водянистые фары, пробивали толпу. Воздушной волной отбросило перебежавшего пешехода. Задела гусеницей повозку с помидорами, брызнув красным взрывом. Едва не столкнувшись с грузовиком, отразившись в ужаснувшихся женских глазах.

— Вперед! — гнал машину Пятаков

Гремящей струей обогнули рavelин Эхтиар Рудин с драконьей зубчатой стеной. Попали под синий солнечный дождь — в блеск Мачете Джуаме, ее

стеклянных изразцов и хрустальных голубых минаретов. Парк, тополя, кипарисы. Клумба с кустами роз. Еще недавнопыльные, алые, источавшие дивное свечение, они были черны, глухи. Казалось, в цветах скопилась каменная тьма.

Колонна остановилась на площади, где по кругу бежали ослики, вихляли повозки, переваливались грузовики. Перед ними была Деванча — длинная, как глиняный желоб, улица, лепная, без дверей и окон, с черной рябью бойниц вдоль верхней кромки стены.

— Вам, товарищ подполковник, показывать. Пробьемся к дому, взорвем ворота, устроим шмон. Ракеты под броню — и домой. Приказывайте, товарищ подполковник.

— Спешь солдат, Пятаков, пусть идут за броней, — распоряжался Конь.

— Достагир, будь рядом. Чтоб не ошибиться. Спрашивай, тут ли живет Азис Ниалло, — Суздальцев вглядывался в солнечную сухую улицу, тревожащую своей пустотой, неровным пунктиром бойниц. Солдаты спрыгнули с брони, притаились за сталью машин, держа автоматы стволами вверх.

— Вперед, — приказал Суздальцев, крепче ухватившись за скобы.

Машины, развернув пушки “елочкой”, беря под прицел бойницы, качнулись, двинулись, медленно втягиваясь в улицу. Суздальцев окунулся в люк, выглядывая из-за кромки, стараясь углядеть мечеть. Но улица плавно загибалась, и пространство за поворотом было скрыто от глаз.

Первые два выстрела прозвучали одновременно, окутав бойницы сизыми дымками. Одна очередь хлестнула пыль, взрыхлив на дороге бурючки. Другая косо прошла, зацепив броню, породив ноющей удар, какой бывает в пустой цистерне, когда в нее попадает камень.

Пятаков, прижимая к горлу шлемофон, командовал. Пушка головной машины грохнула, ударила в Суздальцева звоном стали, рыгнула пламя, и в стене, рядом с бойницами, появилось облако. Пробоины не было. Из вырубленной лунки текла вялая солнечная пыль.

Следующими застучали бойницы с другой стороны, стволов не было видно, но сквозь щели брызгали длинные вешпышки. Крошили противоположные стены, и несколько пуль рубануло машину у головы Суздальцева, так что заломило зубы. Он провалился в люк, медленно выглядывал. Пушки трех “бээмпэ” сработали одновременно, и в трех бойницах взорвался огонь, повалил дым, и больше оттуда не стреляли.

Машины медленно продвигались по улице, солдаты, приседая, прятались за броню. Суздальцев увидел, как из-за поворота возникли невысокие минареты, похожие на лесные грибки, и стал выдвигаться фасад мечети, без изразцов, глинобитный, со стреловидной аркой, над которой зеленел флаг.

Гранатомет ударил сверху слева, темная трасса с красным комочком промахнулась, ткнулась в стену, срикошетила, рассекла пыль дороги и взорвалась у стены, полыхнув ярким при свете солнца взрывом. В воздухе, пересекая улицу углами, повис реактивный след, а из-под стены, где полыхнул взрыв, лениво сочилась гарь.

Вторая граната ударила близко, и Суздальцев ее не увидел. Только испытал раскручивающий страшный удар в носовую часть, от которого сквозь сталь прошла судорога, и машина, взревев от боли, стала поворачиваться, словно пыталась убежать. Уткнулась острым углом в стену, продолжая крутить пустыми, без гусениц, катками. Корма уткнулась в стену противоположного дома, и машина закрыла проход, продолжая содрогаться.

— Водитель, из люка! Достагир, с брони! Они ее начнут добивать!

Все трое, окруженные бисером трасс, скатились на землю. Подбитая машина цапала кормой стену, лишённые гусеницы катки бессмысленно крутились, а гусеничная лента плоско лежала в пыли. Суздальцев увидел близкую мечеть и через несколько домов — удаленные синие ворота, плоско вмурованные в дувал. Их желанную синеву. Их близкую доступность. Их мучительное притяжение.

Майор Конь с солдатами продралась между кормой и стеной.

— Вперед! Вперед! — рыком Конь подгонял солдат, с одной руки посылая впер очередей в бойницы, подавляя стрельбу. Солдаты разделились. Прижима-

лись к стенам, мелко перебирая ногами, стреляя по верху стен, проводя на сухой глине дымные дорожки. Суздальцев, чуть отстав, видел, как Маркиз, расстреляв рожок, хотел вставить новый, но уронил, и рожок блестел на дороге. Маркиз рывками извлекал из “лифчика” новый рожок, вгоняя его в автомат.

— По дыркам бей, закупоривай! — Конь, без кепки, с лысым черепом, набрякшими венами, упорно рвался вперед, туда, где были ворота, — их маслянистая синева, вмурованная поперечная балка и двойные закрытые створки. Мечеть была близка. Безветренно свисал зеленый флаг. Ворота, желанные, доступные, приближались. Сзади Пятаков руководил эвакуацией подбитой машины. Ее остановили, прицепили за корму трос с чекой, потянули. В прогал просачивались другие солдаты, спеша поддержать головную группу.

— Вперед! Вперед!

Улица, полная солнца, затуманилась, словно ее закрыли мутным стеклом. Так густо летели пули и мерцали выбитые из стен песчинки. Солдаты присели, перестали стрелять. Вжимались в стену, норовили повернуть обратно.

— Куда, чмо! Сука! — крикнул Конь, пиная ногой Маркиза, который, повернувшись на пятке, вжав голову, начинал отступать. — Вперед!

Пуля ударила Маркиза в горло, разрывая артерию, и казалось, на его шею повязали пионерский галстук. Он падал, а Конь продолжал кричать:

— Вперед!

Маркиз упал на руки товарищей. Они дружно стали его оттаскивать, боялись от него отцепиться, ибо убитый позволял им покинуть адское место.

Конь отступал вместе с ними, огрызался огнем, а вместе с ним отступали, удалялись, скрывались за поворотом синие ворота в стене. Мечеть еще была видна, и на ней зеленел тусклый флаг.

Они покинули Деванчу, тянули по городу подбитую машину, чувствуя угрюмые взгляды толпы. Маркиз лежал на днище “бэмпэ”, и Суздальцев смотрел на его тонкую переносицу, серые брови и нежные голубые глаза.

Они вернулись в расположение полка. Боевую машину с разбитым катком и висящей на борту гусеницей отбуксировали в парк. Маркиза унесли на носилках в морг. Суздальцев в комнате сдирал с себя измызанное тряпье, остался в одних шароварах, снял с плеча кобуру, швырнул ее на кровать. Майор Конь, голый по поясу, шумно пил воду из горлышка чайника. Вода текла по губам, по косматой груди, на которой выступила бусина крови от крохотного впившегося осколка. Суздальцев с отвращением смотрел на хлопающие губы майора, на голый череп, на синие воловьих глаза. Поражение, которое они потерпели, было сокрушительным и необратимым. Ракеты, если они находились в доме, уже заворачивались в белые холсты, и проворные люди в чувяках тащили их в безопасное место, как муравьи перетаскивают свои яички из потревоженного гнезда.

— Разведчики называются! Чмо! — Конь отшвырнул чайник и перед зеркалом выдавливал из-под кожи стальную занозу. — Пятаков вместо солдат детский сад нам подсунул. Сам за броню сховался. Мне, что ли, его сосунков в атаку водить?

— Зачем ты пинал солдата? — спросил Суздальцев, он ненавидел сейчас майора.

— Ты о чем, подполковник? Ты думай о том, что ракеты просрали. И откуда их будем теперь выковыривать? На мне эти ракеты висят? Они на тебе висят, подполковник! С тебя будут погоны снимать. А добудешь, тебе будут на погонах дырки сверлить. А мое дело тебя поздравлять с очередным званием и орденом.

— Ты не должен был посылать людей на верную смерть. Без брони атака была бессмысленна. Тебе нужны были не ракеты, а смерть. Ты хотел, чтобы убили солдат. Ты не можешь без крови. Ты садист. Ты любишь пытать. Ты любишь доставлять человеку мучение, а потом его убивать. Сбрасывать с вертолета. Жечь электрическим током. Ты садист и сволочь, майор!

— Ах ты, вошь! Интеллектуал! Аналитик! Называется, собрал информацию! Синие ворота! Азис Ниалло! Ты должен был узнать обстановку и не ве-

сти нас в укрепрайон. Ты завел нас в засаду. Ты нас подставил под пули. На тебе кровь того солдата! Я тебя под трибунал подведу!

Голый череп майора блестел, синие воловы глаза ненавидели. Две их ненависти питали одна другую, разрастались, вставали дыбом черным клоко-чущим облаком, затмевая глаза. Суздальцев видел сквозь туман близкие хло-пающие губы майора, его вислые мокрые усы, струйку крови на курчавой шерсти. И в нем раскрывались черные заслонки, разверзалась дымная вул-каническая дыра, и в этой дыре бушевало, орало, билось жуткими крыль-ями косматое чудище, и этим чудищем был он сам. Он слепо потянулся к пи-стоletу, желая уничтожить ненавистные, с мокрой синевой глаза. Видел, как жилистая рука майора двинулась к “калашникову”, брошенному на кровать. Секунду они стояли, не дотянувшись до оружия. Створки в голове Суздаль-цева сомкнулись, скрыли бездну с клокочущим чудищем, только светились раскаленные створки.

Окна комнаты зазвенели. Задрожали стены. Это по дороге в Герат шла колонна танков, чтобы принять участие в войсковой операции.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Суздальцев знал, ракеты все еще находились в Герате, оставались в Де-ванче, в доме с синими воротами. За ними охотился он, советский развед-чик, и иранский спецназ. На рынке на них напал спецназ, хотел не убить, а похитить, чтобы извлечь информацию, которую он сам извлек из афган-цев. Предстоящая войсковая операция подвергнет Герат удару, взломает опорные пункты, перевернет вверх дном огневые точки, разгонит отряды мо-джахедов. На волне бомбоштурмового удара он проникнет в Деванчу и вновь постарается захватить ракеты.

Так думал Суздальцев, выдвигаясь с разведбатом из расположения пол-ка. Конь расположился в соседней машине, и после вчерашней ссоры они не сказали друг другу ни слова.

— “Лопата”, “Лопата”! Я — “Сварка”! — Пятаков связывался с коман-диром полка, встраивая батальон в маршевую колонну. — Держать дистан-цию, на обочину не сходить, — командовал ротным.

К Герату шли в темноте, ориентируясь по красным габаритным огням головной машины. На рассвете достигли низины, над которой волновались предгорья, черные на латунной заре. Низина шевелилась, наполнялась метал-лом и дымом. Длинным рядом, воздев стволы в сторону Герата, стояли само-ходные гаубицы. Поодаль, задрав белесые трубы, расположились установки залпового огня “Ураган”. Батарея “Град” занимала место на площади, пред-назначенной для артиллерии. Повсюду двигались кунги, сталь отражала зарю. Фургон с антеннами выставили свои сетчатые параболы, полусферы, отто-ченные штгери, связывая безвестную низину со штабом 40-й армии в Кабуле, с командованием округа в Ташкенте, с Москвой, где в Генеральном штабе следили за развертыванием войск. В пыльных лучах сновали солдаты, стара-ясь не попасть под гусеницы. Ставили палатки, натягивали маскировочные сетки, тянули телефонные провода. Казалось, в эту утреннюю степь с неба опустился инопланетный десант, заповнив долину отточенной зубчатой ста-лью. Взошло солнце, осветило блеском стройную гармонию оружия, готовую свергнуть мир в хаос.

Второй раз за эти два дня Суздальцев входил в Герат. Вот придорожные сосны, корни еще в тени, а кроны в солнечном лучистом стекле. Вот изум-рудное, свежее после прохладной ночи поле. Вот склады и лавки с вывеска-ми. Но улицы, где вчера текла расплавленная горячая лава, где звенели и брэнчали гудки, орали верблюды, теперь были мертвы. Дуканы были наглу-хо закрыты ставнями. Ни музыки, ни криков слышал. Ни души. Город ук-рылся, спрятался, забился в свои глиняные норы, притаился, слушая из глу-бины рык моторов и звяк гусениц. И где-то в глубинах городских подзем-лий, оберегаемые от него, Суздальцева, находились ракеты.

— “Лопата”, “Лопата”! Я — “Сварка”! Людей под броню! Соблюдать интервалы.

Суздальцев соскользнул в люк, и запах города, дыма, ржаных лепешек, орошенных водою садов, пропал. Только пахло кисло железом, и в щели сочилась солярка.

— “Лопата”! “Лопата”! Я — “Сварка”! “Второму” и “Третьему” выдвигаться в район оцепления! Ориентир для “Второго” — голубая мечеть! Тактика продвижения — “елочкой”!

Роты продвигались к центру Герата, втискивались в теснины, отвечали пулеметами на стрельбу, которая негусто рассыпалась по окрестным кварталам, указывая на продвижение рот. Казалось, город перебрасывает эти трески из ладони в ладонь, осыпая колонны трескучей трухой.

— Прекратить движение! Пропустить трал!

Танк, хрустя гусеницами, выставив перед пушкой огромные грабли с катками, прошел вперед, медленно опуская трал, давя катками на пыль. Толкал их перед собой, как диковинную борону. Следом пошли боевые машины пехоты, разведя по сторонам пулеметы и пушки, вливаясь в улицу, наполняя ее сталью, дымом, блеском. Так заливают глиняную форму расплавленным металлом, и он превращается в слиток.

Ударило резко и тупо, словно лопнул огромный пузырь. Звук пролетел по колонне, шибанул боевую машину, и Суздальцев испытал мгновенную слепоту. Одолевая ее, он видел, как над танком поднимается сонная копоть.

— “Второй”! Доложить обстановку на путях продвижения”. — “Вас понял, подрыв катка”. — “Отставить смену катка. Вперед!”

Танк качнулся, пошел, развеивая над башней вялый шлейф дыма, — дух взорвавшейся мины. Остановившаяся было колонна пошла, застрекотала гусеницами, втискиваясь в улицу. Снова взрыв и удар. Еще одна мина, вживленная в пыль, рванула под тяжелым катком, сдирая его с оси. Над колонной вдоль улицы метнулась огненная комета, ударила в землю, стала подпрыгивать и рванула бенгальской вспышкой, никого не задев. И со всех сторон, трескуче, густо, из бойниц, слуховых окон, из незаметных отверстий заработали автоматы, и колонна в ответ рывкала, обгладывала вершины стен, дырявила дома, дробя пулеметами утлые строения.

— “Второй”, обрабатывать огневые точки! Вперед, только вперед!

Колонна разделилась, две роты ушли в город, пробивая проходы пушками. Три боевых машины, в которых находился Суздальцев, въехали в ворота каменного рavelина.

Спрыгнув с брони, заметив где-то сзади Пятакова и Кюня, Суздальцев оказался среди высоких каменных стен, наполненных тенью и холодом. И только высокая круглая башня солнечно и сухо желтела. Через стены перелетали треск и уханье, доносились нестройные гулы. У входа, пушкой к воротам, стоял танк. Штабной транспортер оцетинился штырями антенн, из люка доносились бульканья рации и сильные позывные. Метнулся к башне телефонист с мотком провода и исчез в проеме. Разворачивался полевой лазарет, брезентовые палатки, в которые саниструкторы вносили операционный стол. Суздальцев озирает тенистый прохладный объем крепости, ограниченный камнем стен, над которыми сиял синий многоугольник неба. В лазури с мелким стрекотом шел вертолет, скрываясь за башней. Город угрюмо гудел, ахал, словно его перетряхивали, били палкой, как перину.

Из боевой машины доносилось:

— “Сварка”! “Сварка”! Я — “Лопата”! Докладываю, заняли рубеж! Заняли рубеж! Потери — один убитый! Повторяю — один убитый!

Суздальцев пережил мгновенную остановку жизни. Остекленевший в лазури взгляд, — желтая башня, вертолет, поблескивая винтами, делает боевой разворот. Он прожил в этом остановившемся времени несколько чернотелых секунд, отпуская вертолет за выступ башни.

На вершине башни был развернут дивизионный командный пункт. Туда поднимались штабисты. Оттуда сбегали офицеры, запрыгивая в штабной

транспортер. Суздальцев, пропустив вперед группу офицеров дивизии, шагнул вслед за ними на башню.

Он прошел галерею с полукруглыми сводами. Поднялся на несколько ступенек. Свернул в другую галерею, вытесанную в каменной толще. И испытал внезапную тревогу. За поворотом кто-то присутствовал. Не часовой, не наблюдатель, а кто-то безмолвный, мощный, огромный, давивший сквозь каменную кладку, поджидавший Суздальцева. Он вдруг испытал страх, — беспричинный, реликтовый, идущий из глубины костей, из тончайших капилляров, уходящих своими корешками в предшествующие жизни, где этот страх был уже явлен его предтечам. Одолея тупую тяжесть в ногах, шагнул в галерею. И навстречу польхнул свет. Он был огромен, бил из неба сквозь полукруглую арку, но не был светом солнца. Казалось, в арку из неба вкатываются один за другим огненные шары, ударяют ему в грудь, в лицо, в глаза.

В этих светоносных шарах звучал приказ: “Стой!” и одновременно приказ: “Иди!” Останавливающий приказ требовал от него всего доступного ему разума, а побуждавший идти — всей воли и храбрости. Казалось, из неба в крепостной проем была вставлена стеклянная труба, по которой несло могучее дыхание, выталкивало один за другим шары света, и эти пульсирующие, догонявшие друг друга светила беззвучным гулом внушали: “Смотри!” Он не мог смотреть, ибо был слеп. В его глазницах вращались раскаленные сферы, выдавливая разноцветные слезы. Но он смотрел и видел сквозь слепоту чьи-то огромные шевелящиеся губы, из которых вырывалось дыхание. И это были губы Стеклодува.

“Гератский свет, — думал он отрешенно, — гератский свет”.

Ему вменялось смотреть и свидетельствовать. Смотреть, как разрушается город. Свидетельствовать, как исчезает с земли еще один город. Один из бесчисленных, разоренных во все века на земле, от Трои до Сталинграда. Он был приставлен к Герату смотреть, как его истребляют, чтобы потом свидетельствовать о его истреблении. К каждому из разрушенных во все века городов был приставлен Свидетель, который свидетельствовал о разорении города. О том, как трубили иерихонские трубы и падали стены. Как разграбленный крестоносцами пылал Царь-Град. Как горели и рушились соборы Рязани. Как эскадрильи “летающих крепостей” стирали с земли Дрезден. И теперь еще один город предавался заклятию, и он, Суздальцев, был приставлен наблюдать падение города.

“Свет Герата! — проносилось в нем, — свет Герата”.

Свет внезапно погас, будто выключили прожектор. В глазах была слепота, расплывались лиловые пятна. В сердце был запечатан завет Стеклодува: “Иди и смотри!”

Суздальцев, пережив потрясение, длящееся секунду, двинулся выше по лестнице. Мимо него пробежали вниз два офицера, один задел его локтем.

Круглая, с каменным полом площадка, ограниченная зубчатой стеной, была как чаша, вознесенная в синеву. Эта чаша кипела, бурлила, брызгала. Шло управление боем. Рокотали телефоны и рации. Офицеры, срывая голоса, перекрикивая друг друга, связывались с колоннами, с артиллерией, авиацией. Звучали позывные и коды. Среди офицеров, их красных лиц, дрожащих подбородков и потных лбов, выделялся командир дивизии, невысокий, точеный, похожий на шахматную фигурку. Его полевая форма была тщательно проглажена. На шее белоснежно сверкал воротничок. Большие зеленые звезды аккуратно прилепали к погонам. Его красивое лицо выражало спокойствие и отчуждение, словно он отделял себя от какофонии боя, занятой какой-то скрытой, ему одному понятной работой.

Суздальцев приблизил глаза к вырезу между зубцами и выглянул.

Герат, обесцвеченный, пепельный, струился жаром. В дрожащем сиянии едва голубели мечети. Коричневые червеобразные минареты, похожие на заводские трубы, проступали сквозь горчичную пыль. Город напоминал пустыню в трещинах. Тусклая зелень предместий пропадала в красной марсианской дали, где, лишённые объема, как тени, стояли горы.

Суздальцев смотрел на Герат, таинственный, величавый, пугающий, приговоренный...

Среди офицеров, срывавших голоса от крика, стоял полковник с белыми бровями и оживленным, почти веселым лицом. Ему не было места среди командиров, ведущих бой. Скорее всего, он был замполит дивизии. Его тяготила бездеятельность, и он, выбрав Суздальцева, комментировал картину сражения, какой она ему открывалась.

— Сейчас передняя цепь будет ставить указание целей. Красный дым. Так, хорошо, понятно. Наши стоят в блокировке у кладбища, перед зеленым массивом. Тяжело мотострелкам, не город, а дот. Танки бы, танки сюда!

Суздальцев смотрел на мглистый город с множеством глиняных куполов, похожих на печные горшки. Слушал гулы и хлопанье. Казалось, в городе работает громадная бетономешалка, взбивает пузыри, и они тут же застывают на солнце.

— Пошла, пошла авиация! — комментировал замполит.

Суздальцев запрокинул голову. Тонкий, как стеклорез, приближался звук. Крохотная заостренная капля мерцала, вырезая просторную в небе дугу. Завершая дугу, в кварталах рванул красный клубок. Другой, третий. Эхо взрыва качнуло башню. Помчалось мимо в окраины, к мечетям, минаретам и кладбищам.

“Смотри! — грозно звучал приказ в рокоте взрывов. — Стой и смотри!”

Над башней в солнечном трепете шли вертолеты, длиннохвостые, гибкие. Передний клонул стеклянным носом, стал скользить, устремляясь вниз. Остановился на миг. Выпустил черно-красную заостренную копоть, вонзил в небо, и там, куда были направлены острия, на земле плоско грохнуло, окутало белым паром, словно в огне испарилась глина. Частицы несгоревшего праха носило ветром.

— “Смотри!” — гремело из пламени.

— Хорошо ударил “нурсами”! А потом поработал пушкой, — замполит поощрял вертолетчика. — Ну теперь пошли, пошли стрелки! Молодцы!

Два огромных дыма от сброшенных бомб медленно вырастали, пучились, выдавливали из себя другие дымы, принимали форму гриба на кривой ноге, одного великана, огромного, в рыхлой чалме муллы. Медленно растворяли свое темное чрево, распахивали грязно-серые покровы.

Суздальцев наблюдал разрушение города. Был Свидетель сокрушенья Герата.

Комдив был бесстрастен, его неслышные команды отзывались воем реактивных снарядов, сильным рокотом гаубиц, трепетом красных взрывов. Пикировали штурмовики, вгоняя в город железные костыли. Ухали танки, проламывая утлые стены. Действия комдива напоминали математические исчисления, в которых доказывалась абстрактная теорема. В ней не было места страданию и смерти, а только законы чисел. Этот маленький красивый генерал не отождествлял себя с городом, не сопрягал себя с боем. Он был посторонним городу, который разрушал. Завершив разрушение, он бесследно исчезнет, не оставив по себе имени, памяти, уведя назад из азиатских предгорий этих возбужденных людей, заброшенных случаем в древний Герат. Оставят в нем рану, набьют глинобитные стены пулями, и их унесет прочь, как уносило до них другие чужеземные армии.

Но сейчас генерал-математик закладывал числа в прицелы, складывал цифры потерь, проводил циркулем от синей мечети до Мазари Алишер Навои, наполняя округность огнем и дымом.

Суздальцев забыл, почему он здесь. Забыл о ракетах, которые оставались в Деванче под беглым артиллерийским огнем. Он стоял на башне, выполняя приказ Стеклодува, — наблюдал разрушение города. Он должен был запечатлеть и запомнить. Он был наблюдатель, Свидетель.

Площадь перед въездом в Деванчу была изрезана гусеницами.

Гончарная улица была посыпана осколками глины, мелко блестящими гильзами. В куполах зияли черные дыры. Но мечеть уцелела, на ней всё так

же висел зеленый флаг. И дальше, через два дома, в пепельно-серой стене нарядно и сочно синели ворота.

— Водила, шибани по воротам! — крикнул в лок Пятаков.

Машина повернулась на гусеницах, приблизила отточенный нос и ударила в синие створки. Доски хрустнули, и Суздальцев, держа автомат, протиснулся сквозь синие щепки.

Двор был пуст, чисто выметен, будто его не коснулась война. В сарае кудахтали куры, и раздалось мычание. Он бросился на веранду с узорной аркой, пробежал по ковру, распахнул дверь. Комната с коврами на полу, с горой разноцветных подушек была пуста. Только лежала перевернутая детская игрушка — деревянная колясочка, покрашенная лаком. Суздальцев кинулся в соседнюю комнату. Увидел раскиданные половики, вскрытые доски пола и в неглубоком углублении — несколько белых холстин, тех, в которые были обернуты ракеты. “Стингеров” не было, был едва уловимый запах лаков и растревоженный мерцающий воздух, в котором оставался след исчезнувших ракет.

Он чувствовал тоску и беспомощность. Ракеты опять ускользнули, и не ясно, где их искать. В разгромленном городе по тайным проулкам убегали рассеянные отряды моджахедов, ускользали из Герата в соседние горы и кишлаки.

На стене висело зеркало в раме, украшенной лазуритом, зеленой яшмой и ониксом. Он смотрел на зеркало, и в серебряном стекле пробежала легкая рябь, метнулась тень. Он почувствовал страшный удар в затылок и рухнул без памяти.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он очнулся от боли, и боль эта была длинной, проходила по всей длине тела, от рук к подошвам, и лишь взбухла тупым волдырем в затылке. Он открыл глаза, полные солнечных слез, и понял, что висит с воздетыми руками, и боль была в связанных затекших руках, в набухшем от удара затылке, в неловко подвернутых ногах, криво упиравшихся в пол. Он не узнавал место, в котором находился. Простонал. Он был в плену. Удар в Деванче оглушил его. Он попытался распрямиться, чтобы вес тела равномерно распределился по всем его органам, и множество мелких звенящих иголок вонзилось в него. Он висел под высокой балкой, и ноги его упирались не в землю, а в доски приподнятой над землей галереи. Земля была ниже, — чисто выметенный двор, окруженный постройками, над которыми возвышалась глиняная стена, и за ней виднелось зеленое поле, солнечные розовые горы, к которым выходила в розовой пыли дорога. Над стеной двигалась изогнутая шея и величественная голова верблюда и голова наездника, его борода, крупный нос и чалма. И Суздальцев понял, что находится в кишлаке, и оранжевый цвет, который имели его солнечные слезы, проистекает от плодов инжира, устилавших соседнюю крышу. Совершив свои первые движения, уразумев место, в котором находился, он издал долгий стон. Он был в плену. Он не помнил, как извлекли его из стреляющего города, увезли на машине или перебросили через спину лошади, прежде чем доставили в этот безымянный кишлак. Солнце спускалось к горам, и он решил, что находится западней Герата на большом от него удалении.

Явилась мысль о побеге. Дом, где его подвесили, был на окраине кишлака, и за ним открывалась безлюдная степь. Но руки его были связаны, галерея была замкнутой, с нее вниз вводила лестница, и там виднелась голова в плотной шерстяной шапочке, пышная молодая борода и ствол автомата. Надежда на немедленный побег пропала и оставалась надежда на чудо. Этим чудом могло быть внезапное появление боевых машин пехоты, ворвавшихся в кишлак майора Кюня и комбата Пятакова. Но это было из области чуда, и об этом оставалось молиться, испытывая веру в Творца.

Он услышал голоса. Голова с бородой и ствол автомата исчезли. Раздались шаги по лестнице, ведущей на галерею. И из проема стал вырастать человек.

Приплюснутая афганская шапочка, напоминавшая уложенные одна на другую ржаные лепешки, красное от солнца худое лицо с яркими фиолетовыми глазами, небольшая подковкой борода, отливавшая медью. Человек поднялся на галерею, обнаружив все свое ладное, в вольных одеждах тело. Направился к Суздальцеву, остро, зорко оглядывая его беспомощное тело. Приблизился, встал, чуть улыбался, позволяя Суздальцеву себя разглядеть. И это лицо, красноватая бородка, фиолетовые глаза с яркими белками, показались Суздальцеву знакомы. Но было неясно, где встречался ему незнакомец.

— Прошу прощения, господин Суздальцев, за принесенные вам неудобства. Согласитесь, что вывести вас из города через линию ваших блокпостов, уложить вас в кузов машины и забросать мешками с рисом, — для этого мы должны были вас оглушить. Примите мои извинения, — эти слова человек произнес на фарси, без тени пуштунского диалекта, что выдавало в нем иранца. И это первое полученное о человеке впечатление не заслонило большого изумления Суздальцева — откуда красноротый иранец знает его имя. Документы остались в сейфе командира полка, как того требовало правило, предписывающее офицерам разведки перед выходом на “боевые” не брать с собой документов.

— Позвольте представиться. Полковник иранской разведки Вали. Пусть вас не удивляет моя осведомленность. Наши источники в афганском “ХАДе” позволили узнать о вас многое. Вы — подполковник Генерального штаба. Вы ответственны за перехват партии “стингеров”, отслеживаете их продвижение от самой Кветты. Должен вам сообщить, что я занимаюсь тем же самым. Мы с вами ищем одно и то же, и вопрос, кто первый найдет искомое.

У Суздальцева — обжигающая мысль. Он стал жертвой предательства. Неужели Достагир, черноусый красавец, представитель афганского “ХАДа” — предатель?

Красноротый полковник Вали, казалось, обладал даром читать мысли.

— Не трудитесь вычислить наш “источник”. Мы знали о вас в Кветте. Следили за вами в Лашкаргахе. Не выпускали из виду в расположении 101-го полка.

И Суздальцев вдруг понял, где видел эту красноватую бороду, скользнувшую в ней усмешку, белки быстрых глаз. Когда сидел у обочины гератского шоссе, в облачении рыночного торговца, мимо прокатил велосипедист, развешенная накладка, вильнувший руль, затихающий шелест колес. Он думал, что укрылся под чужой личиной, неузнаваем для чужих глаз. Но чужие глаза разгадали его, усмехнулись над его маскарадом.

— Вам, господин Суздальцев, будет интересно узнать, какая судьба вас ожидает. Я буду честен. После того, как я удовлетворю мое любопытство, а вы поясните некоторые важные для меня вопросы, вас переправят в Иран, в ведение нашей контрразведки. И мои коллеги, используя специальные техники, будут выведывать у вас сведения о структурах ГРУ, имени командиров, операции, которые ваша разведка планирует в направлении Ирана и Афганистана. Но меня это мало интересует. Меня интересует узко-локальный вопрос: где ракеты?

И пока длилось это чуть затянувшееся вступление, мысль Суздальцева продолжала метаться — кто предатель? Быть может, погибший в пустыне Регистан агент Хафиз, оставивший свою тайну пескам? Или все же Достагир, двойной агент? Или Ахрам, погибший на рынке от случайной пули тех, на кого он работал? Но все догадки и подозрения были напрасны и лишены основания. И еще, пока полковник Вали демонстрировал благородство и открытость, Суздальцев искал верной интонации в предстоящем допросе. Можно пытаться лукавить, обмануть, сбить допрос на ложный след. Можно расположить к себе и разжалобить, добиться снисхождения. Можно сдать, пойти на сотрудничество, облегчить свою участь или держаться насмерть, не ломаясь под пыткой, пряча в глубину своей боли и ужаса несгибаемую личность.

— Итак, господин Суздальцев, мой первый вопрос. Где ракеты?

Его смятенный, растерянный разум, сопротивляясь, стремясь уцелеть, настроил его на путь, суливший спасение. Он станет правдиво отвечать на вопросы, на которые полковник Вали знает ответы. Станет отвечать отрица-

тельно, если и в самом деле не знает ответа. И будет притворяться, лукавить, уводить на ложный след, если ответ на вопрос затрагивает боевую информацию.

— Итак, подполковник, где же ракеты?

— Не знаю, — ответил Суздальцев, услышав в своем голосе сдавленный хрип. — Вы могли убедиться, что их нет.

— Вот поэтому я и спрашиваю, куда ваши люди перенесли ракеты?

— Если это мои люди, то ракеты уже находились бы в расположении наших войск, и дальнейший их поиск для вас был бы бессмысленным.

— Логично. И тогда вы бы не явились в Деванчи, продолжая их поиск, и не попали бы в нашу засаду.

— Вы и я, мы заняты одним и тем же делом. Ищем ракеты, которые ускользают от меня и от вас.

Это была неловкая попытка сблизить их интересы, установить между ними согласие, снять роковое противостояние, делающее его, Суздальцева проигравшим пленником, а иранского полковника — удачливым победителем.

Но сближения не случилось. Он по-прежнему относился к нему, как к вместилищу информации, которую станет добывать с помощью известных разведке приемов.

— Что сообщил вам агент Мухаммад перед тем, как его застрелили ваши, мне это крайне важно узнать.

— Не скажу вам больше того, что сказал.

— Мне придется повторить этот вопрос еще несколько раз, прибегая к средствам дознания, характерным для допроса в разведке.

Суздальцев понял, что игра психологий, тонких уловок и фигур умолчания, — эта игра проиграна. И наступает момент, когда разум и трусливая плоть будут истово орать одно, а воля и сокровенная личность станут молчать, обливаясь слезами боли.

Полковник Вали издал цыкающий свистящий звук, каким подзывают собак. На галерею по лестничному проему стали подниматься двое молодых бородачей. Один из них, с расплюснутым провалившимся носом, нес два жестяных ведра с водой и какой-то цветастый пакет. Другой, горбоносый, держал в руках плетку. Суздальцев издал, страшаясь, сверхзоркими от страха глазами видел эту плетку. Эта плетка вдруг превратилась в центр мироздания, вокруг которого вращались окрестные поля, розоватые горы, дорога с несущимся всадником, стоящий краснобородый полковник и его, Суздальцева, беспомощная, страшаясь душа, в которой притаились воспоминания детства, мама с заснеженным меховым воротником, легконогая бабушка, бегущая по переулку. Все это вращалось на разном удалении от плетки, которая сияла подобно светилу в центре мироздания.

И как ни был его разум содрян и испуган, он уловил абсурдное, по законам абсурдной симметрии, совпадение. Два рослых бритоголовых афганца были похожи на двух прапорщиков, помогавших Коню при допросах пленных. Те же стальные плечи, тупо равнодушное выражение лиц, те же ведра с водой. Симметрия мира, которая себя обнаружила, была симметрией воздаяния, симметрией боли и смерти, и это показалось Суздальцеву смешным. Подвешенный на веревке, перед началом истязаний он открыл еще один закон бытия, был открыватель закона.

— Итак, господин Суздальцев, мне надо знать, кто такой Азис Ниалло?

— Не знаю, — ответил Суздальцев, ожидая пытку. Со странным облегчением думал, что информация, которую собирался выбить из него, пленника, в нем отсутствует, и выбивать он будет не отсутствующую информацию, а его сокровенную личность, его ядро, его суть, ломая ее и дробя, чтобы пытка растолкла их в пыль и чтобы больше никогда, останься он жив, никогда не обрели они целостность.

Полковник вновь издал цыкающий посвист. Горбоносый, не выпуская плетку, выхватил нож и узким острием распорол на Суздальцеве куртку, отсек рукава и рванул, сдирая хрустящую ткань. Гольный по пояс, с оставшимися на связанных руках рукавами, он напрягал ребра, чувствуя, как овеает

их ветерок. И еще не зная, как он станет спастись от боли, как сражаться за свою убиваемую сущность, метался мыслью, выкликал спасительные заклинания и образы, спасительные стихи и молитвы.

Полковник кивнул. Горбоносый отвел руку с плетью и с силой ударил, приклеив сыромятный ремень к ребрам, одновременно потянув назад. Страшная боль удара прошла сквозь ребра, сорвала с места сердце и печень, и закупоренные болью легкие не могли сделать выдох, и он висел, задохнувшись, с выпученными глазами, не имея сил крикнуть. Ремень оставил на теле пухлый кровавый рубец, узел сорвал кожу и выдрал кусок мяса, а конская плетка, как бритва, оставила узкий надрез.

— Кто такой Азис Ниалло?

Суздальцев мотнул головой. Новый удар, захлестывая за спину, ослепил его, и он, дыша раскаленной болью, закричал.

— Кто Азис Ниалло?

И прежде чем получить удар хлыста, не рассудком, не памятью, а одним лишь рыдающим голосом, поющим речитативом, бессознательно, извлекая звуки из самых сокровенных глубин, которых не доставал бич, он стал читать стихи Гумилева, не понимая, горят ли они в его обезумевшей памяти, или он выкрикивает их с кровавой слюной.

“Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка...” — Удар, вырывающий клочок плоти, останавливающий сердце. — “Ах, ему так сладко пели воды и завидовали облака...” — Оскал горбоносого лица, взмах плетки в мускулистой руке и оглушающая боль, сквозь глухоту которой он кричал: “Высока была его палатка...”

— Я не понимаю по-русски, — кричал полковник. — Отвечайте нормально. Где Азис Ниалло?

“Знал он муки голода и жажды...” — Плеть наносила на него кровавые кресты. — “Сон тревожный, бесконечный путь...” — Горбоносый размахивался, и становилась видна его подмышка с черными волосами. Удар ложился вдоль позвоночника, нанося вдоль спины кровавую ось симметрии. — “Но святой Георгий тронул дважды пулею не тронутую грудь...”

Суздальцев утратил дар понимать и слышать. Обвис на веревке, чувствуя, как течет по телу липкая горячая кровь, и боль располагается жгучим, меняющим свои формы орнаментом.

Он очнулся от шлепка холодной воды. Безносый афганец плескал на него бережно, осторожно, как тушат горящие дрова. Холодная вода погасила верхний жалящий огонь, оставляя тлеть глубинные на всем теле ожоги.

— Очень жаль, господин Суздальцев, что мы не сумели понять друг друга. Быть может, вы и правда не знаете, кто такой Азис Ниалло. Теперь вам остается ждать, когда за вами приедут и переправят в Иран.

Он повернулся и пошел, уводя за собой двух подручных. Суздальцев остался висеть, глядя, как над горой гаснет заря, и кромки далеких гор похожи на жидкую струйку золота.

У него было время подумать над тем, что случилось. Кто все эти месяцы следил за ним неотступно, разгадывал его планы, срывал операции? Кто навел на его след полковника Вали? Кто устроил засаду в доме с синими воротами? Кто выстроил сложную цепь причин и следствий, состоявших из полетов в пустыню, людских смертей, гонок на боевой машине пехоты, штурма огромного города, кто всё это устроил, чтобы он, Суздальцев, висел теперь на веревке, избитый в кровь, и над ним загоралась первая печальная звезда?

И его вдруг осенила догадка. Не было предательства. Не было внедренного агента. Не было его просчетов и пагубных ошибок. Всею виной Стеклодув. Он построил всю цепь причинно-следственных связей, он заманил его в засаду, он передал его в руки краснобородого полковника, он подверг его истязаниям и оставил висеть под балкой и теперь молчливо смотрит, что же с ним будет. Как он, Суздальцев, станет действовать. Какие стихи станит читать при следующих истязаниях. Какую молитву прочтет в свой смертный час. И это открытие поразило его. Стеклодув был не благ, не человеколю-

бец, он был испытатель, исследователь. Ставил над Суздальцевым опыт, как ставят эксперимент над мышью. И бесполезно его умолять, бесполезно звать на помощь. Он, бесстрастно и молча, созерцает, как он, Суздальцев, засеченный едва ли не насмерть, висит на веревках под печальной звездой Герата.

И от этого ему вдруг стало смешно. Он засмеялся, сотрясая грудь, чувствуя нестерпимую боль — от ударов плетью и от абсурда, в который была погружена его жизнь. Он смотрел на звезду и смеялся громко, хрипло, переходя на клекот, на крик, на удушающие рыдания. И звезда, появляясь сквозь слезы, трепетала над ним.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Он услышал стук лестницы, и в проеме на галерее стала возникать голова, бритоголовая, горбоносая, со свирепыми вывернутыми губами. И в Суздальцеве всё застонало, затрепетало при виде палача, каждая его незажитая рана завопила от предчувствия мук. Горбоносый приблизился, губы его еще больше вывернулись от отвращения. Он достал нож и перерезал веревку. Руки Суздальцева отпали от балки, и он ощутил тупую лому в плечевых суставах, откуда отхлынула застоялая кровь. Горбоносый толкнул Суздальцева вдоль галереи, к невысокой дверце со щеколдой. Отворил дверь и пихнул внутрь. Дверь захлопнулась, щелкнула щеколда, и он остался в длинном узком чулане, сплошь по стенам и полу обмазанном глиной. Только на уровне лица оставалась длинная щель, ограниченная вмурованными в глину корявыми досками. Ни топчана, ни табурета, ни подстилки на полу, только шершавые стены и щель, позволявшая видеть двор, начинающее зеленеть при первых лучах солнца зеленое поле, похожее на выгон, горы, всё еще черные, контурные, с маленьким колючим солнцем.

Грудь, спина, ребра, изорванные плетью, продолжали жгуче болеть, словно на нем была рубашка из крапивы или колючая и жалящая власьяница. Он содрал с рук оторванные рукава и бросил на пол. Хотелось пить, хотелось закутаться в мокрую простыню, чтобы остудить раны. Но воды не было. Он вдруг испытал смертельную тоску, безысходность. Его посадили в этот тесный чулан, чтобы снова пытать и мучить, и его удел умереть под пыткой в этой чужой стране, без помощи, без поддержки, без подбадривающего слова друзей, без молитвы любимой женщины. Весь смысл его жизни, его трудов и познаний, его упований на чудо и его беззаветное служение стране свелось к этой камере, к пыткам и мучительной смерти на дыбе. Тоскуя, не желая смотреть на восход чужого солнца, который мог оказаться его последним восходом, он сел на пол и прислонился к прохладной стене, остужая раны.

Суздальцев в сонной одуре провел целый день. Уже смеркалось, когда он вдруг услышал высокий, пролетающий над кишлаком звук, вибрирующий и свистящий. И через мгновение у гор польхнул красный шар света, озарил далеко степь, и оттуда донесся урчащий гром. Через несколько минут звук повторился. Что-то невидимое, пугающее уныло прогудело, и рядом с первым шаром возник второй, косматый, рвущийся в разные стороны, и глухой удар покатился над степью. Это могла быть гроза у подножья гор с пылающими молниями и рокочущим громом. Но Суздальцев знал, что это летят тактические ракеты из шинданского дивизиона, испепеляя мятежные кишлаки, перед которыми бессильны артиллерия и танки. Третий удар, чуть поодаль, породил оранжевый шар света и следующий за ним угрожающий рык. Там, в невидимых и удаленных селеньях, рвались заряды и воспламенялось несгоревшее топливо, заливая всё жидким морем огня. Кишлак затих, опустился, затаился. Люди укрывшись в жилищах, попрятались в помещениях.

Суздальцеву невыносимо хотелось пить. Губы были шершавые, каменные. Язык казался вырезанным из жести и царапал полость рта. Каждая его клеточка высыхала, рождая страдание, и в этих крохотных пересыхавших озерах иссыхала его жизнь. Тоскуя, ожидая неминуемой смерти если не от пули врага, то от пламени своих ракет, он вытянулся у стены и закрыл глаза.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Он приблизился к дверям и тихонько толкнул. Двери растворились без скрипа. Щеколда, загнутая горбоносом, была откинута. Словно кто-то незримый, быстроногий, бесшумный открыл щеколду.

Двор был пуст, обитатели дома укрылись под хрупкими сводами кровли, боясь удара с небес. Луг за домом туманно темнел. Белесо, чуть видна, удалялась дорога. Суздальцев спустился с галереи во двор, бесшумно приблизился к воротам и наощупь открыл замок. Ворота слабо проскрипели, словно напутствовали его печальным звуком. Никто не окликнул его, никто не погнался. Ему казалось, что его отпускают, наблюдают за ним, чтобы потом настигнуть. Испытывая страх и надежду, кого-то умоляя спасти его, он кинулся по лугу. Он торопился, почти бежал по дороге, которая стелилась перед ним, словно ее кто-то посыпал мукой. Кишлак, вместилище его страданий и страхов, удалялся, и его зыбкая мгла отступала.

Он уходил по дороге все дальше, и жажда к нему вернулась. Ему казалось, что внутри его горит факел, и он выдыхает сухой шипящий огонь. Он думал о воде, как пьет ее, без конца захлебываясь, как окунает в нее лицо и пускает пузыри. Как ледяная струя попадает в пищевод и желудок и гасит раскаленный факел. Ему казалось, кто-то бежит перед ним в ночи, несет чашу с водой, манит, дразнит, а он не может настичь, видит черное водяное зеркало в чаше, тянется губами, но чашу от него убирают, и он бежит, снедаемый пламенем, не в силах его погасить.

Он испытал слабый толчок, не толчок, а дуновение, которое его колыхнуло. Словно кто-то сдвинул его с дороги, направил стопы в сторону. Будто тот, кто нес чашу, повернул на обочину, покинул дорогу и двинулся степью. Суздальцев уловил это повелевающее дуновение. Перестал чувствовать пыль дороги, и теперь под ногами его шуршала степная целина, царапала ноги стеблями сухой травы, и чаша удалялась и поджидала его, вела его, направляла, муки, которые он испытывал, влекли его прочь от дороги в сторону едва различимых предгорий. “Чаша путеводная”, — повторял он полубезумно.

Ему чудилось, что земля у него под ногами загорается синими огоньками, которые жалят бедра, живот, обугливают губы, ноздри, и сухой, искрящийся огонь вырывается у него изо рта. Он кашлял огнем, плакал огнем, кровавые раны горели на нем, как газовые горелки.

Степь волновалась, он то погружался в низины, то восходил на холмы. Звезд он не видел, всё над ним и в нем и вокруг мерцало горячим пеплом. Чашу от него уносили, и ему казалось, он чувствует запах воды, ловит лицом мельчайшие брызги, слышит, как вода тихо звякает о края чаши.

Он взшел на холм, стоял на вершине качаясь, а потом рухнул плоско, лицом в землю, забываясь не сном, а жарким кошмаром, и ему казалось, всё его тело обложили горчичниками.

Он очнулся от низкого солнца, которое встало из-за холмов. Приоткрыл жестяные, скрипнувшие веки и увидел у подножья холма кишлак. Он испугался, что был весь на виду, был замечен из кишлака, и сейчас оттуда пошлют всадники или запылит по степи машина, и он вновь окажется в плену у врагов. Но кишлак был беззвучен. Над ним не струились утренние дымки, не кричал муэдзин, не лаяли собаки. Его вид был странен. Дувалы, стены домов, купола и угловые башни — все были зазубрены, состояли из заострений, проломов, уродливых углов, напоминая челюсть с выбитыми зубами. На земле лежали зубчатые глыбы, а глиняная желтизна стен была покрыта черными пятнами, тусклыми налетами копоти, мазками сажи, словно кишлак был накрыт камуфляжем или задернут маскировочной сеткой. И оттуда, вверх по холму, вместе с утренним ветерком сочилась гарь, тянуло ядовитым газом. И Суздальцев вдруг понял, что перед ним кишлак, в котором вчера ночью взорвалась тактическая ракета, страшный взрыв снес постройки, изглодал стены, и ядовитое топливо расплескало по кишлаку свою плазму. Кишлак обломками напоминал древние города пустынь, на которые произошло нападение, и работу стенобитных машин довершили солнце и ветер.

Кишлак был испепелен, но в нем должна была сохраниться вода. И Суздальцев поднялся, стал спускаться с холма, представляя, как на обугленной улице в солнечном пекле стоит чаша с водой, и он прильнет к ней устами.

Он спустился с холма и вошел в кишлак. Улица, на которую он ступил, была окружена рухнувшими дувалами, и в выломленных дырах виднелись дворы. Кругом лежали комья обгорелого тряпья, разорванные одеяла, подушки, обрывки ковров. Среди тряпья — медная посуда, осколки стекла, валялось окованное медью седло, смятый самовар, переломанная домашняя утварь. Казалось, вихрь, пролетевший по улице, высосал из домов воздух, а вместе с ним скарб разоренных жилищ. Чудилось, по этой улице прокатил громадный мусоровоз, роняя хлам, покрывая землю рыхлыми горелыми во-рохами.

Суздальцев шел дальше и увидел ужасное небывалое зрелище. В глиняную высокую стену была вплавлена хребтом лошадь. Она сидела, и ноги ее были выставлены вперед, словно она продолжала скакать в небо. Копыта ее были обуглены, пахли паленой костью. Часть морды была сожжена, и сквозь распавшиеся губы дико белели зубы, словно лошадь продолжала ржать. Ее живот прогорел, из него вывалились фиолетовые, вспухшие от жара кишки. Он постарался поскорее пройти мимо. На соседней глиняной башне стеклянно блестящее солнце, глина расплавились, потекла, и башня с одного края казалась глазированной.

Сквозь проломы в стенах виднелись дворы, и дальше виноградники, — ровные ряды черных, узловатых, корявых лоз. И по всему винограднику, зацепившись за лозы, висели женские платья, паранджи, шаровары, накидки, но людей не было видно, словно они превратились в корявые лозы, оставив висеть развешенные одежды. Так проревел, разметал, оплавил кишлак огненный шар света, который Суздальцев наблюдал в ночи накануне. Теперь он искал воду. Забрел во дворы в поисках колодца, в поисках ведер и глиняных сосудов, где могла сохраниться вода. Но огненный шар, пролетев над кишлаком, иссушил колодцы, выпарил воду. И он тупо и без надежды переходил из одного двора в другой.

Он нашел на земле простыню и завернулся в нее, спасая раненое тело от горячего солнца.

Увидел стену, в которой ворота были сорваны с петель. Вошел во двор, заваленный мусором снесенной кровли. Двери дома были выдраны и валялись посреди двора, и он вошел, переходя из комнаты в комнату, по которым промчался огонь. И вдруг в самой дальней, выходявшей окнами в сад, увидел на полу кувшин. Его горловина и ручка были снесены осколком, но на донце сохранилась вода, блестя в выпуклом черепке.

Он шел по холмистой степи, не приближаясь к предгорьям. Его пропитанные глиной брюки высохли, задеревенели. Его голову пекло, а плечи жгло, будто на них набросили горящее покрывало. Но в нем плескалась вода. Глаза стали зоркими. Ум был ясен. И теперь его мучила мысль, куда он идет. Он старался по солнцу определить, где Герат, но не мог сообразить, куда повезли его в плен, западнее или восточнее Герата. Он мысленно представлял карту с названиями кишлаков, с направлением проселочных дорог, которые все вели к главному шоссе, тому, что соединяет пакистанскую Кветту, через Кандагар, Шиндандта и Герат с советской Кушкой. Эта трасса с военными заставами и колоннами могла находиться у самых предгорий. А могла огибать предгорья там, где в туманных холмах сквозили просветы, и могла остаться за спиной, и он с каждым шагом от нее удалялся, приближаясь к иранской границе, туда, где поджидала его иранская контрразведка и краснорободый полковник Вали.

Он встал, обращая лицо в разные стороны света, и везде был солнечный туман, и витала опасность.

Он шел и шел бесконечной степью. Был слаб, спотыкался. Хотелось есть. Голод глодал его, снесал его плоть, и голодная ядовитая слюна жгла гортань. Он жадно искал, что можно было бы жевать. Степь была покры-

та толстой коростой, вся в черных стебельках сгоревшей полыни, у которой не было ни вкуса, ни эфирного запаха. Степь была мертва, без плодов и злаков. В ней не было водоема с плещущей рыбой, не было гнезда с птичьими яйцами, не скакали кузнечики, которыми уголяли голод пророки, не пахло медом диких пчел, услаждавших отшельников. Степь сухо шелестела и мертво поблескивала, словно из нее торчали маленькие блестящие гвозди.

Он сел, чтобы пережить приступ голодного обморока. И увидел у самой земли иссохшие стебельки, усыпанные крохотными оранжевыми плодами. Они были удлиненные, как барбарис, размером с муравьиное яйцо. Он оторвал ягодку и разжевал. Сквозь плотную кожицу на язык брызнула сладковатая капля, выдавилась едва ощутимая мякоть. В сердцевине находилось жесткое семечко, и Суздальцев проглотил его, не разжевывая. Вкус был незнакомый, но дразняще приятный. Суздальцев собрал в ладонь все плоды до единого, ссыпал в рот и жевал, всасывал сок и мякоть, глотал крохотные косточки.

Обобрав один кустик, он стал искать следующий, но не находил подобного среди щетинистых мертвых полыней. Быть может, случайная птица принесла из далеких предгорий одинокое семечко, и оно проросло, одарив его, Суздальцева, своими оранжевыми плодами. Он поблагодарил незнакомую птицу и двинулся дальше.

Он вдруг ощутил странное облегчение, словно исчезла его усталость, и по телу полилась свежая, бодрящая сила. Голова его просветлела, мысли расширились, а вместе с ними расширилась степь, утратила свой стальной беспощадный блеск, стала розоветь, зеленеть, наполняться разноцветными соками, как случается на весенних опушках, когда кусты, разбуженные теплом, еще без листьев, наполняются алыми, малиновыми, золотыми и изумрудными соками, сияют среди последних снегов.

Ему стало вдруг хорошо и весело. Хорошо потому, что исчезли горечь во рту и боль в ранах, а весело потому, что он стал невесом, шел, не касаясь земли, отталкиваясь, висел и парил в воздухе, и ему хотелось плавно перевернуться, как космонавту.

Он вдруг понял, что не один. Еще не знал, кто находится близко, но присутствие живого, неопасного, а, напротив, благоволящего ему существа он ощущал.

Внезапно это существо появилось. Это была высокая женщина, смуглая, почти черная, босоногая, что грациозно ступала впереди него и оглядывалась, словно подзывала. У нее были большие, округлые, с яркими белками глаза, полные губы, худая стройная шея, на которой небольшая темноликая голова казалась выточенной из черного дерева. Так выглядели эфиопские женщины у храма в Лалибелле, куда его однажды занесла судьба. Или африканские маски, одну из которых он купил в Дакаре. Но она могла быть древней египтянкой, ибо в ее мелких темных кудряшках красовался пернатый, из раскрашенных перьев убор, делающий ее похожей на птицу.

Он обрадовался ее появлению. Был счастлив, что теперь не один. Хотел приблизиться, заговорить, но боялся ее спугнуть. Она не пугалась, оглядывалась, показывая в улыбке белые зубы, ее босые ноги и тонкие щиколотки мелькали из-под подола долгополого, с цветочным узором платья. Он заметил, что у нее на груди маленькая бирюзовая брошка, которую носила девушка, считавшаяся его невестой. Это и впрямь была она, с тем знакомым выражением зеленых таинственных глаз, которые он так любил целовать. Он хотел подойти и спросить, как она очутилась в этой афганской степи, ничуть не состарившись за эти годы, но она вдруг превратилась в жену, молодую, млечную, с ярким румянцем и влюбленными в него обожающими глазами, когда они уехали в свадебное путешествие на Белое море, и волны звонко били в ладью, на днище лежала яркая, как зеркало, семга, и жена была уже беременна сыном. Сын чувствовал окружающую их водную синь, низкий полет уток, эту серебряную рыбину и ту любовь, в которой он родился.

Жена повернулась, чтобы проследить низкий полет гагары, а когда снова он увидел ее лицо, то это была мама, молодая, та, с которой они гуляли

по усадьбе Кусково; она рассказывала ему о русских царицах, и на гладком пруду длился, мерцал след проплывшего лебедя. Было счастье увидеть маму, счастье убедиться, что она по-прежнему молода и прекрасна, с гранатовым колье, которое надевала в дни семейных торжеств. И он хотел подойти поцеловать ее руки, рассказать ей, что всё у него хорошо, он жив и здоров, и она по-прежнему самый драгоценный для него человек.

Но мамино лицо слегка изменилось, и она превратилась в бабушку, не ту маленькую, с седой головой и в мелких лучистых морщинках, среди которых сияли ее дивные карие глаза, а в тонкую барышню в кружевной блузке, с высокой прической и печальным взглядом, словно она предвидела всю предстоящую жизнь, войны, гонения и ссылки, разметавшие огромную семью по острогам, заморским странам, где они чахли порознь, исчезая безвестно. Такой, молодой и печальной, он помнил бабушку на фотографии в семейном альбоме, который любил перелистывать, созерцая строгие и прекрасные лики предков.

Было такое счастье, что бабушка жива, и ее не увозил катафалк тем тумным морозным днем, когда на проводы сошлись остатки большой семьи с немногочисленными, продолжающими род Суздальцева отпрысками...

Неведомая сила вывела его к одиноко стоящей в степи молельне, с полубовалившимся входом и наклоненным на кровле полумесяцем. Он вошел в теплую тень обветшалой мечети. Увидел престол с какой-то растрепанной книгой, какой-то флакончик с отблеском зеленого солнца. И рухнул на каменные плиты молельни, чтобы больше никогда не очнуться.

Он очнулся от неясного гула. Где-то рядом рокотал мотор с перебоями выхлопов. Раздавались голоса, звяк железа. Кто-то приподнял ему голову, отер лицо влажной материей. Суздальцев открыл глаза. Над ним склонился майор Конь, его лысый череп, белесые усы, голубые навывкате глаза, в которых была радость.

— Подполковник, ты жив! Петр Андреевич, милый ты мой человек, как же ты их нашел? Ты самый великий разведчик.

Суздальцев приподнялся. Комбат Пятаков склонился над развороченным полом мечети. Саперы с миноискателем исследовали ветхие стены, а из ямы, среди раздвинутых плит, солдаты извлекали ракеты, — цилиндры, завернутые в белые холсты, и несли их к боевой машине пехоты, рокотавшей у выхода.

— Как же ты их отыскал, Андреич, мой дорогой!

Суздальцев не удивлялся находке, был равнодушен к ней. Смотрел на проем мечети, в котором сияла степь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Генерал военной разведки Петр Андреевич Суздальцев с тех пор, как ослеп, почти не покидал своей загородной дачи. Работница помогала ему садиться за стол, перемещаться по дому, стелила постель. Он вполне освоил пространство дома и мог спускаться, держась за перила, со второго этажа на первый, ощущая пальцами корешки книг, не снимая их с полки. Прикасался к чучелам никарагуанских крокодилов, кампучийскому ритуальному бубенчику, к черным полированным африканским скульптурам. Но больше всего он любил держать в руках вазу из гератского стекла, вспоминая ее зеленоватую, как морская вода, синеву, застывшие в лазури пузырьки воздуха, тонкие нити внутри стекла.

Его навещали бывшая жена и дети, приводили с собой внуков, надеясь, что те растормошат, позабавят слепца. Он позволял себя развлекать, сажал на колени внуков, был доволен, когда все уезжали, оставляя его одного. Садился в кресло перед письменным столом, клал пальцы на кромки гератской вазы и ждал. То ли звука, то ли света, которые были где-то над ним, замерли и не приближались.

Его несколько раз возили в клинику, и врачи снова подставляли его слепые глаза под пронзающие лучи лазера, закатывали в глазницы оранжевые

солнца, которые он не видел, как не видел компьютерные оттиски, где сосуды глаза казались дельтой реки, снятой из космоса, а разрушенная сетчатка была похожа на красно-зеленый медный слиток, обожженный огнем. Но этого он не видел. Возвращался домой к своей вазе. Слушал ее, как слушают раковину, но среди гула боев, шелеста песка, криков муэдзина старался уловить иной звук, тихую поступь Того, кого называл Стеклодувом.

Жизнь его была прожита. Родина, которой служил, исчезла. Новые люди, казавшиеся ему мелкими и ничтожными, управляли страной. Морочили головы, говорили без умолку, бессмысленные и тщеславные. Он знал, что Россию, как оглушенную корову на бойню, вновь толкают в Афганистан. Уже летят над Сибирью американские “Геркулесы” с военным снаряжением, уже готовят вертолеты для отправки в Кабул, специалисты под видом инженеров работают в туннелях Саланга, и быть может, снова русские батальоны пересекут границу под Кушкой и маршевыми колоннами пойдут на Кандагар и Герат. Но это будет чужая война, за чужие цели, и русские солдаты станут гибнуть без доблести и погребаться без почести. Но всё это его уже не касалось. Он повернулся спиной к прожитой жизни, а слепыми глазами был обращен туда, откуда ожидал волшебного звука и света.

И они пришли, сначала — чуть слышный звон, как будто мотылек бился крыльями о стекло. А потом нежный лазурный всплеск, исходящий из самой глубины его потемневших глазниц.

Ему показалось, что гератская ваза у него под руками начинает увеличиваться, расширяться, наполняется лучистой синью, переливается голубым и зеленым. Ваза продолжала расти, и теперь он находился внутри голубого сосуда, который раскрывался, как огромный синий цветок. В этом сосуде находился его дом, и город, и вся земля, а он расширялся, становясь голубой Вселенной, где планеты и солнца сверкали, как драгоценные пузырьки. Чьето могучее дыхание расширяло сосуд, и он пел, струился музыкой сфер, и это была музыка о его прожитой жизни. Он увидел, как сгущается синева, и в густой, достигающей черноты лазури разгорается белая точка. Она раскалялась, становилась нестерпимо сияющей, была выходом за пределы сосуда, где бушевала бесцветная плазма, и это был Стеклодув, и он звал к себе Суздальцева, окружая бесконечной любовью. Суздальцев легонько подпрыгнул, повис в синеве, как космонавт в невесомости, принял позу, которую занимал в чреве матери, и таким полетел к Стеклодуву.

ЮРИЙ ПЕРМИНОВ



МНЕ ДЕЛИТЬ С НАРОДОМ НЕЧЕГО...

* * *

Запахнута, как душегрейка на вырост,
заря на окраинном тихом леске.
Смиренно вдыхает предзимнюю сырость
поселок, живущий в любви — не в тоске.

Мы зубы по новым законам на полку
кладем,
но любовь нам Всевышним дана
для жизни...

Из шумного центра к поселку,
погосту и небу — дорога одна.

* * *

Не сумели в оборот мою
душу черти взять...

Спою
песню — русскую народную —
“Светит месяц”, как свою.

ПЕРМИНОВ Юрий Петрович родился в 1961 году в Омске. Автор шести книг и многих публикаций в журналах “Наш современник”, “Москва”, “Роман-журнал XXI век”, “Новая книга России”, “Север”, “Сибирские огни”, “Алтай”, “Простор”. Член Союза писателей России. Главный редактор газеты “Омское время”.

Месяц в небе — словно печево.
Снова песню затыну...
Мне делить с народом нечего —
что со мной делить ему?

Спел, как смог.
И — тихо в комнате.
И в поселке. В общем, тут —
дома...
В нашем тихом омуте
черти долго не живут.

* * *

С чего приуныл, гастарбайтер? Похоже, на шее —
семья,
а семья — это, в целом, почти что кишлак...

С таким вот Наврузом — давно это было — в траншее
курили на пару мы горький солдатский табак.

Давно это было, но — было...
Сейчас бедолагу
почти не узнать...

Неужели — тот самый Навруз?
Не ты ли со мной — русаком — принимая присягу,
поклялся — Джафар — защищать нерушимый Союз
республик свободных?..

Сейчас ты об этом не вспомнишь...
Кем стали — к чему нам утаивать шило в мешке? —
присягу нарушив? — Ты — “чурка”, я — “русская сволишь”...
Но... нечего делать, Навруз, мне в твоём кишлаке...

* * *

Старик всегда встает еще до солнышка —
со вздохом, замирающим в устах.
Живет один: друзья его
и женушка —
лебедушка — давно на небесах.

Растил детей, да где они? Отечеству
служил,
греха не ведал за собой...

Не охладел он сердцем к человечеству,
но люди в целом — кажутся толпой.

И, выбрав жизнь по дням-крупичам дочиста,
еще идет он, старче, по тропе
судьбы немолчной...

Чувство одиночества
острее ощущается в толпе.

* * *

Ну, что, пора готовиться к зиме?..

Еще в листве, как в маминой печали
о днях прошедших,
яблони — оне
меня своей прохладой привечали
в саду, когда был нашим сад, когда
был жив отец... Грушовки — молодыми.

Сюда так много вложено труда —
уже чужого... Только неродными
не стали эти яблони...

К зиме
готовит сад хозяйка молодая,
тепло от яблонь солнечно ко мне
плывет сквозь годы — бережно, не тая...

КОНЕЧНО...

Конечно, дождь... Конечно, бестолковый.
Конечно, грязь чернеет, как мазут.
Конечно, в магазинчик поселковый
сегодня хлеб и водку завезут.
Конечно, день сырой — не для прогулок...

Конечно, примет и моя душа —
и стылый дождь, и запах свежих булок...

Конечно, примет песню алкаша...

* * *

Зрелищ — навалом, да зенки ослепли...
От пуза —
ешь, не хочу! — и плевел, и мякинных щедрот...

Бывшие граждане, братья и сестры Союза —
охлос вокзальный, транзитный гортанный народ, —
громко друг друга барыжными планами теша,
держат в карманах не фиги уже — кулаки.
Ну и куда вы, на земли какие? — На те, что
облюбовали — чужие и вам — варнаки...

Ну и куда вы, о доме и маме не помня? —
С темными пятнами в жирной казенной графе
о регистрации...

Жжет, как паленое пойло,
сердце — тоска
в привокзальном абречном кафе...

Зал ожидания — сумки, согбенные спины
спящих людей, чебуречные запахи...

Мой
дом — далеко,

только не из какой-то чужбины
я возвращаюсь —
сермяжной дорогой —
домой.

* * *

Из Сибири в солнечную Азию
улетают пасмурно скворцы...

Мама заготавливает на зиму
перцы, помидоры, огурцы...

— Солнышко моё, не беспокойся, не
надо, коль неможется...

Она

говорит:

— До следующей осени
доживу, сыночек мой, —
должна! —
чтобы снова к зимушке готовиться...

Выбелит опавшую листву
изморозь под окнами...

Бессонница...

— Доживу, сыночек, доживу...

У НАС...

Гулял всю ночь — домой вернулся целым
и невредимым...

Чаю под рассвет

попил...

У нас, в отличие от центра,
своих не бьют;
чужих, похоже, нет.

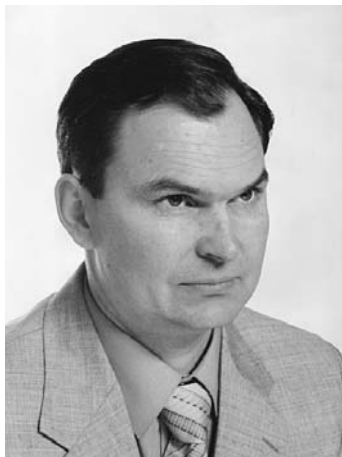
Зло не пристало к нашему поселку:
без доброты нам — жителям — никак...

Собаки наши добрые, поскольку
других у нас не водится собак.

В мороз — тепло, в жару у нас — не душно...

У нас — как воплощение естества —
всегда жила церквушка, потому что
здесь не было не помнящих родства.

АНДРЕЙ БЕЛОЗЁРОВ



СЫН

РАССКАЗ

В Раздельной принимали беженцев из Приднестровья. Выдавали бумаги с солидными печатями на временное поселение. Спросом пользовались базы и лагеря отдыха у Черного моря. Но сладких пряников, известно, на всех никогда не хватает...

В сумятице первых дней приднестровского конфликта Украина на южное дармовое жительство отправила скопом тираспольчан, прибывших с большими чемоданами и баулами. Когда же на станцию начали прибывать опаленные настоящей войной бендерчане с ошпаренными взорами и тощими узелками, большинство южных мест было уже занято. Администрация приграничного района только беспомощно разводила руками, предлагая беженцам до распоряжений из областного центра кантоваться на вокзале. (А может быть, из Киева ожидали резолюции: дело-то затратное, ведь расселить всех обездоленных из Приднестровья на коммерческие койко-места с соответствующим содержанием — на это нужны ресурсы). Но денежное вспоможение на первое время и полевую кухню Раздельнянская администрация, слава богу, несчастным предоставляла без проволочек.

Отведав из огромного солдатского котла, выставленного в самом центре Раздельной, в сквере у железнодорожного вокзала, наваристой гречневой каши с мясом и запив дымным компотом, Галя посмотрела на мирно сопяще-

БЕЛОЗЁРОВ Андрей Борисович родился в 1966 году в г. Бендеры Молдавской ССР. Учился в Кишинёвском институте искусств и педагогическом институте. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. Проза печаталась в журналах "Кодры", "Молдова литературная", "Московский вестник". Член Союза писателей Приднестровья. Живёт в г. Бендеры.

го на скамье шестимесячного Егорку, укутанного в белоснежные, выданные в эвакуационном пункте, пеленки.

— В Затоку поеду! — азартно выпалила она, упруго и звонко отбив ладошками по своим коленям дробь (так делала когда-то ее мать в судьбоносные моменты).

— Не дури, милочка! Оставайся здесь. Здесь и люди добрые. С голоду не помрешь.

— Куда ты с ребенком искать приключений? Ясно же сказали: на побережье мест нет! — наперебой стали отговаривать Галю две землячки, которые сами собрались двинуть в московском направлении к российским родственникам.

— Ничего. Потеснятся... Война делает людей ближе, — сказала в ответ Галя.

И действительно, в те несколько дней, пока мост через Днестр, магистральное направление, ведущее на Тирасполь и дальше на Украину, контролировала развязавшая бойню молдавская военщина, бендерчане, оказавшись в плотном кольце, лишённые продовольствия, проявили себя по-братски друг к другу. Свиристая стихия войны сплотила страждущих. Будто наперекор всему, люди стали добрее, мягче душой... Делились последней краюхой хлеба, отдавали одежду и лекарства чужим людям.

Но не только гуманизм и добродушие сограждан *родной* Украины влекли Галю в Затоку. Даже совсем не гуманизм и добродушие граждан... Егорка — у него есть отец! Он в Затоке!

Подали состав на Москву.

Вагоны жуткие, товарные, в которых, должно быть, перегоняли недавно скот из какого-нибудь хуторского хозяйства на мясокомбинат в Одессу — с перекладной между скрипучих дверей, в точности напоминающие теплушки сороковых годов. Но и этому составу люди радовались, рвались в него, оттирая невольно друг друга локтями, чтоб выбраться в Россию или куда-нибудь в Белоруссию.

Галя помахала рукой своим землячкам.

“Ничего. Обычная давка. Не война...”. Ей на миг вспомнилось, как при первых разрывах мин и снарядов она вместе с оголтелой толпой, в надежде укрыться, кинулась в ближайший универсам, где стеклянные витрины и пластиковые перегородки тут же разлетелись от разрыва вдребезги, убивая и ранив тех, кто искал укрытия. И ее, и Егорку спасло какое-то чудо.

Вспомнив это, у Гали невольно выступили на глаза слезы. Она рукой смахнула их, разметала по щекам соленую влагу, хотела было взглянуть на себя в зеркало, но за косметичкой не полезла... После того, как шальная пуля угодила в трюмо, дав разлапистую трещину, Галя редко смотрелась в зеркало, чего-то мистически опасаясь. Нет, она была не робкого десятка, стихийно жизнелюбива и не особо разборчива в бабьих приметах, но зеркала как-то побаивалась. Вместо зеркала смотрела в глаза сыну — там, в первозданных озерах, узнавала всю правду о себе...

Скоро она мчалась на электричке в Одессу.

Накормленный Егорка спал, укачанный дорогой. Галя глядела в окно, вспоминала о *нем*. Только о *нем*. Иногда она нагибала голову к Егорке, чтобы в чертах сына увидеть черты *его*.

...Он жил в Затоке, а познакомились они с Димой в Одессе. Он спортсмен. Потом приезжал к Гале в Бендеры, только к ней ли, а может, на соревнования, — она так и не поняла. Тогда, в Бендерах, она сказала Диме:

— Кажется, я беременна.

— От кого? — усмехнулся настороженно Дима.

— От Одессы, — рассмеялась Галя, но в этом смехе была безусловная серьезность.

Он сделал вид, что не понимает ее.

На Диму она зла не держала. Сама согласилась нести крест матери-одиночки, как в свое время ее мать, которая не поставила нечаянного “папашу” в известность...

Мать умерла, когда Гале исполнилось восемнадцать. Галя рано выстрадала самостоятельность в поступках и суждениях, ей даже казалось, что и матери понравился бы ее *поступок*, — ее славный Егорка.

Ничего, обойдемся без главы семейства, без “сильных личностей”, которые почему-то настроены на какой-то подвох со стороны любящих их женщин. Как будто от мужчин не стоит ждать подвоха, опасности или беды?!

Приднестровская катастрофа все перевернула в сознании. За годы мирного социализма люди отвыкли думать об ужасах физических лишений, о войне; “холодная” война не в счет. А тут вдруг, разом... Панически гудели, казалось, ни с того ни с сего заводские сирены, раздалась взрывы, побежали обезумевшие люди в подвалы, в укрытия. На улицах — танки, ощеренные черными дулами...

Галя все последние дни и ночи несла эту *утробную* тревогу, — “тревогу” гражданской обороны, потому что сама видела воочию, как бомбардировщик гулко и низко прошел над городом и сбросил свой смертоносный груз, чтоб разбомбить мост через Днестр, — единственный мост, по которому беженцы Бендер могли перебраться к *своим*. Должно быть, силы небесные отвели бомбы от цели. Мост выстоял. Но стекла от взрывной волны в ближайших домах повывлетали начисто, да и людей многих припечатало к стенам невиданной иноприродной силищей.

В Одессе Галю удивила *безмятежность*. Никаких беженцев, никаких людей в пятнистой форме. В Одессе люди были веселы и остроязыки, но они как будто не знали цены жизни. Они говорили, казалось, о мелочном, думали нестерпимо обывательски... Галя не видела в их глазах тяги к жизни, к жизни как таковой... Тот, кто изведаль мало-мальски войны, хоть день один или всего только ночь, понимает, что есть жизнь как таковая... Потому что чуть-чуть вкусил от некоего горького плода *небытия*.

А тот, кто вкусил, не будет так спокойно и вальяжно рассуждать о футболе, о новых босоножках, о рецепте приготовления фаршированной рыбы.

“Они как дети, настоящие дети”, — снисходительно думала Галя, крепче прижимая к груди Егорку, который хоть и мал, но уже тоже вкусил от *небытия*.

Вместе с тем здесь, в Одессе, далеко от взрывов, на Галю хлынули сентиментальные воспоминания ярких дней и бессонных головокружительных ночей, на побережье, возле желанного Черного моря. Здесь, в Одессе, мысли о Диме стали острее, глубже. Ведь встреча с ним все ближе...

— Ну, дальше поехали, Егорка! — подмигнула Галя сынишке, который щурился от ласкового черноморского солнца.

До отправления электрички на Затоку оставалось время. Гале уж очень хотелось отведать сияющее белизной — после дымного и черного неба Бендер, после закопченных термосов и фляг полевой кухни — мороженое. Может быть, мороженое тоже придаст ей одесскую безмятежность?

Она сидела в привокзальном сквере и с удовольствием ела мороженое. Потом покормила грудью Егорку. В какой-то момент словно вихрь налетел: надо ли ехать в Затоку? Ведь Дима не объявлялся, не звонил даже... Надо! Была не была. Да больше и некуда ехать! В Бендерах — война, дом полуразрушен, ни электричества, ни воды, ни газа, ни целых стекол в рамах.

Под мерный перестук колес и безмятежные виды одесских окрестностей Галя вспоминала свою жизнь. Вот уж двадцать два года ей — и много, и мало... Была совсем недавно школьницей, дружила с мальчишками, многие из которых добивались ее внимания, работала на разных работах, ни к какой профессии накрепко не прикипела. Но вот война закончится, и обязательно устроится в детский сад. Вместе с Егоркой туда пойдет... Где-то рядом с этими утешительными и вместе с тем тревожными мыслями витала надежда на Диму. Может, уготована не только судьба матери-одиночки?

Впрочем, в любом случае стоило поехать в Затоку. Ребенку полезна иодистая вода и морской воздух. Егорка и так уж натерпелся, отошал. Какое там молоко от всех этих гуманитарных макарон и рыбных консервов, ведь

оно вмиг сворачивалось, когда Галя сцезивала остатки после очередного кормления.

Война застала Галю среди бела дня на центральной улице, по дороге в ближайший универсам за продуктами. Как ни странно, хлеб и другие продукты ей удалось купить уже под свист пуль... А когда бежала домой с сумкой, прижимая к себе Егорку, видела, как на улице, почти рядом с ней, падают от осколков люди, а универсам, из которого они с Егоркой только что выскочили, обрушился всеми своими стеклянными витринами.

Машинально шептала: “Спаси, Господи!” и наконец-то добралась под защиту своей двухкомнатной квартиры на втором этаже, оставшейся ей после смерти матери. Типовая хрущевка стояла рядом с набережной, в благоприятном месте для жизни и отдыха уютного старинного городка. Сюда, к благоухающей клумбами, редкими видами деревьев и кустарников набережной стекались люди, делились новостями; здесь же проводились политические митинги.

Но маленькая крепость “свой дом” к веречу стал ходить ходуном — начался обстрел. Не конкретно по дому, но снаряды ложились под самые окна. Стекла лопались от взрывной волны, трескались, дзенькали от выстрелов снайперов.

Потом артобстрел сменился авианалетом — стало еще страшнее: бомбардировщики норовили взорвать мост, по которому еще вчера, даже нынче утром, шли безмятежные люди!

А тут (Галя увидела это в окно) двое здоровенных мужиков в пятнистом обмундировании — не поймешь, свои или чужие? — завопили срывающимися голосами. Один тянул другого по асфальту, тот был ранен, окровавленными руками держался за живот — кровавая дорожка чертилась из-под него. И вдруг выстрел. Какая-то дикая сила крутанула здорового мужика и снесла с ног. Теперь они оба лежали на асфальте, оба в крови, оба стонали. Его срезал снайпер, который прятался *всюду*... О том, что это был снайпер, Галя поняла чуть позже, когда над ее головой просвистела пуля и ударила в домашнее зеркало. Оконное стекло мелким колючим крошевом осыпало Галю. На зеркале — аккуратное отверстие, размером в копейку, с раскинувшимися в разные стороны лучиками.

— Э-э! — от изумления вымолвила Галя, осмотрела Егорку, не упал ли осколок в кроватку. И теперь уж по собственной квартире передвигалась, будто вор... — прячась, пригибаясь, таясь...

Потом по улице двинулись какие-то уродливые танки на резиновых колесах. Из башен у них торчали пулеметы. Вдруг хлопок — и первый в колонне танк будто споткнулся, объялся огнем, словно опрокинули на него ванну с полыхающим горючим. Враз застрочили, казалось, со всех сторон пулеметы — хотелось заткнуть себе уши и разорвать на части тех, кто не давал спать сыну...

Егорка, к счастью, в эти горячие дни вынужденного заточения вел себя примерно, не капризничал, несмотря на крайние трудности быта: домовая кухня не работала, кормящая мать перебивалась хлебом, консервами, водой, да и кроватка Егорки изменилась; Егорку пришлось переместить в ванную, и не просто в ванную, а в чугунную ванну, утеплив ее одеялами.

...Электричка замедляла ход. Егорка не спал. Был чрезвычайно оживлен: мычал, плакал, старался что-то схватить руками и потащить в рот.

— Потерпи. Скоро устроимся. Все наладится... Улю-лю, улю-лю!..

Улицы Затоки были запружены людьми. Популярный курортный поселок переполнен беженцами и торговцами. Пряные дымные запахи шашлыка, разваристой кукурузы... Однако не только женщины, дети и старики, но и крепкие мосластые загорелые мужчины сновали повсюду, копошились возле автомашин с приднестровскими номерами. Галя смотрела на них с недоверием. Именно такие и будут доказывать России и Украине, что делать с Молдовой. Мнение таких, как она, простых матерей-одиночек никто не услышит. Вечно мужики “играют” в политику, спекулируют на истории, кого-

то подстрекают к войне... Ведь здесь, в Затоке, она видела тех, кто собирал граждан на митинги и демонстрации. А теперь? Они, казалось, играют на нужде и бесправии!

Она шла и нечаянно слышала разговоры, реплики, мужиковские рассуждения.

— Остается опасение, что прорвутся в Тирасполь войска Молдовы.

— Бендеры стоят насмерть. Не пропустят!

— Жара под сорок, а трупы с улиц не убраны...

— Пока Россия не вмешалась, румыны-то, глядишь, празднуют...

— Если б только Россия решала... На все теперь разрешение Штатов требуется.

Коммерсанты с автоприцепов торговали всякой всячиной, крепкие, загорелые, смеющиеся.

— Чего хочешь, красавица? Все есть!

Галя решила, что сперва устроится куда-нибудь с Егоркой. Непременно устроится сама. А уж потом покажется на глаза Диме. Она шла с Егоркой по центральной улице Затоки. Здесь по обе стороны — входные порталы в базы отдыха. Куда бы Галя ни заходила:

— Мест нет!

— Нет мест!

— Давно уже никаких мест нет!

И пятая попытка найти себе, как беженке, койко-место, и десятая — все безрезультатно.

Галя пришла в администрацию Затоки. Глава администрации беженцев не принимал, принимал его заместитель. Это была коренастая, ярко накрашенная, с выбеленными волосами женщина, к которой и стремились нахлынувшие из Приднестровья беженцы.

— Мы с сыном из зоны бедствия... Нам бы койко-место, — сбивчиво говорила Галя, ей почему-то казалось, что казенное слово “койко-место” действует на чиновницу.

— Мест у нас нет! Возвращайтесь в Раздельную, — отвечала чиновница. — Там хоть накормят. Малышу подгузников выделают... А если он здесь у вас заболел?... Завтра к нам из Киева санэпидемстанция с проверкой приедет... Где направление?... Как без направления? Чего ж вы тогда сюда приперлись?... И вообще, кто вы такая? Чем докажете, что беженка? Может, так, у моря поваляться захотелось?

Уже через минуту Галя была за порогом администрации. В полном опустошении взглянула вдоль пыльной улицы с пятнами тени от деревьев.

— Какие проблемы, дамочка? — кинул ей парень в темных очках, который курил недалеко от входа в администрацию

— Мы из Бендер. Беженцы. Устроиться бы где-то. Хоть ненадолго, — отвечала по накатанной Галя.

— Были б деньги...

— Разве здесь беженцев — за деньги?

— Кого-то без денег, а кого-то за... Украина дала вам неделю халявного постоя, — а вышло как? Не хотят съезжать до полного разрешения военного конфликта.

— И сколько ж стоит на базу отдыха?

Парень назвал сумму. Для уточнения добавил:

— Меньше чем на декаду никто и разговаривать не будет. И оплата вперед.

— Таких денег у меня нет... Может, дальше по побережью что-то найдется дешевле?

— Дешевле только в камышах на лимане, — ответил парень.

Почти на всех калитках домов, что были ближе к берегу, висели таблички: “Комнат нет”, “Жилье не сдаем”, “Мест нет”, “Посторонних просим не беспокоить”.

“Может, все-таки к Диме? — подумала Галя. — Чего таить? Чего ждать?”

— Ты откедова, дочка? — окликнула Галю старушка в белом тугом

платке, взглядом окинула Егорку на ее руках и ее вместительную сумку — через плечо.

— Из Бендер, бабушка.

— Из Бендер? — переспросила старушка. — Там, где стреляют?

— Да, — ответила Галя.

— Я войну пережила, — сказала старушка.

— Я тоже...

Старушка усмехнулась.

— Да разве ж там у вас война? Вы войны-то еще толком не видели... — Она подняла глаза на Галю, спросила всерьез: — Страшно было?

— Страшно... За сынишку страшно. Воды не было... Пеленки не постирать...

Гале вспомнилось, как в бендерской горячке, когда в доме ни воды, ни газа, ни электричества, она с ворохом белья в потемках пробиралась к Днестру, чтобы постирать. Егорку она оставляла спящим в ванной, а сама — к реке. А если не вернется, если ее подстрелят, взорвут? Конечно, она предупреждала соседей, что уходит. Но думать о смерти было противно и невозможно, невысказанно. Как же так, кто-то выстрелит из пулемета, или шлепнется мина, и Егорка, ее сын, останется сиротой?!

У реки она всегда заглядывалась с надеждой на противоположный берег, — туда, где были *свои*... Когда, когда все это кончится? Кто укротит этих румын? По Днестру и проходила линия фронта. А решающий бой за мост, соединяющий берега реки, был еще впереди.

Иногда, если шла стирать ранним утром, в поле зрения Гали на том берегу реки попадали группы людей в пятнистой форме с автоматами в руках, перебегающие от одного яблоневого ряда к другому, от ложбины, бурно поросшей ивняком, к бетонным укреплениям берега. Ей, несведущей ни в каких военных хитростях, становилось понятно: к мосту стягиваются силы, скоро разразится что-то решительное и судьбоносное. Метров четыреста разделяло их — русло Днестра, но она чувствовала неразрывную связь с теми, кто был за рекой: пригибается, тяжело бежит в амуниции; они самые дорогие сердцу люди, будут спасать осажденный город, прогонят врага восвояси, на Запад.

В те минуты ей вспомнились фотографии сорокового года из краеведческого музея, куда всем классом ходили на экскурсию по истории родного края. На фото был запечатлен левый берег в районе городского пляжа: пограничные столбики с гербами страны Советов и воины, взирающие строго на румынский тогда предел, город Бендеры. И вот сейчас будто бы фотографии ожили: солдаты короткими перебежками занимают позицию у моста. “Роденькие, вы должны победить! Должны! Днестр вам поможет...”

Тут припоминалась из школьной программы красивая легенда. Солдаты Екатеринбургской армии, раненные при взятии Бендерской крепости, входили в воды Днестра, чтобы излечить малые раны. Они входили в воду, омывали себя и выходили на берег исцеленными...

Потом в Бендерах грянул бой. На помощь разрозненным и обескровленным отрядам ополченцев и казаков в Бендеры вошли регулярные приднестровские войска. Несколько танков были, наконец, по решению российской армии, дислоцировавшейся в Тирасполе, переданы в руки гвардии Приднестровской Республики.

С левого берега Днестра шла помощь. С правого берега били из броневых орудий и пулеметов окопавшиеся молдавские вояки. Самые смелые из осажденных жителей выглядывали в окна, чтоб увидеть бой... Гале тоже не терпелось хоть краешком глаза взглянуть, что там, на мосту, происходит. Но она не могла ни на минуту отлучиться от Егорки, переживая бой в ванной. Она не могла рисковать сыном! И наконец-то душераздирающий вой мин, посылаемых с “румынской” стороны, прекратился, а с моста понеслось стремительное, победное “Ура!”.

Галя, не зная настоящих молитв, тем не менее молилась за *своих*. И вот наконец-то гвардейцы, казаки и ополченцы рвались спасать Галю с Егоркой с победным кличем.

— Ура-а-а-а! — вторила и Галя, а Егорка, радуясь, тоже пытался помочь и гулил, и что-то выкрикивал, вроде “Уа-а-а-а!”.

...Старушка привела Галю к небольшому дому с застекленной верандой.

— Тут племянник мой живет. Скажи, что я тебя привела. Он пустит. На веранду. — Скупая на речи, старушка кивнула головой, попрощалась: — Храни вас бог... Здесь войны нету. Его Николаем зовут.

Галя перепеленала на крыльце дома Егорку, покормила его. Мир не без добрых людей! Улыбнулась солнцу. Почувствовала приятный ветерок с моря.

Николай был толстый и лысый, лет сорока мужик, подвыпивший, веселый и проворный. Галя быстро ему все объяснила, он тут же пригласил ее в дом, тут же пригласил выпить с ним “по стаканчику”.

— У меня ж ребенок, — возразила Галя.

— Ребенок не помеха! — рассмеялся Николай, задернул шторку на окне. — За знакомство, так сказать. Чтоб жилось хорошо.

Она чуть пригубила из стакана вина. Николай выпил весь. Выпил и тут же приобнял Галю, как старую знакомую.

— Это не надо. Я ведь не просто так прошусь, за деньги. У меня есть немного...

— Деньги мне как раз не нужны... — льбился Николай. — Чего ты ломаешься-то. Под одной крышей, так сказать... — И он обнял ее крепко, насильно, горячо дохнул перегаром и дикой мужицкой страстью в лицо.

Галя укусила насильника в плечо. Николай взвизгнул, оттолкнул ее.

— Вот дура! Дура и дура!

Она думала, что он сейчас крикнет: пошла вон отсюда! Но Николай не крикнул. Держался за укушенное плечо, о чем-то думал. Возможно, старуха тетка, которая привела Галю на постой, не давала ему крикнуть: “Пошла вон!”

— Ты чего, с цепи, что ли, сорвалась? Кусаться-то?

— А вы чего? Тоже с цепи сорвались? Сразу да и лапоть...

— Ладно, погорячились, — буркнул Николай. — Перекангүйтесь пока дня три у меня. На веранде. Там видно будет. — Он исподлобья, хитро взглянул на Галю. — Может, и помягчаешь?

— Может, и помягчаю, — сухо ответила Галя, понимая, что сейчас идти в штывки с хозяином — не резон.

— Вот и устроились, — шепнула Егорке Галя, когда осмотрелась на веранде в доме у Николая. — Теперь к морю! Грязь дорожную смыть.

Ей стало радостно, как было в первые дни после освобождения от “румынского” ига...

Она подхватила Егорку — и скорее на берег.

По ракушкам и мелкой гальке она с Егоркой шла вдоль кромки воды. Небольшие волны набегали на ее босые ноги, ласкали, приглашали искупаться. Галя высматривала себе место под ивовыми зарослями, так чтобы Егорка мог посидеть в тени, играя с перламутровыми ракушками, которые ему уже приглянулись, а она окунется в приветливом для всех-всех людей море...

У Гали не было купального костюма, она решила, что искупается в халате. Можно бы и нагой. Ведь еще недавно, казалось, совсем вчера, они с Димой купались без единой нитки одежды под луной в море, а потом грелись у костра и целовались. Как давно это было! Теперь она женщина-мать...

...Галя почти каждую минуту думала о Диме, представляла встречу, готовила какие-то слова. Но она никак не ожидала, что встретит Диму здесь. Сейчас, на пляже! Так неожиданно!

Она увидела его и оторопела. Совсем рядом, у машины, в тени, под ивой. Дима рылся в багажнике. Потом он захлопнул крышку, направился к открытой дверце машины, где в салоне сидел еще один человек, по-видимому, его приятель. Но тут-то он и увидел Галю с ребенком на руках. Получилось так, словно она шла к нему, искала его — и наконец-то нашла.

Сердце Гали, казалось, остановилось. Даже Егорка почувствовал напряжение матери, замер, лежал, широко открыв глаза. “Неужели почувял отца?” — промелькнуло в ошарашенном мозгу Гали, когда взглянула на сына.

Дима сперва, вероятно, изумился встрече, потом что-то стал как будто подозревать, потом — как будто что-то стремительно анализировать, высчитывать, прикидывать.

На какую-то крошечную секунду в Гале вспыхнула надежда: сейчас Дима всё без объяснений поймет, увидит ребенка и сжалится над ней: подхватит малыша и примет Галю в объятия. Наконец Дима, казалось, стал весь черным от злости.

— Гагина! — скривились его губы. — Все-таки родила! Теперь в нос мне ребенка тычешь? Специально приехала?

— Нет! — испуганно проговорила Галя. — У нас там... в Бендерах...

— Да плевать на ваши Бендеры! — истерично выкрикнул Дима. — Чего вы сюда претесь? Советский Союз кончился! У вас там... — Он, вероятно, хотел еще что-то выкрикнуть, бросить упрек, но с отчаяния ударил кулаком по крыше своей машины и быстро сел в салон. — Приехала, сука!

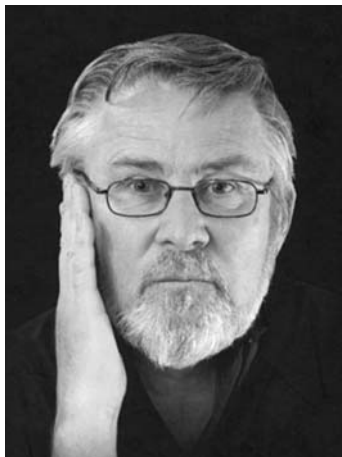
Это было последнее, что услышала Галя от бывшего возлюбленного. Машина взвыла, сизый дым выхлопа вырвался из трубы, песок полетел из-под колес.

Егорка безумно радовался морю. Он барахтался, шлепал руками по воде, поднимая брызги. Он и Галю тянул в воду — искупаться. Иногда Егорка внимательно смотрел на мать, словно сопереживал ей. А потом опять тянул ее к морю, ласковому морю. И как будто говорил:

“Мама, не бойся, я с тобой! Все будет хорошо! Здесь войны нет!”

Галя плакала. Во время бендеровской войны она часто забывала плакать.

ГЕННАДИЙ СКАРЛЫГИН



РОДНЫЕ МЕСТА

УТРО. ДЕТСТВО

Только с рассветом встаем,
Кажется, птицы летают.

— Бабушка, что за окном?

— Всюду земляца святая.

— Бабушка, что же метель
Так заметает землю?

— Чтоб белоснежна пастель
Светом могла возродиться.

— Бабушка, что так скрипят
Нынче опять половицы?

— Это для малых ребят
Музыка — им ведь не спится.

Это для малых ребят
Скрыпками петь половицам,
Чтоб им приснились опять
Светлые, светлые лица.

СКАРЛЫГИН Геннадий Кузьмич родился в Кемеровской области. Окончил Томский геологоразведочный техникум, работал геологом. Затем окончил Томский государственный университет, работал журналистом в различных изданиях. Секретарь правления Союза писателей России. Председатель Томской областной писательской организации. Автор семи книг стихов.

* * *

Мне для славы ничего не надо.
На весеннем бархатном ветру
Приголубит легкая прохлада.
Вот и славно. Это как награда.
Чтоб теплело сердце на миру.

Чтобы вновь березового сока
Мне набрать бы в утреннем лесу.
Где проснулись травы. И высоко
Всё стрекочет радостно сорока,
Будто держит небо на весу.

Плавно над суровую долиной
Проплывает уток гоготок.
Этот день и радостный и длинный
Мне напомнит гобелен старинный,
Там, где терем весел и высок.

* * *

Серое безрадостное небо.
Гулкие дороги. И слегка
Колосится даль полоской хлеба.
И играет волнами река.

У обрыва видятся причалы.
И дымы далеких деревень.
Позабудь про все свои печали.
Посмотри на этот славный день.

Пусть река насупилась устало.
Пусть бегут куда-то облака.
В этой жизни всем дано не мало.
Как всегда, как в прежние века.

* * *

“Тихая моя родина...”

Н. Рубцов

Светлая моя родина,
С первым снегом своим,
Сколько с тобою пройдено,
Сколько прожито зим.

Всё, что отсюда вынес,
В сердце своем храню.
На этой земле я вырос,
В звонком лесном краю.

Здесь, на реке и в поле,
В рощах березняка,
Я напился вволю
Светом родным. Легка

Стала мне ноша жизни.
Вот и иду с тех пор.
С милою укоризной
Меня провожает бор.

Что-то шепнет малинник,
Прощально махнет дымок.
Пусть будет дорога длинной,
Пусть будет мой путь далек.

* * *

Седая женщина, седая,
С глазами синими, что ночь.
Идет, как осень золотая,
Ей всё по силам превозмочь.

Она сносила терпеливо
Беду и мужнину любовь.
Ей всё легко, ей всё красиво.
Ей всё как будто вновь и вновь.

Она идет, она летает,
Всегда покорная судьбе.
И первый снег в ресницах тает,
И первый холод по щеке.

И первым клином журавлиным
Ее уносит вдаль и вдаль.
В мечтах, как в кружевах старинных,
Так далеко она... А жаль.

* * *

Сколько мудрости в песне народной.
Бесконечны напевы, легки.
То нахлынет струею холодной,
Как дыханье могучей реки,

То, послушайте, во прибрежных
Она шепчется тальниках.
То зальется мелодией нежной,
То затихнет. То снова, легка,

Полетит по бескрайнему морю —
По зеленым полям и лугам.
Сколько в ней освежающей боли.
Сколько грусти. И вижу — что там,

На далеких и прежних заставах,
Где тревожные ветры метут,
Мои предки встают не для славы,
Не для радости песни поют.

*Поздравляем нашего давнего автора и дорогого друга
Геннадия Кузьмича Скарлыгина с 60-летием!*

Редакция

ВЛАДИМИР ПРОНСКИЙ



ЛИСТОПАД

РАССКАЗ

С возвращением Алексея Спиридонова из областной больницы домашние зашевелились, забегали, не зная, как теперь вести себя. Ездивший за ним сын Анатолий помог выбраться из кабины лесхозовского грузовика, который специально гоняли, чтобы привезти после операции бывшего работника. Коренастый сын хотел на руках отнести отца, но Алексей постеснялся шофера — неуклюже разобрав костыли, сам осторожно заковылял на одной ноге. Десятилетний внук, еще на крыльце увидев деда, попытался подставить худенькое плечо, отчего Алексей совсем смутился. А потом и вовсе вспотел от необъяснимого стыда перед вышедшей женой, словно был виноват перед ней за оставленную в больнице ногу... В доме же, едва он кое-как уместился на диване, жена зачем-то накрыла шалью пустую штанину, чем окончательно вывела его из себя, и, сердясь, он растерянно пугнул:

— Зин, ребятам поесть собери. Весь день со мной валандались!

Жена обиделась, хотела по привычке огрызнуться, но осеклась и ушла в кухню. Вскоре небогатая закуска стояла на столе, и Алексей сказал вертевшемуся рядом внуку:

— Витек, зови шофера и отца — пусть перекусят!

Когда мужики уселись за стол, Алексей остался на диване и от рюмки отказался. Внук подал ему миску с едой, и Алексей ел без настроения, будто по обязанности. Его напряженность передалась мужикам. Они молча

ПРОНСКИЙ Владимир Дмитриевич родился в городе Пронске Рязанской области в 1949 году. Работал токарем, водителем, корреспондентом, редактором. Автор книг "Племя сирот", "Три круга любви", "Казачья Засека", "Стяжатели" и других. Лауреат литературных премий имени А. С. Пушкина и А. П. Платонова. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

хряпнули по стакану, молча похрустели огурцами и вышли на крыльцо курить. Не получился разговор и с Зинаидой.

— Как доехали-то? — спросила она скорее из приличия, как понял Алексей.

Ответил так же:

— Не сами ехали — машина довезла! — и неумело попытался встать на костыли. Жена хотела помочь, но он отмахнулся: — Сам справлюсь... Пойду в саду посижу... — и, посмотрев на Зинаиду, только сейчас по-настоящему заметил, как она постарела и похудела за последнее время.

Спиридонов через двор осторожно вышел в сад, где стоял вкопанный стол с двумя скамьями. В тишине сада, на густом осеннем воздухе Алексей мало-помалу успокоился, залюбовавшись багряно-желтой листвой росших на меже деревьев, называемых в семье аллеей. В последние годы деревья порывались спилить, чтобы не тенили сад, но Алексей всякий раз останавливал. “Усадьба наша крайняя, аллея соседям не мешает — пусть стоит... — обиженно говорил он жене и сыну. — Вот когда помру — делайте что хотите, а пока живой — пусть будет по-моему...”

Алексеем захотелось курить, как прежде курил здесь, когда выдавалось свободное время. Бывало, посидит минут десять — всего-то ничего, — а уж кажется, и отдохнул, и на жизнь по-иному начинать смотреть. Теперь же курить нельзя — врачи запретили. Да и домой спешить не обязательно из-за своей ненужности. Теперь вообще, как понял еще в больнице, спешить куда не надо. Какой спрос с инвалида? Хотя об этом лучше не думать: если начинал забивать такими мыслями голову, то делалось стыдно перед самим собой. Правда, еще весной вышел на пенсию, но много ли купишь на гроши? И приносят их через пень-колоду, а последний раз и вовсе задержали! “Когда же это было-то? — начал вспоминать Спиридонов. — В июле или августе? Точно — в августе!” Он тогда как раз ездил в районную больницу; пока нога просто болела, терпел, а когда начала краснеть, то волей-неволей пришлось к врачам бежать. А он и не помнил, когда был у них последний раз, не знает чего сказать надо.

— Вот! — показал на приеме у хирурга распухшую ногу, подняв до колена штанину. — Меры принимайте!

— Это мы запросто! — в тон ответил круглолицый, упитанный врач. — Хоть сегодня операцию сделаем.

— Как сегодня?..

— Очень просто... Если хотите, сегодня и прооперируем. Только подобные операции у нас платные, и вам следует прежде уплатить пять тысяч!

— Чтобы собственную ногу отрезать, еще и пять тысяч надо?! — застонал Алексей. — У меня и денег-то таких нет... А если и были бы, то все равно не дал!

— Жить захотите — найдете, с протянутой рукой будете стоять и последнее отдадите.

Будь его воля, Алексей запросто задушил бы толстомордого гада. Уж чего-чего, а руки-то пока не ослабли, не смотри, что сам в плечах неширок. Но ругаться не стал — криком ведь ничего не добьешься. Зато сказанул с такой едкой подковыркой, что самому страшно сделалось:

— Если не беретесь лечить — в область посылайте. Там поопытнее специалисты найдутся!

Им-то что: дали направление — и катись на все четыре... В областной больнице — Алексей как чувствовал — отнеслись по-человечески. Правда, ногу все равно отняли, зато бесплатно. А сначала даже пытались лечить — какую-то мелкую жилу искали, чтобы пустить кровь по новому пути. Вот только ничего у них не вышло. Но ведь хотели помочь, старались — поэтому и обиды не было. Наоборот — спасибо хотелось говорить. Особенно лечащему врачу. Пожаловался ему Алексей, что обезболивающие уколы совсем не помогают, и попросил проверить медсестер — ведь совсем девчонки, вдруг что-нибудь напутали. А тот заулыбался понимающе, стеснительно поправил очки и сказал, будто похвалил:

— Значит, винцом-то все-таки злоупотребляли, если наркотик не действует?

От такого вопроса Алексею даже стыдно сделалось, не нашелся сразу, что ответить.

— Как все... — проямлил стеснительно. — У нас в лесхозе ребята дружные...

Врач посмеялся и назвал лекарство посильнее, только в больнице нет его... Хорошо, потом дальняя родственница где-то купила. Раньше-то Алексей мало знал ее, редко виделись, а тут Зоя стала как мать родная. Душу бы отдал за нее...

— Дедушка, ты чего здесь засиделся-то? — отвлек от мыслей голос внука. — Пойдем в дом, скоро ужинать.

На этот раз Алексей сел за стол вместе со всеми, но с краю, чтобы удобнее было. Его место занял сын. Никто не придавал этому значения, но Алексея, хотя и не обидело — чего же на сына обижаться? — по самолюбию резануло. Не понравилось и то, как сноха начала ухаживать, хотя никогда не отличалась заботливостью. Прежде редко по имени назовет, а тут “папа” да “папа”, и тарелку двигает поближе, будто он немощный совсем... Хотя позже переменил мнение о снохе: ведь не отворачивалась равнодушно, а жалела.

После ужина быстро разошлись по кроватям. Жена легла с внуком, побоявшись спать с одноногим мужем. И от этого Алексею сделалось не по себе. “Все я чужой стал, — думал он, засыпая, — будто гость в собственном доме!” Быстро заснув, он почти сразу проснулся: приснилась отнятая нога. Болела она во сне так похоже, так кусаче и пронзительно, что казалось, от боли уж и дышать не было сил... Проснувшись, он ощутил культю, словно она могла отрасти, немного успокоился и вновь пытался уснуть, но теперь культя разболелась по-настоящему: он чувствовал, как ноют пальцы, пульсирует кровь в распухшей голени, которой не было... “А вдруг теперь всегда будет болеть то, чего нет?” — тревожно думал он, вновь засыпая, и не мог смириться с этой мыслью.

Заснув позже всех, Спиридонов проснулся всех скорее. Потихоньку оделся, опасаясь зацепить за что-нибудь костылями, вышел на крыльцо и стал наблюдать за неспешным октябрьским рассветом, удивленно отметив, что прежде некогда было заниматься этим: всегда куда-то спешил и спешил, будто всю жизнь опаздывал. Когда развиднелось, появилась жена, удивленно взглянула, вернулась в дом и вынесла шаль.

— Что ты шалью-то меня все укутываешь, как старуху какую? — незлобно ругнулся Алексей. — Не холодно мне!

Правда, все-таки сделалось приятно, что жена заботится. Другая давно бы рукой махнула.

Позже, когда сын погнал в стадо корову, Алексей попросил:

— Толян, обратно пойдешь — охалку прутьев нарежь...

— Зачем тебе ивняк-то? — заспанным голосом отозвался сын.

— Чего без дела сидеть — буду корзинки плести...

Алексею от своей задумки радостно сделалось: не совсем уж будет обузой! Эта мысль и согревала весь день, когда, расположившись у аллеи, потихоньку подбирал ивовые прутья. И все плохое забылось от неторопливой работы, а после обеда, когда в сад неожиданно пришла почтальонка, чтобы он самостоятельно расписался за пенсионный перевод, и вовсе запела душа. И было отчего: почти десять тысяч получил! Вот так-то! Обычно-то пенсия чуть за три перерывала, а сегодня вон сколько перепало. Он даже засомневался, спросил у почтальонки по-простому, потому что она была почти ровесница:

— Маш, нет ли какой ошибки? Уж больно прибавку сделали большую.

Чтобы отсчитать деньги, полноватая Мария присела за стол и, исподволь поглядывая на почти готовую корзину, ответила равнодушно:

— Откуда мне знать... Что на почту шлют из собеса, то и раздаем. Так что, Алексей Степанович, радоваться должен, а ты чем-то недоволен.

Алексей отметил, что почтальонка назвала по отчеству, хотя никогда прежде так не величала. Приятно сделалось. Поэтому, когда она похвалила почти готовую корзину, предложил:

— Вот закончу — и забирай, не жалко!

— Я бы заплатила, не просто так...

— Ничего не надо... И так вон сколько денег отвалила — в руке не помещаются. Так что, считай, корзинка у тебя уже есть. А что, самый подходящий инвентарь для сельской местности!

Довольная Мария вскоре ушла, и Алексей следом — не терпелось показать деньги жене, хоть какую-то радость сделать ей и, чего греха таить, похвастаться. И он не ошибся: Зинаида даже поцеловала, и не как-нибудь вскользь, а как прежде, в молодости... И от ее поцелуя, близости — у Алексея зачастило сердце, затуманившись, потемневшими глазами он пристально посмотрел на жену и спросил:

— Где Витек-то?

— С дружками куда-то убежал! — с готовностью ответила она и, внимательно посмотрев в ответ, вышла в сени и громыхнула задвижкой, закрываясь изнутри.

Когда вернулась, Алексей сидел на диване полураздетый, лихорадочно скидывая остатки одежды, и ни о чем более не спрашивал, ничего более не говорил, разогревшись от неожиданно нахлынувшего желания...

Одевался же потом не торопясь, нехотя, так что Зинаида начала подгонять:

— Пошевеливайся давай — раскотятился... Сноха скоро с работы придет!

— А то она мужика голого не видала! — улыбнулся Алексей, не желая расставаться с легкомысленным настроением.

— Одевайся, говорят тебе! — начала злиться Зинаида, словно и не было вспышки обоюдной нежности, а произошло досадное недоразумение, о котором надо побыстрее забыть.

Алексей на жену не обижался. Наоборот — на душе сделалось радостно, легко, ведь у него получилось то, о чем он и не вспоминал последнее время, и теперь радовался этому событию...

— Отец, чего это с тобой?! — подозрительно прищурившись, спросил сын, когда вернулся с работы.

Алексей загадочно улыбнулся:

— Не зря мы утром затеяли корзинку плести... Оказывается, это хорошая примета... Знаешь, сколько мне сегодня денег отвалили? Десятку!

— Так я и поверил... Люди по четыре месяца копейки не получают, а ему — “десятку” на блюдечке!

— Зин, — сказал Алексей жене, — выдели ему на бутылку, если сомневается!

Сразу, конечно, денег на выпивку они не получили, но взяли измором: разве устоишь в такой день! Женщины на радостях даже сами потом выпили с мужиками по рюмочке...

Начав трату с сотни, на следующий день, половину отдав за долги, они истратили все деньги. Алексей настоял, чтобы женщины не жадничали, когда поехали в райцентр, а те и рады стараться: внуку купили часы, себе по кофте из ангоры отхватили, Анатолию и снохе джинсы, а ему — чтобы без обиды было — рубашку теплую присмотрели. Вечером Алексей любовался домочадцами и удивлялся: какая, оказывается, сила в деньгах! Еще вчера утром ни из кого слова не вытянешь, а сегодня все довольные ходят, улыбаются и без усталости болтают.

Хорошее настроение прописалось в доме постоянно, все сразу привыкли к нему, теперь казалось, что всю жизнь так жили: радостно и вольготно.

Пока стояло тепло, Алексей по утрам уходил в сад и с удовольствием занимался корзинами; каждая новая получалась аккуратнее, изящнее, словно он их плел для выставки. И все бы хорошо, но через три дня, когда после завтрака Спиридонов по привычке уже копошился в саду, то совсем рядом услышал голос жены:

— Алексей, к тебе вот из собеса пришли...

Подняв голову, Спиридонов увидел рядом с Зиной молодую нарядную женщину и вопросительно посмотрел на нее, смутившись в душе.

— Что случилось? — спросил неуверенно и сразу сердцем почувствовал, что ничего хорошего от этого нашествия не будет.

— Алексей Степанович, вы знаете... — сказала женщина и неожиданно закрыла лицо, начала всхлипывать. — Из-за моей ошибки вам неправильно начислили пенсию...

— Я-то при чем?!

— Ни при чем, разумеется, но вам эти деньги надо вернуть... не все, разумеется, а лишние, то есть, — она заглянула в бумажку, — шесть тысяч семьсот два рубля...

— Опоздали... Деньги мы давно истратили, — с неожиданной радостью вздохнул Спиридонов и посмотрел на жену, будто сказал ей: “И правильно сделала!”

— Как же мне теперь быть?! — ойкнула женщина и вновь завсхлипывала.

— В суд на меня подавайте — вот как!

— За что же подавать? Вы разве виноваты?

— На всякий случай...

— А может, нам занять и вернуть? — поспешно предложила Зинаида, услышав слова о суде.

— Еще чего?! — хмыкнул Алексей. — Когда пенсию задерживали, они не спрашивали, как мы без денег сидели! Если задерживали — значит, квиты. И нечего, гражданочка, нам голову морочить. Нам сейчас самим до себя! — Спиридонов демонстративно отвернулся, начал усердно шкурить ивовый прут, будто это было самое важное занятие на свете.

Когда женщина ушла, Зинаида напустилась на мужа:

— Зачем, дуралей, накричал-то на нее? Она и вправду заявление подаст или штраф какой выпишет!

— С колченого брать нечего! Если только костыли отнимут... Тогда са- модельные выстураю!

Зинаида поняла, что далее говорить бесполезно, и, охая, ушла в дом. Правда, через час или полтора вернулась, да опять не одна, а с давешней повеселевшей бабенкой, на этот раз приехавшей на машине.

— Алексей Степанович, все, кажется, уладилось, — сказала она радостно. — Наше руководство разрешило деньги не взыскивать, учитывая ваше тяжелое материальное положение, а при выплате пенсии в последующие месяцы — удержать.

— Хоть на этом спасибо, — ухмыльнулся Спиридонов.

Довольная женщина уехала, и Зинаида повеселела, а Алексея не покидало чувство обиды. Будто посмеялись над ним. Сначала подразнили большими деньгами, обнадежили, а теперь, когда деньги разлетелись, как хотите, так и живите, да еще спасибо говорите, что пожалели.

В этот день Спиридонов корзинами более не занимался: настроение пропало, да и чувствовать себя стал хуже — слабость навалилась, и озноб волнами пробирал. Поэтому, едва поужинав, первым улегся спать, не желая ни с кем говорить. И с ним зря языком никто не молот, даже внук, потому что все знали об истории с деньгами и считали себя обманутыми. Поворочавшись на диване, Алексей перебрался на печку, где кое-как избавился от озноба и, согревшись, заснул. Но среди ночи проснулся и почувствовал, что лежит потный, и рот пересох от жажды. Хочешь не хочешь, а пришлось слезать. Осторожно, на руках, спустился на пол, нашарив костыли, пошел в кухню и зацепил какую-то посудину, отчего жена сразу подала сердитый голос, будто и не спала:

— Ты чего там?

— Попить, что ли, нельзя... — огрызнулся он и, попив, перебрался на диван, который, пока спал на печке, успела занять жена.

Не желая колготиться среди ночи, она подвинулась, но он недовольно проворчал:

— Иди, оккупантка, к Витьке, мне одному места мало! — И прогнал ее на кровать к внуку.

Сделал по-своему, а когда остался один, то ругал себя, потому что не хотел этого.

Утром у Спиридонова поднялась температура, и начала болеть оставшаяся нога. От температуры он попросил у Зинаиды таблеток, а о ноге из суеверия ничего не сказал. Ему, правда, казалось, что левая нога болела намного сильнее, а эта вроде и не так уж, или он привык относиться к боли наплевать, не думать о ней, потому что если начинал думать, то делалось еще больнее, чуть ли не до слез.

Через несколько дней Спиридонов понял, что и со второй ногой неладно, видно, опять придется ехать в областную больницу. Когда так думал, то невольно ловил себя на обжигающей мысли, что там и вторую ногу оттяпают и станет он тогда полный калека. А если жилы и дальше будут закупориваться, то и вовсе каюк. Он вспомнил, как лет пять назад у одного знакомого такая же история началась с ногами, так же резали, резали, потом уж и резать стало нечего — совсем помер... Подумал, что и его ждет такая же участь, и на душе стало тоскливо-тоскливо...

Чему быть, того не миновать. Поэтому, улучив момент, Алексей сказал сыну, не желая до поры делиться с женой:

— Толян, зашел бы к начальству — попросил машину еще раз в больницу отвезти. У меня новая беда... Матери ничего не говорю, хотя, конечно, шила в мешке не утаишь, но пусть пока ничего не знает. А то ведь рассопливится, а на душе и без ее нытья кошки скребут...

— Ладно, — нехотя согласился сын, — как-нибудь найду...

— Не "как-нибудь", а завтра сходи, а то потом выходные подоспеют — я тогда, может, и до понедельника не доживу.

— Хватит, отец, болтать! Что ты как баба стал! — грубо, словно ровеснику, сказал сын и пообещал: — Завтра утром найду, если надо, не переживай.

Поговорив с сыном, Алексей начал готовиться к больнице — настраивал себя на новые мучения, даже на еще одну операцию. Пусть потом совсем будет без ног, он стерпит, лишь бы родные не отказались... Обнадеживающие мысли сменялись черными, ему уже казалось, что он и не жилец на этом свете, и чем скорее его не станет, тем всем будет лучше. От таких дум жить совсем не хотелось, а чтобы домашние не видели его состояния — укрывался одеялом и делал вид, что спит. Тогда жена украдкой накрывала поверх одеяла шалью, а его от этой шали начинало трясти, и он сбрасывал ее на пол...

На следующий день, увидев сына в неурочное время, спросил:

— Что это так рано вернулся? Еще ведь и обеда не было!

— А нас всех в неоплачиваемый отпуск на два месяца выгнали. Бензина нет!

— Дожили... О машине узнал?

— Сказал же: в лесхозе нет бензина... Но ты не переживай — на легковушке махнем. С приятелем договорился. Хоть завтра можно.

— Чем же заплатим-то?! Денег у матери совсем не осталось. Хотя бы картошки мешка два дай. Нехорошо за бесплатно-то...

— Картошку ему свою девать некуда. Помогу дрова пилить.

После этого разговора уже не было смысла скрывать поездку от жены, и, когда она появилась в доме, Алексей угрюмо сказал:

— Завтра в больницу еду... Собери с собой кой-чего.

— Что ты выдумываешь?! Зачем тебе в больницу-то?!

— Надо. Вторая нога болит... Толян уж договорился — отвезут меня.

— Господи, когда я отмучаюсь! — зажала Зинаида голову, закатилась в плаче, но Алексей успокаивать ее не стал.

Он поднялся с дивана, надел куртку и вышел в сад, где, кое-как доковыляв до аллеи, тяжело опустился на скамейку. Несколько дней не был здесь, а как все изменилось. Это в начале листопада казалось красиво, а сейчас аллея стояла черная, неуютная, чужая, будто никому не нужная сирота. Хмельной запах яблоч сменился запахом грибов и плесени. Почему-то Спиридонову подумалось, что когда его не станет, Толян послушается мать и спилит аллею, как он сам спилил, когда умер отец от фронтных болячек, укоротивших ему жизнь. Алексей тогда только демобилизовался... С тех пор

аллея поднялась, закудрявилась, Алексей привык к ней. Она напоминала отца, давнюю жизнь — и вообще хорошо с ней было, уютно. А сад? Что сад! Когда урожай, то яблоки и так девать некуда, а если год пустой, то их ни у кого нет... От мыслей отвлекло шуршание листвы, густо завалившей землю, он оглянулся на шорох и увидел крадущегося внука.

— Стой, партизан, попался! — крикнул Алексей. — А если уж попался, то сбегай к отцу за сигареткой!

— Тебе врач запретил курить! — важно напомнил внук.

— Одну иногда можно... Слушай, что старшие говорят!

Внук капризно посмотрел на деда, нехотя поплелся в дом, а когда вернулся, настойчиво сказал:

— Тогда я сам спичку зажгу!

— Зажги, — разрешил Алексей, — и к бабушке беги, а то она зачем-то искала тебя...

— Ну и врун ты у нас, — не поверил внук, но, еще немного покрутившись, все-таки ушел, и Спиридонов остался один.

Сперва сладко затянувшись, он поперхнулся, закашлялся и затоптал сигаретку, не найдя в ней прежнего удовольствия. Алексей печально смотрел на посеревшие от дождей яблони, с кое-где забытыми краснобокими плодами, на стыдливо голую после листопада аллею, за которой непривычно сквозил пожухший луг, и понял, почему именно сейчас захотелось побыть одному, именно в эти прощальные тихие минуты, когда с уснувших деревьев опадали последние сиротские листья.

ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВ



МЫ БУДЕМ СУРОВО
И ПРАВЕДНО ЖИТЬ...

* * *

Вот и открылись родные дали —
Поле да лес, да медовые тучи.
Если грустите или устали,
Где еще в мире бывает лучше?

Песню затянешь, а всюду тихо.
Душу откроешь — а кто здесь обманет?
Если свое шелестит гречиха,
Если и ныне в поту крестьяне.

А на закате, в потоках света,
Женщины ходят, как будто святые,
В нимбах волос золотого цвета,
С детской верой в слова простые.

* * *

И в каждой птице —
 соловей,
В любой траве —
 цветок.
Я все для милой мог моей,

ВАСИЛЬЕВ Ярослав Иванович закончил Геологический институт, работал в Республике Коми, печатается в центральных изданиях с начала 70-х годов. Автор нескольких поэтических сборников, член Союза писателей России.

Лишь разлюбить
не мог.
И на ее сухое: “Нет.
Прощай. Мне все равно” —
Я белый подарил букет
И заказал вино.

И пил за каждый лепесток,
За каждый светлый миг,
И пил за то,
что мир
жесток,
Но все-таки
велик.

* * *

Когда растает лед надежды
На темных водах бытия,
Забудь суровые одежды,
Засни на сердце у меня!

Лоза к лозе — сплетутся руки,
Повалит ночью снег кругом,
И стихнут уличные звуки...
Но разве скажешь обо всем?

И утром, ветреным и снежным,
Очнувшись, как над пустотой,
Я буду ласковым и нежным,
А ты — холодной и чужой.

И разойдутся две тропинки,
И расплетутся две лозы.
И все равно, твои снежинки
Растопят две мои слезы.

* * *

Мы будем сурово и праведно жить,
Как где-то живут на далеких разъездах,
И грустных людей не обманем в надеждах,
Когда к нам случайно зайдут погостить.

А в праздники сядем с друзьями за стол.
Пусть будет картошка не худшей закуской!
И комнатка нам не покажется узкой,
Как будто простор на нее снизошел,

Как будто все ветры огромной страны
Вместились в движение легкой руки
Такого привычного, тихого друга...
И розовый сад, и сибирская вьюга,
И все это — будни одной стороны.

Так будем сидеть допоздна за столом,
И будем ходить со страной на работу,
И жизнь утверждать в ежедневных заботах,
И веком двадцатым судьбу назовем!

* * *

Устав от бедного житья,
Сплетенья счастья и распада,
Какая русская семья
В разлуке не искала лада?!

И этот золоченый круг
Провинциальной, топкой ночи
Разорван был изломом рук,
Освистан поездом рабочим.

Где уезжали, не таясь,
Отцы — скитальцы и кормильцы.
И кровная тянулась связь
От океанов до столицы.

Что было с ними — не судить.
И разве время виновато,
Что можно Родину любить
И не узнать родного брата.

ВЕСНА НА РУДНИКЕ

Огрузший снег. Помои у барака.
Повсюду угольная пыль.
Все это выплыло из мрака,
И звонко лаяла собака,
И на сарае прел горбыль.

И, очерстевшие от стужи,
В одежде горного труда,
Шутили люди неуклюже,
И руки стискивали туже,
И шли под землю,
как всегда.

И только там, во тьме кромешной,
С немой рудой наедине,
Вгрызаясь в недра безутешно,
Они смеялись так безгрешно,
Что камень цвел на глубине.

У ДОРОГИ

И дрожат у железных путей
Огородики, домики, будка...
Средь широких, осенних полей
В этот час одиноко и жутко.

Жутко слышать, как ветер глухой
Зреет там, где шумела пшеница.
И на крыше листок жестяной
Рвется вдаль, как последняя птица.

* * *

Дымный запах полыни и шелк лепестков,
Вы в какой сохранились глуши?
Если скоро зима и непрочен покров
На сибирских просторах души.

Только ты за снегами не видишь беды,
Ставишь в хрупкую вазу цветы.
И прозрачна улыбка твоя у воды,
И беспомощно руки чисты.

* * *

Запотели стекла в храме,
Здесь тепло и многолюдно.
Можно высказать словами
То, о чем и плакать трудно.

Даже радость притихает,
Поклонившись этим стенам,
Потому, что не бывает
В жизни все обыкновенным.

На Покров кусты калины
Прикоснулись к стенам храмным.
Все мы, Господи, повинны,
Вот и терпим в самом главном.

Потому и слезы свечек
Припадают к слезам счастья, —
Чтобы жить по-человечьи,
Нужно Богово участие.

НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО



КИММЕРИЙСКИЕ НАПЕВЫ

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ*

СТЕПЬ

Под колесом шуршит щебенка,
Степь иссушил разгул ветров,
Лишь в синеве, у горизонта,
Белеют стаи облаков.

Вбираю восхищенным взором
Под солнцем блещущий ковыль,
Жары полдневной легкий морок,
Дороги шелковую пыль.

Прими ж меня, степное братство,
Отринув призрачность оков,
Позволь на время затеряться
В волнах струящихся веков.

ИЩЕНКО Наталья Васильевна родилась в городе Тюкалинске Омской области. Окончила Тюменское музыкальное училище. Работала преподавателем, концертмейстером. Автор семи поэтических сборников для взрослых и детей. Ответственный секретарь Союза русских писателей Восточного Крыма. Член Союза Писателей России. Дипломант международной литературной премии имени великого князя Юрия Долгорукого, лауреат Ялтинского фестиваля "Чеховская осень". Живет в Феодосии.

* Публикуются при участии Международного сообщества писательских союзов (МСПС).

Вплети в таврийские просторы,
В сухой полыни горький дух,
В сверчков ночные разговоры,
В улыбчатость широких бухт.

Смуглянке вольной много ль надо?
Лишь звезд скатившихся бадья,
Вечерних родников прохлады,
У стога — бархат воронья,

Да смолкшая в душе тревога.
Не сожалея, не скорбя,
Пускай ведет меня дорога
Все дальше, дальше... от себя.

В МУЗЕЕ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

На любимой странице распахнута книжка,
Дрогнул колокол глухо в тумане...
Где теперь ты, откликнись, писатель-мальчишка
Без гроша в опустевшем кармане?

В перепадах времен, карусели событий
Затерялись герои — друзья и враги,
Но гуляет меж строк свежий ветер открытий,
И грядущее мерно чеканит шаги.

Старый якорь у входа вздохнет безутешно,
Прислонившись устало к беленой стене,
Будто ночью, мечтая о чем-то нездешнем,
Профиль твой разглядел в заблестевшем окне.

И я верю — ты здесь, твои вижу приметы:
Ведь все так же весной буянят грачи,
Бьет о берег волна, и пылают рассветы,
И зеленая лампа сияет в ночи!

ТАЙНАЯ МУЗЫКА

Рассвет струился в окна синий,
Тревожа снов ночной дурман,
И полз клоками по долине
Холодный утренний туман.

Ломоть луны светился скучно,
Свершив полночные труды —
И вдруг мне стало как-то душно
Под взглядом пристальным звезды.

Я настезь окна распахнула,
Открыла запертую дверь —
И мысль неясная мелькнула,
Что не одна я здесь теперь.

Звезды ли было то мерцанье,
Движенье ль воздуха в тиши,
А может, тонкое касанье
Незримой, но родной души.

Иль это тайный знак фортуны
Мне ветер утренний принес,
Чтоб задрожали сердца струны
Под пальцами далеких звезд!

ДЕЛЬТАПЛАН. КОКТЕБЕЛЬ

Рассветный бриз прогнал туманы
На плато ровном, словно сыр,
И сушат крылья дельтапланы,
Готовясь к старту с Узун-Сырт.

Канаты дрогнули в усилье,
Гудит запущенный мотор,
И рвутся, рвутся смело крылья
В безбрежный утренний простор.

Вот ветер ввысь поднял напружно, —
И плато съежилось вдали;
Наверно, иногда нам нужно
Снять притяжение земли.

Не для зевак, не на потребу,
Рискуя, в виражах кружить,
А чтобы жизнь доверить небу
И на крыло всю положить,

И память вновь вернуть к истокам,
И сделать явью давний сон,
Где восходящим ввысь потоком,
Как ангел, был я вознесен!

ТИШИНА

Жар дневной ушел в ложбинки,
Замер высохший ковыль.
Горы тают в легкой дымке,
И на море — полный штиль.

Жидким золотом блистает
Путь в далекие миры.
Словно чайки, сбившись в стаю,
Яхты дремлют у горы.

Теплый пар все звуки глушит —
Еле слышен плеск волны.
Скрип уключин не нарушит
Этой странной тишины.

Как воздушный шарф, на плечи
Пал загадочный пейзаж;
И парит безмолвный вечер,
Словно сказочный мираж.

Видно, Бог, забыв рутину,
Приоткрыл свой тайный лик.
Миру райскую картину
Показал на краткий миг.

И пред нею в изумленье —
Мысли чувствую искус,
Что в такое же мгновенье
По воде пошел... Иисус!

ЗИМНИЙ ВЕТЕР

Настал черед гулять студеным посвистам,
Чтоб вату серых туч теснить к земле,
Накатом волн песок отдраить дочиста
И в снастях завывать на корабле.

Наполнив мир снегами и забвением,
Алмазы бросить в стынущую даль,
Чтоб в зимней сказке каждого мгновения
Мерцала угасания печаль.

СИРЕНЬ. ПОЕЗД СЕВАСТОПОЛЬ—СИМФЕРОПОЛЬ

Приятно ехать в скоростном вагоне,
Но мне милее местный “тихоход”,
Когда земля близка, как на ладони,
И ясно виден каждый поворот.

Плывут леса, пригорки и селенья,
Поля, вокзалы, реки и мосты,
И хочется сказать: “Замри, мгновенье!” —
В восторге от мелькнувшей красоты.

Вот встал состав у сельского перрона.
В окошко хлынул жаркий южный день,
И в сутолоке душного вагона
Динамик хрипнул: “Станция — “Сирень”.

Откуда вдруг название такое?
Привычной “Элеваторная” нам,
“Садовое”, “Покровка”, “Зерновое”,
И даже непонятный — “Инкерман”.

А тут — “Сирень”! Романтика пустая
Иль красоты необъяснимый миг,
Когда сирень вдруг в мае зацветает
И душу нежным запахом томит.

А может, возле станции, в садочке
Сирени в каждом мае так цвели,
Что дали имя этой скромной точке,
Такой красивой и родной земли.

Пропел гудок! Вагон качнулся зыбко,
Остался позади перронный гам;
Но долго еще теплая улыбка
Бродила по моим сухим губам...

О РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Пусть межи охраняет дозорный,
И звонить перестала родня,
Но вросли глубоко мои корни
В ту далекую землю и держат меня.

Не отнимет мне память таможня,
И запретов не слушает жизнь.
По указке забыть невозможно
Землю ту, где на свет родились.

Те края, где босыми бродили,
Сень лесов и степное жнивье,
И откуда мы в жизнь уходили,
С головой погружаясь в нее.

Я не внемлю наветам продажным,
Где винят и своих, и чужих,
И ищу что-то близкое в каждом
Поколение ушедших родных.

Лица в рамках спокойны и строги,
Сзади надпись знакомой рукой,
Будто видят они все дороги
И надежно хранят мой покой.

Взором их вижу сальские степи
И чумацкий накатанный шлях,
Предкавказские горные цепи
И сибирских просторов размах.

Вижу маму в шинели солдатской,
Жизни бранной познавшей урок,
Соль озер на границе казахской
И кубанской станицы дымок.

И родами хранимую землю
Я вовеки забыть не смогу.
Сердца памяти с радостью внемлю
И, как душу свою, берегу!

ПУШКИН В ФЕОДОСИИ

В том безжалостном раздоре —
Памяти недолог век.
Вечны только небо, море
Да волна, что бьет о брег.

Чьих окон рукой касался,
Где бродил твой легкий дух,
Нет следов — лишь грот остался
Средь разделов и разрух.

Там, где стены повторяли
Шутки, смех и звук шагов,
И невольно замирали
От пьянящих строк стихов.

Но богат талант врагами,
Чтоб травить, судить, корить.
Русь умеет, как деньгами,
Гениальностью сорить.

Нет в отечестве пророка —
Кто ж возьмет его суму?
И ушел поэт до срока,
И замены нет ему!

БЕЗЫМЯННЫМ ГЕРОЯМ. К ЮБИЛЕЮ

В школах вальс выпускной не смолкал до восхода —
Только страшные дни были всем суждены.
Сколько их, молодых, с двадцать третьего года,
Не вернулось домой со священной войны.

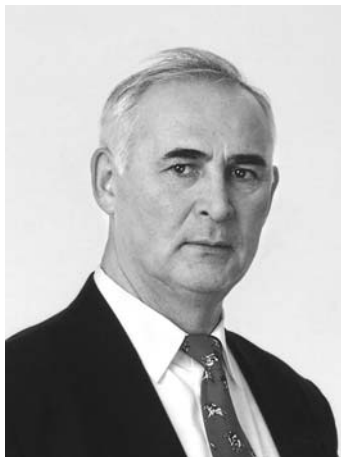
Из-за парты под пули шагнули парнишки,
Когда с Родиной нашей случилась беда.
И страну сберегли не герои — мальчишки,
Что в полях полегли, не оставив следа.

Тот на мину ступил за речным перекатом,
Тот рванулся в атаку под огненный шквал, —
И никто не искал, где погибли ребята,
Только весточки слали со словом — “пропал”.

Кто сочтет их, истерзанных и обгоревших,
Утонувших и сброшенных в шахты живьем,
От смертельных ранений в оврагах истлевших,
В лагерях заморенных фашистским зверьем?

Но повержен был враг, и вернулись живые,
Вновь веселые песни о мире звучат;
Лишь глядят в поднебесье цветы полевые,
Словно очи без вести пропавших солдат.

РИНАТ МУХАМАДИЕВ



СВОИ ЛЮДИ

РАССКАЗ*

По мере приближения к Казани колеса поезда стучали решительнее. Да и сердце... радостней и энергичнее билось в груди. Березы и рябины, что растут по берегу Волги, на теплом ветерке машут зелеными платочками. Телеграфные столбы несутся навстречу, глаз не успевает следить за ними, мелькают лишь их тени. Возвращение в родной город после долгой вынужденной разлуки, когда, бывало, скучая по нему, считал дни и месяцы... Из-за этой тоски не спал по ночам... Это волнение может понять лишь тот, кто сам пережил подобное.

Он даже не заметил, как оказался у окна. Глаза следили за дорогой, а на душе — грусть. Грусть и нетерпение. Прошло уже четыре года, как он оставил Казань. Думал, временно... Кому-то может показаться: невелика беда. А Галимджанов тяжело пережил это время. Он думал: брошу всё — забуду, уеду. Ан нет. Не так-то легко забыть родные места, где рос, трудился. Как забыть родных, друзей, знакомых...

МУХАМАДИЕВ Ринат Сафиевич родился в 1948 году в деревне Малые Кирмени Мамадышского района Республики Татарстан. Окончил Казанский университет. Работал редактором Казанского телевидения, заместителем главного редактора журнала "Казан утлары", директором Татарского книжного издательства, более десяти лет руководил Союзом писателей Татарстана. С 1999 года проживает в Москве. Главный редактор Федеральной просветительской газеты "Татарский мир". Автор книг на татарском, русском и многих языках мира. Лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая, других литературных премий.

* Публикуется при участии Международного сообщества писательских союзов (МСПС). Перевод с татарского Р. Фаткуллиной.

В купе их было двое. Сосед, одних с ним лет, в Казань ехал впервые. Поэтому, надо полагать, у них не сложился разговор. Хотя обедали и чаевничали вместе. Сосед всю дорогу сидел, уткнувшись в газету. А Галимджанов был занят своими мыслями: копался в прошлом. Когда одолевала печаль, смотрел в окно.

Когда они проехали мост через Волгу и въехали на окраину, сосед вдруг разговорился:

— Вы впервые едете в Казань? — спросил он.

— Нет, — ответил Галимджанов. — Я из этих мест.

— Не похоже.

— Почему? Да если я даже спрячусь в печи, то все равно по спине узнают, что я татарин.

— Татары рассеялись по всей России, по всему миру... Немало татар, которые ни разу не видели Казани. Как-то не похоже, что вы рветесь домой. Люди не возвращаются в родные края с такими тяжелыми думами.

— А вы сами русский, так ведь? — счел нужным спросить Галимджанов, хотя сомневался в этом.

— Нет, ошибаетесь. Я — татарин, Аблаев Ильдар Рустамович, — протянул он руку. — Давайте знакомиться. Лучше поздно, чем никогда.

— Я — Галимджанов, — произнес, перейдя на татарский. Но имя не назвал. — Могли бы всю дорогу проговорить на родном языке.

Аблаев некоторое время смущенно смотрел на него, затем как бы виновато, но спокойно сообщил:

— Жаль, но я не говорю по-татарски. Вернее, в детстве говорил, но забыл... Я родился далеко на востоке. Женился на русской девушке. Язык забывается без практики.

— Это так, — вздохнул собеседник. — А какие пути ведут в Казань, родственников навестить?

— Если скажу, что в Казани у меня никого нет, это не будет ложью. Родители мои из Пензы. Однако и там я не был. Конечно, хочется побывать, но нет времени.

— А в Казань нашли время?

— В Казань меня направили на работу.

Галимджанов не стал продолжать расспросы и опять уставился в окно. А Аблаев желал продолжить беседу. Он, хоть и видел безразличие соседа, добавил:

— Вот пока еду один. Если город понравится, устроюсь, перевезу семью. Жить отдельно нехорошо. Жизнь-то одна...

— Значит, что-то все-таки тянет вас в Казань. Говорят же: родная кровь дает себя знать. Очень хорошо, что вы собираетесь здесь свить гнездо, — поспешил одобрить Галимджанов.

— Возможно, возможно... — промямлил Аблаев. Казалось, ему всё равно — Казань, Самара или Екатеринбург. Везде одинаково — одна страна, обычаи одни и те же, одинаковые люди. Однако он промолчал, не хотелось обижать соседа.

— Казань — красивый город. Ничто с ним не сравнится, — гордо произнес Галимджанов. — Вон, видите, наш кремль, берега реки Казанки, а справа разлилась Волга. Такой красоты нет, наверное, ни в каком другом городе мира... Вы хоть одним глазком взгляните в окно.

Аблаев нехотя пододвинулся к окну.

— Не туда, а смотрите вперед, на наш кремль. На башню Сююмбике, — вынужден был ткнуть пальцем Галимджанов.

— Красиво, — нехотя согласился Аблаев. — Вроде похож на московский Кремль.

Однако было видно, что он не в восторге. Заметив это, Галимджанов умолк. Он даже погрустнел от такого безразличия.

В купе на некоторое время установилась тишина. Но вскоре Аблаев нарушил ее.

— Вижу, что вы очень любите свой город. Даже гордитесь им. Так ведь?

— Верно подметили.

— Тогда можно задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Почему же вы, так любя, покинули этот город? Говорите, что четыре года не были...

Галимджанов даже вздрогнул и резко повернулся. Молчал некоторое время, не зная, что ответить. Чтобы спокойно, обстоятельно объяснить причину своего отъезда, совсем не оставалось времени.

— Не нашел общего языка с руководством. Вот и вынужден был бросить любимую работу, друзей, родные места и уехать, — выдавил он.

— Не кажется ли вам, что это напоминает пословицу: рассердившись на блоху, сжег шубу?

— Выходит так. Но, — он тщательно подбирая слова, — бывает порой, если блохи вопьются, шуба может сгореть, а они останутся. Оказывается, около крупной блохи быстро собирается мелочь... Со мной случилось подобное...

В вагоне зазвучала громкая музыка.

— Что это за музыка? Почему ее завели? — удивился Аблаев.

Уже по одному этому вопросу было ясно, что он впервые едет в Казань. Галимджанов улыбнулся.

— Это марш Сайдаша. Марш Советской Армии. В Казани торжественно встречают уважаемых гостей этим маршем. И провожают.

— Хорошая музыка. Говорите, Сайдаш?.. А кто он?

— Композитор. Великий татарский композитор.

— Сайдаш... Сайдаш... — повторял Аблаев. Хотел, видимо, запомнить. — Я не слышал о нем.

Взглянув в окно, увидев встречающих, Галимджанов онемел.

Он готов был выскочить в окно. Его удерживало только присутствие Аблаева. Он не верил своим глазам. У вагона с букетами цветов собрались его старые друзья, коллеги. А он думал: забыли, забросили... Как они узнали о его приезде?

— Вас встречают? — спросил Аблаев.

— Да, из прежнего коллектива. Мои бывшие замы, начальники цехов, заведующие отделами — все свои люди, — выдохнул Галимджанов. Комок подступил к горлу, глаза наполнились слезами. С трудом удержался, чтоб не заплакать.

— Не волнуйтесь так, успокойтесь. Успокойтесь, — утешал Аблаев, положив руку на его плечо. — Вы не ожидали?.. Друзья, свои люди не забывают.

— Я ведь не сообщил... Никто ни разу даже не позвонил, не справился обо мне. А они вот все с цветами, радостные. Можно подумать, что я все еще их директор. Удивительно.

— Не удивляйтесь, не исчезли с лица земли хорошие люди.

— Выходит так... Вы правы, правы, господин Аблаев. А я уже потерял надежду. У меня сердце окаменело от людской неблагодарности, от их короткой памяти...

— Нельзя таить обиду, терять надежду. — И Аблаев тоже приблизился к окну. — И вправду, с какими хорошими людьми вы работали... Какие душевные, ясные лица, все так и сияют.

— Смотри-ка. Даниялов пришел... — удивленно покачал головой Галимджанов. — Кого-кого, а его не ожидал увидеть.

— Почему?

— Когда я уходил с работы, он, желая угодить начальству, облил меня грязью. А был-то пьяница, а я его начальником цеха назначил.

— Значит, осознал свою ошибку. Совесть в нем заговорила. Бывают такие люди, в жизни всякое бывает. Не удивляйтесь, — сказал Аблаев.

И поинтересовался, который из них Даниялов.

— Да-а... Слишком умильно улыбается. Говорят же: подлости жди от подхалима. А вот тот, крупный такой, улыбается во весь рот, кто это?

— Этот? Это Сабир Мансурович. Был моим первым замом. Дружно мы с ним работали. Хоть он и был судим, я вошел в положение, взял на работу. И не пожалел. Было взаимопонимание. И все же... — не закончил фразу Галимджанов...

Сосед не стал расспрашивать, затянул галстук, стал тщательно расчесывать несколько волосинок около лысины.

— Оказывается, и Низам с Хуснетдином здесь, — прошептал Галимджанов. Эти пары незаменимы во время застолий. Хотя годы взяли свое, они округлились. Что сказать, то ли не выспались, то ли голова у них болит от вчерашних излишеств — лица уж больно кислые! Беспреданно облизывают губы. Уж не диабет ли у них?..

Наконец, готовые к выходу, попутчики широко открыли дверь купе. Но узкий коридор был запружен пассажирами. У каждого в руках и на плече сумки. Люди спешили скорее выйти из вагона, добраться до дома.

Не желая толкаться, они сели на свои места.

— В хорошем коллективе вы работали, — повторил Аблаев, не желая сидеть молча. — Когда работаешь руководителем, то много встречающих, провожающих. А стоит уйти — и тут же забудут... А такая встреча после четырех лет — это редкое явление.

— Я и сам не ожидал, — промолвил Галимджанов. Он уже подбирал слова, которые скажет каждому в отдельности, когда будет здороваться. Теплые, приятные слова, которые не всегда вспомнишь в нужное время.

Наконец, выход освободился.

— Вы идите вперед, вас ждут, — уступил ему дорогу Аблаев.

— Нет-нет, что вы... Вы же первый раз в нашем городе. Вы — гость. Вы идите первым, — предложил Галимджанов. — У меня и вещей много...

Прихватив дипломат, Аблаев направился к выходу. Галимджанов спросил:

— А вас, вас встретят?

— Должны. Сообщено.

И все же нельзя ни в чем быть уверенным. Галимджанов понимал, если соседа не встретят, то понадобится помощь, поэтому старался не отставать от него. Торопливо повесил дорожную сумку на плечо, схватил два больших чемодана, и вот он появился в тамбуре. Появился... и чуть не упал. Два чемодана одновременно брякнулись на железный пол тамбура. Дорожная сумка шлепнулась на них.

— Это вы, Ильдар Рустамович? — спросил Аблаева, когда тот еще не успел ступить на платформу, возвышающийся впереди, как гора, Сабир Мансурович. Второй рукой, не спросив разрешения, выхватил дипломат из руки гостя. Голос зычный, хорошо поставлен. Движения вкрадчивые. Приветливое лицо. Можно подумать, что стоит посреди большой сцены. — Мы слышаны о вас, как об известном всей стране ученом и руководителе, Ильдар Рустамович. Добро пожаловать! — произнес он и сделал изящный жест рукой. — Я ваш первый заместитель, то есть правая рука, Сабир Мансурович. Ни дождинке, ни снежинке не дам на вас опуститься. Можете мне доверять. Есть у меня звание “Заслуженный работник”, и медали есть. Скажу по секрету, я и песни пишу. Если суждено, то и вам посвящу песню, — и тут же захохотал, мол, шутка... Улыбнулись и женщины, стоявшие рядом с ним. Видимо, так было задумано.

Аблаев, не зная, как поступить, только вертел головой. Он ведь не понимал по-татарски. А встречающие этого не знали.

— О-о-о, Ильдар Рустамович, — с этим возгласом, толкаясь, пробрался Даниялов. — Вот, оказывается, какой вы милый, симпатичный человек. У нас такого руководителя еще не было... Мы так ждали вас... Давайте познакомимся, Ильдар Рустамович. Я — Даниялов. Заместитель. Ваш заместитель.

Отталкивая Даниялова, как говорится, двигаясь то вплавь, то вброд, в какое-то мгновение перед новым руководителем предстал третий тип. Хотя он и был мужчина, но губы его напоминали бутон красной розы, а щеки, несмотря на середину лета, были румяны, как яблоко. Он вручил свои цветы и, обомлевший от улыбки нового директора, поцеловал его в щеку.

— Здравствуйте, я — Кайметов.

Видимо, он ждал какого-то ответа, но его не было. И все же Кайметов не растерялся. Он засмеялся так звонко, словно серебристый ручеек зажурчал, и, удовлетворенный, мелкими шажками отошел в сторону. Вернее, его оттеснила группа жаждущих приветствовать нового руководителя. Не сдал-

ся только Сабир Мансурович, как встал рядом с директором, так и остался стоять. Стать, широкие плечи, зычный голос — попробуй оттолкни!

Невольно наблюдая этот спектакль, Галимджанов словно окаменел, он был в ужасе! Ведь это те, кем окружил он себя! Это не сотрудники, а артисты! Эх ты, собрал вокруг себя лицедеев. Вон как играют! Точно так же играли и четыре года назад. Играли с ним самим. А он не чувствовал, не понимал. Наверное, редко кто из руководителей, один из ста, не попадетя на крючок подхалимов. Только теперь он осознал это. А ведь для руководителя это — непростительная ошибка.

...Прошло четыре года — ничего не изменилось. Стольких руководителей они угробили за это время! А артисты на своих местах. Им хоть бы что. Их приемы и уловки те же. Единственная перемена — в сегодняшней комедии он не участвует. Он только сторонний наблюдатель. Он наверху. Его сегодня не видят. А возможно, притворяются, что не видят.

Страждущих предстать перед новым директором, пожать руку, вручить букет было немало. Только и слышно: “Ильдар Рустамович, Ильдар Рустамович”, перебивая друг друга. Толпа как волна, в непрерывном движении, уносит директора в сторону, подальше от вагона.

Аблаев не забыл о нем. Несколько раз оглядывался на Галимджанова, стоявшего в тамбуре. Помахивал рукой, пытался что-то сказать, но нет, не удалось, их быстро разъединили.

Осторожно ступив на железную ступеньку вагона, держась за поручни, Галимджанов спустил один чемодан, затем поднялся за другим. Полез в третий раз забрать сумку. Он запыхался и сел перевести дыхание на чемоданы, которые поставил прямо у дверей вагона.

Гомон “своих людей” с букетами удалялся. Хотя и были здесь те, кто увидел его краешком глаза, не кивнули даже издали, никто не подошел, чтоб пожать руку... А ведь не могли не узнать!

Он старался припомнить, кого из них он обидел хотя бы незначай. Вроде бы нет. Делал только добро, сколько было в его силах. Почему же они постарались сделать вид, что не замечают его? На худой конец хотя бы один подошел поздороваться, пожать руку. Или зло обругать его, если обиженный. Нет, не отважились. Побоялись вызвать недовольство нового руководителя... А Аблаев — хороший человек. Кажется настоящим человеком...

— Это вы, товарищ Галимджанов? Что вы тут сидите? — спросил прохожий.

— Да, я — Галимджанов. Но вас не знаю, впервые вижу.

— Не удивительно, недолго работал я под вашим руководством. Недолго, около двух лет.

— Не назовете свою фамилию?

— Малов я, Алексей. После технического университета меня распределили к вам.

— Вот оно что... — Галимджанов не жаловался на свою память, но молодого человека не припомнил. Да и разве запомнишь молодежь, проходящую и уходящую ежегодно.

— Давайте помогу вам. По дороге и поговорим, возможно, и вспомните, — он взял чемоданы и зашагал.

Галимджанов припустил за ним, повесив сумку на плечо. Порой даже приходилось делать пробежку, чтобы не отстать.

— Эх, доставлю вас с ветерком, — улыбнулся Алексей, открывая багажник старенького “жигуленка”.

В багажнике поместился только один чемодан. Второй чемодан и сумку он устроил на заднее сиденье.

— Не могу вспомнить, — повторил Галимджанов, согнув свою высокую фигуру и усаживаясь на переднее сиденье.

Тронулись. Машина, хоть и старенькая, шла споро. Видно, что водитель опытный.

— Вы меня уволили, — сказал Малов после некоторого молчания.

Галимджанов вздрогнул, словно его ударили обухом по голове. Не понимая, шутка это или правда, он повернулся к водителю и долго смотрел на

него. Уж не собирается ли парень мстить, да и сам хорош, доверился первому встречному... Он насторожился.

А Малов бесхитростно улыбнулся и продолжал:

— Лет пять или шесть тому назад я начал работать у вас инженером. Работа мне нравилась, вроде и мной были довольны. Даже собирались назначить старшим инженером. Согласитесь, для человека со стороны, без блат, это немало.

— Верно, для вчерашнего студента за два года подняться до старшего инженера — великое достижение. Выходит, были не без способностей.

— Выгнали вы меня, а “старший инженер” остался на словах.

— Да, это вышло плохо.

— Говорят же, кто прошлое помянет... Что было, то было. Да это для вас и неинтересно. Просто к слову пришлось. На новогоднем концерте мы устроили “Огонек”. Там я показывал пародию на вас и ваших замов. Народу понравилось, хохотали до упаду. Руку жали, Дед Мороз мне даже подарок вручил... Только вот “старшего инженера” не дали, зажали.

— Да-да, — встрепенулся Галимджанов и вновь посмотрел на водителя. — Вспомнил. Вспомнил... Я и сам хохотал.

— Месяца через два заставили написать заявление. “Почему?” — удивился я. “Ну, парень, нужно уметь быть хозяином своего языка”. Так я и ушел... И с того дня занимаюсь частным извозом, — улыбнулся Алексей. — Семья не голодает. Хватает нам.

— Извините меня. Этого я не помню. Это некрасиво получилось. Не знаю, что и сказать... — почесал щеку Галимджанов. — Возможно, это произошло в мое отсутствие, когда я был в командировке... Судьбой человека так не играют.

— Еще как играют!..

— Да, — пришлось ему согласиться.

— Не удивляйтесь, но я, наверное, должен вас благодарить. Не прогони вы меня тогда, я бы и сейчас работал старшим инженером за три-четыре тысячи рублей. Говорят же, как одна женщина прокляла свою ненавистную соседку: “Чтоб муж твой был инженером, и чтоб вы жили на одну его зарплату!”.

— Да, есть такой анекдот.

— А так я эти три-четыре тысячи порой зарабатываю за день, — в очередной раз улыбнулся парень. — Да и сегодня некому было бы встретить вас, не прогони вы меня.

— Да, — тяжело вздохнул Галимджанов. — Недаром гласит народная молва: “Век живи, век учись!..” Выходит так... А вот и приехали.

— Который ваш подъезд?

— Последний... Вот спасибо, — Галимджанов вышел из машины.

Алексей Малов поставил у двери два чемодана и сумку.

Увидев в руках Галимджанова деньги, он по-своему дотронулся до его плеча:

— Не нужно. Мы же свои люди. Желаю вам здоровья и успехов...

— Нет-нет, возьмите, Алексей. Вы же на работе. У вас семья, — с протянутой рукой он пошел за парнем.

Тот сел в машину, послышалось “пока”. За стареньким “жигуленком” закрубились облачка пыли.

Слова Алексея “свои люди” проникли в душу. “Свои люди. Свои люди”, — повторил про себя Галимджанов. — С умыслом он произнес это, или?... Интересно получается, я его уволил, а он мне — “свои люди”...

НАТАЛЬЯ ХАРЛАМПЬЕВА



ЖИЗНЬ — ВЕЛИКАЯ РЕКА...

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ*

* * *

Преклонный возраст стелет мне снега,
Волнистый голубой ковер под ноги.
И разучились плыть на облаках
Мечты мои — голубки, недотроги.

И то, что наживалось, береглось,
Поблекло, пообтерлось, поостыло.
То, чем дышалось, наполнилось, жилось,
Не сберегло горячей прежней силы.

Но все ж, как прежде, верую в добро,
Хотя не раз впадала я в сомненья.

ХАРЛАМПЬЕВА Наталья Ивановна родилась в 1952 году в поселке Маган, в Якутии. Окончила историко-филологический факультет Якутского государственного университета. Работала литературным сотрудником в газете, инструктором сектора печати обкома КПСС, секретарем Кобяйского райкома партии, заведующим отделом культуры газеты "Кыым", главным редактором Якутского книжного издательства, первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Член Союза писателей России с 1988 г. Автор многих стихотворных книг на якутском языке, а также нескольких в переводе на русский. Народный поэт Республики Саха (Якутия). Живет в Якутске.

* Публикуются при участии Международного сообщества писательских союзов (МСПС). Перевод с якутского И. Тертычного.

И мне иной земной не нужен рок,
Мне по сердцу мое предназначенье!

Преклонный возраст, не робей, иди,
Волнистые снега стели под ноги,
Не выверяй заранее пути,
Не сглаживай ухабы и пороги.

* * *

Жизнь — река, великая река.
Проплывает мерно, величаво.
Что сулит она? Покой да благо.
Но, глядишь, вскипела на излучке
И пошла волной на берег мой...

Жизнь — река, великая река.
В половодье нет ей укорота:
Широка, могуча, всё сметает...
Но, однако, мой обходит берег,
Не смывает золотой песок.

Жизнь — река, премудрая река.
Даст тебе свое благословенье,
Род благословит, продленье рода,
Твой уход в немые дали примет —
Без печальной нашей суеты.

Жизнь — река, великая река.
Властно увлекающая сила!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Душа моя билась
Меж землю и небом,
У шва, где небо и земля сходились,
У тропки неясной, где
 звезда скатилась,
У сырости темной,
 где зачинается дождь,
У утесов каменных,
 где рождается заря...

То был миг,
 когда болезнь
Плоть мою терзала,
Душу мою пыталась разорить.
 Таяло в воздухе;
Что бы ни потрогала —
 открывалось раной,
Счастье с бедой смыкалось,
Зло с добром целовалось,
Белое с черным сливалось...

То был путь
 возвращения к себе,
 спасения себя.
По крутому яру
 мрачной бездны,

По тернистой дороге
 возвращения к жизни,
По шву, где сходятся земля и небо,
По тропке неясной,
 где звезда скатилась,
Я вернулась...

Встала на дорогу,
 величавую, опасную,
Срединного мира своего,
Затаила в себе узанное,
Огляделась вокруг
 и мудро и холодно
Поняла: кто есть кто —
И спокойно приняла,
Силы нашла всё принять,
 Всё — как есть!

СОН

Восседая на шкуре бурого медведя
В могол-урасе*,
Некто сурового, строгого вида
Брови насупил и зорко взглянул на меня.
Странники-ветры до слуха моего донесли,
Что за словами совсем не следишь,
Зори утренние так говорят...
На тверди срединного мира
Плохое ль житьё?
Век-то какой тебе славный достался,
Этого ли не понять?

И тут шевельнулся
Стоящий в сторонке советник
С набрякшими веками,
Засеменил,
 пал на колени
И горячо прошептал на ухо хозяину что-то.

— Вот как! — зорко взглянул на меня тойон
И взмахом руки
 отправил вон своего человека.
— Ты зрелая женщина,
И пора бы остепениться.
По велениям высших
Мы наделили тебя вещим даром,
И теперь не до забав!
Если дар растеряешь,
Не ждать ли расплаты...
Если не будет управы словам,
Не настигнет ли кара...

Ты слыхала такое,
Чтоб вещий певец
Жил в объятиях счастья?

* Могол-ураса — богато убранный высокий шатер, покрытый вшитыми берестяными пластинами.

Чтоб купался он в неге?
Чтоб его окружало богатство
И тешила роскошь?
Наделенные даром вещего слова
Не знают покоя
И, может быть, даже славы посмертной.

ИЗ ЯПОНСКОЙ ТЕТРАДИ

В городе Киото темные вечера.
В близком небе чистые звезды.

Под крышей изогнутый кто-то
Шепчет, шепчет, шепчет... Молится.

Кто-то просит у Всевышнего
Толику счастья несчастному.

Древний город, древний бог,
А молитва новая и беда новая.

А я прошептала просьбу о счастье.
Признала чудо вечера в Киото.

* * *

Ласкаемое дыханьем востока,
Солнце выплывает из моря
И сияет, и светится, как
Лицо застенчивой девушки.

А вечером в западные воды,
В темные тяжелые волны,
Сердитое медное лицо
Прячет старый мужчина.

Таким вот мне явились
Рождение солнца и закат его...

* * *

И трепет мира этого,
И все его добро
Заключены таинственно
В один короткий миг.

Века сводя ли разные,
Иль к году ставя год,
Сумей сберечь единственный
Короткий чуткий миг!

Растают в миге радости
И счастье, и печаль,
И через миг является
Судьбы святой завет.

Отдай поклон мгновению,
Вдохни его легко,
Ведь он не возвращается,
Ведь он неповторим!

* * *

Материнство не в том,
Что ребенок
Является в мир
Через боль,
Что растет помаленьку
И радости милые
Дарит...

Мне порою,
Когда моя дочь,
Ненаглядное солнце мое, —
На меня,
Говорят,

Так похожая нравом и статью, —
У плеча моего
Молчаливо
И вровень со мною
Стоит,
На высоком стоит берегу
Бытия
И с любовью,
С пониманием и нежностью
Смотрит в глаза, —
Вдруг становится ясно,
Что, пожалуй, теперь
Званье матери
Я заслужила вполне...

* * *

Когда стужа
Ломала чашу,
Когда в просторах
Пурга бушевала, когда зноем
Тяжко душило,
Когда осень
Хлестала не жалючи, —
Саха,
Мой предок древний,
Видел в этом
Не зла верховодство,
А священную силу Природы.
Она закаляет человека,
Она удостоверяет человека,
Она считает его родным.

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

ПОЕЗД УБИРАЕТСЯ В ТУПИК

ДИАСПОРЫ

*Нас скоро либо уничтожат,
либо загонят в угол.*

Отклик в интернете на
взрывы в метро

О том, что власти знали о готовящихся взрывах, известно многим. Об этом писали газеты: “По неофициальной информации, шифрограмма о возможном проведении в Москве серии терактов распространялась среди руководящего состава ГУВД в начале 20-х чисел марта” (“МК”, 31.03.2010).

Куда менее известно, что накануне терактов их обсуждали в Москве представители диаспор. “Сообщается, что неназванная жительница Москвы позвонила на “02”, сообщив, что случайно услышала в метро разговор нескольких чеченцев о готовящихся взрывах. Среди обсуждающих будущей теракт, по словам москвички... были женщины” (<http://beta.novoteka.ru/?s=soc>).

И уж совсем мало людей задумалось о том, что сей факт означает. Между тем осмыслить сенсационную информацию было бы полезно. В том числе для обеспечения нашей безопасности в будущем.

Не станем тратить время на констатацию плохой работы системы правопорядка. Приняв звонок бдительной москвички, милиционеры ограничились осмотром станции “Коньково”, где происходил подозрительный разговор. Ничего не нашли – и успокоились.

Взглянем на произошедшее с другой стороны. То, что о предстоящем преступлении судачили восточные женщины, доказывает: диаспоры были в курсе. Знали не только мужчины – привилегированная часть восточного общества, но и женщины, с которыми важной информацией в этом кругу делиться не принято. Следовательно, новость была уже настолько “замылена”, ее так часто предавали огласке, понижая голос и со значением цокая языком, что она дошла, буквально докатилась, как отброшенная надоевшая вещь, даже до женских ушей.

Диаспоры выговорили, выносили события 29 марта.

– Все?! – с возмущением воскликнут непробиваемые апологеты толерантности, чью веру в абстрактные принципы западных правовых скрижалей не могут поколебать даже трагедии, наподобие московской. Возражение это звучит столь часто, что нетрудно предположить: оно явится и на этот раз.

* Продолжение. Начало в № 7 за 2010 год.

Готов ответить. Разумеется, подавляющее большинство национальных сообществ и землячеств ни в коей мере не связано с произошедшим. Это настолько очевидно, что в доказательств не нуждается. И даже конкретные диаспоры – северокавказская в целом и чеченская, в частности, в массе своей к трагедии не причастны. Кстати, москвичка, звонившая в милицию, запросто могла спутать дагестанцев с чеченцами.

Однако представляется столь же очевидным, что преступление не было акцией одного человека. Его г о т о в и л и – и не только на Кавказе, но и в самой Москве. Кто-то снял квартиру на Малой Пироговской: “Предположительно, в эту квартиру заранее были привезены компоненты для изготовления взрывных устройств, которые позже были собраны одним из соучастников организации терактов” (“МК”, 03.04.2010). Кто-то эти компоненты доставил. Кто-то их купил или, возможно, похитил. Это первый круг причастных – прямые пособники террористов. Президент Д. Медведев справедливо определил: “По террористическим преступлениям надо создать такую модель, когда любой, кто помогает – неважно, суп варит или одежду стирает, – совершил законченный состав преступления... Никакого снисхождения в зависимости от распределения ролей быть не должно” (“Коммерсантъ”, 03.04.2010).

Дай-то Бог хотя бы раз увидеть открытый процесс, где справедливое воздаяние получат и те, кто “одежку стирал”, и те, кто следы гексогена выметал из квартиры.

Но есть и второй круг. Те, кто знал. Обсуждал информацию о терактах, перекидывал новость, как горячий блин на сковородке, а до “компетентных органов” не донес. Умолчал. Покрывл убийц. Этот круг значительно шире. Если о предстоящих взрывах болтали в метро, прикиньте, сколько сотен, а может, и тысяч людей, были “в теме”.

Есть и круг третий. О нем мне, да, полагаю, и любому нормальному человеку говорить особенно трудно. Это те, кто, воспользовавшись случаем, призывали к дальнейшим расправам над русскими. Оказывается, и таких немало. Вскоре после терактов информгентства “выстрелили”: “В московском метро появились надписи “Смерть русским!” и “Аллах акбар!”. На стене вестибюля станции метро “Планерная” в Москве хулиганы написали краской два лозунга – “Аллах акбар!” и “Смерть русским!”. Как сообщили очевидцы, надписи были сделаны четырьмя мужчинами кавказской внешности. Злоумышленники скрылись на серебристой иномарке” (<http://www.utro.ru/news/2010/04/05/885516.shtml>).

Между прочим, обратите внимание, как заботливо труженики СМИ уже в самом сообщении снизили степень вины преступников, поименовав их “хулиганами”. Даже в обычной ситуации лозунг, призывающий к у б и й с т в у русских (как, впрочем, и людей любой национальности), не должен рассматриваться как заурядное хулиганство. Что же в таком случае подпадает под определение “возбуждение ненависти... по признакам национальности” (ст. 282 УК)? Но сразу после массового убийства в метро подобные призывы иначе как п о с о б н и ч е с т в о террористам не воспринимаются!

События 29 марта в диаспорах обсуждались и постфактум. Обеспокоенные москвичи несколько отзывов зафиксировали и выложили в интернет. “Вчера в автобус вошли 3 молодых чеченца, громко хохотали, пили пиво. Всю дорогу громко говорили на своем языке. Единственная фраза на русском: “Надо взорвать автобус, отомстить, а то метро им мало”. “Ближе к вечеру 29-го у Москворецкого рынка двое крепких парней с характерной внешностью беседовали на своем языке с радостными лицами, и у них прозвучало: “Хорошо бабахнуло” (<http://www.mk.ru/social/articte/2010/03/30/458580-vzryiv-ksenofobii-strashnee-chem...>).

Нехарактерная реакция? Как сказать. Во-первых, это не единичные декларации. Во-вторых, они всякий раз сопровождают теракты! После первых взрывов в Москве осенью 1999 года во время прямого эфира (тогда еще был и прямой эфир, и экстренные передачи) в телестудию позвонила женщина из Подмосковья и пожаловалась: “У нас в поселке Серебрянка живут чеченцы, и они говорят, что скоро мы будем харкать кровью” (ОРТ, 13.09.1999).

Не могу умолчать и о приписках, которыми москвичи – пользовали сети – сопроводили свои сообщения о вызывающем поведении кавказцев. Они тождественны и – хотя бы уже поэтому – характерны. Один из авторов уточняет:

“...Никто не отреагировал (на слова о взрыве автобуса. — А. К.). Бояться. Особенно около “их рынка”. Позор государству”. Схожую запись оставил и другой очевидец: “Никто не позвонил в милицию, чтобы на конечной остановке их встретили (потому что не верят милиции, нет от нее защиты)” (там же).

Еще один штрих, дополняющий картину незащищенности, скажу резче — брошенности русского человека в его родном городе. Столице России. Стоит ли удивляться горестным выводам москвичей, вроде того, что я вынес в эпиграф: “Нас скоро либо уничтожат, либо загонят в угол” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/03/30/458562-hronika-obyavlenyih-smertnit...>). **Действительно, куда уж дальше: наглые пришельцы в переполненном автобусе грозят новыми взрывами, а местные пугливо отмалчиваются, глядят в пол.**

Но мы еще не завершили экскурс по кругам частных. Представители землячества выражали свою ненависть к москвичам не только в людных местах, но и в инстестах.

В море откликов, выплеснувшихся в сеть, нередко попадают и откровенно русофобские. “Злоба, зависть, стремление украсть, ненависть к другим народам, в том числе и братским, непонимание принципов свободы, отсутствие желаний и потребности быть свободными — культурные составляющие русского этноса” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/04/05/461574-karabulak-vzorvali-po-sheme...>). **Что это? Представьте — отклик на трагедию, написано сразу после взрыва. Ни малейшего сочувствия, только желание узавить!**

То же в другом отклике (оставляю написание оригинала): “Последняя империя развалится, как и все до нее. В вашей военной доктрине вы за собой оставили право применять ядерное оружие на территории СНГ в защиту своих имперских интересов. А о православии заткнитесь лучше посмотрите в Москве на полумесяц под крестами ордынское вы отродье. Русских нет. Генетически Вы ВСЕ финно-угры и тюрки (мордва, чудь и т. д.). Грозный. Грузия. Думали не икнется. Размахались кулаками, хвост подняли сами жить по-человечески научитесь, а потом уж других учите жизни. А что касается Москвы, то поделом вору и мука обирать такую уйму колоний (ЕВРАЗИЮ) безнаказанно нельзя” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/03/30/458562-hronika-obyavlenyih-smertnit...>).

“Поделом вору и мука”, — такова эпитафия, произнесенная над десятками еще не погребенных москвичей. Характеризующая настрой части землячества.

Власти — федеральные и столичные — предпочитают не замечать этих настроений. Они заняты затеями иного рода — пишут “Кодекс москвича”, где разъясняют, что шашлыки не стоит жарить на балконе, “Кодекс обаятельной землячки”, проводят конкурс “Мисс землячка-2010” — все для представителей диаспор. Хотя, как мрачно пошутила Ю. Калинина, если уж писать “Кодекс поведения москвича”, то первым пунктом надо поставить: “... В Москве не принято взрывать себя в метро. Вторым — что в Москве не принято похищать детей и требовать за них выкуп. Третьим, что не принято насилловать русских девушек” (“МК”, 18.06.2010).

У властей и простых москвичей совершенно разные взгляды на проблему. Одни видят только шашлыки, аппетитно дымящиеся на балконах, другие — повседневный ужас существования, на который бесцеремонные чужаки обрекли коренных жителей столицы.

Впрочем, приготовление шашлыков тоже может обернуться немалыми проблемами. Сразу после обнародования экзотического правила из “Кодекса поведения москвича” произошел масштабный пожар в офисе знаменитого ракетного концерна “Алмаз”. По некоторым сведениям, причина возгорания — именно приготовление шашлыка: “... На крыше НПО гастарбайтеры одной из фирм-арендаторов жарили шашлык” (<http://svpressa.ru/accidents/article/27176>). Так вот, под обсасывание бараньих косточек, Россию чуть не лишили одного из немногих успешно работающих оборонных научно-промышленных комплексов!

Но это уже экзотика. А меня интересует конкретика: что мы (общество и государство) знаем о явлении, которое обобщенно (“чохом”) именуют диаспорами? Мы живем в одном городе с м и л л и о н а м и новых поселенцев, приехавших из регионов с иной культурой, иной системой

ценностей, иными поведенческими стереотипами, другим языком. Обладаем ли мы знаниями, достаточными если не для совместного развития, то хотя бы для совместного существования? Известны ли нам численность приезжих, их имущественное положение, социализация, политические взгляды? И прежде всего отношение к русским (не все же, надеюсь, считают, что любое несчастье нам “поделом”). Белокаменная всегда славилась гостеприимством. Но можем ли мы рассчитывать на ответную благожелательность?

Согласитесь, вопросы не праздные. Особенно после взрывов в метро. А ведь теракты – самый мощный, но далеко не единственный сигнал неблагополучия. В прошлом году в Москве судили семерых кавказцев – членов группировки “Черные ястребы”. Они нападали на русских подростков в метро. Потерпевшие рассказали: “Нас били ногами по голове и телу. Истощенные вопли “русские свиньи!” и “аллах акбар!” не смолкали ни на минуту... В какой-то момент я убрал руки, которыми защищал голову, и тут же в лицо мне начали стрелять из пневматического пистолета” (<http://www.rusbese-da.ru/index.php?action=profile;u=z;sa=showPosts;start=75>).

В 2010 году был произведен допрос 17-летнего уроженца Азербайджана, причастного к выкладке в социальной сети экстремистских видеороликов. “На них, по данным правоохранительных органов, были запечатлены убийства “лиц славянской национальности” (“МК”, 05.06.2010).

Случилось это не в Москве, а в Воркуте. Но, как признают в МВД, это общая тенденция: “...Появляется все больше “кавказских” экстремистских организаций, действующих на территории России” (там же).

Мы-то думаем, что, бросив соотечественников на южных рубежах на произвол судьбы и “титულных наций”, гарантировали себе спокойствие и безопасность. Откупились от Кавказа. Ан нет! Кавказ прочно и широко обосновался в Москве.

И не только он. И даже не “дванадесять языков”, грозивших Белокаменной в приснопамятном 1812 году.

Ну что же, давайте хотя бы познакомимся.

Сколько приезжих в Москве? Точных цифр не назовет никто. Приходится довольствоваться отрывочными сведениями. После череды терактов в начале 2000-х газеты сообщали, что чеченская диаспора в столице насчитывает “четверть миллиона” (“МК”, 26.10.2002). В те же годы высокопоставленный сотрудник ГУВД обмолвился, что в 2001-м в Москве и области получили постоянную регистрацию 1,5 млн азербайджанцев (“Округа”, 27.07.2002). Представьте – за один только год! После этого сомнения вызывают данные Центра миграционного сотрудничества о том, что в Москве проживают “более 3 млн людей некоренной (нерусской) национальности” (“АиФ”, № 39, 2000).

Но даже 3 миллиона – при официальном количестве москвичей – 10 миллионов 400 тысяч – это очень много! Хотя порой кажется, что приезжих значительно больше. Вышел погулять перед сном – встретил восемь прохожих. Только один – немолодой мужчина, выгуливавший собаку, был типичным русаком. Семеро остальных имели характерные среднеазиатские и кавказские черты.

Еще меньше определенности с общим количеством мигрантов в России. Кто как не глава Федеральной миграционной службы должен знать о приезжих все. Однако К. Ромодановский каждый раз называет разные цифры. И 22 млн – “ежегодно в нашу страну въезжают 22 млн человек” (“Вести”, РТР, 30.01.2009). И 10 млн – в стране находятся “порядка 10 млн нелегальных и легальных мигрантов” (“Завтра”, № 28, 2008). А недавно, во время поездки Д. Медведева на Дальний Восток, глава ФМС доложил президенту о 5 млн мигрантов – “они сейчас реально есть, эти пять миллионов, миллион работает легально, и около четырех миллионов незаконно” (<http://www.kremlin.ru/transcripts/8278/work>).

Словом, начальник не знает. Что же требовать с его подчиненных? В ведении они.

Граждан РФ к мигрантам вообще не относят. Хотя – почему? Мигранты – не обязательно иностранцы. Это переселенцы. Люди, поменявшие место жительства. Полагаю, уместно употреблять слово в его точном значении. Тогда, кстати, оно лишится излишней политизированности, замутня-

ющей суть дела. Важно не только то, откуда приехали мигранты, но сам факт того, что они приехали. Создали дополнительное давление на инфраструктуру, рынок труда, культурную среду.

Последнее особенно важно. Разумеется, дагестанцы, чеченцы, кабардинцы – граждане РФ. О чем они настойчиво, а порою и агрессивно (см. интернет) напоминают. Правда, в основном в Центральной России. Получается, что в Кабарде местные жители нападают на русских с криками “Русские свиньи, вас пора убивать!” (я упоминал о таком случае в предыдущих главах – “Наш современник”, № 7, 2010), а в Москве они заявляют: “Мы россияне!”. Но даже вполне лояльные приезжие с Северного Кавказа являются носителями иной, глубоко отличающейся от русской, культуры. Ее особенности я разбирал в главе “Россия без русских?” большой работы “Возвращение масс” (“Наш современник”, № 6, 2009). Не стану повторяться.

Там же я снял как праздный вопрос: какая культура лучше. Обе достойны. Но каждая хороша на своей земле. Когда одна переносится на чужую почву, вытесняя автохтонную, возникает культурный диссонанс, цивилизационный слом, болезненно отдающийся не только в “культурном пространстве”, но и в сознании каждого конкретного человека.

Не случайно социологические опросы показывают: на втором – после “угрозы терроризма” – месте среди факторов, вызывающих раздражение в отношении мигрантов, стоит нежелание “считаться с обычаями и нормами поведения, принятого в России” (“Коммерсантъ”, 20.05.2010).

И это не только мнение “бабушек и дедушек, которые часто заражены ксенофобией”, как изволил выразиться М. Соломенцев, глава столичного комитета по национальной политике – главный, так сказать, гарант межнационального мира в Москве (“Коммерсантъ”, 29.01.2010). Профессиональные социопсихологи утверждают: “Менталитет у приезжающих к нам мигрантов, безусловно, свой, и реагируют они на нас, москвичей, по-своему. Если власти не будут их ассимилировать хоть как-то, то дальше будет хуже” (“Независимая газета”, 23.04.2010).

До недавнего времени руководство столицы “заморачиваться” ассимиляцией не хотело. Оно – по западной моде – отдавало предпочтение “мультикультурности”. Пусть, дескать, расцветают 100 цветов! Но когда и на самом Западе экзотические “цветочки” обернулись монструозными сорняками, когда в пригородах Парижа, Брюсселя, Берлина запылали подожженные переселенцами авто, московские власти спохватились и заговорили об ассимиляции (см. содержательную статью “Москва ставит национальный вопрос. Столичное правительство разработало концепцию межэтнических отношений”. – “Коммерсантъ”, 15.02.2010).

Они-то заговорили, но встречного желанья не обнаружили. По данным опросов, “82% московских азербайджанцев (одна из многочисленных и хорошо организованных диаспор) хотели бы остаться в Москве, но лишь 45% от этого числа (то есть более трети московской диаспоры) согласны жить в соответствии со сложившимися в России обычаями и традициями” (“Коммерсантъ”, 15.09.2006).

Дошло до того, что столичные функционеры вынуждены были признать провал попыток ассимиляции новоселов. В документе, подготовленном правительством Москвы, отмечено: “...В некоторых сообществах проявляется тенденция к формированию замкнутой, изолированной от общемосковской, субкультуры” (“Коммерсантъ”, 15.02.2010).

Если сложить два и два – отказ от ассимиляции и рост численности диаспор – картина получается мрачная. По крайней мере, 3 миллиона переселенцев живет бок о бок с нами, и большая часть этой колоссальной людской массы не хочет приравниваться к нашим обычаям и соблюдать принятые у нас правила поведения. О последнем придется сказать особо.

А пока поговорим об “имущественном” положении диаспор. И здесь точные сведения отсутствуют! Сердобольные журналисты – в унисон с политиками – жалуют москвичей рассказами о нищих гастарбайтерах, готовых за гроши выполнять любую грязную работу. Нас убеждают, будто без таджикских и киргизских дворников Москва утонула бы в нечистотах. Хотя я прекрасно помню русских мужиков и баб, подметавших улицу осенью и тяжеленными ломами коловших лед зимой. Причем делали они это в одиночку, а не бригадами по 10–15 человек, как это принято ныне.

К слову, и в этой сфере концепция меняется. Те же журналисты стали увязывать ассимиляцию с повышением статуса мигрантов. Требуют для них доступа к “социальному лифту”. “Москва может ассимилировать любых мигрантов, если дать возможность социального лифта. Когда человек будет понимать, что чем больше он по внешним признакам, по знанию языка и т. д. ближе к москвичам, у него может появиться так называемый социальный лифт. Что он не будет всю жизнь дворником или строителем” (“Независимая газета”, 08.07.2010).

Сказано хоть и косноязычно, но вполне определенно.

Менее всего мне хотелось бы выступать в роли такого столичного эксплуататора, противящегося профессиональному росту приезжих. Да и не по праву мне эта роль. В имущественном отношении я принадлежу к нижнему слою среднего класса, и если мое благосостояние превышает уровень, характерный для большинства приезжих, то ненамного. Вместе с ними я покупаю товары в “Копейке”. Вместе толкнусь в троллейбусе и в метро.

Не без симпатии гляжу на их живые смуглые лица. Хотя, признаюсь, предпочел бы делать это где-нибудь в Бишкеке или в Кизляре, где они выглядели бы органичнее, уместней. В любом случае, неприязни я к ним не испытываю и безудержной эксплуатации не одобряю.

Между прочим, для простых москвичей понятие классовой солидарности и сегодня не пустой звук. Зла на трудяг-гастарбайтеров они в массе своей не держат. Что и проявилось в интернет-дискуссии, развернувшейся после взрывов. Житель столицы писал: “...Не надо трогать простых работяг и рядовых торговцев с Кавказа, но всех черно...ых бизнесменов, а также чиновников следует выслать” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/03/30/458562-hronika-obuyavlennyyh-smertnit...>). Предложение, конечно, чересчур размашистое. Но терпимость, продемонстрированная по отношению к соседям по социальной лестнице, характерна.

Уверен, что этот москвич (и тысячи таких же, как он) готов хоть сейчас вызвать “социальный лифт” для мигрантов. С удовольствием присоединюсь. При одном условии – для начала к нему получают доступ все жители России. На том основании, что они (или их родители) оплачивают функционирование всего государственного механизма.

Почему никто не говорит о социальном росте худых подростков из рабочих предместий? Почему ни один журналист, правозащитник, политик не озаботился и х судьбой? Обделенные еще до рождения, во время дикой растащивки начала 90-х, они оказались чужими на нынешнем “празднике жизни”. В их семьях нет денег на экологически чистую еду, качественную медицинскую помощь, приличное образование, которое открывает дорогу к служебному росту. Они обделены во всем – и навсегда. Не стоит тешить себя иллюзией, будто бы их положение когда-то изменится.

Когда в страну миллионами завозили мигрантов, организаторы акции уверяли: приезжие не конкуренты этим ребятам. Они готовы вкалывать за такие деньги и на такой работе, за которую не возьмется даже самый бедный русак. И вот, когда количество мигрантов достигло критической массы, и не только обыватели, но и власти стали не без опаски поглядывать на них, нам говорят: хотите, чтобы они вели себя мирно – повысьте их статус, не все же им работать дворниками и строителями.

Позвольте, их выписывали сюда не как абитуриентов престижных столичных вузов, а именно как чернорабочих. Студенты из ближнего (и дальнего) зарубежья и так учатся у нас – в основном, за деньги. На получение бесплатного образования имеют право прежде всего коренные жители.

Теперь, когда вскрылся обман, лежащий в основе “переселения народов”, уместно задать вопрос: а так ли спонтанна миграция? Что это – неумолимое веление рынка или хитроумный план по замещению “неправильного” русского населения “правильным” привозным интернационалом, разобщенным и покорным воле властей? “Быть патриотом сегодня – это желать как можно большего количества иностранцев, работающих в России”, – обозначил лозунг дня серый кардинал Кремля В. Суржков (цит. по: “МК”, 09.07.2010).

Я уже писал об этой концепции (“Наш современник”, № 6, 2009), выражая сомнение в способности госструктур контролировать разноязыкую много-

миллионную массу. Недовольную своим материальным положением и к тому же наэлектризованную на восточный манер. Бунты мусульманской молодежи в предместьях Парижа и других европейских столиц с жесткой наглядностью показывают ошибочность и опасность слепой веры в “покорность” мигрантов.

Впрочем, в нашей ситуации роль бунтующего плебса, возможно, достанется коренным жителям. А надзирать за ними станут приезжие. Образ бесправного гастарбайтера, понуро стоящего перед милицейским патрулем, не устарел окончательно, но постепенно архаизируется. Как говорили китайцы в Харбине, которых русские чиновники после революции по привычке подзывали пренебрежительным возгласом: “Ходя!”, – “Теперь твой – ходя, а моя – капитана”.

Все больше мигрантов идет работать в милицию, конвойную службу. Хорошо информированная газета “Завтра” считает, что начавшаяся реформа МВД “будет осуществляться в основном по этническому признаку для ускоренного замещения личного состава министерства представителями “национальных меньшинств” (“Завтра”, № 28, 2010).

Особо следует отметить тех, кто выбрал юриспруденцию. Юрфаки университетов с начала 90-х комплектуются в основном выходцами с Кавказа.

Пока непосвященные талдычат о “социальном лифте”, напористые приезжие активно осваивают верхние этажи общества. Чеченцы, к примеру, – привилегированное сословие столицы да и всей России. Владельцы роскошных гостиниц, банкиры, просто очень богатые люди – без указания источников дохода.

В ежегодно публикуемом списке журнала “Форбс” место в первой десятке самых состоятельных людей России неизменно занимают два выходца с Кавказа и один из Средней Азии. Они соседствуют с евреями и “новыми” русскими. Примерно в той же пропорции они представлены в отчетах о светской жизни. Видимо, складывается новая российская элита, которая в ближайшие годы будет управлять страной. Явление не только не исследованное, но даже не обозначенное как предмет исследования! И тем не менее, оно с победительной наглядностью демонстрирует силу и влияние диаспор.

Не изучена с должной тщательностью и социализация национальных сообществ. Чем они занимаются в Москве и Центральной России? Как зарабатывают насущный хлеб?

Отчасти мы уже ответили на этот вопрос: имущественное положение и социализация связаны неразрывно. Надо ли уточнять, что официальные данные и здесь отсутствуют. Но на торговлю, как на основную сферу деятельности мигрантов, вам укажет каждый. Причем не на упорядоченный ритейл, а на стихийную рыночную торговлю.

Рынок – это своеобразный город в городе, государство в государстве. В интернете немало высказываний на сей счет. Девочка-подросток пишет: “Я... живу около черкизона и у меня ощущение, что я ваще в другой стране. Иду в школу, а у обочины останавливаются всякие черные и говорят: эй, девушка, садись подвезу” (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/03/30/458562-hronika-obyavlenyih-smertnit...>). Провинциал, побывавший в столице, не может сдержать горестного изумления: “Как-то был в гостях в Москве, посетил торговый центр на станции метро Киевская. Товарищи! Я не понял, куда я попал – то ли в Москву, то ли в Дагестан! Площадь возле центра была черная” (там же).

Впрочем, что эти любительские зарисовки на фоне леденящих душу историй о Черкизоне, которыми телевидение ежевечерне потчует страну!

И все же добавлю свой штрих в пеструю картину. С детства я хожу на два рынка, расположенных неподалеку от дома, – Ленинградский и Бутырский. Я помню румяных молодых, продававших рязанскую картошку, дебелих молочниц, азартных рубщиков парного мяса, отрешенных пасечников с тонкими срезами золотых, истекающих медом сотов. Где все это богатство и великолепие – своих лиц, своего (такого выразительного для непривычного городского уха) говора, своих товаров?

Теперь не то. На одном из “моих” рынков внимание долгое время привлекала троица продавцов. Рост под метр девяносто, бычьи шеи профессиональных борцов, ниспадающие чуть не до колен свободные восточные рубахи и аккуратные мусульманские шапочки на голове. Торговали они –

смешно сказать, специями — невесомыми пакетиками и кулечками, хотя каждый мог поднять автомобиль.

Чем они занимались на самом деле, мне не известно.

Я вспомнил о них, когда в хронике происшествий прочел: “На овощном рынке... задержали нескольких торговцев зеленью из Азербайджана по подозрению в незаконном обороте оружия, а среди лотков обнаружили автоматы АК-74 и две сотни патронов” (“МК”, 19.03.2010).

Те ли это ребята? Скорее всего, другие. Мало ли на Кавказе крутых парней, не расстающихся с автоматом! В Москве, помимо торговли, работы у них непечатый край...

Несколько лет назад федеральные власти приняли закон, запрещающий иностранцам торговать на рынке. Какой шум поднялся в прессе и на ТВ! Кавказские негодяи и столичные эксперты с пеной у рта доказывали: русские торговать не способны! Они ленивы, вороваты и чуть не поголовно пьяницы. Перенести хотя бы десятую часть звучавших обвинений на другой народ — мгновенно возбудили бы дело по 282-й статье. А тут не только никого не осудили, но и закон “замылили”. Иначе откуда взялись азербайджанцы-“зеленщики”, арестованные на московском рынке?

Тем, кто картинно вопрошает: чем вам не нравятся торговцы из ближнего зарубежья, могу ответить: тем, что мы, точнее, государство, о них ничего не знаем. Местные у власти, как на ладони. Случись что, сразу соберут информацию через отделения милиции, участковых. А тут — чистый лист: может, это потомственный торговец, а может, боевик-исламист. Причем касается это не только иностранцев, но и наших северокавказских друзей. Еще раз вспомним брата Марьям Шариповой — бывший боевик, сразу после амнистии, уехал в Белокаменную.

Кстати, далеко не всегда можно с уверенностью утверждать, что приезжий с паспортом РФ действительно является гражданином России. Паспортные столы на Кавказе в массовом порядке выдавали (а возможно, и сейчас выдают) российские паспорта иностранцам. Это выяснилось в ходе расследования нападения террористов на зрителей мюзикла “Норд-Ост”. У многих террористов документы оказались сомнительными. В Карачаево-Черкесии вскрылась “целая преступная сеть на базе паспортных столов милиции. Десятки российских паспортов были выданы без достаточных на то оснований. Приезжие из Турции и Афганистана получали гражданство в течение одного дня и выбывали в неизвестном направлении” (NEWSru.com. 01.07.2010).

Можно смело предположить, что часть из них торгует на наших рынках.

Рынки — это как бездонный колодец: потянешь за веревку — неизвестно, что явится на свет. Случается, “вытянут” террористическую организацию. Глава “Уйгуро-Булгарского джамаата” Башир Плиев торговал на рынке (“МК”, 30.06.2010). Иной раз выйдут на гигантскую бизнес-структуру иностранного государства.

Когда власти решили закрыть Черкизон, они полагали, будто для этого достаточно их решения. “Своя рука — владыка, кого хоч — казню, кого хоч — милую”. Но вскоре выяснилось, что российский суверенитет — в столице России! — ограничен. Оказалось, рынок является каналом реализации дешевого китайского ширпотреба и в его функционировании было заинтересовано правительство КНР. Недовольство по поводу сокращения импорта выразил сам председатель Ху Цзиньтао. В Москву на переговоры отправилась официальная делегация Поднебесной во главе с замминистра торговли Гао Хучэном (“Коммерсантъ”, 22.07.2009). Федеральному правительству пришлось расшаркиваться перед требовательными визитерами. А московское начальство в спешном порядке предоставило китайским торговцам места на других столичных рынках.

Хорошо хоть обошлось без столкновений! В Варшаве при ликвидации “китайского” рынка торговцы встретили судебных приставов “камнями, досками, бутылками и водой из шлангов”. Силам правопорядка пришлось предпринимать несколько попыток штурма. В ходе столкновений “десятки человек получили ранения” (там же).

А вы говорите — “зеленщики”!

Рука об руку с легальной деятельностью диаспор развивается бизнес к р и м и н а л ь н ы й. Специально для тех, кто и на этот раз изготовится протез-

ствовать, приведу цитату из работы академических ученых – экспертов ИМЭМО РАН: "... В условиях 1990-х годов, разгула преступности и коррупции, некоторые землячества группировались вокруг людей с темным прошлым и не вполне прозрачным настоящим" ("Коммерсантъ", 15.09.2006).

По официальным данным, озвученным начальником ГУВД Москвы, генералом В. Коломийцевым, почти половину (48%) преступлений в столице совершают приезжие ("Независимая газета", 21.01.2010). Здесь смешаны уличная преступность (о ней мы будем говорить отдельно) и деятельность ОПГ.

Статистика по этническим ОПГ, насколько мне известно, отсутствует. Во всяком случае, в открытом доступе ее нет. Отрывочные сведения проникают в прессу в связи с какими-либо эксцессами. После взрывов домов в Москве в 1999 году газеты обнародовали данные о преступном чеченском бизнесе: "... В Москве действовали семь основных группировок чеченцев: "Центральная", "Останкинская", "Лозанская", "Белградская", "Салютинская", "Украинская" (по названию гостиниц) и "Южнопортовая". "Центральная", под руководством Лечи Исмаилова, контролировала около 300 фирм, рынки, проституцию в центре города. "Останкинская" занималась перепродажей оргтехники. "Южнопортовая" под руководством Сулейманова (Хозы), специализировалась на автомобилях" ("МК", 29.09.1999).

Обострение российско-грузинских отношений привело к сбросу информации о грузинских криминальных группировках. В передаче "Чистосердечное признание" (НТВ, 08.10.2006) речь шла о группах похитителей автомобилей (сообщалось, в частности, что банда Мамедова – уроженца Грузии – контролировала 80% рынка краденых автомобилей), о группах, специализирующихся на завладении квартирами одиноких стариков ("старика – легкая добыча людей с Юга"), о квартирных ворах. Тут же уточнялось: половина воров в законе – из Грузии.

Более обобщенные данные мне удалось "выловить" лишь однажды – в содержательной статье, опубликованной "НГ". Приведу обстоятельную цитату: "... В России было выявлено более 2000 преступных группировок, сформированных на этнической основе. 516 из них действовали в Москве... Наиболее многочисленная... "азербайджанская". Ее представители контролируют наркобизнес, занимаются мошенничеством с обменом валюты, угоном и перепродажей машин... Одна из старейших группировок – "армянская" – занимается заказными убийствами, гостиничным и игровым бизнесом, а также разбойными нападениями с угоном машин и кражами. Наибольшее число воров в законе из "грузино-абхазской" ОПГ. Ее представители специализируются на грабежах, кражах, вымогательствах, разбоях, финансовых аферах. Самой одиозной в столичном преступном мире считается "чеченская" преступная группировка, члены которой не признают "воровских законов" и всегда действуют "беспредельно". Ее деятельность разнообразна – вымогательство, похищение людей, торговля оружием и наркотиками, контроль над банками, гостиницами, казино и развлекательными центрами, рынками" ("Независимая газета", 08.11.2005).

Отмечу особо – часть преступно добытых средств идет на финансирование террора. Еще в 1999 году корреспондент ТВЦ А. Борзенко свидетельствовал: "Чеченских фирм в Москве сотни. Большинство из них были заложены еще Дудаевым и давали 1 млн долларов в день на войну" (ТВЦ, 13.09.1999). Затем о спонсорах террора надолго замолчали. Однако на исходе марта 2010 года – синхронно с сообщением о взрывах в метро – появилась информация о банде Башира Плиева, которая "грабила магазины, банки, склады и местных жителей, чтобы добыть деньги и продукты для бандитского подполья на Северном Кавказе" ("Независимая газета", 31.03.2010).

Тема сотрудничества диаспор и вовсе закрыта для обсуждения. Я не имею в виду те усилия, которые власть прилагает, чтобы скоординировать работу многочисленных национальных сообществ. Создана Ассоциация, объединяющая более 80 землячеств. Можно только пожелать успеха в этой работе, носящей преимущество культуртрегерский характер.

Существует сотрудничество иного рода. Сведения о котором приходится собирать буквально по крупичкам. В одном из процитированных выше текстов содержится упоминание о "грузино-абхазской" ОПГ. Любопытно, не правда

ли: Грузия и Абхазия “на ножах” со времен войны 1992 года, а в России воров в законе с той и другой стороны действуют вместе! В статье “Кавказские пленники”, рассказывающей о межнациональных отношениях в Волгограде, говорится о более широкой кавказской солидарности. В частности, армяне и азербайджанцы, враждующие у себя дома, в поволжских городах совместно участвуют в криминальном бизнесе (“Независимая газета”, 14.09.1999).

Сотрудничают не только в криминальной сфере. Не менее опасна солидарность в борьбе с “имперскими устремлениями” федерального центра. Полагаю, всем памятна поддержка, оказанная российскими СМИ, находившимися тогда под контролем В. Гусинского и Б. Березовского, сепаратистам Дудаева. Гусинский, возглавлявший Российский еврейский конгресс, попытался подвести под эту противогосударственную деятельность теоретическую базу: “РЕК не может и не намерен ограничиваться в своей деятельности защитой прав только евреев в России... РЕК готов и будет сотрудничать с национальными организациями других народов России” (“Международная еврейская газета”, № 30, 1997).

В последнее десятилетие ситуация как будто изменилась. Но сейчас вновь обозначился показательный поворот: после терактов 29 марта ряд столичных изданий проявили поистине трогательное понимание поступка шахидок. А заодно припомнили государству Российскому его прегрешения – реальные и мнимые.

Все возвращается на круги своя?

В чем причины возвратного процесса и чем обернется он – а также другие, не менее тревожные явления – можно только догадываться. Почему догадываться? Да потому, что, как мы могли убедиться, ни на один из поставленных вопросов о размере, влиянии и настроениях диаспор внятного ответа из общедоступных источников получить невозможно. Боюсь, что и официальные лица знают не больше нашего. Анекдотическое многолетнее корпение над “Кодексом поведения москвича” и бессодержательная результативная часть документа куда более серьезного – “Концепции реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве” показывают: власть не слишком далеко продвинулась в изучении вопроса.

Единственное, о чем наслышаны все, – это “художества” горячих гостей столицы. Информация поступает чуть ли не ежедневно. Во всяком случае, в настоящее время – пока не обрело силу закона требование об ужесточении и контроле со стороны милиции “за упоминаниями в СМИ о национальности правонарушителей”. Оно содержится в вышеупомянутой “Концепции”. Ужесточат контроль – и будет как в популярной песне: “Каким-то хазарам какой-то Олег задумал отмстить почему-то”.

Но пока свободу слова не ограничили, сведения можно черпать как из бездонного кладезя. Я публикую уже третью кряду работу о диаспорах, в том числе об их противоправных действиях, и всякий раз материал обновляется целиком. В примерах нет недостатка.

Зачастую преступления приезжих иначе как дикими не назовешь. В них содержится вызов – не только государству (любое преступление – это вызов, брошенный Закону), но и обществу. В связи с убийством олимпийского чемпиона Нелюбина я уже вспоминал строки М. Ю. Лермонтова: “Смеясь, он дерзко презирал чужой земли язык и нравы” (“Наш современник”, № 6, 2009). Вот это презрение к нравам, обычаям земли, которую пришельцы, видимо, считают чужой, постоянно обнаруживается в их криминальных деяниях.

Надеюсь, читатели помнят убийство двух пожилых женщин в Москве в дни празднования юбилея Победы. Оно потрясло москвичей – убили ветеранов. Вся страна да и лучшая часть человечества в те дни с благодарностью вспоминала подвиг людей, одолевших фашизм. Однако нашлись вырожденки, для которых поистине нет ничего святого. Газеты были полны версиями, милиция сбивалась с ног – и для нее найти преступников было делом чести. В конце мая арестовали подозреваемых. Ими оказались два уроженца Кабардино-Балкарии и житель Украины (“МК”, 24.05.2010).

В июне 2010 года начался процесс над похитителями сына вице-президента компании “Роснефть”. На скамье подсудимых – житель Ингушетии и уроженка Грозного. На суде всплыли дикие (без этого слова не обойтись!) по-

дробности: “Миша (похищенный. – А. К.) рассказал, что его содержали на цепи, угрожали оружием” (“Время новостей”, 23.06.2010).

Громкие преступления кавказцы совершают не только в Москве, но и в других русских городах. Весной этого года в Питере напали на известного актера А. Зиборова. На улице компания “выходцев с Кавказа” пристала к его девушке. Актер попытался защитить ее, тогда один из бандитов выстрелил ему в лицо. Зиборов потерял глаз (“МК”, 28.04.2010).

Другой инцидент обошелся без крови, но шуму наделал немало. В конце мая в Москве чеченские милиционеры не поделили дорогу с “сотрудником федеральной службы” (в интернете писали – офицером ФСБ) и нанесли ему “несколько ударов по лицу” (NEWSru.com. 01.06.2010). Невозможно припомнить, когда еще в Москве раздавали за-трещины чекистам!

Нападения “гастролеров” на сотрудников милиции не счесть. Два сообщения навскидку. 22 июня у торгового центра “Москва” в Люблине оперативники попытались задержать членов этнической ОПГ. Те открыли огонь. Только чудом – сообщает корреспондент – пули не попали в проходящих мимо людей. Преступников удалось задержать. Ими оказались выходцы из Карачаево-Черкесии и Таджикистана (“Время новостей”, 23.06.2010). 3 июня в Подмосковье при осмотре частного дома милицейский патруль подвергся вооруженному нападению. Бандиты тяжело ранили двух сотрудников милиции. Стреляли братья – Рахимовы – уроженцы Таджикистана (<http://lenta.ru/news/2010/06/03/shchit/-Printed.htm>).

Горячих парней не останавливают высокие заборы воинских частей. Весной этого года в Ленинградской области произошло примечательное ЧП. “Около двадцати дагестанцев на машинах прибыли к военной части в Каменке, чтобы разобраться с офицером, якобы “притеснявшим” их родственника”, – сообщил “МК” (12.04.2010). По другим сведениям, группа состояла из 40 человек (NEWSru.com.12.04.2010). Визитеры попробовали прорваться на охраняемую территорию, избив дежурного офицера. К ним вышел командир батальона. Но уговоры не помогли, и попытка прорыва была предпринята вновь. Пришлось открыть огонь из автоматов в воздух (“МК”, 12.04.2010).

Незадолго до инцидента один из лидеров дагестанской диаспоры Санкт-Петербурга – председатель питерского Содружества молодежи Дагестана – Гамид Гасанов жаловался корреспонденту Radio France Internationale, что местные жители поверхностно судят о его соотечественниках: “В основном стереотип такой, что дагестанцы очень горячие люди...” (<http://rus.ruvr.ru/2010/04/04/5981919.html>). Ах, как умеют любить себя на Кавказе! Любить – и прощать себе все!

На мой взгляд, то, что произошло в Каменке, – не игра горячей кавказской крови, а тяжкое преступление против государства. За которое следует наказывать – и максимально сурово. А главное – главно. Чтобы другим неповадно было!

Во всем мире воинские базы – это закрытая, неприкосновенная территория. Никому в голову не придет прорываться туда. Случается, конечно, что пацифисты устраивают показательные акции. Но это работа на камеру, эталонный антимилитаристский балет. Лезть на колючую проволоку в с е р ь е з в е з д е посчитали бы верхом безумия.

Почему же в России такие происшествия не редкость! В том же поселке, по утверждению корреспондента “МК”, уже происходили столкновения дагестанцев с офицерами.

Еще более опасный инцидент имел место в городе Алейск Алтайского края. Там массовая драка, спровоцированная, как утверждает пресса, военнослужащими из Дагестана, произошла в самой воинской части. “Десятки солдат славянской и кавказской национальности вышли выяснять отношения на плац” (“Коммерсантъ”, 09.04.2010).

Хорошо еще, что то была “пехтура”. А представьте себе выяснение национальных отношений в ракетной части или на атомной подводной лодке! К слову, после затопления “Курска” в числе прочих рассматривалась и возможность диверсии. И досье выходцев с Кавказа изучались с особой тщательностью.

Если уж приезжие не боятся ни военных, ни ФСБ, ни милиции, то что го-

ворить об их отношении к простым местным жителям. Случаются истории самые фантастические!

Скажите, к примеру, как могут развиваться события после того, как контролер высадил безбилетника из трамвая. Никак – ответите вы, – в крайнем случае завяжется перебранка. Но если “заяц” оказался “лицом кавказской национальности”, история может принять дурной оборот. В апреле этого года в Москве контролер на маршруте №47 высадил из вагона безбилетника. Далее цитирую: “Высаженный кавказец начал оскорблять контролера, после чего достал травматический пистолет, похожий на ПМ, и выстрелил несчастному поочередно в обе руки, а затем прострелил ему ноги... Подонок перебежал на противоположную сторону дороги, поймал попутку и скрылся” (“МК”, 30.04.2010).

Обратите внимание “поймал попутку”. Значит, деньги у преступника были. Да и пистолет – игрушка недешевая. Кавказец мог бы купить билет, но, похоже, считал это ниже своего достоинства. Вот это я и называю вопиющей асоциальностью, характерной для преступлений приезжих.

Схожая история произошла на Ярославском вокзале. Машинист поезда и его помощник сделали замечание парням, пытавшимся забраться на платформу в обход турникетов. “Тогда один из “зайцев” направил ся к железнодорожникам и после нескольких колких выражений схватил нож и вспорол живот помощнику машиниста. Старший товарищ схватил преступника за руку, но негодяй со всей силы ударил его клинком в грудь” (“МК”, 13.05.2010).

И опять дело не в деньгах. Задержанный, уроженец Кабардино-Балкарии, работает юрисконсультom в столичной нотариальной конторе. Уже на следующий день он обзавелся тремя (!) адвокатами, которые, между прочим, обвинили в произошедшем машинистов – дескать, те “вели себя вызывающе” (“МК”, 14.05.2010). Сделать замечание безбилетнику – это, выходит, вызывающее поведение. А достать нож и зарезать в ответ – проявление особой галантности?!

“Зоной риска” впрямую объявить всю территорию Белокаменной. Выходя из кафе, вы рискуете получить пулю нетерпеливого претендента на столик, который только что занимали. Так случилось с посетителем трактира на Новопетровской улице. Цитирую: “...Трое выходцев из Ингушетии в состоянии сильного алкогольного опьянения наведались в трактир “На кругу”. Адекватность визитеров вызывала сомнения, к тому же в заведении не оказалось свободных мест, и охрана вынуждена была отказать гостям. Но горцы настаивали на своем. На беду, именно в этот момент... вышел один из посетителей – 28-летний Игорь... Кавказцы в грубой форме упрекнули мужчину в том, что он засиделся за “их” столом. Один из агрессоров внезапно достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лицо парню” (“МК”, 02.02.2010).

Похожий случай в столичном кафе произошел в середине лета. В результате стрельбы и поножовщины в больницу попали москвич, приезжий из Воронежа и два жителя Чечни /NEWSru.com.15.06.2010/.

В процитированных заметках прозвучало слово “агрессоры”. Представляется, что оно выражает суть поведения такого рода гостей столицы. Немотивированного ничем, кроме желания утвердить свое превосходство над коренными жителями. Типичное поведение агрессора на чужой земле. Этакие übermensch’и!

Повторю, подобное поведение бросает вызов не только закону, но и всему обществу. Каждому из нас.

Обнадеживает то, что общество начинает сознавать это. Соцпросы показывают: более половины москвичей обеспокоены состоянием межнациональных отношений. 36% считает их напряженными, 15% – конфликтными (“Независимая газета”, 08.07.2010).

Вызывающие выходки “гастролеров” все чаще встречают коллективное сопротивление. К сожалению, далеко не всегда облеченное в правовую форму. Хотя стоит заметить, что, как правило, местные жители сначала пытаются найти управу на обидчиков в милиции.

Так поступили жители Западного Дегунина. Они “неоднократно обращались в различные структуры с просьбой навести порядок в домах, предназначенных под выселение. Люди жаловались, что в них стали заселяться уроженцы Кавказа... По вечерам кавказцы шумели, устраивали громки разборки и

приставали к проходящим женщинам” /NEWSru.com.21.06.2010/. Не получив помощи от властей, жители сошлись стенка на стенку с пришельцами. В ходе массовой драки, сопровождавшейся стрельбой, ранения получили три человека (там же).

Несколько массовых драк с кавказцами произошли в мае. Причиной одной из них стал наезд водителя-кавказца на мальчика 12 лет. Пострадавший скончался, а водитель скрылся с места происшествия. “После ДТП между земляками водителя и прибывшими на место происшествия родственниками сбитого подростка произошла драка. В ней участвовало около 40 человек с обеих сторон” /NEWSru.com.01.06.2010/.

Очередное столкновение с приезжими из Чечни имело место на Чистых прудах в начале июля. Группа кавказцев пристала к компании русских девушек и парней. И почти сразу пошли в ход ножи. Тяжелые ранения получили двое русских. А 23-летний Юрий Волков, сотрудник телеканала “Россия 2”, был убит. “. . . Они искали кого-нибудь со славянской внешностью”, – говорит девушка убитого Анна (“МК”, 20.07.2010).

Видимо, это убийство переполнило чашу терпения – оно вызвало массовые правозащитные акции. Хотя профессиональные правозащитники здесь ни при чем – и на этот раз они не сочли нужным вступить за русского человека. Митинг памяти организовали фаны “Спартак” (Волков болел за эту команду). На Чистых прудах собралось около 700 человек. Они принесли свечи и цветы. Прохожим раздавали листовки с рассказом о трагедии. На стенах домов появились надписи: “Война в твоём городе”, “Сегодня Юра, завтра я или ты” (“МК”, 16.07.2010).

Организаторы акции пообещали собраться вновь и подчеркнули важность коллективных выступлений в защиту местных жителей: “Важно показать себе и окружающим, что мы вместе. Подъехать, постоять, помянуть покойного не сложно. . . Проявите участие, переставайте быть равнодушными (разрядка моя. – А. К.). Следующим может быть кто угодно. . .” (там же)*.

Наконец-то дошло! Не только то, как опасен кавказский беспредел. Но и то, что справиться с ним можно только сообща, солидарными действиями.

Хорошо бы теперь и власти – московские и федеральные – осознали то, до чего доперли даже футбольные фаны: положение близко к критическому. “Война в твоём городе”.

Можно предположить, что осмысление ситуации началось. М. Соломенцев, глава столичного Комитета по национальной политике, обеспокоенно заявил: “В обществе растут страхи, фобии, риск локальных конфликтов” (“Время новостей”, 22.07.2009).

Предприняты и первые конкретные меры. Возглавляемый Соломенцевым Комитет подготовил “Концепцию реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве”. В документе немало трезвых констатаций: отказ части общин от ассимиляции, анклавизация (появление в Москве районов “большей концентрации населения, имеющего национальность, отличную от русской”). Однако предложенные разработчиками меры действительными не назовешь – проведение “уроков интернационального воспитания” в школах, “развитие интернационального сознания” во взрослой среде, создание “позитивных информационных продуктов” (цит. по: “Коммерсантъ”, 15.02.2010). Словом, лозунг Кота Леопольда “Давайте жить дружно”. Едва ли не единственная позитивная мера – защита “регионального рынка труда от избыточного неконтролируемого притока иностранной рабочей силы” (там же).

К сожалению, куратор “Концепции” М. Соломенцев сам не свободен от стереотипных представлений о “ксенофобии” русских (вспомним его уничтожительный отзыв о “бабушках и дедушках”, якобы зараженных ею).

Такие стереотипы безосновательны. Опросы показывают высокую степень толерантности русских. Более половины не назвали ни одного народа, который бы вызывал у них чувство неприязни.

* 17 июля к месту трагедии пришли уже 3000 человек. Некоторые приехали из других городов, в том числе из далекого Ростова-на-Дону (“МК”, 21.07.2010). Помянули Ю. Волкова и в Питере. Болельщики “Зенита” 17 июля вывесили на стадионе соответствующую растяжку (www.mk.ru.18.07.2010). Тема расправ над русскими – в Центральной России! – приобретает общенациональное значение.

Остальные так же выражают добрые чувства по отношению ко всем народам, кроме двух групп, вызывающих негативные эмоции. Это кавказцы и выходцы из Средней Азии. Причем, если к азиатам недоброжелательно относятся всего 6% опрошенных, то к кавказцам в пять раз больше – 29% (“Коммерсантъ”, 20.05.2010).

Конечно, и на основании этих данных можно порассуждать о “ксенофобии” – было бы желание. Но, согласитесь, когда на фоне общей благожелательности выявляется фактически одна группа, вызывающая негативное отношение, то дело, скорее, не в местных жителях, а в тех, кто такое отношение спровоцировал.

Казалось бы, решение проблемы предполагает плотную профилактическую работу с диаспорами, прежде всего, кавказскими. Вспомним пункты, перечисленные Ю. Калининой: не взрывайте метро, не похищайте детей, не насилуйте русских девушек. Замечательная программа – не правда ли? Можно было бы подумать об ужесточении наказания за вызывающее, поистине общественно опасное поведение, которое сопутствовало большинству перечисленных выше преступлений.

Ничего подобного! Упор делают на пресловутую борьбу с ксенофобией. Мосгордума выдвинула проект постановления о внесении изменений в федеральное законодательство. “Поправки ужесточают наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной и другой идеологической ненависти, увеличивают наказание за разжигание ненависти и другие экстремистские преступления” (“Коммерсантъ”, 08.06.2010).

Ох уж эта 282-я! Между прочим, идеологическая статья. В лучших традициях сталинского УК.

Разумеется, за призывы к расправе по национальному признаку следует карать. И карать жестоко! Однако под определение “разжигание ненависти” можно подвести любую негативную оценку и даже просто трезвую констатацию неблагоприятия в межнациональных отношениях. Несколько лет назад на Ставрополье произошел случай столь же курьезный, сколь и страшный. Краевые власти за казали местного политологу исследование межнациональных отношений в регионе. Тот заказ выполнил – и был привлечен прокуратурой по соответствующей статье! В конце концов обвинение сняли, но можно представить, что пережил человек, вся вина которого заключается в том, что он с профессиональной честностью выполнил работу.

Но даже не это главное! Преувеличенное внимание к 282-й приводит к тому, что иной (облегченный) вес получают другие преступления, на той же национальной почве совершаемые.

Судите сами. Вы нелестно высказались о гастарбайтерах – при определенных условиях вас могут привлечь к ответу. Хотя это всего лишь мение. Ущерба, по крайней мере, физического никому не было нанесено. А вот деяние, представляющее немалую опасность для общества – участие в массовой драке со стрельбой, как правило, не наказывается. 19 кавказцев, задержанных милицией после побоища в Дегунино, были отпущены. Им даже не предъявили обвинения в хулиганстве! Хотя три человека получили ранения, а на месте происшествия обнаружили 38 гильз – можно представить, какая была пальба.

Другая проблема в том, что 282-ю статью применяют избирательно. В 2007 году за изготовление видеоролика с инсценировкой “казни таджика” русские скинхеды получили реальные сроки. А азербайджанца, выложившего в интернет ролик, “запечатлевший убийства “лиц славянской национальности”, – кстати, инсценированные или подлинные? – после допроса отпустили (“МК”, 05.06.2010).

Скинхеды за нападения на мигрантов, случается, садятся на 16 лет. А кавказцы из группировки “Черные ястребы” отделались легкими приговорами. Ни районный суд, ни апелляционная инстанция “ненависти на национальной почве” в деле не обнаружили. И это несмотря на крики “Русские свиньи!” и “Аллах акбар!”

О том, как горячие парни уходят от ответственности, можно судить по делу об убийстве Юрия Волкова. Оно вызвало огромный резонанс, и то, что обычно остается тайным, на этот раз открылось для публики. Как сообщает “МК” (21.07.2010), двое из трех бандитов, участвовавших в нападении на

компанию русских молодых людей, были отпущены “почти сразу после расправы”. Следствие якобы считает, что они не уедут из Москвы. Хотя в столице, указывает газета, вся троица проживала по временной регистрации. В любой момент они могут отбыть к себе домой в Грозный*.

“Людей за мелкое хулиганство дольше в “обезьяннике” держат”, – рассуждает корреспондент. И тут же объясняет неожиданный либерализм стражей порядка: “... Уже через несколько часов после убийства подъехали в л и я т е л ь н ы е представители диаспоры (разрядка моя. – А. К.) и начали “разруливать ситуацию”. Названы конкретные фамилии: “производитель плодовоощных консервов Хасан Хаджимурадов” и Асламбек Паскачев, председатель “Российского конгресса народов Кавказа” (помните митинг в Москве под лозунгом “Россия без россизма”, – его организовали активисты РКНК). “Пространное заявление на заданную тему сделал и уполномоченный по правам человека Чечни Нурди Нухажиев” (там же).

Чеченский омбудсмен также знаком читателям моей работы. Это он добился запрета и конфискации 58-го тома “Большой энциклопедии” со статьей о Чечне, которая показалась ему “экстремистской”. Странные представления у г-на Нухажиева об экстремизме, да и о правах человека! Получается, что у чеченцев, зарезавших Юрия Волкова, права есть, и они срочно нуждаются в защите, а как насчет прав самого Юрия и других москвичей?..

Господа начальники! Судьи, следователи, омбудсмены, депутаты-законотворцы и далее – до самого верха. Вы понимаете, что вы творите?!

Люди все видят. И делают выводы. Загляните в интернет – никаких иллюзий относительно “родной” власти. “Милиція сдала русский народ”, – это комментарий к заметке об убийстве Ю. Волкова (<http://www.mk.ru/incident/article/2010/07/20/517507-na-chistyih-prudax-delo-nechist...>). Вот отклик на убийство машиниста на Ярославском вокзале: “Они (кавказцы. – А. К.) как ходили с ножами да “травматикой”, так и будут ходить, а для нас еще придумают кучу законов и поправок” /<http://www.mk.ru/incident/news/2010/05/12/486160-na-yaroslavskom-vokzale-ubit...>). А это общая констатация: “Массовое убийство русских не считается в современной России таким уж ужасным преступлением” (<http://www.mk.ru/social/article/2010/03/30/458580-vzryiv-ksenofobii-strashnee-chem...>).

Вы что, полагаете, что такие настроения способствуют росту популярности власти? Или думаете, что все избиратели в РФ кавказцы? Конечно, Чечня и Ингушетия на выборах 90% голосов отдадут “кому следует”. Но, во-первых, потом от своих голосов отказываются (акция “Я не голосовал”), во-вторых, их высокие проценты в общей массе голосов едва различимы. Зачем же вы настраиваете против себя русское национальное большинство?

Ни к чему экстраординарному я не призываю. Обеспечить реальное равенство перед законом всех граждан и всех народов. Только и всего!

... А проблемы нарастают.

1. Количество мигрантов стремительно увеличивается. При сохранении нынешних тенденций демографы прогнозируют, что к середине века столицу “заселят чеченцы и ингуши. Их с учетом официальной статистики рождаемости и притока в столицу может стать не менее 44% от всех жителей города. Дагестанцы, азербайджанцы, таджики, казахи и грузины доведут численность мигрантов с Кавказа, Закавказья и из Азии до 60–80%” (“Комсомольская правда”, 20.01.2003).

Неужели наши правители думают, будто новые москвичи станут голосовать за “Единую Россию” и ее кандидатов? Да и сохранится ли т а к а я Москва в составе России – вопрос. Пример Косова, где албанцы заместили сербское население, перед глазами.

2. Нарастает конфликтный потенциал диаспор. Видимо, к этому подталкивает ситуация на исторической родине, обострившаяся в результате глобального кризиса и внутренних разборок. Наглядный пример – Киргизия.

Погромы в Оше потрясают своей жестокостью. Тысячи погибших и раненых. Сотни тысяч беженцев. Разрушенный полумиллионный процветающий

* Один из отпущенных – некто Сулейманов – уже “на вызовы на допрос не отвечает, его местонахождение неизвестно” (“МК”, 27.07.2010). Ну и как охарактеризовать работу следствия?!

город. Кстати, киргизы громили не только узбеков, но и русских. Об этом, со слов очевидца, рассказал “МК” (23.06.2010).

А ведь в России огромная киргизская диаспора. Кто даст гарантию, что однажды она не взорвется бунтом?

– Немыслимо! – скажете вы.

Отчего же? Едут к нам, в основном, с неблагоприятного юга республики. Те же люди. Те же проблемы. Тот же настрой.

К счастью, до противоборства с русскими дело пока не дошло. Но в июне и киргизская, и узбекская диаспоры проводили сходки и митинги с призывом к властям РФ вмешаться в ситуацию в Оше. География выступлений – в газете “Коммерсантъ” (17.06.2010). Массовые выступления проходили в десяти городах – от Воронежа до Южно-Сахалинска.

Возникает вероятность перенесения конфликта между киргизами и узбеками на нашу территорию. Проблема столь серьезна, что о ней заговорили эксперты (см. статью “Разборки на нейтральной территории. Конфликт между киргизами и узбеками может перейти на улицы России”. – “Независимая газета”, 18.06.2010). “В Москве уже были стычки между киргизами и узбеками”, – утверждает “НГ”.*

Чем могут обернуться такие конфликты в будущем, как их предотвращать или купировать, пока не знает никто. Легко выпустить джинна из бутылки, но попробуйте загнать его обратно.

Проблема диаспор требует решения. Надо начать хотя бы о б с у ж д а т ь ее. Искать в з а и м о п р и е м л е м ы е решения. Пока прерогатива принятия решений принадлежит нам. Но очень скоро она может перейти в чужие руки. Тогда будут решать за нас. И, весьма вероятно, – что делать с нами.

* Из последних сообщений: в результате массовой драки между киргизами и узбеками в Москве один человек был госпитализирован (“МК”, 28.07.2010).

ЕВГЕНИЙ ДОЛГИНИН
Герой Социалистического Труда

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ

Нам нужно обязательно сделать из этой катастрофы очень серьезные выводы, касающиеся нашей текущей жизни и наших планов на будущее. Я имею в виду наши планы по модернизации страны.

Д. А. Медведев

17 августа т. г. исполняется год со дня страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей многочисленные жизни и нанесшей колоссальный ущерб экономике страны. Эта авария (а правильнее сказать, катастрофа) всколыхнула общественное мнение, вопрос: "Как такое могло произойти в отрасли, достижениями которой мы вправе были гордиться, и на ГЭС, которая наравне с Красноярской была символом наших технических достижений в 60–80-х годах прошлого столетия?!" — постоянно присутствовал в умах людей и звучал на страницах прессы. Естественно, что необходимо было досконально разобраться в причинах, приведших к столь тяжелой катастрофе, чтобы принять адекватные и действенные меры, исключившие бы впредь возможность повторения подобного.

Именно в этом ключе мне хотелось бы повести дальнейшее повествование, учитывая, что причины такой катастрофы не могут ограничиваться лишь рамками данного объекта, и их нельзя рассматривать в отрыве от общих проблем гидроэнергетики (и не только гидроэнергетики, но и страны и общества в целом), как снежный ком накапливавшихся за последние десятилетия. Тема проблем гидроэнергетики ранее неоднократно поднималась на страницах различных изданий, однако всякий раз игнорировалась теми, от кого в первую очередь зависело решение всех проблем.

50–70-е годы прошлого столетия были годами наибольшего развития этой отрасли. Именно тогда введена в строй большая часть ныне действующих гидравлических мощностей в России и бывших советских республиках. СССР занимал лидирующие позиции в мире и был признанным авторитетом в области

ДОЛГИНИН Евгений Андреевич родился в 1930 году в городе Камень Алтайского края. Окончил МЭИ. Работал главным инженером КрасноярскГЭССтроя (руководил строительством Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС). Герой Социалистического Труда. Автор книги "Саяно-Шушенская ГЭС — мечта и боль" (М., 2009). Живет в Москве.

гидроэнергетического строительства и энергетического машиностроения. Была создана мощная научная и проектная школа, выросли опытные строительные коллективы, располагавшие необходимым производственным потенциалом для выполнения работ любой сложности, успешно функционировала система подготовки инженерных и рабочих кадров для отрасли. Специфика гидроэнергетики такова, что без такого слаженно работающего комплекса всерьез говорить об ускоренном развитии использования гидравлической энергии и увеличении ее доли в энергетическом балансе страны (а именно так сейчас ставится вопрос) просто нельзя, это будет пустым прожектерством и самообманом.

К сожалению, все то, что мы имели, было утеряно за последние десятилетия простоя, бездействия и “лихих” реорганизаций. Четверть века бездействия съела все. Сейчас не осталось ни одного стабильного строительного коллектива, имеющего крепкую производственную базу и опытный инженерно-технический и рабочий костяк, который мог бы ответственно поднять крупную стройку. Конечно, в современных условиях создавать нечто подобное БратскГЭСстрою невозможно и не нужно, но и на одних “вахтовых колесах” далеко не уедешь.

Аналогичное положение и с монтажными коллективами, такими как Спецгидроэнергомонтаж, Гидромонтаж, Гидроэлектромонтаж. Некогда это был “золотой фонд” отрасли, располагавший собственной производственной и проектной базой, стабильными составами высококвалифицированных кадров. Сегодня от былого остались лишь едва ли не одни бренды без внутреннего содержания.

От когда-то известных на весь мир проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций (“Гидропроект” и ВНИИГ с разветвленной сетью филиалов) тоже фактически остались лишь “приятные воспоминания”. Серьезных специалистов, имеющих солидный опыт создания крупных и уникальных гидроэнергетических объектов, сейчас считанные единицы, и те уже в весьма преклонном возрасте. Да и откуда им взяться? Высшие учебные заведения уже двадцать лет назад резко сократили набор на эти специальности, и их можно понять: нет спроса – нет и предложения. К тому же нынешним выпускникам в отсутствие серьезной практики трудно стать высококлассными специалистами, поэтому в массе своей они обречены или на переквалификацию, или на прозябание.

Наряду с этим сейчас уже возникла не менее серьезная проблема второго порядка: сегодня будущих специалистов, которым предстоит проектировать и строить уникальные плотины, монтировать и эксплуатировать уникальное оборудование, учат зачастую преподаватели, сами изучавшие тонкости профессии лишь по книгам, и это не может не сказаться на результатах.

Здесь есть и другая, общая для всей страны, сторона проблемы: быть инженером уже давно стало непрестижным, под влиянием оголтелой пропаганды все хотят быть ближе к “финансовым потокам”, а в технику идут лишь или отдельные энтузиасты, или от безысходности. При существующем положении на руководящих должностях предприятий оказываются не специалисты – техники или технологи, а в основном экономисты, юристы или менеджеры, которым чем бы ни управлять, лишь бы управлять. И те, учитывая хаос (и это еще мягко сказано!) в нашей сфере высшего образования, зачастую являются дипломированными недоучками. О чем тут можно говорить?! О каком техническом прогрессе?! О какой производственной безопасности?! А ведь именно это сейчас ставится во главу всего руководством страны и диктуется самой жизнью.

Эти нараставшие проблемы, вызванные общественно-политическим и экономическим кризисом 80-х – начала 90-х годов, многократно усилились проведенным в течение прошедшего десятилетия и нанесшим колоссальный ущерб стране реформированием ее энергетической отрасли. Идея перестройки управления отраслью родилась в головах ретивых реформаторов, получила поддержку в верхних эшелонах власти и имела в своей основе приватизацию наиболее лакомых государственных активов. Она жестко проводилась под эгидой Президента страны (В. В. Путин) и уже поэтому имела практически неодолимую силу. Ее авторы к электроэнергетике не имели никакого отношения, но были (а скорее всего, считали себя) крупными специалистами в области финансов и рыночных отношений. Мнение же специалистов, тех, кто создавал отрасль, чьим умом и трудом она вышла на мировой уровень, а по многим параметрам и превосходила его, игнорировалось, а наиболее активные противники преобразований просто изгонялись. Все это преподносилось как приве-

дение нашей чрезмерно централизованной структуры электроэнергетической отрасли в соответствие с передовым зарубежным опытом, при этом специфика российской энергосистемы просто не учитывалась. Да и ссылка на зарубежный опыт была насквозь ложной. Зарубежный опыт перехода на горизонтально ориентированные структуры был далеко не так однозначен, как это преподносили нам авторы реформы, он и сейчас является там предметом споров.

Так, на волне приватизационной “лихорадки” был продан частному владельцу, гражданину Израиля, прописанному на Кипре, “Гидропроект” – ведущий институт по проектированию гидроэлектростанций и гидротехнических сооружений (в последние десятилетия он проектировал также и атомные станции). Таким образом, начиная с 2008 года, вся в течение почти столетия наработанная им проектная и техническая документация, все материалы многолетних исследований и изысканий уже не являются собственностью России. Это значит, что Россия не может самостоятельно, без разрешения хозяина с Кипра (или из Израиля?) даже шага шагнуть при решении важнейших вопросов проектирования и эксплуатации большинства ГЭС (и частично АЭС).

Так же (под шумок) продали и ведущий в России институт по проектированию тепловых электростанций “Теплоэлектропроект”. Он со всеми архивами тоже был продан тому же хозяину (в одной “кошелке” с “Гидропроектом”). И ведь это не чья-то неразумная или злая воля, очень смахивающая на преступление, а реализация высочайше утвержденной программы приватизации энергетики.

Странное дело: Президент России (Д. А. Медведев) под впечатлением происшедшего на Саяно-Шушенской ГЭС с горечью констатировал, что государство теряет свое влияние на безопасность объектов, являющихся стратегически важными для страны. И это действительно так! Но, господин Президент, почему?! Не есть ли это результат вполне сознательно, последовательно и бездумно проводимой правительством линии на приватизацию в стране всего, что можно и чего нельзя? И даже сейчас, после происшедшей катастрофы в Саянах, эта линия и Вами, и Правительством страны продолжает проводиться с завидным упорством!

А ведь каждая гидроэлектростанция, а тем более такая высоконапорная, как Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская или Усть-Илимская, – это важнейший стратегический объект многопрофильного назначения, от технического состояния которого зависит жизнь сотен тысяч и даже миллионов людей и экономика целых регионов. И речь здесь идет не только и не столько об их значении в энергобалансе страны, а о гораздо более существенном! Передавать эти важнейшие для безопасности страны объекты, подобно какому-нибудь магазину или прачечной, в частные руки людям, ни в малейшей степени не отвечающим за это и озабоченным лишь извлечением максимальной для себя прибыли, – это ли не верх безумия, это ли не бомба замедленного действия, закладываемая под всё общество?! Тем более в обстановке тотального беззакония, коррупции и разгула криминалитета, уже достигших, по признанию наших руководителей, уровня угрозы национальной безопасности страны.

Картина состояния энергетической отрасли страны накануне саянской катастрофы будет неполной, если не коснуться сферы технического нормирования и технического надзора. Понятно, что служившая верой и правдой старая, еще советская, система технического нормирования нуждалась в коррекции в связи с изменившимися условиями, но то, что сделано с этой важнейшей сферой технического развития за прошедшее десятилетие и продолжает делаться, можно назвать не иначе, как “технический беспредел”.

В самом деле, как еще можно это назвать, когда технические условия и технические требования к продукции фактически поручено разрабатывать самому производителю? И, хотя после этого технические регламенты проходят через Правительство страны и Государственную Думу, это не более чем красивый бантик, придающий им вполне респектабельный вид. На этом этапе рассмотрения и утверждения документов ни министры, ни парламентарии по существу не могут изменить уже ничего, особенно учитывая существующую в стране клановую и коррупционную реальность. Рассчитывать же на то, что наши производители сами, по собственному желанию будут обременять себя инновационными регламентами, в условиях нашего псевдорынка, по меньшей мере, наивно.

По всей видимости, принятый в 2002 году известный Федеральный закон № 184-ФЗ “О техническом регулировании” разрабатывался или далекими от

реальности людьми, или, наоборот, людьми, очень хорошо понимающими, что и зачем они делают, но при этом очень далекими от интересов государства. Здесь, как и в случае с энергетической реформой, авторы закона декларировали в качестве основной цели реформы приведение нашего технического нормирования в соответствие с международным. Но они не удосужились вникнуть в существо, сопоставить наши и западноевропейские условия и “вместе с водой выплеснули ребенка”, то есть получилось “как всегда”. Ну а о техническом надзоре даже и говорить не приходится, он, если бы и был работоспособен после многочисленных “сливаний и разливаний”, то в своей деятельности был полностью парализован известными “антикоррупционными” правительственными ограничениями.

Благоприятный фон для возникновения и развития аварии на Саяно-Шушенской ГЭС начал создаваться в отрасли сразу же с приходом “команды Чубайса” к власти. Наряду с коренной ломкой отраслевой структуры она стала проводить активную работу по замене руководящего состава станции. Главным критерием подбора новых руководителей стало безусловное принятие “рыночных” изменений и полная управляемость руководителя – при полном отсутствии собственного мнения.

В соответствии с этими критериями прежний генеральный директор ГЭС В. И. Брызгалов оказался “профнепригоден”, несмотря на то, что он был одним из ведущих российских специалистов в сфере эксплуатации ГЭС, возглавлял освоение головных образцов гидросилового и электротехнического оборудования и много сделал для становления и воспитания крепкого эксплуатационного коллектива Саяно-Шушенской ГЭС. И вот этот знающий свое дело, самостоятельный и твердый в своих убеждениях, еще полный сил генеральный директор был “вытолкнут” Чубайсом на пенсию. Его сменил не имеющий ни соответствующего образования, ни надлежащего опыта работы, однако вполне управляемый и “гибкий” в отношениях с начальством инженер-строитель Толошинов (идеальная фигура для Чубайса и его команды). Новый директор (он вскоре пошел на повышение, а вместо него пришел такой же неподготовленный человек), конечно, тоже подбирал себе помощников “под себя”, под свой масштаб. И неудивительно, что ранее едва ли не образцовый коллектив, который с честью прошел через все трудности временной эксплуатации и доводки головных образцов оборудования, при новом начальстве стал быстро мутировать, постигая “рыночную” этику и психологию со всеми вытекающими последствиями.

Претерпела коренные изменения и внутренняя структура станции: централизованная цеховая структура, естественная для производственного предприятия, была заменена на “рыхлую” управленческую – с самостоятельно хозяйствующими так называемыми “бизнес-единицами” вместо цехов. Каждая такая бизнес-единица четко ориентирована лишь на получение своей (местечковой) прибыли, резко усложнились межцеховые связи, и в результате гидроэлектростанция – этот сложный производственный комплекс – фактически потеряла свою монолитность в управлении, что, конечно, явилось благоприятной средой для возникновения аварии.

Безответственная реформа в энергетике резко снизила также и управляемость всей отраслью. Собственно, это было заложено в идеологии реформы: авторы предполагали, что централизованное управление отраслью в рыночных условиях вредно, и что рынок сам отрегулирует всё. ОАО “Русгидро”, фактически присвоившее себе все активы входящих в него гидроэлектростанций и оставившее им лишь права управляемых “дочек”, в соответствии с уставом ориентировано лишь на максимальное извлечение прибыли, все остальное: безопасность работы станций, общегосударственные интересы и перспективы развития важно лишь постольку, поскольку оно влияет на достижение этой главной цели.

Соответственно подобраны и руководящие кадры: в руководстве компанией и ее основными подразделениями специалисты-гидроэнергетики или просто энергетики большая редкость, а те, что есть, в основном занимают вторичные или третьестепенные должности. У руля компании находятся в основном юристы да люди экзотических для энергетики профессий, главное для людей этого круга – это принадлежность к соответствующему клану и безусловная, стопроцентная корпоративность. О министерстве энергетики России и говорить не приходится, не будет преувеличением сказать, что эта структура имеет прак-

тически нулевое влияние на положение дел (и это тоже идеология проведенной реформы!).

Саяно-Шушенская ГЭС имеет свою историю, которую надо учитывать при анализе того, что произошло 17 августа прошлого года. Дело в том, что турбины, запроектированные и изготовленные для нее Ленинградским металлическим заводом имени Ленина, при проведении в 80–90-х годах натурных испытаний показали себя не с лучшей стороны, и главным их недостатком была повышенная (недопустимая) вибрация в весьма широком диапазоне нагрузок, поэтому Комиссия по приемке ГЭС в эксплуатацию сочла необходимым заменить их в течение нескольких лет на новые, свободные от этого недостатка, а до замены рекомендовала не работать в этом, запрещенном диапазоне мощностей. РАО ЕЭС России, а затем и “Русгидро” в течение 9 (девяти!) лет пальцем о палец не ударили для выполнения этого предписания. Мало того, они разрешили эксплуатацию турбин в запрещенной зоне, причем в самом неблагоприятном режиме колебания нагрузки. Что это: безграмотность, безответственность, халатность? Скорее, и то и другое вместе. Всё это предопределило аварию, она рано или поздно должна была случиться, и вина руководства “Русгидро”, а до него чубайсовского РАО ЕЭС России здесь более чем очевидна.

Сейчас, когда уже “клюнул жареный петух”, “Русгидро” хвастается своими успехами, что, мол, они быстро и оперативно заказали на заводе новые турбины, свободные от ранее имевшихся недостатков. А что вы делали ранее, господа? Прибыли считали? Поставка этих турбин начнется уже в будущем году, но не факт, что они будут лучше прежних: уж слишком поспешно были выполнены и конструкторские проработки, и модельные испытания.

Кстати сказать, это далеко не единственный крупный “прокол” “Русгидро” в решении вопросов Саяно-Шушенской ГЭС. Комиссией по приемке ГЭС в эксплуатацию было указано на необходимость незамедлительного строительства берегового водосброса, так как проектный водосброс через плотину оказался частично неработоспособным. РАО ЕЭС России, а затем и “Русгидро” несколько лет тянули с началом его строительства, а потом, когда стройка началась, она велась “ни шатко, ни валко”: то не было денег (огромные прибыли от Саяно-Шушенской ГЭС исчезали в чьих-то карманах), то постоянно менялись подрядчики. В результате этого смета выросла многократно. Сейчас, после аварии, потребовались героические усилия, чтобы хотя бы вчерне закончить строительство первой очереди и более или менее обезопасить сооружение от енисейских паводков.

Выше мы уже говорили о пагубном воздействии чубайсовщины на некогда сплоченный и опытный коллектив станции. Ведь, в самом деле, специалистам дореформенного поколения невозможно даже представить себе, чтобы главный инженер станции, опытный специалист (не юрист!), не мог бы перед лицом очевидной угрозы крупной аварии (а эта угроза была действительно очевидной) принять единственное (тоже очевидное) правильное решение. До какого состояния страха за свою должность нужно довести человека, чтобы он не решился без одобрения высокого начальства вовремя остановить аварийный агрегат. Он посчитал более правильным не портить эксплуатационные показатели этой аварийной остановкой, а заодно не портить и настроение московскому начальству, слетевшемуся в Саяны на семейный праздник одного из руководителей. Благо, что через два дня должен был по графику вводиться после ремонта шестой агрегат, и тогда “злополучный” второй можно было бы остановить планово. Повторяю, в “дореформенные” времена это было просто невозможно.

Таковы широко не разглашаемые подробности развития аварийной ситуации на ГЭС. Главный инженер, конечно же, виноват, и в уголовном деле он, вероятно, пойдет в первом ряду. Ну, а как же остальные? Нет, не работники станции, их уже назвали пофамильно – почти два десятка человек, хотя здесь легко проследить тенденцию: их набирали по принципу “числом поболее, ценою подешевле”. Речь идет о тех, чьими реформаторскими усилиями были созданы почти идеальные условия для возникновения этой беспрецедентной в истории гидроэнергетики катастрофы, и о тех, кто в течение нескольких лет бездарно руководил отраслью, постепенно подводя к тому состоянию, что где-то обязательно должен был произойти “взрыв”. Всё складывается так, что они уже выведены за рамки ответственности, по крайней мере, все последние решения прямо указывают на это.

Сразу же после аварии, как водится, были образованы многочисленные комиссии, общее руководство расследованием, как известно, было поручено Правительственной комиссии под председательством г-на Сечина, техническое расследование проводилось комиссией Ростехнадзора. Было очевидно, что в своей работе комиссии столкнулись со значительными трудностями, ведь любому непредвзятому специалисту (и даже не специалисту) было ясно, что корни этой трагедии уходят далеко за пределы станции и затрагивают круг «неприкасаемых». Поэтому появились многочисленные заявления и разоблачения (вспомним «сенсационное» разоблачение персонала станции в мошенничестве, сделанное г-ном Сечиным в сентябре 2009 года), целью которых было придание расследованию нужного (не трудно предположить, кому) вектора, в связи с этим сроки предоставления заключения о причинах катастрофы постоянно переносились, пока, наконец-то, 4 октября 2009 года Акт технического расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС был опубликован.

Естественно, что специально «отшлифованный» в нужном направлении, этот акт вызвал волну вопросов и общественного неприятия. Показательно, что его полный текст просуществовал в интернете лишь несколько часов, после чего был снят по чьему-то указанию. Учитывая большой общественный резонанс, вызванный ходом расследования, и несогласие с тенденциозностью выводов, к нему подключилась Государственная Дума как демократический избранный орган, по идее способный объективно отразить общественное мнение и устранить тенденциозность в расследовании, коль скоро такая была допущена.

К работе Парламентской комиссии было привлечено большое число экспертов, ее члены неоднократно выезжали на место аварии, был собран и исследован большой фактический материал, который должен был лечь в основу заключения. Многочисленные факты неопровержимо свидетельствовали о необоснованности основных положений проведенного реформирования энергетики и о серьезных упущениях в руководстве отраслью со стороны РАО ЕЭС России и его преемников, в частности, «Русгидро». Были вскрыты также серьезные недостатки в отраслевой и общегосударственной нормативно-правовой базе, в организации технического надзора, в кадровой политике руководителей отрасли и т. д.

Заседания Парламентской комиссии превратились в жаркие баталии между «единым» большинством и остальными членами комиссии. Руководствуясь принципом «Своих не сдаем!» и не стесняясь в методах, единороссы постарались исключить из результирующего документа всё, что указывало бы на причастность к аварии высоких управленческих структур, и локализовать круг виновных в пределах персонала станции. Учитывая их подавляющее большинство в комиссии, это им, конечно, удалось. Однако попытки власти развести по разным углам причины саянской катастрофы и «чубайсизацию» энергетики и скрыть эту связь, как некую «государственную тайну», теперь для любого неангажированного специалиста вполне очевидны.

В опубликованном 13 января 2010 года «Итоговом докладе Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с возникновением чрезвычайной ситуации техногенного характера на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года», несмотря на вынужденное признание системного характера причин аварии и на многочисленные примеры недостатков (и просто безобразий), иллюстрирующих этот тезис, вся вина возлагается на эксплуатационный персонал, а все предложения практически сводятся лишь к внесению малозначимых изменений в отдельные нормативные акты, к новой реорганизации многоотраслевого Ростехнадзора да к выкупу института «Гидропроект» у израильского хозяина с Кипра. Впрочем, далеко не факт, что даже эти минимальные предложения воплотятся в действия.

Таким образом, работа Парламентской комиссии еще раз наглядно подтвердила истинные цели расследования: скрыть от общества глубинные причины этой катастрофы и увести от ответственности основных виновников, сидящих в мягких креслах московских офисов. Поэтому нельзя не согласиться с оценкой итогового доклада Комиссии, данной некоторыми из привлеченных к ее работе экспертов, она звучит вполне определенно: «Это профанация!».

Сейчас на ГЭС полным ходом идут восстановительные работы, введены в строй уже три аварийных агрегата. Собрав специалистов со всей России, удалось удовлетворительно пережить зимний период и встретить паводок, благо, что он был небольшим. По предписаниям Ростехнадзора вносится ряд изме-

нений в проект станции: обновляются средства автоматики, дополнительно вводится система постоянного мониторинга вибрации агрегатов и др. Это всё то, что должна была сделать задолго до аварии, но не сделала, компания “Русгидро”. Некоторые изменения носят вполне экзотический характер, например, во избежание повторения затопления из здания ГЭС хотят сделать некое подобие подводной лодки, секционировав его железобетонными герметичными стенами. Ничего, кроме неудобства в эксплуатации, а значит, и дополнительной вероятности возникновения аварийной ситуации, это, конечно, не принесет. Технические средства безопасности – это хорошо и необходимо (правда, тоже до определенного предела, за которым начинается обратное движение), но без коренных изменений управления отраслью и улучшения организации за счет одних лишь “технических мероприятий” безопасность не возрастет. А эта зона, к сожалению, ныне является “зоной табу”.

Недалеко то время, когда Саяно-Шушенская ГЭС войдет в строй на полную мощность, но все те организационные, системные причины, в результате которых, по большому счету, и произошла авария, остаются. Это не может не тревожить! Тем более, что на Саяно-Шушенской ГЭС существует еще и отдельный пласт проблем, относящихся к гидротехническим сооружениям, и потенциально опасный куда большими “неприятностями”, чем то, что случилось. “Русгидро” пока что отмахивается от них. Но это отдельный большой разговор.

У всех свежи в памяти жесткие и решительные слова Председателя правительства В. В. Путина, побывавшего на месте катастрофы. Он требовал провести расследование “максимально тщательно и объективно” и “невзирая на лица”. В том, что это будет именно так, он заверял и общество, и семьи погибших. Люди тогда поверили ему. Так неужели то, что мы имеем сейчас, это и есть итог того самого – “тщательного, объективного и невзирая на лица”?! Вряд ли кто сегодня поверит в то, что авария такого масштаба произошла по вине лишь нескольких нерадивых эксплуатационников. Это просто абсурд! А ведь дальше остаются только прокурорские выводы, которые тоже не в силах что-либо изменить (кого из девятнадцати “стрелочников” просто уволят, кого посадят – это, по существу, не так важно). А что еще есть, кроме этих “стрелочников”?

Изменения в “Русгидро”, в звене, наиболее ответственном за все происшедшее, даже косметическими назвать нельзя. Уволен с должности руководителя бизнес-единицы “Сибирь” бывший директор Саяно-Шушенской ГЭС Толошинов да заменено несколько членов правления. Вместо одних, ни по образованию, ни по опыту работы не имевших никакого отношения к гидроэнергетике, назначены другие такие же (в основном юристы). Про такие замены в народе обычно говорят: “Сменяли шило на мыло!” Это даже не “косметика”, а ее имитация! Да и катастрофа-то на Саяно-Шушенской ГЭС вряд ли была причиной этих замен, это, скорее, отражение межклановой борьбы за собственность, а авария – лишь удобный повод. Минэнерго России, как и “Русгидро”, возглавляемое кем угодно, только не энергетиками, тоже осталось в “девственном”, далеком от реальных проблем энергетике, состоянии.

Руководители “Русгидро”, очнувшись после встряски и поняв, что наказание минует их, вновь подняли голову и всюду кричат о достижениях своей компании. С этакой “саморекламой” (вот, мол, мы какие щедрые!) постоянно твердят, сколько средств вложено компанией в помощь пострадавшим, какие распрекрасные школы и детские сады строятся за ее счет, и о том, что у входа на ГЭС по их инициативе и на их деньги даже заложен новый храм. Конечно, и помощь пострадавшим, и строительство храма – это благое дело, но тем, кто виновен в гибели десятков людей и во всей той ужасной трагедии, что произошла, лучше это делать молча!

Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, как вспышка молнии, высветила множество проблем страны и общества, тесно сплетенных в единый тугой узел. К сожалению (впрочем, это можно было предполагать!), это прозрение было лишь мгновенным, а далее всё опять погрузилось во мрак непонимания, некомпетентности и топкое болото безразличия и нежелания чиновного (и не только!) люда изменить что-либо, если это не дает ему личной выгоды или содержит угрозу его благополучию. И так до следующего потрясения. Каким оно должно быть, чтобы власть наконец-то заметила то, что не замечать уже невозможно, и нашла в себе силы переступить через себя и отойти от непродуманных, ошибочных решений?!

В этом году журнал уже обращался к судьбе и деятельности Иоанна Грозного. И дело не только в 580-летнем юбилее, приходящемся на август, но и в том, что крутые методы управления сегодня востребованы обществом. Страну растаскивают коррупционеры, изношенная инфраструктура разваливается. В этих условиях велик соблазн резких «императивных» решений. О том, насколько действительны такие решения, способны ли они остановить распад и обеспечить возрождение России, мы поговорим в ближайших номерах. А пока редакция предлагает читателям статью известного политолога Андрея Фурсова – размашистую, страстную, далеко не во всем бесспорную, но, без сомнения, содержательную и интересную.

АНДРЕЙ ФУРСОВ

ОПРИЧНИНА — ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ?

Опричнина – ключевое событие русской истории последних пяти веков. Именно она заложила фундамент той уникальной формы власти – автосубъектной*, – которая мутировала, слабела, возрождалась, менялась и почти при каждой серьезной смене не только оставалась самой собой, но и приобретала всё более чистую, свободную от собственности и “классовых привесков” (В. В. Крылов) форму – *la plus ça change la plus ça rèste meme chose*. Более того, опричнина стала не только фундаментом, но одновременно и эмбрионом этой власти, которой суждено было развиваться по схеме преемственность через разрыв.

Наконец, опричнина подарила русской истории один из ее главных принципов – опричный, отрицающий княжебоярский принцип, оттолкнувшись от него, породил принцип самодержавный и таким образом оформил и, если угодно, замкнул триаду, придав, как это ни парадоксально, обоим принципам самостоятельный характер и заставив их жить собственной жизнью. И в этой собственной жизни каждого принципа именно опричный связывает самодержавно-национальный (“народный”) и олигархический (княжебоярский) принципы и в известном смысле снимает (в гегелевском, диалектическом, смысле) противоречия между ними.

* Подр. см.: Фурсов А. И. Русская власть, Россия и Евразия: Великая Монгольская держава, самодержавие и коммунизм в больших циклах истории (*très-très grand espace dans une très-très longue durée*) // Русский исторический журнал. – М., 2001. – Т. IV, № 1–4. – С. 15–114.

ФУРСОВ Андрей Ильич — директор Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета; руководитель Центра методологии и информации Института динамического консерватизма; автор 250 научных публикаций, включая 9 монографий.

Опричнина, как и ее создатель Иван Грозный, — оболганное явление нашей истории, порой сознательно, порой от непонимания. Оболганное как большими мастерами науки и литературы, так и мелкой шантрапой от тех же науки и литературы, а теперь еще и кино (достаточно вспомнить фильм “Царь”).

В работе я хочу остановиться на нескольких вопросах:

опричнина как историческое явление, его корни — они столь же необычны, как сама опричнина;

фактическая сторона дела — очень кратко, основные вехи;

суть опричнины, ее причины, последствия — кратко-, средне- и долгосрочные;

опричный принцип русской истории в противовес олигархическому и самодержавному, с одной стороны, и институциональному, с другой;

реализация опричного принципа в русской истории;

“грозенские” (Иван IV, Сталин) и “питерская” (Петр I) версии опричнины;

нужна ли и возможна ли в России сегодня (или завтра) новая опричнина (неоопричнина) или, точнее, нужно ли и возможно ли возвращение опричного принципа в той или иной форме, и если да, то какова может быть цена.

Истоки опричнины — издали долго

Причины, породившие опричнину, уходят в XIV–XV вв., в ордынскую эпоху — “Крот Истории роет медленно” (К. Маркс). Превращение русских князей в улусников Золотой Орды принципиально изменило конфликты в среде русской знати, их вектор. Если в домонгольскую эпоху они по своей логике мало чем отличались от западноевропейских, то под владычеством Орды они стали иными. Поскольку княжества боролись за место под “ордынским солнцем” (или под “ордынским зонтиком”) и от этого зависела судьба не только князя, но и бояр, последние, чтобы взять верх над соперниками, то есть другими княжествами, должны были поддерживать своего князя, а не бороться с ним, не раскачивать лодку. В результате побеждали те княжества, в которых отношения князя и боярства приобретали характер симбиоза.

Больше и быстрее всех в создании такой вполне олигархической конструкции преуспела Москва, и это стало залогом ее побед. Именно настырные московские бояре в 1359–1363 гг., когда ярлык на правление был отдан Ордой суздальскому князю Дмитрию Константиновичу, постоянно ездили в Сарай и не мытьем, так катаньем (и взятками, конечно) выторговали-выклянчили у хана и его “турз-мурз” ярлык для своего князя.

Именно московские бояре во главе с И. Всеволожским в 1432 г. окончательно добились у Улу Мухаммеда ярлыка Василию II, а затем во время “великой замятни” уходили вместе со своим князем в Коломну (1433 г.), Вологду (1446 г.), Тверь (1446 г.), а не оставались в Москве с победителями — Юрием Дмитриевичем и Дмитрием Юрьевичем (Шемякой). Московским боярам нужна была победа, но только “одна на всех”, и они, бояре, готовы были не стоять за ценой, поскольку знали: их сила — в князе, а сила князя — в них, поскольку нет у него иной опоры, кроме них.

Разумеется, все это не исключало конфликтов между князем и боярами. Так, в 1379 г. в Москве был казнен боярин, сын последнего московского тысяцкого И. В. Вельяминов — то была первая публичная казнь в Москве и, что символично, первым казненным был боярин. Были и другие случаи. И тем не менее до конца XV в., до тех пор, пока была Орда, княжебоярский симбиоз работал.

Все изменилось на рубеже XV–XVI вв., когда совпали “уход” Орды, присоединение Москвы огромного массива новгородских земель и женитьба Ивана III на Софье Палеолог. Наличие Орды цементировало княжебоярский союз перед лицом хана. Теперь, с исчезновением Орды, сам великий князь становился “ханом” (православным), намечая, пока пунктиром, отделение от боярства. При этом внешнее, формальное отделение обгоняло внутреннее, содержательное. Дело в том, что новая (вторая) супруга Ивана III Софья Палеолог сделала всё, чтобы устроить при московском великокняжеском дворе новые порядки. При Иване III это не очень-то удалось: хотя Софья и попыталась завести при дворе новый пышный и строгий церемониал по византийскому образцу, отношения князя и бояр в целом оставались “по старине”, патриархаль-

но-домашними. Однако с вокняжением в 1505 г. Василия III всё изменилось – новый князь, потомок не только Рюриковичей, но и Палеологов, повел себя с боярами как самодержец: практически перестал советовать с ними, открыто наказывал несогласных, и урезание языка было одним из наиболее мягких наказаний. Так византийская форма обрамила автосубъектное, наведенное Ордой, содержание, и на эту-то форму и “ловятся” историки, не замечая содержание и разглагольствуя о “византийском влиянии”.

Однако наиболее важным фактором подрыва княжебоярского симбиоза, заложенной под него миной замедленного действия был массив новгородских земель, прихваченный Москвой в 1470-е годы. Этот массив позволил московскому князю начать в невиданном доселе масштабе раздавать земли в качестве поместий, то есть реально развивать поместную систему. И хотя первый русский помещик (Бориско Ворков) упоминается еще в 1328 г., реальное развитие поместной системы стартовало в конце XV в. Получали поместные земли в массе своей “дети боярские” (то есть дворяне). Впрочем, поместьями наделялись и представители боярских родов, однако, прежде всего, поместья были средством существования массы мелкого и среднего служилого люда. В результате появился огромный слой, который численно превосходил князей и бояр, слой, чье обладание вещественной субстанцией полностью зависело от великого князя (после 1547 г. – царя). Последний был единственным, кто мог оградить их от произвола богатых и знатных. Ну а великий князь получил, наконец, иную, чем боярство, социальную опору, что объективно улучшало его властную позицию в рамках княжебоярского союза.

Основные противоречия внутри господствующих групп – между князем и боярством, между боярством и дворянством – наметились уже на рубеже XV–XVI вв. Однако в первое тридцатилетие XVI в. они не приобрели острого характера, оставались латентными – эти десятилетия были относительно спокойным временем в русской истории: экономический подъем, отсутствие крупномасштабных эпидемий, в целом удачная внешнеполитическая ситуация (за исключением поражения при Кропивне в 1514 г. и “крымского смерча” “в исполнении” Мухаммед-Гирея в 1521 г.). В целом Московия успешно “переваривала” то, что проглотила при Иване III.

Ситуация изменилась к 1550-м годам: процесс “переваривания” закончился, наследие ордынско-удельной эпохи (прежде всего земельный фонд) было “проедено”; бояре, привыкшие к вольнице 1530–1540-х годов, причем к вольнице в отношениях как с малолетним, а затем юным великим князем, так и с “детьми боярскими”, потихоньку “борзели”. Противоречия в обществе по поводу доступа к общественному пирогу различных слоев господствующего класса, их доли в нем (а в России это доступ только через власть) стали обостряться. При этом противоречия внутри господствующего класса (как между верхами, с одной стороны, и средними и нижними слоями, с другой, так и между наиболее знатными кланами, с третьей, усиливались на фоне обострения противоречий между господствующим классом в целом и населением. Такая ситуация сама по себе требовала консолидации господствующих групп, их замирения. Не случайно собор 1549 г. – фактически первый земский собор – был назван Собором примирения, главной задачей которого прекратить боярские злоупотребления властью по отношению к детям боярским.

Задачи консолидации господствующих групп (одна из серьезнейших задач практически для всех структур русской власти*) в рамках централизации власти решали (или пытались решить) реформы “Избранной рады”. Однако если первый этап реформ (первая половина 1550-х годов) способствовала некоторой стабилизации социальной ситуации, то на втором этапе стало очевидно, что какие-то группы должны были вынести на себе основное бремя реформ, и по всему выходило, что это прежде всего крестьянство и в значительной степени низы и средние слои господствующего класса. И это при том, что по “приговору о службе” 1556 г. весь господствующий класс, то есть не только помещики, но и вотчинники, становился военно-служилым, проще говоря, ставился под жесткий контроль центральной власти. Всё это вело к новому обострению противоречий, которое в условиях сложной внешнеполитической ситуации становилось прямой и явной угрозой центральной власти. Разре-

* Подр. об этом см.: Фурсов А. И. Последняя смута // Политический журнал. М., 2004, № 1. – С. 4–7.

шить эти противоречия или хотя бы максимально смягчить, равно как и двигаться дальше по пути укрепления своей власти без конфликта с боярством было невозможно. Конфликт назревал, первые ходы в нем сделал царь.

В 1562 г. новая духовная грамота несколько отодвинула Боярскую думу (направление удара – власть); затем было издано новое уложение, запрещающее княжатам продавать и менять старинные родовые земли (направление удара – собственность). К тому же Иван IV объявил решение о пересмотре сделок по княжеским вотчинам аж с 1533 г. То была “черная метка”, причем весьма адресная: был четко очерчен первый круг князей, на которых распространялся пересмотр.

В этом “круге первом” оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути, царь “вырыл топор” социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырех кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: “кто кого”. А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княжебоярский, работали против царя, жестко привязывали его к боярству в рамках симбиоза ордынских времен. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, превратив царя в единодержца.

Но как это сделать? Особенно если учесть, что даже первые шаги царя вызвали ответную реакцию – в Литву бежит и начинает там антигрозненскую пропаганду его бывший друг Андрей Курбский; духовенство и Боярская дума требуют прекратить гонения на знать (жертвами репрессий пали Репнин и Кашин – князья из рода Оболенских и Овчиных). Ситуация предельно обострилась к концу 1564 г.

Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс. Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII в., особенно “трусами” Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии. Дворянство как класс еще предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы. Во-вторых, “создание дворянства” требовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно. В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.

Другой вариант – выкидывать белый флаг, растворяться в княжебоярстве, в олигархической централизации, что означало опасность для государства, лично царя и даже династии (достаточно вспомнить события марта 1553 г.). Но был третий вариант, неочевидный, на первый взгляд, просто немислимый, и он-то и был реализован.

Третий вариант – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное, выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и по одной из версий умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника. Царь нашел решение, которое заложило основу особой власти в форме самодержавия и определило ход русской истории на несколько веков. То была “опричнина”. Необычная форма – княжебоярский симбиоз – вызвала к жизни и необычное, чрезвычайное средство ее устранения, выковала своего могильщика.

Опричнина – как много в этом слове...

3 декабря 1564 г., помолвившись в Успенском соборе и картинно (царь был большой лицедей) простившись с митрополитом Афанасием, членами Боярской думы, служилыми людьми, царь с семьей и близкими людьми “погрузился” в санный поезд и под охраной нескольких сот вооруженных людей отправился на богомолье, увозя, к удивлению провожающих, государственную казну и наиболее почитаемые иконы. Миновав Коломенское и Троицкий

монастырь, он обосновался в Александровой слободе, которая, по сути, была естественной крепостью.

Из Александровой слободы царь отправил письмо митрополиту, в котором предъявлял обвинения в адрес боярства и духовенства, говорил о том, что налагает на обидчиков опалу и отказывается от трона, поскольку не может править (казнить и миловать) по своему уразумению. Отречение от царства и одновременно опала – в этом есть определенное противоречие: налагать опалу на высшие чины может только царь, а он-то как раз и отказывается от этой “функции”.

В то же время царские гонцы распространили в столице письма (по сути – прокламации), в которых от имени царя говорилось, что опалы налагаются только на бояр, и что на посадский люд гнева нет. Таким образом, царь натравливал посадский люд на бояр, используя, выражаясь марксистским языком, классовые противоречия и находясь, используя уже другой язык, в режиме активного выжидания. Выжидание это далось царю нелегко: он знал, что играет ва-банк и что может проиграть – всего за один месяц, за декабрь 34-летний царь постарел на несколько лет, ссутулился, облысел. Но паузу выдержал, не сморгнул. Сморгнула противоположная сторона, хорошо помнившая июньский бунт 1547 г., когда толпа рвала боярина Глинского, и справедливо опасавшаяся народного бунта.

5 января 1565 г. депутация, состоявшая из “высокопоставленных лиц”, била Ивану челом сменить гнев на милость, возвратиться на царство и править страной, как ему хочется. Условием возвращения Иван выдвинул признание государевой воли единственным источником власти и закона. Царь становился над верхушкой господствующего класса и ее институтами, и бояре согласились. По сути это была революция внутри господствующего класса, ломавшая двухсотлетние княжебоярские устои. Однако царь не был наивным человеком, он прекрасно понимал то, что в начале XX в. сформулирует Ленин: грош цена революции, не способной себя защитить. Ну а лучшая защита – нападение. Средство Иван Грозный изобрел сам – опричнину.

Объявив о возвращении, царь в то же время поставил депутацию в известность, что частью страны будет управлять сам, с помощью своих людей; в этой части не будет Боярской думы, приказов и т. п. Царь решил “учинить ему на своем государстве себе опришнину”, т. е. выделить особый удел, в котором заводились новые порядки, новая администрация, новая господствующая группа, а точнее, господствующая группа нового типа – опричники.

В начале XX в. Ленин сказал: дайте мне организацию профессиональных революционеров, и я переверну Россию – и перевернул, создав новую властную, а затем и социальную систему. Перевернул, правда, с помощью исторических обстоятельств, этой организацией не только не созданных, но и непредвиденных (помощь и немецкого Генштаба, и банкиров Уолл-стрита). Перефразируя Ленина, Иван IV мог бы сказать: дайте мне организацию особого типа, и я переверну Русь – и перевернул, создав новую властную, а затем социальную систему (самодержавие). Но сделал это без иностранной помощи.

Иван Грозный разделил страну на две части: опричнину и земщину. В земщине продолжали править Боярская дума и приказы – но это на бумаге, по сути и ее контролировали опричники, лишь формально ограниченные опричной зоной. В последней же опричники хозяйничали и по сути и по форме. Опричный корпус в разное время достигал численности от 1 тыс. до 5 тыс. человек; отбирал в него сам царь. В корпусе служили представители всех слоев господствующего класса – князья, бояре, дети боярские (дворяне). Вступление в опричники снимало “ранговые” различия. Это усиливалось тем фактом, что, вступая в опричнину, человек должен был отречься от родных и друзей, обязывался служить царю и искоренять крамолу, кусая врагов царя, подобно псам, и выметая измену из страны (отсюда знак опричника – собачья голова и метла).

По сути, опричнина была первой в русской истории чрезвычайной комиссией (ЧК), организацией, поставившей чрезвычайный принцип над институциональным. Они потом не раз еще явятся в русской истории. Гвардия Петра I, ЧК большевиков: “быль царей и явь большевиков” – так об этом напишет Максимилиан Волошин в стихотворении “Северовосток”. Но первой стала опричнина, а изобретателем и генеральным/гениальным конструктором был Иван

Грозный, крупнейший из авторов русских властных инновационных проектов.

По форме организации опричнина отчасти копировала церковную, точнее – монастырскую. Опричную “братию” возглавлял игумен (сам царь), были в ней пономарь, келарь, рядовые монахи. Была общая трапеза. Верхние одежды были грубыми – нищенскими или монашескими, в руках опричника – посох. Но трапеза была не аскетической, а обильной, изысканной; под грубой верхней одеждой скрывалась одежда из тонкого сукна на собольем или как минимум куньем меху и шитая золотом; на поясе под одеждой висел длинный нож. Перед нами эдакий светский орден меченосцев, имитирующий церковный; полтора века спустя в виде “всепьянейшего и всешутейшего собора” Петр I доведет эту имитационную, “опускающую” церковь как институт логику до конца.

ЧК под названием “опричнина”, по мысли царя, должна была сломить сопротивление знати. Но сопротивление чему? Какое сопротивление стремился упредить царь? Сопротивление тому, что составляет главное по сути в опричнине – так называемый “земельный террор”. Именно он был “основной операцией”, которую должен был обеспечить и прикрыть физический террор, творимый опричниками. Последний был важен, особенно в самом начале, чтобы запугать, как говаривал робертпеннуорреновский Вилли Старк, “чтобы их внуки в этот день описались, сами не зная почему”. Но физический террор, масштабы которого сильно преувеличены, не был ни единственным, ни тем более главным в опричнине. Главным было “перебрать людишек” и их земли; иными словами, осуществить обещанный пересмотр княжеских сделок по земле, совершенных после 1533 г., то есть после того, как со смертью Василия III ослабла государева узда на шее боярства. Конкретно речь шла о том, чтобы снять князя или боярина с насиженных мест, даже если это его вотчина, и переселить в другое место, выделив ему там землю – практика вполне ордынская. Но дело было не столько в собственности, в подрыве экономических позиций, хотя и в этом тоже, а во власти: “земельный террор” рвал связь князей с их детьми боярскими, у них “переменялся двор”, и их позиции слабели. Недаром одной из любимых фраз Ивана Грозного была “перебрать людишек”. О том, к каким результатам привел “перебор” – чуть позже, а сейчас – кратко – об основных событиях опричнины.

Уже в 1565 г. состоялись первые казни. В 1566 г. возник конфликт трехсот земцев – участников Собора 1566 г. с царем (челобитная об отмене опричнины). В 1567 г. – новые репрессии. В 1568 г. вспыхнул конфликт царя с митрополитом Филиппом. В следующем году был уничтожен последний удельный князь Владимир Старицкий с семьей. В 1570 г. разгромлен Новгород и проведено дело “о новгородской измене” в Москве. За этим последовал второй тур “московского дела” – арест, казни и уничтожение полутора десятков опричников, включая Вяземского, Черкасского, Басмановых.

За время опричнины было пролито немало крови – особенно по сравнению с правлением Василия III. Однако по сравнению с тем, что творили современники Грозного царя в Западной Европе – Карл IX во Франции во время религиозных войн (Варфоломеевская ночь и другие погромы), Генрих VIII и Елизавета I в Англии, герцог Альба по приказам испанского Филиппа II в Нидерландах – действия Ивана IV выглядят весьма и весьма умеренно. О злодействах западных королей и королев критики Ивана IV, как западные, так и отечественные, почему-то не вспоминают, а ведь всё познается в сравнении. Позиция западных пропагандистов разных веков понятна: им нужно очертить Россию, русских и их царя и обелить себя – одним из качеств западной цивилизации является фантастическая самоапология, изощренное самооправдание, умение табуизировать неприятные темы (инквизиция, религиозный террор, колониализм и др.). Менее понятна позиция местных русофобов, раздувающих до вселенских масштабов то, что не идет ни в какое сравнение с социальными преступлениями западных верхов. Становление центральной власти повсюду в Европе во время кризиса “длинного XVI века” (1453–1648 гг.) протекало с кровью, и русские “потoki” были, пожалуй, одними из самых малых. Тем более, что длилась опричнина всего семь лет, а затем, в 1572 г., была отменена.

Стоп. Откуда мы знаем, что она была отменена? И если была, то в каком смысле? Именно “отмена опричнины”, прояснение этого вопроса позволяет лучше понять ее причины, суть и результаты, пролить на них свет.

1572 год – куда подевался “гиперболоид инженера Грозного”?

Впервые предположение об отмене опричнины высказал – без каких-либо доказательств – большой выдумщик по части русской истории Карамзин в 1825 г. Тезис был принят. В 1925 г. были опубликованы мемуары Штадена – немца, жившего в России во времена опричнины. Штаден, представивший себя в мемуарах опричником, заявлял, что опричнина была отменена в 1572 г.

Я согласен с Д. Альшицем, что Штадену верить нельзя. Опричником он не был, жил в земщине и сбывал награбленное опричниками. Барыга, враль, не имевший доступа к серьезной информации. Действительно, за упоминание слова “опричнина” с 1572 г. били кнутом – и что?

Какие еще аргументы приводятся в пользу того, что царь разочаровался в опричнине и потому отменил ее? Таких аргументов два, и их убедительно опроверг Д. Альшиц.

Первый аргумент – “битва на Молодех” 1572 г., когда русские, правда, дорогой ценой, нанесли сокрушительное поражение крымцам в 45 км от Москвы.

Некоторые историки, не приводя конкретных аргументов, утверждают по поводу битвы “на Молодех”: опричники-де показали, что могут только мордовать мирное население, что они “молодца против овца, а супротив молодца – сами овца”; поэтому, якобы не надеясь на своих “кромешников”, царь перед битвой “разбавил” войско земскими полками, они-то, под командованием Воротынского, и выиграли сражение. Все это, однако, досужие домыслы. Во-первых, представление о низкой боеспособности опричного войска ни на чем не основано. Во-вторых, в битве опричные полки под командованием Хворостина показали себя, как минимум, не хуже земцев. В-третьих, что касается объединенного земско-опричного войска, то оно было создано не потому, что царь сомневался в боеспособности опричников, а по совсем другой причине – именно потому, что полагался, прежде всего, на опричников. Дело в том, что в 1568 г. был раскрыт заговор под руководством боярина Федорова. Заговорщики планировали силами земских полков перебить опричные, захватить Ивана Грозного и выдать его полякам. Вот после раскрытия заговора и было решено создать общее опрично-земское войско, в котором опричный сегмент выполнял функцию коллективного “политкомиссара”.

Второй аргумент: в 1571 г. царь начал казни опричников, это якобы означает, что он разочаровался в опричнине и на следующий год отменил ее. Начать с того, что опричников казнили не за то, что они опричники, а в каждом случае была своя конкретная причина. Это первое. Второе заключается в том, что казни решали проблемы отношений внутри опричного корпуса, были, если пользоваться терминологией Мао Цзэдуна, “исправлением стиля”: репрессии проводили не земцы, а сами же опричники – Малюта Скуратов и Василий Грязной, то есть одна часть ЧК с одобрения царя устранила другую часть. И, наконец, самое главное: после так называемой “отмены опричнины” опричники заполнили Государев двор, опричное правительство стало называться “дворовым”, функционировало оно до самой смерти царя, а точнее, не просто функционировало, а проводило прежнюю политику; правда, физического террора поубавилось (в нем уже не было нужды – воля противников была сломлена, к тому же Борис Годунов усовершенствовал унаследованный от своего тестя Малюты Скуратова “политический сыск”, и во многих случаях достаточно было профилактических акций в режиме активного противодействия), а вот механизм земельных перераспределений опричного типа продолжал действовать. Государев двор, “накачанный” опричниной, стал главным органом власти, изменив свое положение по отношению к Боярской думе. Без опричнины такого изменения в положении и роли “президентской администрации” XVI в. и помыслить себе нельзя.

Так что же изменилось? Лишь “знаки и возглавья” (М. Волошин), то есть изменилось – исчезло – слово. Но не дело по своей сути. Дело изменилось по форме: опричнина из ЧК превратилась в регулярную организацию, в – худо-бедно – институт. Рискнет ли кто-нибудь сказать, что когда в начале 1920-х годов ЧК переименовали в ГПУ, ее отменили? Конечно же нет, она стала постоянно действующим институтом.

К 1572 г. опричнина выполнила свою чрезвычайную функцию “страха и ужаса”, подмяла существовавшие до нее органы власти, во многом обесценила их, “укатала-уездила” опричную территорию, подготовив ее к новой жизни.

В этом смысле – “следствие окончено: забудьте” – опричнина была отменена, но не она растворилась в окружающем мире, а в значительной степени растворила его в себе. Как показали события правления Федора Иоанновича и Смуты, растворили недостаточно, чтобы превратить шествие новой власти в триумфальное. Но как показало все правление Михаила Романова и уже первые (до 1649) годы правления Алексея Романова, растворили достаточно, чтобы сделать процесс изменений властно-необратимым. В 1649 г. Соборным уложением правнук любимой жены Грозного царя Анастасии Захарьиной-Юрьевой полностью восстановил самодержавие, спроектированное прабабкиным мужем.

Опричнина исчерпала себя не в том смысле, что разочаровала царя, а в том, что за семилетку решила поставленные чрезвычайные задачи и была институционализована в виде старого по форме, но совершенно нового Государева двора – “чрезвычайки” по определению не вечны. Можно сказать, что и царь, и боярство (правда, последнее не по своей воле) нырнули в котел с кипящей водой, только царь, в отличие от героя ершовского “Конька-горбунка”, в котле не сварился, а вынырнул “добрым молодцем” (не в прямом смысле слова, в прямом он вынырнул облезшим стариком, разве что не Хоттабычем; впрочем, некоторые властно-магические качества благодаря новой технологии власти приобрел), а вот коллективный боярин – “бух в котел и там сварился”. Я не злорадствую – иллюстрирую. Тем более, что у бояр была своя правда, но то не была системная правда русской истории – столкновение прав всегда трагично.

Опричнина: цели и результаты

Итак, отмены бывают разные, и отмена отмене – рознь. Здесь возникает вопрос о социальной природе, целях и результатах опричнины. Поэтому среди историков нет единодушия. С. М. Соловьев, автор знаменитой “Истории государства российского”, видел в опричнине форму борьбы государственного строя с боярским, который выходит если не антигосударственным, то негосударственным. В. О. Ключевский вообще не считал опричнину чем-то закономерным и целенаправленным, а видел в ней проявление страха царя, его паранойи. С. Ф. Платонов ничтоже сумняшея квалифицировал опричнину как средство пресечения княжебоярского сепаратизма. Н. А. Рожков результаты опричнины усматривал в землевладельческом и политическом перевороте. М. Н. Покровский – вполне в духе своего подхода – трактовал опричнину как средство перехода от феодализма к торговому капитализму и от вотчины – к прогрессивному мелкопоместному хозяйству. Советские историки в своей массе рассматривали опричнину сквозь классовую (а часто – вульгарно-классовую, капиталоцентричную) призму, трактуя самодержавие как классовый орган дворянства и подчеркивая его антибоярскую направленность, причем главной сферой борьбы объявлялась собственность, землевладение.

Рассмотрим некоторые точки зрения. Начнем с Платонова, с якобы стремления княжат и бояр к сепаратизму. Подобный подход, на мой взгляд, неправомерно переносит на русскую почву западноевропейские реалии – на средневековом Западе феодальная знать действительно имела сепаратистские устремления. Однако на Руси ситуация была иной, и дело даже не в той общей причине, что у нас феодализма не было. Причина вполне конкретна: Русь практически не знала примогенетуры, то есть наследования старшим сыном всей земли, как это было на Западе. В результате на Западе имела место концентрация из поколения в поколение земли в одних руках – и чем древнее род, тем, как правило, больше у него земли, отсюда – формирование крупных земельных массивов, способных к экономическому обособлению, а следовательно, к властному сепаратизму.

На Руси свою долю наследства, прежде всего землю, получали все сыновья. В результате возникала парадоксальная (с западной точки зрения) ситуация: чем древнее княжеский или боярский род, тем меньше вотчины у его представителей. К середине XV в. уделы даже удельных князей, не говоря о боярском землевладении, раздробились-измельчали до того, что во многих случаях приблизились по своим размерам к вотчинам обычных служилых людей. В следующем веке эта тенденция сохранилась.

Пример. В роду князей Оболенских в XVI в. насчитывалось около 100 мужчин; площадь княжества — 30 тыс. га. В среднем на душу выходит 300 га — я согласен с теми, кто считает, что с 300 га по-княжески не поживешь, 300 га — это владения служилого человека. А раз так, то чем древнее и знатнее княжеский и боярский род, тем больше, в отличие от западноевропейских “маркизов карабасов” и прочих “синих бород”, он зависит от поместий, от централизации, заинтересован в ней. Русские князья и бояре в массе своей выступали за централизацию. Вопрос — за какую. Централизация может быть едино(само)державной, а может — княжебоярской, олигархической. Но об этом выборе “русского витязя на распутье” — позже. Итак, схема Платонова не срабатывает.

“Страх и паранойя царя”, “политический маскарад”, докладывает Ключевский. Однако всё в опричнине — и тщательность подготовки, и выверенность действий, а главное, четкая продуманность географии опричнины — опровергает такой подход, демонстрирует его непродуманность, легковесность. Какие земли отошли в опричнину? Самые важные в военно-стратегическом и хозяйственном отношении. Прежде всего это земли, прилегающие к западной границе Руси — шла Ливонская война. В опричнину включили районы добычи соли, зона на севере (Архангельск, Холмогоры). Опричное Среднее Поволжье рассекло волжскую торговлю и ставило ее под опричный контроль. Средне-волжское купечество весьма выиграло от такого хода, именно в опричнину были заложены здесь основы богатства тех слоев, второе поколение которых придет в 1612 г. спасать Москву и восстанавливать самодержавие, причем не только по религиозно-патриотическим, но и по экономическим резонам.

Москва тоже была разделена на земскую и опричную части таким образом, чтобы из опричной части легко было попасть в опричный же Можайск и двигаться в сторону опричного приграничья — царь страховался, и было от чего. Иваном двигала не паранойя, а расчет, пусть во многом и основанный на страхе. Ключевский противоречит себе, когда сам же утверждает: Иван “бил, чтобы не быть битым”.

В советской историографии — две линии, отражающие две проблемы, с которыми столкнулись советские историки. Когда стало выясняться, что опричнина была не только по боярству, но и по другим социальным группам, которые не противостояли централизации (здесь та же логика, что и у С. Ф. Платонова), была сделана попытка разделить опричнину на два этапа: антикняжеский и антибоярский. Но как в таком случае объяснить, что жертвами опричнины стала и часть дворянства, то есть слоя, явно заинтересованного в централизации? К тому же, как мы помним, князья и бояре тоже были сторонниками централизации. То есть опричный каток прошелся по всем группам, заинтересованным в централизации. Парадокс? Увидим позже.

Второй момент. Длительное время советские историки трактовали опричнину как борьбу за передел земельной собственности; цель борьбы — изменить соотношение крупной и мелкой земельной собственности. Однако А. А. Зимин убедительно показал, что опричнина не подорвала социально-экономические (“материальные”) основы могущества знати, число княжеско-боярских владений в XVII в. осталось практически прежним, тем более, что шел процесс “конвергенции” вотчины и поместья. И если судить об опричнине с этой точки зрения, то она, конечно же, своей функции не выполнила, не лишила князей и бояр их собственности — дополнительный аргумент для тех, кто считает, что опричнина провалилась и царь, разочаровавшись в ней, упразднил ее.

Оттолкнувшись от вывода А. Зимина, другой советский историк В. Кобрин заключил: поскольку опричнина не изменила тенденций в развитии земледелия, земельной собственности (напомню, что советские историки в подходе к данному вопросу концентрировались прежде всего на отношениях земельной собственности), то и борьба дворянства в союзе с царем против боярства — миф, тем более, что от опричнины досталось не только боярству, но и дворянству.

Логично? На первый, поверхностный взгляд — да. Но только в том случае, если подходить к опричнине с узкоклассовых позиций. Однако, во-первых, “классы” в докапиталистических обществах совсем не то, что при капитализме; во-вторых, кроме собственности есть власть и именно она играет решающую роль в русской истории.

Не могу не согласиться с Д. Альшицем, который считает, что, во-первых, конфликт между царем и дворянством, с одной стороны, и боярством, с другой — не миф, но объект этого конфликта — не собственность. Во-вторых, все — и царь, и бояре, и дворяне — были сторонниками централизации, а значит, удары по всем этим группам могут иметь какую-то логику, но иную, нежели узко-, если не сказать вульгарно-классовая. Тот факт, что некие группы дружно выступают за централизацию, не исключает возможности различий между ними — вплоть до острейших, антагонистических. И касались они вопроса: за какую централизацию — едино/самодержавную или олигархическую? в чьих интересах — царя или верхних слоев господствующего класса? каким способом царь будет консолидировать господствующий класс? будет отражать, выражать или представлять интересы господствующего класса? И многое прочее, а среди этого прочего — главное: как сможет царь обеспечить доступ тех или иных групп к “общественному пирогу”, то есть к совокупному общественному продукту вообще и прибавочному продукту в частности.

В XVI в. вопрос “кто — кого” по поводу русской централизации, вопрос о том, какой тип, вариант централизации победит, более конкретно — удастся опричнина или нет, решила специфика русского хозяйства, исследованная Л. Миловым и историками его школы.

Главная черта, характеристика русского аграрного хозяйства — то, что на Руси в силу суровости ее природно-климатических и природно-производственных условий создавался (и создается) небольшой по своему объему совокупный общественный (а следовательно и прибавочный) продукт — это так и само по себе, и особенно по сравнению с Западной Европой и тем более с Восточной и Южной Азией. В таких условиях средним и тем более нижним слоям господствующего класса прибавочный продукт может достаться только в том случае, если центральная власть, помимо прочего, будет ограничивать аппетиты верхов — как эксплуататорские в отношении угнетенных групп (чтобы сохранялась какая-то часть прибавочного продукта для неверхних групп господствующего класса), так и перераспределительные по отношению к средним и низшим группам все того же господствующего класса. Только сильная центральная власть могла ограничить аппетиты “олигархов”.

Из-за незначительного объема прибавочного продукта олигархизация власти в России ведет к тому, что средней и нижней частям господствующего класса мало что достается (а эксплуатируемые низы вообще лишаются части необходимого продукта). Поэтому в самодержавной централизации, в индивидуальном самодержавии, в деолигархизации власти были заинтересованы середина и низы господствующего класса, то есть его основная часть*. Она-то и поддержала царя в его опричном курсе: только грозненское самодержавие могло решить проблемы “детей боярских” в их борьбе с “отцами”. Так русское хозяйство сработало на опричнину и на самодержавный вектор развития.

Итак, борьба дворянства и боярства — не миф, но главный объект борьбы — не собственность, а власть, поскольку только власть на Руси регулировала (регулирует) доступ к вещественной субстанции, к общественному продукту.

Самодержавие — это особый строй власти (и собственности), при котором господствующий класс консолидируется вокруг центральной власти, причем консолидируется до такой степени, что само функционирование его в качестве господствующего класса возможно лишь через посредство автосубъектной власти, как ее функция. И достигнута эта консолидация была с помощью опричнины, которая и была эмбрионом самодержавия. Встав на ноги, самодержавие реализовало крепостничество как средство и форму гарантии получения своей доли прибавочного продукта именно серединой и “низовкой” господствующего слоя.

Крепостничество — продукт самодержавия, но закрепостителем выступил не Иван Грозный, а Борис Годунов. Однако обратной, если угодно, темной стороной обеспечения этих гарантий стала нивелирующая тотализация, функционализация господствующего класса. Это та цена, которую пришлось заплатить массовым слоям господствующего класса за доступ к минимуму прибавочного продукта. В условиях небольшого объема прибавочного продукта только

* Подр. см.: Фурсов А. И. Княжебоярский “комбайн”, или власть и олигархия в России // Политический журнал. — М., 2004, № 34. — С. 78–81; Его же: Завтра грабим короля! Власть и олигархия в СССР и в постсоветской России // Политический журнал. — М., 2004, № 38. — С. 78–81.

единодержавная власть могла обеспечить доступ к нему всех слоев господствующего класса, но средством и ценой был нивелирующий надзаконный контроль над этим классом и требование от его представителей абсолютной лояльности. Главное — лояльность; нелоялен — значит непривластен, а потому лишаешься земли, а следовательно, прежнего объема прибавочного продукта. Здесь становится понятно, почему опричнина проехала катком и по части дворянства и вообще по сторонникам централизации.

Логика новой самодержавной власти, а следовательно, и опричнины заключалась в нивелировке господствующего класса в целом перед лицом царской власти. Еще с доопричных времен, с 1556 г. (“уравнительное землемерие” Адашева) вотчинники обязаны были служить — власть нивелировала служебное различие поместья и вотчины. В социальном персонаже опричника нивелировались любые различия между представителями господствующего слоя — сами опричники могли помнить, что одни из них — князья, а другие — худородные, “взятые от гноища”. А вот с точки зрения опричнины как ЧК, с точки зрения власти это не имело никакого значения.

Организирующим принципом опричнины была лояльность этой ЧК как новой форме власти. Нельзя не согласиться с теми, кто считает: главное в опричнине не то, что страна рассекалась по горизонтали, а в том, что власть рассекалась по вертикали, причем само существование верхнего, чрезвычайного сегмента обесценивало нижний. Именно этот верхний сегмент обеспечивал царю необходимую, критическую массу власти-насилия для разрыва княжебоярского симбиоза. Если когда-то внеположенная Руси масса Орды обеспечивала великим князьям власть и в то же время сплотила их с боярством, то теперь внеположенная “остальной”, земской Руси масса опричной “чрезвычайки” эту связь рвала — с ордынским наследием рвали с помощью новых, обусловленных этим же наследием и его плодами способом: не будь княжебоярства, не понадобилась бы опричнина. Опричниной Грозный царь ответил не только Киевской эпохе в лице ее реликта Новгорода, но и Орде. В то же время это был ответ на давление Запада — экономическое, военно-политическое и, что не менее важно, духовное. Но это отдельная тема, над которой интересно работает замечательный историк И. Я. Фроянов.

Формально, внешне опричнина, то есть рождение новой власти, нового строя выглядело как возвращение к удельной старине: опричнина воздвигалась, надстраивалась над остальной, земской Русью для решения задач, которые из-за слабости общественных сил и институтов, из-за низкого уровня совокупного общественного продукта и связанных с этим медленных темпов общественного развития, из-за создания и консервации в ордынскую эпоху особой властной формы — княжебоярского симбиоза — могли быть решены только в режиме “чрезвычайки”, как в плане организации, так и в плане времени.

Опричнина до конца “дотерла” удельную систему, устранив даже ее следы; окончательно “переварила” Новгород и в значительной степени поставила под контроль церковь. Произошло это рывком — преемственность через разрыв. Еще раз повторю: терапевтически-эволюционная возможность существовала лишь в теории; в конкретной исторической практике действовать можно было только хирургически. Иначе в лучшем случае Россия превращалась бы в нечто польшеподобное, олигархическое с перспективой войны всех против всех — так оно и произошло в Смуту, однако грозненский самодержавный каркас не позволил распасться обществу, получившему бифуркационный толчок в самодержавном направлении. В худшем случае Россия просто перестала бы существовать. С учетом этой перспективы и следует оценивать достижения и неудачи опричнины как исторического явления.

Впрочем, опричнина — не только конкретное историческое явление, она еще и один из принципов русской власти, иными словами, опричнина не тождественна себе в единственном пространстве истории — во времени.

Опричный принцип власти

Следует различать опричнину в узком смысле слова, как конкретное историческое явление, и опричнину в широком смысле — как чрезвычайную организацию и как принцип власти. Опричнина в широком смысле есть чрезвычайная

чайная комиссия (организация, орган, корпус), ориентированная на решение внеинституциональным, но легальным способом (или на грани легального и внезаконного, нередко – тайным способом) важнейших задач перераспределения власти и собственности; внеинституциональность и секретность обеспечивают стремительность решения задачи; по выполнении своей миссии ЧК (опричнина) либо институционализируется, либо распускается.

В своем функционировании русские опричнины воспроизводили черты организаций орденского типа и тайных обществ, не случайно они обрушивались на уже существующие орденские и конспироструктуры – “боливару” русской истории не снести двоих, тем более, что такие структуры часто имели олигархическую ориентацию, а еще чаще направлялись из-за рубежа (показателен запрет в России в 1822 г. тайных организаций и масонских лож, а в 1922 г. – решение о несовместимости членства в коммунистической партии и масонских организациях). В то же время ни одна опричнина не превратилась в орден в связи с тем, что была чрезвычайным органом власти.

Опричнина в общеисторическом смысле есть социальное (организационное) оружие, исправляющее и направляющее в определенный момент ход истории в определенном направлении. Этот момент – точка бифуркации, когда развитие системы зависит не от силы толчка (он может быть слабым), но в направленности, и достаточно небольшого усилия, чтобы двинуть систему в некоем направлении, с которого она по инерции уже не сойдет. Поэтому достаточно относительно небольшой (несколько тысяч, а порой и сотен человек) группы, чтобы изменить вектор истории – при одном условии: группа должна действовать в миг-вечность точки бифуркации. Последняя есть пространство и время опричнины, где эти измерения сжаты почти в сингулярную точку, и достаточно слегка изменить направление удара, чтобы изменить ось истории.

Опричный принцип власти возник как преодоление олигархического и, в свою очередь, породил самодержавный, после чего все принципы зажили собственной жизнью, вступая в непростые отношения друг с другом и сформировав своеобразную триаду или, если угодно, треугольник – самую устойчивую фигуру.

Опричнина как принцип представляет собой комплекс чрезвычайных мер и реализующих их органов и лиц, параллельный контур управления, надстраивающийся над уже существующим и охватывающий его, превращая в свой внутренний объект для перемалывания и переваривания, в источник своего развития. Как уже говорилось, задача “чрезвычайки” – решение внеинституциональным, быстрым и в то же время легитимным способом таких задач, которые иначе решены быть не могут. По завершении своих функций “чрезвычайка” превращается в регулярный институт и КАК БЫ отменяется без реальной отмены – она институционализируется (опричнина – Государев двор, ЧК – ГПУ).

В русской истории опричнина ситуационно, на краткий миг компенсирует не только слабость институтов и организованных социальных сил, но вообще отсутствие очень важного и имеющегося у многих, если не большинства индоевропейских народов сословия (Варны, слоя) воинов (кшатриев). Служилые люди хороши многим, но в целом ряде ситуаций они не могут заменить профессиональных военных как слой. Служилые – служат, но бывают ситуации, когда надо сражаться, что предполагает не только профессиональную выучку, но дисциплину, определенный тип мышления, поведения и субъектности. Я уже не говорю о влиянии военно-аристократической группы на гражданскую жизнь, и культуру в частности. Показательно, что русские одерживали победы в войнах отечественных, народных, когда военно-служилым становился весь народ (поэтому проваливались все попытки оккупировать Россию), но проигрывали такие войны (или одерживали исключительно тяжелые победы с большими потерями), в которых народ не был задействован и которые должно выигрывать силами военного сословия.

Итак, “чрезвычайка” есть временная и чрезвычайная русская компенсация отсутствия профессионального военного сословия; дворянство – служилое по сути сословие.

Сила опричного принципа и специфика обусловленной им технологии власти таковы, что он может быть реализован и без создания “чрезвычайки”. В определенных условиях для решения чрезвычайных задач могут использоваться существующие организации и институты, которые в таком случае начинают действовать неинституциональным образом и в иных, чем исходно

“заложенные” в них, целях, то есть функционально превращаются в “чрезвычайку”, содержание оставляя регулярными институтами.

Необходимо особо подчеркнуть, что опричина направлена на создание новых форм, которые подчиняют старые, используя их в качестве фундамента для создания новых систем. Не случайно результатом первой опричины было Московское самодержавие, второй – Петровско-петербургское, третьей – СССР, советский коммунизм. Опричный принцип созидателен по определению. Поэтому, например, керенщина или горбачевщина не могут считаться формами реализации этого принципа, поскольку их целью – сознательно или стихийно-объективно – было разрушение, управленческий хаос; к тому же и у Керенского, и у Горбачева были кукловоды – как внутри страны, так и за рубежом; опричина же по определению не марионеточное явление.

Чрезвычайный (опричный) контур власти был мерой, направленной против встроенную в русскую власть с княжебоярских времен и постоянно присутствующую в ней тенденцию к олигархии, против олигархического принципа. Весьма показательно, что даже в XVIII – первой половине XIX в. в начале правления каждого монарха вельможи каждый раз пытались протолкнуть олигархический проект, ограничивающий самодержавие, превращающий его в олигархическое самодержавие. В СССР торжество олигархии называлось “возвращением к ленинским нормам власти”.

Наиболее отчетливо стремление олигархизировать самодержавие проявилось в попытках вельмож ограничить центральную власть при воцарении Екатерины II и Александра I. Ну а декабристы своим собором из 120 навечно назначенных бояр и подавно под видом республики стремились реализовать олигархическое самодержавие, в котором тотально-самодержавная по сути бюстительная власть должна была надстроиться вполне опричным образом над системой разделения властей. По этому поводу, перефразируя Троцкого, можно сказать: “без царя, а правительство – боярско-самодержавное”. В самом конце XIX в. власть в России просто олигархизировалась: “единодержавие мало-помалу обращалось в олигархию, увы! не достойных, а более бесстыдных”, – писал в своих воспоминаниях о позднем самодержавии Н. Е. Врангель. То же самое произошло с поздним коммунизмом: власти в СССР в 1960–1970-е годы – это олигархия, то есть произошло то, с чем упорно боролся Сталин.

И вот что показательно: олигархизация власти в России, торжество олигархического принципа, объективно ослабляющего центральную власть, всегда было на руку западным противникам России, и они работали на развитие именно этого принципа как прямым (ослабление России финансово-экономическими, военно-политическими и информационно-психологическими средствами, последние – от идейно-религиозной диверсии под названием “церковная реформа XVII в.” до “художеств” времен Холодной войны), так и косвенным (способствование развитию в России альтернативных форм власти – масоны, революционеры и т. п.). Существует прямая положительная корреляция между уровнем интегрированности России в мировую капиталистическую систему и степенью мощи олигархического принципа. Не случайно наибольшую силу он набирал в послереформенной России и посткоммунистической РФ, да и в СССР он набирал силу прямо пропорционально экономической и культурно-психологической интеграции страны, ее верхов в капиталистическую систему.

Замечу еще раз: олигархический принцип встроен в автосубъектную власть. У нас это наследие княжебоярского симбиоза, от которого никуда не деться, это выстрел из ордынского прошлого Руси, стрела, расщепить которую влёт призван опричный принцип – выстрел из будущего. Столкновение двух принципов породило самодержавие и, соответственно, самодержавный принцип, который, как уже говорилось, начал жить самостоятельной жизнью, замкнув “триаду”.

Много опричин, хороших и разных?

Исторически первой опричиной была таковая Ивана Грозного. Вторая опричина – петровская гвардия. “Бархатной” формой реализации опричного принципа были “Редакционные комиссии”, готовившие отмену крепостно-

го состояния, и “Верховная распорядительная комиссия” Лорис-Меликова. Наконец, третья причина — это большевики, XX век. Здесь, однако, ситуация далеко не проста. Организацией квазиопричного типа была ленинская партия профессиональных революционеров. Придя к власти с иностранной помощью, она довольно быстро выродилась в “ленинскую гвардию”, особенно после того, как в 1923 г. растаяли последние надежды на мировую революцию, ради которой брали власть в октябре 1917 г., и гигантские счета в иностранных банках из мир-революционной собственности превратились в личную. “Гвардия”, олигархический характер которой признавал сам Ленин, в 1920-е годы повела страну если не к разрушению, то окончательному превращению в придаток Запада. Именно с этой выродившейся, уже не красной и немолодой (во всех смыслах) “гвардией” пришлось столкнуться Сталину в ходе создания сильного советского государства.

К этому столкновению Сталин подошел творчески: он полностью использовал опричный принцип, не создавая при этом свою опричнину — последнее было невозможно. В то же время существующие институты и структуры были ориентированы на “гвардию Ильича”, по крайней мере, так они задумывались и конструировались. Вот эти уже существующие структуры Сталин сумел заставить выполнять чрезвычайные, внеинституциональные функции, работать в качестве его опричных, то есть чрезвычайного органа, ориентированного на цели, прямо противоположные исходным, — “и лучше выдумать не мог”. Сталин заставил регулярные структуры работать в чрезвычайном, то есть несвойственном их природе (содержанию), функциям и целям режиме, рекомбинируя и сталкивая их. Он не всегда побеждал, ему приходилось отступать и кружить, “сживая врага со света”, его жизнь часто висела на волоске, особенно в 1936–1938 гг. Однако в конечном счете он выиграл, обогатив опричный принцип нестандартным применением.

Опричина Сталина — это опричина без опричины, функциональная опричина. Успеху сталинской Игры в немалой степени способствовало то, что в молодом советском обществе институты еще не до конца оформились, и их можно было на какое-то время “перепрофилировать” или вообще использовать неинституциональным способом. Как только оформление произошло, пространство опричных игр стало сжиматься и в конечном счете сжалось до одной, отдельно взятой фигуры — вождя, а после его смерти началась олигархизация.

Русские опричины были очень разными, каждая из них соответствовала своему времени. Так, опричина Ивана Грозного приняла форму квазимонаштырской организации. Петровская опричина в духе XVIII в. была гвардией. Большевистская — в духе XX века — партией, правда, невиданного доселе “нового типа”. Наконец, Сталин использовал опричный принцип с опорой на властные структуры и спецслужбы. Однако суть, чрезвычайная и в то же время легальная, оставалась прежней, как и целевое назначение — подчинение существующих властных институтов новой форме.

Опричина представляет собой орган комплексного воздействия на социальный процесс, комплексный аппарат управления. Здесь задействованы властное измерение (энергия), собственническое (вещество), идейное (информация). При этом от опричины к опричнине роль и значение психоинформационного измерения возрастает. Если в опричнине Ивана Грозного оно играет минимальную роль, то у Петра I оно на первом плане — культурный переворот, изменение психоисторического кода, правда, охватывающий только верхушку.

В ситуации применения опричного принципа Сталиным, так же как и в опричнине “профессиональных революционеров”, психоинформационный аспект не только приобретал первостепенное значение, но его объектом становились все слои населения.

И еще одно. Каждой последующей опричнине приходилось иметь дело с обществом, находившимся в худшем социальном и социально-психологическом (психическом) состоянии, чем то, с которым имела дело предыдущая “чрезвычайка”. Опричина Ивана имела дело с относительно здоровым обществом, груз его проблем накапливался в течение длительного времени, развитие шло медленным темпом, русское население было свободным. Наиболее острые противоречия концентрировались главным образом наверху социальной пирамиды. Пользуясь пушкинскими метафорами, можно сказать: “море слегка разыгралось”, “помутилось синее море”.

Петр курочил все еще сильное, но уже не вполне здоровое русское общество — подгнило что-то в царстве русском. Этим чем-то были, во-первых, результаты раскола, надломившего русскую жизнь и вымостившего дорогу петровским преобразованиям и его “бесенятам”; во-вторых, крепостное, то есть несвободное состояние части русских людей — тоже своего рода раскол; в-третьих, беспокойство “бунташного века” — “неспокойно синее море”, “почернело”.

Сталин “работал” опричный принцип в очень больном обществе — пореформенно-революционно-послереволюционной России, в России эпохи Смуты 1870–1920-х годов, когда декаданс верхов тесно перемешивался с разложением низов (Распутин в этом плане фигура символичная). Мало того, что в пореформенной России, давшей свободу силам гниения, распада, подмороженным Николаем I, шел процесс разложения старого, обгонявший процесс социальной организации, на все это наложились хаотические результаты революции и гражданской войны, стихия, развязавшая руки “биологическим поддонкам человечества” (И. Солоневич) и планомерная деятельность по уничтожению России и русских интернационал-социалистами (“замыслы неистовых хирургов” — М. Волошин). Ну а в довершение — отвратительный нэп, добавивший к разложению старого режима еще более быстрое и отвратительное по форме разложение нового режима, нэп, провалившийся уже в середине 1920-х годов и тащивший за собой в Тартар Истории, то есть в сырьевое и “культурное” рабство у буржуинов Советскую страну. Плюс сопротивление и вражеское окружение (“...на море черная буря: / Так и вздулись сердитые волны, / Так и ходят, так воем и воют”). Иными словами, сталинская “опричина” имела дело с очень больным — сверху донизу — обществом. И к тому же с неизмеримо более сложным обществом, чем в XVI или XVIII вв., неизмеримо более сложным и враждебным внешним миром и неизмеримо более сложными, почти неразрешимыми задачами на повестке дня.

Ясно, что больное общество лечить намного тяжелее, чем легко- и средне-больное, тем более, что лекарей и средства для лечения надо извлекать из этого больного, взбалаченного общества, из “России, кровью умытою” и уже привыкшей к крови, с трудом понимающей иной язык и, главное, перешедшей от “горячей” гражданской войны 1918–1922 гг. к “холодной гражданке” 1920-х, которую будут усмирять встречным пожаром репрессий 1930-х годов и которая окончательно выдохнется во время Великой Отечественной войны. И то, что в таких условиях Сталин не создал свою опричину, а использовал опричный принцип как кладенец-невидимку, является скорее плюсом, чем минусом. Впрочем, каждое приобретение есть потеря и каждая потеря есть приобретение, как говорят наши заклятые “друзья” англосаксы.

Различия между тремя опричинами не сводятся к тому, что сталинская была скорее принципом, материализовавшимся в различных организациях, а опричины Ивана IV и Петра I — конкретными организациями-“чрезвычайками”. Еще более важно и серьезно другое отличие — по содержанию, классово- и цивилизационной (“национальной”) направленности.

Опричины Ивана и Иосифа Грозных (“грозненькая” версия опричины) — это одно. Опричина Петра I (“питерская” версия) — другое. Различия следует искать в том, насколько эти варианты сплывали страну, власть и народ в единое целое, как работали на развитие России как особого культурно-исторического типа (цивилизации).

“Грозненская” версия опричины в обоих своих вариантах носила ярко выраженный национальный характер, сплывала верхи и низы в достижении единой цели, а в цивилизационном плане была выражением самобытного развития России, антизападной по направленности (в одном случае антифеодалной, в другой — антикапиталистической); обе опричины представляли собой, помимо прочего, диктатуру над потребностями прежде всего верхов.

“Питерская опричина” представляет собой жестокое (“огнем и мечом”, а точнее, дыбой и топором) создание новой господствующей группы, оторванной от народа и противопоставленной ему, социокультурно ориентированной на Запад и способной в силу этого к беспощадной эксплуатации русского населения как туземно-чужого. По различным оценкам, за петровское правление уровень эксплуатации населения властью и господствующими группами вырос в 5–10 раз по сравнению с 1670–1680 годами, и это при неизменном уровне создаваемого совокупного общественного продукта. Ясно, что

речь идет просто об узаконенном грабеже, и неудивительно, что его результатом стало сокращение населения на 20–25%, разорение целых социальных групп и погром экономики, от которого она оправилась только к середине XVIII в. К этому же времени относится окончательное социально-экономическое (но не социально-политическое) формирование нового – западоидного – дворянства, дерущего с крепостных рабов три шкуры и не считающего их людьми.

Дело в том, что довольно скоро после оформления крепостничества в 1649 г. стало ясно: Московское самодержавие как форма неадекватно крепостнической системы, не может обеспечить ее реальное развитие, так как господа и крепостные относятся к одной культуре, у них одни и те же вера, ценности, язык, да и быт отличается не качественно. Для полномасштабной реализации крепостничества нужна была другая по форме и технологии власть, другая форма самодержавия – такая, где верхи и низы отличаются друг от друга как два субэтноса. Эту систему создал Петр на основе западных властных и гуманитарных технологий. Его “кромешники” – это уже не ордынская или московская технология власти, а западная, отлившаяся в форму гвардии. Без этой технологии, без гвардейско-армейской оккупации страны русские верхи не превратились бы в отдельный народ, русские крепостные не стали бы рабами екатерининских времен, а крепостное состояние так и осталось бы зачаточно-русским, относительно мягким. Ну а формально реализации этой технологии внутри России помогла внешняя военная ситуация – Северная война, с которой началось интенсивное и жестокое включение России по политической линии в мировую систему XVIII в., в отстоявшуюся за вторую половину XVII в. “вестфальскую систему”.

Формально – во-первых, потому, что главные победы в войне были одержаны не новой армией и флотом, а старыми. Победу при Лесной, “матерь полтавской виктории” одержали полки “старого строя”, а главные морские победы над шведами одержал не парусный, а гребной флот.

Во-вторых, что еще более важно, эксплуатация продолжала нарастать и после того, как в войне произошел перелом (1708 г. – битва у Лесной; 1709 г. – Полтавская битва; 1714 г. – Гангутский бой), и Россия медленно, но верно пошла к победному для нее финалу 1721 г. Еще в 1716 г. Военный Устав был распространен на гражданскую службу; уже после окончания войны в соответствии с законом о поселении полков (“Плакат”, 1724 г.) армейские полки (200 тыс. чел.) были размещены на вечные квартиры по губерниям и уездам для сбора подушной подати, контроля над населением (чтоб никто не покидал место жительства без разрешения) и гражданской администрации, выполнения полицейских функций (все это нельзя охарактеризовать иначе, как оккупацию всей собственной страны – Грозный оккупировал только часть, и то временно). Иными словами, не в войне дело, а в задаче резкого усиления социального контроля в целях увеличения и ужесточения эксплуатации. При чем до такой степени, что “птенцы гнезда Петрова” вынуждены были серьезно притормозить политику Петра буквально через несколько недель после его смерти (записки генерал-прокурора Ягужинского императрице о неминуемой финансовой катастрофе из-за разорения крестьянства). Однако, как в случае с Иваном IV и Смутой начала XVII в., петровская опричнина набрала инерцию и, несмотря на вялотекущую “смуту наверху” в виде дворцовых переворотов, в елизаветинско-екатерининское правление из петровской опричнины открылосталлизовалось Петербургское самодержавие (правда, с привкусом и после-вкусием дворяновласти, с которым пытались бороться Павел I и Николай I), если так можно выразиться, “самодержавие с дворянским лицом”.

Логическим результатом петровской опричнины и имманентной чертой Петербургского самодержавия, достигшей пика при Екатерине II, стало полное рабство крепостных и усиление в ее правление в 3–4 раза эксплуатации как частновладельческих, так и крепостных крестьян. И это при внешних и внутренних займах, из-за которых госдолг к концу правления “матушки” достиг 200 млн рублей. России удалось расхлебать эти результаты правления Екатерины только в николаевское время благодаря реформе Е. Ф. Канкрин.

Таким образом, объективно векторы “грозненских” и “питерской” опричнин были разными, именно поэтому я их и противопоставляю друг другу. Но различие не только в направленности, то есть в перспективе, но и в ретроспективе. Чрезвычайные режимы Ивана и Иосифа Грозных вводились в

схожих обстоятельствах. К середине 1560-х годов, как и к концу 1920-х, было проедено материальное наследие — “вещественная субстанция” — предыдущих эпох. В 1560-е годы был исчерпан земельный фонд, из которого дед и отец Ивана IV черпали землю для раздачи в качестве поместий. Исчерпан до такой степени, что Ермолай Еразм советовал царю перестать раздавать детям боярским землю, а посадить их на “продовольственный паек” — этот “подход” будет реализован в сталинскую эпоху, когда различные ранги номенклатуры станут отличаться друг от друга объемом и качеством потребляемого.

В 1920-е годы было исчерпано наследие дореволюционной эпохи: промышленность развалилась, сельское хозяйство стагнировало, оба эти сектора не создавали друг другу условий для расширенного производства.

В 1564-м и 1929 г. перед властью стоял нелегкий выбор: за счет кого предпринять новый рывок, кто станет главным источником материальных средств для рывка и создания новой формы власти — верхи или низы? Ясно, что так или иначе, в той или иной степени — и те, и другие. Но в какой степени? В каком соотношении? И какой будет ориентация рывка — государственно-национальная или олигархическая с оглядкой на Запад?

Иван Грозный и Сталин выбрали удар по верхам (впрочем, и низам досталось) и национально ориентированный курс. Земщина (боярские фамилии) против своей воли профинансировала опричнину. “Ленинская гвардия” — тоже против своей воли, но продлевая себе тем самым жизнь, — в значительной степени профинансировала индустриализацию: награбленные в России с 1917 г. миллионы фунтов, долларов, франков, марок, драгоценности, которые “гвардейцы Ильича” размещали в западных банках сначала главным образом для целей мировой революции (то есть мирового захвата власти), затем главным образом для себя. С конца 1920-х годов и с ускорением после 1929 г. деньги стали возвращаться в СССР: фонд “мировой революции” заработал на индустриализацию “одной, отдельно взятой страны” (именно этого больше всего не могут простить Сталину сродственники и потомки большевистской верхушки, отсюда — ненависть, здесь ее “логово”, как сказал бы Глеб Жеглов).

Это то, что Гегель называл коварством Истории: награбленное было возвращено и позволило СССР в течение десяти лет выйти на второе место в мире по объему производства; те, кто готовил России место в топке мировых процессов, сами угодили в нее, а пепел был унесен ветром Истории.

И действительно, бывшие хозяева страны, корезившие ее на потребу левых и правых глобализаторов с их прожектами мирового правительства, державшие русских за своего рода индейцев, попали в плен к власти, развернувшей социализм именно в сторону “индейцев”, представители которых и занялись чрезвычайной работой в подвалах Лубянки. Как говорится, “ступай, отравленная сталь, по назначенью”. И это назначение совпало с задачей индустриализации России (СССР), не позволившей гитлеровскому евро-союзу смять нас, то есть с задачей общенациональной.

Питерская версия опричнины versus грозненских, или погоня за убегающим пространством

В отличие от грозненских опричнин, возникших на основе и в условиях исчерпания системой вещественной субстанции предыдущей эпохи, что ребром ставило вопрос перераспределения (кто исключает кого? кто отсекает кого от общественного “пирога”/продукта и в какой степени?), появлению “питерской” опричной версии не предшествовало никакое исчерпание вещественной субстанции. Напротив, последнее тридцатилетие “бунташного” XVII в., не будучи спокойным, как и весь век, и не идя ни в какое сравнение, например, с тридцатилетиями 1500–1530, 1825–1855 или 1955–1985 годов, в целом все же было нормальным. По крайней мере, оно не ставило вопросы о переделе власти и собственности из-за нехватки вещественной субстанции. Вопрос был иным и возник на иной основе.

Выше уже говорилось о том, что Московское самодержавие в силу его патриархальности не могло обеспечить такое функционирование крепостничества, которое было бы адекватно сути этой системы. Во-первых, оно не обладало достаточной “массой” насилия и социального контроля; достаточно заметить, что подавление казацко-крестьянской войны Степана Разина

потребовало задействовать половину вооруженных сил страны в сорока крупных сражениях. “Бунташный век” — реакция на крепостничество — показал, что вставшему на ноги самодержавно-крепостническому строю нужна иная, уже не ордынско-московская, а западная технология власти, с помощью которой можно осуществить новое завоевание страны (перезавоевание, оккупацию: “проходят петровцы — салют Батыю”).

Восстановив в середине XVII в. грозненское самодержавие и установив крепостничество, Московское царство лишь зафиксировало некое состояние, но не смогло сколько-нибудь серьезно двинуть его дальше. Крепостные порядки мало продвигались, несмотря на их развитие вширь и вглубь; они не пускали сильных корней. Так, во второй половине XVII в. после смерти старого хозяина новый брал с каждого крепостного личную клятву быть крепким наследнику, то есть налицо личные отношения. А ведь крепостное право предполагает автоматическую и безличную вечную службу семьи крепостных семье их владельца. Что-то, помимо нехватки насилия, мешало, сопротивлялось в XVII в. установлению такого порядка.

Во-вторых, и это имеет отношение к указанной помехе (я уже говорил об этом выше), крепостничество требовало не просто большего социального контроля, а резкого качественного усиления дистанции между господами и угнетенными, слома той патриархальной практики отношений верхов и низов, которые существовали с киевских времен, упрочились в ордынские и московские времена, получив дополнительный стимул во время Смуты и послесмутного восстановления, и в основе которых лежали общие, разделяемые верхами и низами язык, вера, ценности, тип культуры. Обеспечение такой дистанции требовало не только переворота-разлома в культуре, но создания новых властных институтов (старые, например, земские соборы, с середины XVII в. за-тухали), новых, более отвечающих задачам самодержавно-крепостнического строя и новой европейской эпохе господствующих групп.

Фундамент для увеличения дистанции между верхами и низами объективно закладывали Алексей и Никон с помощью церковной реформы. Раскол был первым по-настоящему крупным, масштабным духовным (психоинформационным), социальным и организационным, короче, психоисторическим конфликтом, вызванным самодержавием в соответствии со своими внутренними и внешними (последние в данном случае были ложными, “навешанными” иезуитами простоватому, мягко говоря, Алексею) целями. Однако линия алексеевско-никоновского раскола не прошла четко между верхами и низами: сторонники старой веры были во всех слоях. И все же Алексей и Никон нанесли первый мощный удар как по русской традиции, так и по единству населения.

В известном смысле раскол может рассматриваться как генеральная репетиция по отношению к петровским реформам (ср. Просвещение и Французскую революцию, а также террор в России конца 1870-х и революцию 1905—1907 годов, с одной стороны, и революцию 1917 г., с другой). И все же задачу дистанцирования никоновская психоинформационная акция не решила, поэтому-то Аввакум, возражая тем, кто видел в Никоне Антихриста, говорил: “Дело-то его и ныне уже делают, только последний-ет черт не бывал еще”. То есть Антихриста пока нет, но он явится.

Не истончение вещественной субстанции прошлой эпохи, а ее передел в целях создания новых форм социального контроля, потребовавших, в свою очередь, создания новых властных институтов, независимых как от низов, так и от верхов, и, самое главное, новых господствующих групп, оторванных и автономных от низов, отделенных от них в плане культуры и способных жестоко эксплуатировать их — эдаких “чужих” и “хищников” в одном флаконе. Эта задача была решена Петром с помощью его опричнины, развернувшейся после перелома в войне со шведами. Как и всё в России, включая все опричнины, петровская полностью и всех своих целей не достигла — Россия вязкая страна. Победоносцев не зря заметил, что Россия — тяжелая страна: ни революция, ни контрреволюция здесь до конца не доходят. А потому, добавлю я, результаты первой и второй внешне здесь часто похожи. Так же, кстати, и с опричниками: конкретно-исторические различия между ними не стоит абсолютизировать; главные различия несут, как сказал бы М. Вебер, “идеально-типологический”, векторный характер.

Как я уже сказал, всех целей петровская опричнина не достигла. Произошло это по нескольким причинам. Во-первых, она быстро проела то, что

создавалось в течение десятилетий до нее, проела, помимо прочего, из-за фантастического воровства “птенцов-кукушат гнезда Петрова”, масштабы которого несопоставимы с воровством грозненских опричнин (и это еще одно различие между двумя типами русских опричнин, связанное, кстати, с их направленностью и вопросом о соотношении контроля со стороны Центра над верхами и низами). Результат – истощение страны и курс на отмену “чрезвычайки”.

Во-вторых, главным образом пассивное сопротивление населения, помноженное на необъятные пространства, которые с трудом поддавались “неоинституционализации” (читай, например, “Старые годы в селе Плодомасове” А. Лескова). В-третьих, стремление монархов все более опираться на дворянство в целом, чтобы ослабить хватку чрезвычайки-опричгардии, которая ощущалась и на горле монархии. А такая опора предполагает уступки дворянству, вплоть до очень существенных при Екатерине II. Элементы дворянства, утвердившиеся при ней, не усиливали самодержавия непосредственно, но усиливали крепостничество. Усилили до того, что самодержавию в лице Павла I и особенно Николая I пришлось вступить в борьбу с этой тенденцией и ее персонификаторами.

Вернемся, однако, к результатам петровской опричнины. Не достигнув всех целей, они, как и опричнина Ивана Грозного, оказались сильны своей инерцией (в том числе и потому, что измотали население и, заставив его бороться за выживание, заблокировали возможность эффективного сопротивления) и привели уже в екатерининское время к главной из поставленных целей: создали новую господствующую группу квазизападного типа, способную жестоко эксплуатировать крепостных, относительно эффективно контролировать огромную территорию и защищать ее от внешнего врага как свою зону.

Достижению целей петровской опричнины способствовал еще один мощный фактор, который в начале XVIII в. сработал на питерскую версию опричнины так же, как в середине XVI в. – на опричнину Ивана IV. Этот фактор – русское сельское хозяйство с его невеликим продуктом, следствием чего является господство экстенсивного типа развития над интенсивным. Компенсируя слабые возможности интенсификации, развития вглубь, русское хозяйство развивалось вширь – путем экспансии. Это прежде всего монастырская колонизация XIV–XV вв., ну а в XVI в. русский человек перевалил за Камень (Урал) и начал осваивать Сибирь. Русофобы квалифицируют русскую экспансию как имперскую, якобы свидетельствующую об агрессивности и политическом экспансионизме России и русских. На самом деле экспансия носила, во-первых, хозяйственный характер; во-вторых, народный (помимо прочего, в XVII в. народ, наиболее активные его элементы побежали сначала от самодержавия, а затем от никонианства). И только в-третьих можно говорить о политическом характере экспансии, обусловленном прежде всего тем, что власть гналась за растекавшимся народом, бежала за ним, стремясь откристаллизовать эту жидкость, “подморозить” и в таком виде поставить под контроль. Но в основе всего, повторю, специфика русского хозяйства с его малым продуктом. Отсюда – экстенсив, постоянное расширение русского пространства. Закончился в конце XIX в. экстенсив, и шарахнули революции начала XX в., а затем возник советский коммунизм – попытка (впервые в таком масштабе в русской истории!) превратить русское экстенсивное развитие в интенсивное.

Во второй половине XVII в. в процессе освоения русскими евразийского пространства произошел качественный скачок, к которому Московское самодержавие не было готово и которому оно не было адекватно. Оно не поспевало за стремительно растекавшимся по стремительно расширяющемуся русскому пространству населением, не годилось для выполнения этой задачи. Не только внутренние факторы, но и внешние – территориальный рост, сопровождающийся увеличением внешних угроз, – делали его неадекватным новым задачам, задачам новой эпохи. А эпоха эта характеризовалась превращением Московской Руси в то, что Ф. Бродель называл “мир-экономикой”, а И. Валлерстайн – мир-системой. В XVII в. Московское царство стремительно превращалось в мир-систему, которая просуществует до середины XIX в. и пиком развития которой станет николаевская эпоха. После Крымской войны Россия станет превращаться в элемент мировой системы, однако сталинский национал-большевизм вырвет ее оттуда и превратит в мировую антикапиталистическую систему, пиком развития которой станет брежневская эпоха.

Ключевский называет третий период русской истории великорусским, датируя его серединой XV – началом XVII в. (я бы прибавил полстолетия). Главной чертой этого периода историк считал растекание главной массы русского населения из верхневолжской области на юг и восток по донскому чернозему. Н. П. Огановский именуется этот период московским, доводит его с середины XV до конца XVII в. (я бы убавил полстолетия) и подчеркивает колонизацию Поволжья и Прикамья. По сути оба историка говорят о стремительном растекании русского населения во все концы – власть не поспевала за ним. “Текущий элемент русской истории” – так характеризовал русский народ Ключевский. Власть, иными словами, не поспевала за мир-системой, она была патриархально-московской, а нужна была российская, “имперская”.

Более того, с 1620-х годов, считает Ключевский, начался новый период русской истории – всероссийский, продлившийся до середины XIX в. Н. П. Огановский называет этот период имперско-дворянским, правда, связывает его не с XVII, а с XVIII – серединой XIX в. Оба историка говорят о втором колонизационном поясе (Новороссия, Нижнее Поволжье), о распространении русского народа по всей равнине от Балтийского и Белого моря до Черного и Каспийского, о проникновении за Камень (Урал) и Каспий, о присоединении к России Малороссии, Белоруссии, а в XVIII в. Новороссии. Середина XVII в. – (вос)становление самодержавия приходится на переход от великорусского (московского) периода аграрно-исторического развития русского народа к всероссийскому (имперско-дворянскому; “мир-системному”). Народ и хозяйство совершили этот переход, а Московское самодержавие – нет, не смогло, потому что было “заточено” под предыдущий период, решало и решило в тяжелейших условиях его задачи. А затем – пятьдесят лет пробуксовки.

Иначе говоря, “пространственно”, количественно русское пространство и русский продукт увеличились (без качественного увеличения последнего), а власть и ее формы остались прежними, что, помимо логики развития крепостничества, еще более обостряло необходимость передела “вещественной субстанции” (при том, что она вовсе не была истощена, исчерпана) в пользу верхов, способных по-новому организовать, темпорализовать расширившееся пространство. А это, в свою очередь, требовало чрезвычайного, опричного создания для этого новых органов и слоев. Иными словами, упрощая, можно сказать, что питерская опричнина была ответом на вызов пространства, а грозненские – на вызов времени, и это многое, хотя и не всё, объясняет в них.

С учетом опыта питерского типа опричнины становится ясно, что не стоит испытывать иллюзий по поводу опричнины вообще: смотря какая опричнина – грозненская или питерская. Впрочем, не стоит питать иллюзий и по поводу грозненских опричнин. Начать с того, что в рядах опричнины немало тех, кому любо насилие, кто использует его в своих целях, а то и просто “биологических подонков человечества”, и чем менее здорово общество, тем в большей степени. У опричнины, по крайней мере у ее части, пусть небольшой, всегда есть соблазн и риск превратиться в эскадроны смерти.

Будучи крайним средством, опричнина использует крайние меры и крайних людей, и чем тяжелее общественная ситуация, которую должна скорректировать опричнина, тем острее край. С учетом этого, забегая вперед, можно предположить, что неоопричнина XXI в., если она возникнет, будет самым горьким лекарством, расплатой за беспредел постсоветского периода, и ударит она, как это всегда бывает в истории, не только по виноватым. Заменяя в фразе Мартина Лютера слово “истина” на слово “опричнина” можно сказать: “дух “опричнины” болезнетворен. Ибо “опричнина” не лестна. И он повергает в болезнь не просто того или иного человека, но весь мир. И уж такова наша мудрость, чтобы всё озлить, онедужить, усложнить, а не оберечь, опосредовать и оправдать”. Опричнина – болезненное, смертельное средство лечения смертельной болезни. Но спрашивать нужно не с опричников, они сами – боль, а с тех, кто запустил болезнь или даже культивировал ее.

И еще одно: опричнина никогда не достигает своих целей до конца. Один из парадоксов опричнины заключается в том, что без нее невозможен рывок из тупика посредством выхода в новое социальное измерение. Однако “чрезвычайка” не может быть вечной, а цена и побочные результаты часто таковы, что нужно их убирать, ликвидировать (часто вместе с опричниками). А в этом “оттепельном” процессе, как правило, вылезает то, с чем боролась опричнина

на, вылезает и начинает жить своей жизнью, жизнью полной ненависти к данному строю и породившей его причине. Ненавистью и жадой реванша.

Завтра была опричина?

Русская история демонстрирует со стеклянной ясностью: субъектом исторически судьбоносных рывков в развитии страны являются не массы, не институты и не отдельные личности, а чрезвычайные комиссии, “чрезвычайки”, первой среди которых была опричина Ивана Грозного. Именно чрезвычайный субъект, “профессиональные чрезвычайщики” “заводят” массы, организуют и направляют их. Ленин четко зафиксировал это в своем “учении” о “партии нового типа”. Но что такое “партия нового типа”? Это же “чрезвычайка” с антисистемной направленностью – не более, но и не менее. Ленин на антисистемный лад рационализировал то, что уже дважды осуществлялось в России самой властью и на что современная Ленину власть уже не была способна.

Именно опричина делает в русской истории грязную работу, вычищая грязь и гниль, сгоняя русских Емель с печи и, подобно швейковскому капра-лу, напоминая им: “Помните, скоты, что вы люди”.

Сегодня РФ находится в провале и в тупике (провальном тупике). Видны ли какие-нибудь силы, способные вывести ее из этого тупика? Нет. Институты? Нет. Ситуация похожа на таковые 1560-х и 1920-х годов. Откуда пришло решение в те дальние годы? Из раскола верхушки – часть ее во главе с первым лицом (царем, генсеком) использовала внеинституциональные средства, жестко поставив другую часть под контроль и на службу национальному/имперскому (национально-имперскому) целому, выступив по отношению к этому целому в качестве особой, чрезвычайной организации, почти ордена (“корпорации”).

А что вызвало раскол? То, что было проедено наследие, вещественная субстанция предшествующей эпохи, предшествующей системы и встал вопрос о переделе общественного “пирога”. И опять мы оказываемся в ситуации, аналогичной, если не тождественной 1560-м и 1920-м годам: в середине ближайшего десятилетия, эдак в канун столетия Октябрьской революции будет почти полностью проедено советское наследие: промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, коммуникации – всё придет в негодность, поскольку в последние десятилетия ничего нового не создавалось, проедалось старое – и оно же проедалщиками хаялось (как не вспомнить поговорку: едят и гадят в одном и том же месте только свиньи). Как только это произойдет, встанет вопрос: кто будет основным источником “накопления” для движения в будущее – население или коррумпированные чиновники и “бизнесмены”? Власти придется выбирать, и любой выбор – тяжелый и опасный.

С населения и так уже почти нечего взять, к тому же, доведенное до отчаяния, оно может взбунтоваться – терять нечего, а тупо-зомбирующие телепередачи, достигнув точки асимптотического насыщения, станут работать контрпродуктивно. Коррумпированные чиновники и “бизнес” – часть самой власти, связанная с криминалом и иностранным капиталом, – тоже опасно. Тем более, что общество носит криминальный характер (во многих его сегментах криминализация становится формой социальной организации), психически нездорово, и любые резкие действия могут привести к непредсказуемым последствиям. А без резких действий – крышка.

Время паллиативов прошло; “приглашение” внешнего правления или торговли территориями маловероятны и, главное, не решат проблему. Правда, возможна попытка создания на территории РФ неких особых зон, отделенных от “остальной” территории и связанных с глобальным миром, его центрами в значительно большей степени, чем со своей страной. По сути это анклав глобального мира. Кенити Омаэ называет их регион-экономиками, или регион-государствами. Регион-экономика – естественная деловая единица “глобальной информационной экономики”, которая представляет собой территориально обособленный комплекс, решающий свои проблемы путем привлечения глобальных ресурсов и встраивания себя в глобальные товарные цепи.

Регион-экономика – это единица производства и потребления с численностью населения не менее 5 млн чел. (иначе не будет обеспечен привлекательный рынок для потребительских товаров) и не более 20 млн, чтобы обес-

печить единство граждан как потребителей. Во всем мире, считает Омаэ, идет рост таких единиц. Это Силиконовая долина в США, районы Сютокен и Кансай в Японии, Баден-Вюртемберг в Германии, Лангедок – Руссийон – Каталония (Франция – Испания) и др.

Необходимо отметить, что все указанные регион-экономики возникают не посреди моря бедности и разрухи, а как органичный авангард промышленно развитых экономик. Возникновение таких регионов в бедных странах поставит задачу эффективной изоляции/сегрегации их от бедноты, вплоть до возведения стен а la средневековые города. Подобные “неосредневековые города” уже появились – например, Альфавиль в Бразилии. Огромный город-регион, отделенный мощными укреплениями от мира бедноты, описан К. Бенедиктовым в романе “Битва за Асгард”. В России “асгарды” не пройдут – по той же причине, по которой здесь не прошли феодализм и капитализм. Перефразируя фразу Тютчева о России, что она – Ахилл, у которого пятка везде, можно сказать, что русские “асгарды” будут сплошными пятками, хотя просуществовать какое-то время “под знаменем” инноваций – пока не будут “распилены” инновационные средства – могут. Короче, куда ни кинь, всюду клин, а ситуация запущена и усиливается мировым кризисом.

Можно ли прекратить бесконечность тупика с помощью опричнины, применением “опричного принципа”? Русская история показывает, что можно. Но все зависит от того, кто, как и в “блоке” с каким принципом станет применять. Если опричный принцип соединится с олигархическим, мы получим второе издание питерской версии. Пользуясь терминологией XX в., это будет даже не правоавторитарный, а правототалитарный режим, а еще точнее, тоталитарно-анархический, что-то вроде описанного О. Маркеевым в романе “Неуточный фактор”. Скажу прямо: у правой диктатуры в постсоветской России шансы невелики. Своих сил продержаться у нее мало, значит, понадобятся “чужие штыки” и внешнее управление. Оккупация России чужаками всегда кончалась плохо для чужаков и коллаборационистов.

Если же опричный принцип блокируется с самодержавно-национальным, то результатом будет левая диктатура, и этот вариант намного более вероятен, хотя бы потому, что в России власть всегда важнее собственности, и в этом плане с точки зрения русской истории как пореформенная Россия, так и постсоветская РФ суть социально-экономические извращения (не потому ли в обеих так много и половых извращенцев – *abyssus abyssum invocat*, “бездна бездну призывает”).

Вполне возможен раскол верхушки и столкновение двух типов опричнины – “грозненского” и “питерского”, и это будет новация в развитии опричного принципа. За первым будет стоять схема нации-корпорации и империи, за вторым – “регион-государства” (“рынка-государства”), условно говоря – “Четвертый Рим” против “Асгарда”. При этом при прочих равных большие шансы на победу имеет та опричнина, которая успешнее сыграет на мировой арене, используя противоречия возможных недругов и создав сеть международных союзов. Год назад, выступая в Гаване на конгрессе по глобальным проблемам, я сказал, что нациям-корпорациям (или государствам, избравшим этот путь, автоматически предполагающий левую диктатуру) в борьбе с неоимпериализмом, транснациональными корпорациями и корпорациями-государствами необходим союз – нечто вроде V Интернационала. Помимо прочего, это заставит буржуинов распылять силы.

Впрочем, не исключена еще одна новация-выверт русской истории: синтез “грозненской” и “питерской” версий опричнины, хотя здесь сразу же возникает много проблем. Но нам не привыкать: Россия страна и проблемная, и экспериментальная, здесь часто работает принцип “не жалко никого: ни тебя, ни себя, ни его”.

Победа “левой опричнины” – это только начало тяжелого пути, который можно охарактеризовать фразой ненавистника России, Черчилля: кровь, пот и слезы. Новая опричнина будет разворачиваться в обществе намного более разложившемся и криминализованном, чем сталинская. И это несомненно наложит свой отпечаток на неоопричнину – здесь не надо питать иллюзий.

Далее. Нынешняя Россия – это обнажившиеся пласты-дефекты сразу нескольких эпох русской истории, концы и начала в бардаке последних десятилетий спутались между собой – “всё смешалось в диком танце” (Н. Заболоцкий). РФ – футуроархаическое общество: рядом с виртуальным миром

XXI в. существуют материальные реалии XVIII–XIX вв., не говоря уже о существовании различных типов русского человека различных эпох. Тут тебе и пугачевский “тулупчик заячий”, и мундир генерала Скобелева, и буденовки и кожанки – чекистов и люберов, и малиновые пиджаки “новых русских”. Как заметил уже поминавшийся мной О. Маркеев, “бронепоезд очередной российской революции лбом таранит рубежи двадцать первого века, а хвостовые вагоны еще болтаются на стыках века девятнадцатого”. Социально-экономическая неоднородность страны, отражающая нерешенность проблем сразу нескольких стадияльно различных экономических укладов – то есть нерешенность в прошлом, “приехавшая” в будущее, – всё это тоже проблемы, которые надо будет решать, причем быстро и одновременно, преодолевая при этом сопротивление бенефикторов предыдущей эпохи, криминала и пассивность населения. Ну и, естественно, сопротивление внешних сил.

Русская неоопричина против мировой “чрезвычайки”?

У проблемы опричины, русской “чрезвычайки” и связанных с ними потрясений есть международный аспект, что неудивительно: русская история – часть европейской, евразийской и мировой. Есть некая эмпирическая регулярность, как сказал бы Н. Д. Кондратьев, в соотношении наших опричин и смутореволюций, с одной стороны, и мировых смут и войн, с другой. Исторически опричины в России становились либо преддверием мировых смут, либо их элементом.

Так, наши опричина и Смута начала XVII в. были элементом Большой Смуты, кризиса “длинного XVI века”. И вот что интересно: наша восточноевропейская смута, закончившаяся в 1618–1619 гг. (поход Владислава на Москву, Деулинский мир, возвращение Филарета из польского плена и фактическое занятие им царского трона), оказалась прологом западноевропейской Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.). Именно эта война не позволила Западу взять ослабленную Смутой Россию голыми руками.

Аналогичным образом обстояли дела после петровской “смуты сверху”. Несмотря на победу в Северной войне, Россия, укатанная внешней войной и внутренней погромовой войной, была слаба в 1720–1730-е годы. Однако войны, которые вели европейцы за разные “наследства”, не позволили использовать эту слабость. Ну а к середине 1750-х годов, к Семилетней войне Россия пришла в себя и сломала хребет Фридриху II. В XX веке русская революция и новая русская опричина стали преддверием и элементом новой Тридцатилетней войны (1914–1945 гг.) – теперь уже не европейской, а мировой.

Размышления о войнах – не самое приятное занятие, но абсолютно необходимое. И не только в общем плане (*si vis pacem para bellum* – “хочешь мира, готовься к войне”), но и вполне конкретном. Мы живем в предвоенную эпоху; мир вползает в кризис, которому нет аналогов*. Предвоенность эта, однако, формальная. По сути мы уже живем в военную эпоху: глобализация, “кладезь бездны” есть не что иное, как достижение военных целей мирными (финансово-экономическими, психоинформационными) средствами. Впрочем, все это не исключает и обычных войн: натовская агрессия против Югославии, Ирака, Афганистана. И если поверить Киссинджеру, заявившему, что глобализация есть новое название американского империализма, то глобализация в сущностном плане есть империалистическая война нового типа. Или агрессивная война нового империализма.

Сегодня есть фактор, способный резко обострить ситуацию – американо-китайское соперничество. По мнению ряда экспертов, ВВП Китая, измеряемый по паритету покупательной способности (ППС), достиг 40 трлн долл. Это столько же, сколько у США, Евросоюза и Японии вместе взятых; еще 40 трлн приходится на “остальной” мир**. Если учесть, что Китай начинает подтягивать свою военную массу к массе экономической, что позиции военных в ру-

* Подр. см.: Фурсов А. И. Мир, который мы покидаем, мир, в который мы вступаем, и мир между ними. Капитал(изм) и Модерн – схватка скелетов над пропастью // Defuturo, или История Будущего. М.: Политический класс. АИРО-XXI, 2008. – С. 255–304.

** Я благодарен А. Н. Анисимову, обратившему моё внимание на этот факт, равно как и на ряд других важнейших фактов и событий, связанных с КНР, её местом в мире.

ководстве КНР усиливаются, что все это происходит на фоне мирового кризиса, ремиссия в развитии которого не должна вводить в заблуждение, то можно говорить об изменении мировой политико-экономической ситуации. Чтобы не допустить ее развития в неблагоприятном для себя направлении, США как “тело”, “клетка” закрытых наднациональных структур управления должны подсесть Китай, как это было сделано в 1914–1918 гг. с Германией или как в 1985–1991 гг. с СССР; попытка подсесть Россию в 1914 г. провалилась – возник сталинский СССР; попытка в 1941–1945 гг., когда на СССР натравили Гитлера, тоже провалилась. В нынешней ситуации у США как ядра “совокупного Запада” теоретически не так много вариантов.

Вариант № 1. Попытаться решить китайскую проблему военным путем с помощью России: русский мужик в очередной раз становится пушечным мясом для англосаксов, русское пространство – главным театром военных действий, как Восточный фронт в двух мировых войнах XX века. Под такую задачу Россию могут принять/втянуть в НАТО, присвоив таким образом наш ядерный потенциал и необходимое для войны пространство.

Итогом такой войны может стать распад Китая, полный демонтаж России и, как это ни парадоксально, ликвидация мировой верхушкой американской империи – по методу ликвидации Британской империи американцами и “наднационалами” после победы над Гитлером.

Этот вариант маловероятен в силу, мягко говоря, слабой боеспособности российской армии. К тому же, вряд ли русские солдаты и офицеры захотят всерьез воевать с китайцами.

Вариант № 2. США создают с КНР кондоминиум, делят Россию, как это предлагает известный ненавистник России Зб. Бжезинский. В этом случае США, находящиеся не в лучшем состоянии, получат передышку. Но и Китай получит – причем не только передышку, но и колоссальные ресурсы, что резко и, возможно, окончательно изменит мировую ситуацию в его пользу, и даже война не поможет. Расчет может быть на то, что во время “передышки” Китай взорвется изнутри или подавится куском России, но – “гладко было на бумаге”. И где уверенность, что Россия позволит себя съесть. Конечно, есть такая поговорка: “Если ты выглядишь как еда, тебя обязательно съедят”, но попытка съесть Россию – ядерную (до сих пор) державу чревата. Чужеземные оккупационные режимы здесь не держатся, и даже Золотая Орда эксплуатировала Русь на дистанции, взимая дань, как это сегодня делает Западная Орда. Наконец, и это главное, на раздел России с США не пойдет Китай, для которого США намного опаснее и которым он скорее постарается противопоставить китайско-русский союз, и это далеко не худший вариант для России.

Вариант № 3. Мне он не представляется невероятным, напротив. США будут систематически сбивать дыхание Китаю (и заодно России – чтобы не рыпалась; о том, что Россия не должна это делать, понимая, кто в доме хозяин, откровенно говорят сегодня и Киссинджер, и Олбрайт и многие другие) где только можно – на всей мировой доске игры в “го” (вэйци). При этом есть регионы, наиболее приспособленные для того, чтобы созданное там напряжение давило на Китай, Россию, Иран (правда, в случае последнего более вероятен военный удар), а если надо, Индию, – это район Афганистана – Пакистана, который в США все чаще объединяют в некое целое под названием “Афпак”.

Создание напряженности, а если надо, военного конфликта большой длительности силами “афпаковцев” (главным образом мусульман-суннитов), с распространением конфликта в Центральную Азию и населенные мусульманами районы Китая – вариант вполне возможный. В этот регион, как в воронку, возможно втягивание других регионов.

При этом необходимо отметить, что новая мировая (а точнее, всемирная*) война, организованная по методу управляемого хаоса, не обязательно будет такой, как войны 1914–1918 и 1939–1945 гг.; скорее всего, она будет иной – локально-точечной, ведущейся сразу в нескольких зонах мира. Думаю, войны глобальной и постеглобальной эпох типологически скорее всего будут напоминать Тридцатилетнюю XVII в. – вход в капиталистическую систему (тогда) и выход из нее (сегодня) с необходимостью должны быть зеркальными.

* Подр. см.: Фурсов А. И. На закате Современности: терроризм или всемирная война? // Русский исторический журнал. – М., 1999. – Т. II, № 3. – С. 193–231.

Возможны и другие варианты, но ясно одно: мир вступает в чрезвычайно опасную эпоху – в эпоху чрезвычайности. Нам предстоит увидеть возникновение немалого числа “чрезвычайек” на глобальном, государственном, региональном и локальном уровнях. XXI век, помимо прочего, станет веком схватки “чрезвычайек” новых и старых (впрочем, уже стал: война структур-невидимок уже идет), и в этой ситуации опричнина с ее опытом и традициями может стать необходимым, хотя и недостаточным условием и средством, с помощью которого можно будет проскочить кризис и вынырнуть в посткризисное будущее. Более того, пожалуй, только неоопричнина как орден-ядро формирующейся нации-корпорации способно и довести до конца процесс этого формирования, и стать оргоружием в борьбе.

По-видимому, Россия вступает в самое опасное, наиболее критическое десятилетие своей истории, ставкой которого является не просто существование РФ, а дальнейшее бытие России как особого культурно-исторического типа, русского народа. Национально ориентированная опричнина – лишь необходимое, не недостаточное условие побед. Как говорил толкиеновский Гэндальф, повторяя (“цитируя”) фразу из шекспировского “Макбета”: “If we fall we fall, if we succeed we will fact another task” – “Если мы провалимся, мы пропали; если мы добьемся успеха, то столкнемся с новой задачей”.

Одна из задач, которая объективно стоит перед страной – формирование принципиально нового типа интеллектуального руководства. Нового – значит: адекватного новому миру, эпохе Пересдачи Карт Истории. Нынешняя ситуация чем-то напоминает таковую начала XX века, кануна Мировой войны, которая выявила полную неадекватность подавляющей части персонификаторов “открытой” политики новой эпохе. Сейчас эта неадекватность на порядок сильнее, а ситуация на порядок сложнее.

Разумеется, заявить задачу формирования нового типа руководства значительно труднее, чем выполнить. Во-первых, с позднесоветских времен продолжается внутренний антиотбор. Во-вторых, с 1990-х годов он усилен целенаправленным действием Западной Орды, ее “баскаков” и агентуры, с одной стороны, и процессом социального разложения, с другой. В-третьих, во всем мире идет, как отметила в одном из своих выступлений М. А. Кочубей, процесс проседания интеллектуально-волевой “сетки” управленческих структур – это тенденция, которую Ш. Султанов в статье “Неизбежная война” (“Завтра”, 2010, № 4) обозначил как быструю деградацию традиционного рационального мышления, которая наиболее отчетливо проявляется в научной и политической сферах. Речь идет о падении интеллектуального уровня и волевых качеств мировой верхушки, по крайней мере, ее “явного контура”.

Сегодня трудно сказать, какой уровень – интеллектуальный или политический, какая сфера – научная или управленческая демонстрируют более высокие степень и скорость деградации. Кто хуже? Как сказал бы Сталин, оба хуже. Но я прежде всего хочу сказать об интеллектуальной сфере, о задаче интеллектуалов – о создании интеллектуального оружия, то есть нового знания о мире и человеке.

Новое знание для Четвертого Рима

В связи с этим напомним тезис Карла Полањи о зловещем интеллектуальном превосходстве вождей Третьего рейха над их противниками в качестве одной из главных причин побед. Но аналогичным образом можно сказать и о превосходстве советского руководства 1930–1940-х годов над их “оппонентами” из открытого мирового контура власти. Чтобы побеждать на мировой арене, необходимо “зловещее интеллектуальное превосходство над противником” – новое знание. Практически всем серьезным попыткам борьбы на мировом уровне за власть и ресурсы, всем крупным революциям или приходу к власти новых политических сил и движений предшествовало создание этими силами или их предшественниками принципиально нового знания. Так было в случае с Французской революцией 1789–1799 годов, которой предшествовало создание нового знания, нового интеллектуального оружия (Просвещение, “Энциклопедия”), нацеленного прежде всего на верхушку тогдашнего французского общества (задача – перезагрузка интеллектуально-мировоззренческой матрицы, серия психоударов), с коммунистическими революциями,

которым предшествовала интеллектуально-теоретическая деятельность марксистов, с победой национал-социалистов в Германии и борьбой Третьего рейха за мировую гегемонию (создание нового знания о человеке и природе в 1920-е и особенно в 1930-е годы). Новое знание создает нового субъекта. Это вдвойне так в информационную эпоху, когда новый субъект не может не появиться в виде информационного “сгустка” властезнания, формирующего “под себя” энергию и материю.

Необходимо отметить, что исходно новое знание создается не огромными организациями-монстрами, тем более что сегодня их время ушло, научные оргмонстры вымирают, корчась в конвульсиях бессодержательной и бесплодной активности и решая проблемы позавчерашнего дня. Новое знание создается небольшими мотивированными группами людей с четкой целевой и ценностной установкой, “креативным спецназом” – это, опять же, подтверждается опытом интеллектуальной артподготовки практически всех рукотворных исторических сдвигов, тем более – кризисов и революций.

Борьба за сохранение России в XXI веке (и далее) потребует создания нового корпуса знаний о современном мире. И если национально (цивилизационно) ориентированной неоопрличине суждено состояться, то этот корпус должен стать ее научно-интеллектуальным компонентом; более того, он должен обеспечить ей готовое и способное к саморазвитию знание, предвзятое ее. Данное знание должно быть знанием не только и даже не столько о России, сколько о мире и о России как его элементе – многие наши поражения обусловлены заикленностью на себе, на своих особенностях, иными словами, на определенном рода интеллектуальной самопупковости и на незнании мировой ситуации; победы большевиков, а затем сталинцев были в огромной степени обусловлены тем, что они были игроками мирового уровня, их “повестка дня” была мировой.

Корпус знаний, о котором идет речь, необходим во всех ситуациях – и в ситуации победы, и в ситуации глобальной катастрофы, и, если, не дай Бог, неоопрличина не спасет и Россия рухнет. В последнем случае значение и роль нового знания вообще возрастают на порядки – оно станет необходимым для сохранения русскости, для создания сетевого русского мира в посткатастрофическом мире, наконец, для строительства нового русского властесоциума – Четвертого Рима. Кто сказал, что Четвертому Риму не бывать? Надо будет, создадим. “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью”.

Четвертый Рим, Новая Русь, Новая Гиперборея – важно не название, а суть. Суть проста: Россия возможна только как структура имперского (“неоимперского” – применительно к новым обстоятельствам) типа. Более того, русские возможны только в структуре такого типа. В отличие от Запада, где империи суть политические формы, в России то, что называют “империей”, выполняло социальную функцию, было социальной тканью, разрыв которой приводил к значительно более тяжелым последствиям, чем крушение империй на Западе.

Да, русские несли на себе бремя империи, тянули имперскую лямку как в Российской империи, так и в “империи” Советской; в последнем случае русские (великороссы), белорусы (белороссы) и украинцы (малороссы), то есть россы-русские перекачивали создаваемый ими продукт на окраины, кормя Прибалтику, Кавказ, Среднюю Азию (это четко зафиксировано статистикой) и не получая за это никакой благодарности – помощь принималась как “должное” от старшего брата.

Но значит ли это, что русские – неимперский народ, что империя им противопоказана, что нужно забраться в узконациональную скорлупу (или несколько скорлуп), скукожа до них русское пространство, освоенное предками и представляющее их и наше наследие, часть русскости? Именно к этому призывают те, кто противопоставляет русских и империю, то есть наднациональное образование, образующей осью которого являются русские. По сути в этих призывах мы имеем дело с закамуфлированной под национализм, навязываемый русским (в России никогда не было национализма в западном смысле слова, как не было и империи в западном смысле), с антирусской и антироссийской одновременно (два шара в лузу) стратегемой. Я согласен с теми, кто, как, например, В. И. Карпец, видит в подобном рода проектах исключительную опасность для России и русских.

Нация и империя не несовместимы, так же, как совместимыми оказались свобода и империя (у Пушкина), нация и большевизм (у Сталина). Не надо

морочить себе голову и тем более позволять это делать по отношению к себе другим. Другое дело, что в рамках наднационального целого русские должны быть не абсолютными донорами, а, создавая основную часть продукта, занимать место и играть роль в “империи”, во всех ее структурах пропорционально своей доле в населении — этого не было ни в Петербургской империи, ни в СССР. Правда, в обеих структурах русские составляли около 50% населения, но на сегодняшний день — 80%. Это означает, что Четвертый Рим, если ему суждено осуществиться, будет принципиально иным, чем Третий.

Строительство Четвертого Рима должно начинаться с создания нового знания — вначале было Слово. Это знание должно опираться на наследие предков всех эпох нашей истории — и на переосмысление этого опыта, включая опричнину. Сюда входит, прежде всего, инвентаризация катастроф и поражений — за одного битого двух небитых дают, четкое определение вечных и временных врагов России и русских с пониманием, что самый опасный враг всегда внутри. Ну и, разумеется, осмысление победительного опыта — своего и чужого.

И не надо морочить себе голову ложным реставрационизмом по поводу, например, Третьего Рима. Третий Рим разрушен. И парадоксальным образом его начал рушить уже второй Романов церковной реформой, позднее свой вклад внесли и другие цари. Большевики пытались на месте Третьего Рима возвести Третий интернационал, однако Сталин “перезагрузил матрицу” и попытался отстроить новый Третий Рим как социализм “в одной, отдельно взятой стране” — и отстроил, но всего на несколько десятков лет.

Одновременно с демонтажом-ремонтом Третьего Рима шли аналогичные “эксперименты” с русским народом. Так, первый демонтаж русского народа ударом по истинно русской вере и русскому социокультурному коду произвели Алексей с Никоном и Петр I, однако они лишь расшатали народ, но не сломали его. Тем более, что в Петербургском самодержавии большую часть народа власть оставила в покое, оставив его в социокультурной резервации традиционного мира.

Пореформенная Россия стала зоной быстрого разложения народа, значительная часть страны превратилась в “Растеряеву улицу”, “трактирная цивилизация” стала теснить русскую. Кончилось все это революцией и широко-масштабным демонтажом русского народа в 1920-е — первой половине 1930-х годов. Затем торжество национал-большевистского курса над интернационал-социализмом и победа в Великой Отечественной войне не просто остановили этот процесс, но способствовали монтажу новой общности — советского народа на русской основе. Процесс этот так и не был завершен, ну а с конца 1980-х годов начинается (по нарастающей) активный демонтаж советского народа и, естественно, его русской основы — десоветизация стала мощнейшим и продуманным ударом по основам русского культурно-исторического типа. Третий Рим как способ бытия русских исчерпан.

Я уже не говорю о дефектах в конструкции. Это никоновская реформа-диверсия, петровский погром, рабство крестьян эпохи Екатерины II, идейный бред прозападной интеллигенции, художества интернационал-социалистов в 1920-е годы, тупость и предательство совноменклатуры 1970—1980-х годов.

Реликты всех этих дефектов послегрозненской эпохи русской истории так до конца и не вычищены, не стерты из русской истории — как не были стерты к середине XVI в. многие дефекты-реликты киевской, владимирской и ордынско-удельной эпох, которые пришлось “кусать” и “выметать” опричнине. С конца 1920-х годов сталинский режим с опорой на опричный принцип решал проблемы, которые накопились за несколько столетий русской истории (и которые не смогли, не сумели решить ни Николай I, ни Александр III; последние при всех их качествах были неадекватны задаче решения этих проблем) и которые были созданы революцией и первым послереволюционным десятилетием. Жестокость решения была обусловлена запущенностью проблем, с одной стороны, и имманентной жестокостью, характерной для времени революций и гражданских войн. За 1930—1960-е годы был решен целый ряд проблем, однако далеко не все, к тому же появились новые. Под их совокупным грузом и при активных действиях блока “часть советской верхушки — часть мирового капиталистического класса — криминалитет” прогнулся и был демонтирован советский коммунизм, разрушен СССР. За последние двадцать лет в геометрической прогрессии вырос еще больший ком проблем — терапевтически его не устранить.

К тому же на сегодняшний день далеко не все проблемы даже осознаны. “Неосознанность происходящего”, о которой любят рассуждать деятели Римского клуба, — одна из серьезнейших проблем современного мира, существующая как сама по себе, так и в качестве элемента сознательно реализуемой стратегии “управляемого хаоса”. Вывод: сначала знать, потом делать. Сначала — новое знание, новая картина мира, отражающие русский интерес, потом — действие. Думать обо всем этом нужно сейчас — только так можно сохраняться и побеждать в меняющемся мире. Победам физическим всегда предшествуют победы метафизические; чтобы выиграть историческое противостояние, сначала надо “сделать” противника в метаистории, в сфере тонких интеллектуальных и психоинформационных (психоисторических) струн.

Ориентированная на решение общенациональных проблем, а не на обогащение узкой группы узаконенного вора, опричина нового типа — это “материя”, которая порождается, помимо прочего, “духом” нового знания и даже нового чувствования, нового слышания Музыки Истории. Как будет называться новое знание? Не знаю. Может быть, по крайней мере для начала, “консервативно-динамическим”. Может — иначе. Но я знаю точно, что оно должно быть бескомпромиссным по отношению к нам самим, не позволяющим пускать слюни и сюсюкать по поводу особой “русской духовности” и “загадок русской души”, а четко фиксировать все слабые и неприятные стороны нашей истории и нашего характера, ставить диагноз, не забывая о сильных и формируя чувство победительности вопреки всему. Это знание должно быть ключом к секретам явных и тайных врагов России и русских в мире в целом и в отдельно взятых странах, находя их сильные и слабые стороны. Оно должно быть убийным и работать в мировой борьбе по пехотному принципу “штык в горло с двумя проворотами” или по снайперскому — “один выстрел — один труп”, а еще лучше два, не оставляя противнику шансов — ни одного. И тогда мы увидим Четвертый Рим с сияющей над ним руной Победы.

КАКУЮ ЛИЧНОСТЬ ФОРМИРУЕТ “ПРОГРАММА 2100”?

Беседа Татьяны Шишовой и Надежды Храмовой

За последние пару лет в печати не раз появлялись статьи, критикующие экспериментальную образовательную “Программу 2100”, по которой в разных городах учатся наши дети. Особенно сильно доставалось учебникам по русскому языку и литературе (авторы Р. Н. Бунеев и Е. В. Бунеева). В Петропавловске-Камчатском разгорелся скандал с привлечением депутатов и обращением в прокуратуру. Родители сочли душевредным то, что в шестом классе детям в рамках этой программы предлагалось прочесть целую подборку произведений, где действовали черты, вампиры и ведьмы, а потом поразмышлять, как нарастает у главного героя чувство страха и (в тех случаях, когда по сюжету это было актуально) подумать о причинах его самоубийства. А в седьмом классе, опять-таки на уроке литературы, проходили “Дневник наркоманки”, который, по мнению авторов, должен отвратить детей от наркотиков, а по мнению специалистов (цитирую рецензию руководителя отделения детской наркологии ФГУ ННЦ наркологии Росздрава А. В. Надеждина), способен “нанести вред несовершеннолетним и склонить их к деструктивным формам поведения”.

Мне же показалось интересным обсудить “Программу 2100” с позиций возрастной психологии, и я обратилась с этой просьбой к кандидату психологических наук, доценту кафедры социальной антропологии и психологии Уральского государственного технического университета НАДЕЖДЕ ГРИГОРЬЕВНЕ ХРАМОВОЙ. Дело в том, что в Общероссийское общественное движение “Родительское собрание”, в руководство которого входит Надежда Григорьевна, неоднократно обращались папы и мамы с просьбой поддержать их законные требования заменить учебники, вызывающие у детей рост тревожности и страхов, а также помочь им разобраться в том, что вообще собой представляет данная программа и почему результаты обучения по ней подчас так далеки от обещанных авторами. А Надежда Григорьевна, как выяснилось из нашего разговора, знакома с “Программой 2100” уже больше десяти лет.

Надежда Храмова: Впервые я узнала об этой программе в 1996 году. В Москве тогда (не знаю, как сейчас) существовала фирма “Новая школа”. Помнится, меня поразила применяемая ими технология “обработки клиента”: проводились очень интенсивные семинары переподготовки учителей (72 часа за 5 дней), потом нас вели в магазины, где была представлена продукция этой фирмы. А в холле на подставке стоял большой, во весь рост, картонный портрет “Новой школы”. Вообще, в этой фирме царил настоящий культ хозя-

ина. Для нас, еще понятия не имевших ни о коммерческих сектах, ни о других подобных явлениях, все это казалось странным. Но хозяин присутствовал не только в портретно-картонном варианте. Он то и дело подходил к продавцам и строго спрашивал: “А это Вы предложили? А это? А это?”

Татьяна Шишова: Вы, наверное, подумали: “Сервис, как на Западе!”

Н. Х.: Конечно. И только потом, спустя годы поняла, что, всучивая педагогам кучу “инновационной” литературы, он забивал им не только авоськи, но и головы “псевдо-инновационной” идеологией.

Т. Ш.: Каковы ее основные постулаты?

Н. Х.: Первый и самый главный: разрыв с традицией. Разрушается основной принцип образования – преемственность культуры. Традиции объявлены стилем ретро, не соответствующими современной действительности, современным рыночным отношениям. Поэтому от традиций надо срочно избавляться. В рамках такого реформаторства механизмы и технологии отрыва от традиций стали называть “инновациями”. На самом же деле к новациям в педагогике, даже к более безобидным, чем те, о которых пойдет речь сегодня, нужно подходить крайне осторожно, поскольку педагогика сама по себе – наука консервативная. Все изменения в ней должны проходить тщательнейшую проверку, вноситься очень аккуратно. Но сейчас все происходит наоборот. На первый взгляд, может показаться, что в современном российском образовании творится вакханалия, но на самом деле это целенаправленное разрушение традиционной школы. Особенно ярко это проявлялось в начале 90-х годов, когда чуть ли не все ринулись экспериментировать над детьми. Сразу оговорюсь, что порой высказывались и вполне разумные идеи, встречались интересные находки. Но вскоре практически всю область альтернативных программ заняла так называемая “педагогика развития” с упором на развитие интеллектуальной сферы. Во второй половине 90-х гг. эти программы, противопоставлявшиеся традиционной системе или традиционному содержанию образования, начали группироваться в “Программу 2000”, которую затем переименовали в “Программу 2100”. Второй ее принцип – усиленная пропаганда анархизма.

Т. Ш.: В каком смысле?

Н. Х.: И в русской дореволюционной, и в советской школе учитель был своего рода миссионером. Он не только преподавал, но и воспитывал, развивал у детей осмысленное восприятие действительности, системное понимание предметов реальности, формировал нравственные качества, показывал пример служения делу, помощи и поддержки слабому: старался подтянуть отстающих учеников, оставался после уроков и проводил дополнительные занятия. Авторитет учителя был высок. Сегодня управленцы-новаторы с этим усиленно борются. С одной стороны, учителям внушают, что они поставщики образовательных услуг, их задача – просто предоставить ученикам информацию. А кто и как ее воспримет, это “его личное дело”. С другой стороны, учащиеся рассказывают об их правах, нередко дискредитируют в их глазах учителей и родителей, представляют их примитивными или диктаторами, которых школьники имеют право не слушаться. То есть в данном вопросе насаждается идеология анархии.

Т. Ш.: Ну, а как развивает детей “педагогика развития”?

Н. Х.: Тут-то и начинается самое интересное. Провозглашая главной задачей обучения развитие ребенка, ставя это во главу угла, такая педагогика на самом деле его развитие тормозит, искажает весь интеллектуально-эмоциональный строй души наших детей.

Т. Ш.: Почему?

Н. Х.: Ребенок развивается гармонично только, если при его обучении и воспитании учитываются психовозрастные особенности. Начнем с того, что декларация о “педагогике развития” есть лишь пустой звук. За этим ничего, идущего от самого ребенка, нет. Напротив, используемые технологии подавляют осмысленность, образность и целостность восприятия учебного материала, “нахлобучивают” на ученика схоластические схемы и алгоритмизируют мышление. Убиваются интуиция, образность, спонтанность и эвристичность, теряется вкус восприятия слова и символа. Больно осознавать, что “развивающим” названо опережающее **знание правил** и учение без проб и ошибок! Из школьной жизни изгнали основное – проживание собственного опыта познания. Детскую пылливость “инноваторы” новой формации заменили лука-

вой демагогией. Это – страшные явления в образовании, когда обучение математике не развивает гибкость ума, а делает его ригидным; когда обучение языку не развивает дар слова, а воспитывает отвращение к чтению и написанию сочинения. Просто поразительно! Столько лет уровень качества образования падает, а горе-реформаторы и модернизаторы закрывают на это глаза. Понять это можно только тогда, когда мы увидим взаимосвязь деградации нашей школы с современными технологиями, методиками и текстами учебников, насаждаемыми Министерством образования. Специалисты знают, что в становлении личности есть определенные стадии, миновать которые не может никто. Дошкольники, например, усваивают практически все по принципу подражания. В школьном возрасте обучение происходит уже на других принципах. Так, в начальной школе (7–11 лет) ребенок воспринимает теоретическое постижение мира через призму авторитета старшего. Поэтому демократизация отношений “учитель – ученик” в этом возрасте крайне вредна для обучения. А именно такой демократичный, “недирективный” подход положен в основу “педагогике развития”. Петенька только сегодня узнал, что два плюс три – пять, а его вынуждают высказать свое просвещенное мнение относительно законов математики. Причем часто это бывает в манере, осуждающей другого ученика! “Мария Ивановна! Я думаю, Вася не прав...”. Это умничанье, круто замешенное на гордыне, является абсолютно несвоевременным. Оно вступает в противоречие с возрастными особенностями ребенка, настраивает его на скептицизм и конкуренцию. А при трудностях ослабляет мотивацию к учебе.

Т. Ш.: Почему ослабляет?

Н. Х.: Ребенку этого возраста еще чужды научные абстракции, так как он мыслит наглядно-образно и наглядно-действенно. Теоретические обобщения он усваивает по большей части для того, чтобы порадовать старших. Например, таблица умножения или правила грамматики ему в повседневной жизни совершенно не нужны. Он прекрасно без них обходится: ест, спит, играет. И без объяснения взрослых ничего особо интересного, завлекательного – того, что могло бы создать дополнительную личную мотивацию – в них тоже нет. Поэтому на первый план выходит аспект взаимоотношений. Он учит таблицу умножения, потому что авторитетные люди, родители и учитель, говорят, что это необходимо. Мало-помалу ребенок, конечно, входит во вкус учебы, но “отношенческий” момент все равно является в начальной школе самым главным. И полноценно обучение в начальной школе может происходить только при сохранении доброжелательной авторитарности обучения.

Т. Ш.: У нас многие боятся слова “авторитарность”...

Н. Х.: Подождите, давайте разберемся, что это значит на самом деле. Под “авторитарностью обучения” имеют в виду наличие значимого старшего, который задает ребенку цель-задание и при этом не советуется с учеником, нравится ли оно ему. “Учитель меня поругает или похвалит”, – вот основной стимул обучения в начальной школе. Необходимо уточнить, что способность к теоретическому восприятию жизни, как психологическая предпосылка к обучению, свойственна именно для младшего школьника. Это возрастное новообразование, переживаемое им как потребность учиться. Вместе с тем, в этом возрасте дети еще не имеют глубинной личностной мотивации к обучению, хотя первоклассник может повторять вслед за взрослыми, что он учится ради получения знаний или чтобы поступить в институт. Но на такой мотивации он далеко не уедет. Тем более, что многое ему дается в школе с большим трудом и приходится понуждать себя к учебе. И тут опять-таки на помощь приходит авторитет учителя: “Если я не сделаю уроки, Мария Ивановна меня заругает!” Разумеется, учитель не должен быть жестоким или суровым. Он обязательно должен ободрять, эмоционально поддерживать ребенка. И при этом требовать. А при недирективном подходе учитель – не авторитет для школьника. И если вдобавок родители общаются с ребенком на паритетных началах, то он делает вполне естественный вывод: “Зачем учиться, когда я и так самый умный? Вон как я ловко всех критикую!” Кстати, в других странах, когда хотят дать детям хорошее образование, то строго следят за тем, чтобы не нарушались традиционные принципы обучения. Например, в английских элитарных школах, с опытом которых я знакома не только теоретически, но и практически, поскольку там учатся дети моих родственников, авторитарность в начальной школе сохраняется однозначно. А в школах для простонародья –

“недирективный подход”. Там деток больше забавляют, раскрепощают, чтобы потом они наверх не лезли и ни на что особо претендовать не могли по своему невежеству.

Т. Ш.: А какой подход оптимален для успешного обучения в средней школе?

Н. Х.: В средней школе уже должен быть не авторитаризм, а авторитетность. Это разные вещи. Авторитетность есть доверие старшему по доброй воле младшего. Дело в том, что примерно с 11 лет для ребенка становится чрезвычайно значимым мнение сверстников. Для нормального психологического развития он должен войти в свою когорту и занять там достойное место сообразно своим индивидуальным особенностям (а не просто “стать лидером”, на что сейчас нацеливают детей многие родители и педагоги). И значимым взрослым для ребят этого возраста становится тот, кто сумеет создать детский коллектив. От того, каким будет психологический климат в классе, зависит школьная жизнь каждого ученика. Поэтому и педагогически более эффективно общаться с учениками не всегда напрямую, а часто через коллектив. Иными словами, в средней школе вполне возможно и обсуждение, и оценка одних учеников другими. Но взрослый, естественно, должен этот процесс контролировать и направлять, чтобы обсуждение того, прав Вася или не прав, не порождало обид и зависти, не ухудшало взаимоотношений в детском коллективе. Взрослый должен возглавить коллектив учащихся. Уважение завоевывает строгий, но справедливый учитель.

Т. Ш.: Что же предлагают нам реформаторы?

Н. Х.: Они предлагают возгревать дух конкуренции и соперничества. В результате ребята **продают** друг другу домашние задания, за деньги молчат о правде или говорят неправду, кичатся пороком и насмешничают над добродетелью. Мы уже не удивляемся “рыночным” отношениям одноклассников. А зря! Если все продается и покупается, значит, коррупция – благое дело. . . Подростки не получают ни навыка сотрудничества со сверстниками, ни образа истинной дружбы, служения, любви через изучаемые литературные произведения. Вообще, тексты для чтения в рамках “Программы 2100” – это большая тема педагогического анализа. Но если говорить в целом, то бросается в глаза тенденция к разного рода мистификациям, внедрению оккультных и суицидальных мотивов в сознание школьников. При этом создается устойчивое впечатление, что предлагать такое детям могут только патологические личности, взрослые с определенными психологическими девиациями. Страшно представить, что уже в течение десятилетия, если не больше, школьники взрослеют на рассказах о наркоманах и изнасиловании, на страшилках и домовых. В нежном возрасте, когда формируется мировоззрение, внимание детей привлекается к деструктивным идеям и образам, ум захватывается изображением пороков, душа подавляется ощущением безысходности, поскольку негативные сюжеты закрепляются как данность и норма жизни.

Т. Ш.: А в старших классах?

Н. Х.: Ребенок взрослеет, становится более самостоятельным. Меняются и отношения с учителем. В них появляется элемент сотрудничества, но при этом со стороны взрослого обязательно должно быть наставничество. Это возможно лишь тогда, когда старший знает истинные смыслы и ценности. Кроме того, учитель не должен забывать о том, что именно в этом возрасте происходит формирование “самости”. И если от старших подросток слышит только критику и не получает подтверждения своей “самости” (“да, ты хороший! ты молодец!”), то отношения тоже не складываются, что зачастую мешает нормальному обучению. Старшеклассник начинает “выкаблучиваться”, а педагог, не завоевавший авторитет и не ставший наставником, не может с ним справиться. Конечно, подростковая эмансипированность бывает и с перебором, но при правильно выстроенном общении самость перерастает в индивидуальность, когда юноша способен принимать советы со стороны учителя и считаться с индивидуальностью другого человека.

Т. Ш.: Значит, “Программа 2100” раньше времени подогревает “самость”?

Н. Х.: Да. То, что должно быть на выходе, она помещает в начальное звено, когда для настоящего развития еще нет предпосылок. В результате формируется поверхностная, неосновательная личность, для которой самое главное – выпятить свое “я”. А что это “я” собой представляет и надо ли его

выпячивать, не важно. Вообще, это больше характерно для западного менталитета, когда все события жизни вращаются вокруг моего “я”. Формируется не индивидуальность, а индивидуалист.

Т. Ш.: А что можно сказать о содержании “развивающего обучения”? Оно действительно дает какие-то особые знания, которых не дают традиционные программы?

Н. Х.: Мировоззренчески “Программа 2100” базируется на позициях американского философа Джона Дьюи, жившего в начале XX века и являвшегося горячим сторонником реформирования американского образования. Он проповедовал прагматизм, философию успеха, причем оправдывал достижение успеха любыми средствами. Дьюи и его последователи внедряли в образование позитивизм, то есть отсутствие объективной истины, нигилизм, говорили о ненужности фундаментального классического образования для широких народных масс. Все эти подходы явственно прослеживаются и в “Программе 2100”. Программа по любому предмету очень эклектична, фрагментарна.

Т. Ш.: Чем это плохо?

Н. Х.: Целостность мышления ребенка еще не сформирована. Формирование же ее во многом зависит от того, как будет выстроена система преподавания в школе. Недаром в классическом образовании неуклонно соблюдаются принципы постепенного перехода от простого к сложному и соотношению необходимого и достаточного. Сперва закладывается база, даются основы и только потом рассказывается об исключениях и разнообразии. Для формирования культуры мышления необходимо создать в представлении ребенка стройную, гармоничную картину мира. Если же мир преподносится ребенку не как система закономерностей, а как набор случайностей, в детской голове возникает каша. Человек так и не научается отделять главное от второстепенного, хватывать суть.

Т. Ш.: А тут еще детей с первого класса приучают к тому, что у каждого свое мнение...

Н. Х.: Да, это как раз отражает позитивистский принцип отсутствия объективной истины. Поэтому маленькому ребенку на уроках природоведения не излагают какую-то одну систему воззрений на устройство мира, а сразу говорят, что этот ученый думает так-то, этот – так-то. Поиски истины продолжаются на протяжении всех лет обучения, и, в конце концов, ребенка подводят к нехитрой, но весьма коварной мысли: “Истина в тебе самом”. В результате мы получаем самонадеянных невежд и индивидуалистов. Отсутствие объективной истины нарушает важнейший принцип педагогики – формирование целостности мышления. Этот момент я хочу подчеркнуть особо. Содержание образования, в конечном итоге, не так важно, как целостность. Самое главное, чтобы у ребенка сформировалась целостная картина мира. Содержание можно затем изменить, дополнить. Важно иметь ментальную конструкцию, куда вкладывать содержание. А когда вместо целостности – отдельные фрагменты, не связанные между собой кусочки знаний, возникает ощущение “нахватанности”, внешней эрудированности, однако стройности мышления не будет, а будут хаотичность, фрагментарность, разорванность. Причем при формировании целостности мышления обязательно учитываются возрастные особенности детей. И коль скоро у первоклассника мышление еще не абстрактное, а наглядно-образное и конкретное, ребенку говорят: “Вот два ЯБЛОЧКА. Если к ним прибавить третье ЯБЛОЧКО, получится три ЯБЛОЧКА”. Потом слово “яблочко” убирается и пишется “ $2+1=3$ ”. Но ребенок понимает, что под этими символами подразумеваются конкретные предметы – яблоки. И тогда цифра, сама по себе представляющая значительный уровень абстракции, все-таки наполняется конкретным смыслом, имеет образное основание. За символами стоит обозначение какого-то явления жизни. Для ребенка цифра обозначает число, а буква – звук. Этими символами он начинает описывать мир. Постепенно он к ним привыкает, у него развивается абстрактное мышление. Но эта знаковая система должна утвердиться, и нельзя опережать события! Ребенок должен как минимум три года прожить в этой системе! А “Программа 2100” сразу вводит очень много абстрактных понятий. В учебниках Петерсона для начальных классов есть, например, начатки алгебры. То есть ребенка заставляют воспринимать математические явления сразу в двух измерениях, и это провоцирует двойственность, разорванность мышления.

Т. Ш.: Как у шизофреников?

Н. Х.: Да. У детей искусственно развивается шизоидность восприятия теоретических знаний. Ребенок еще к цифрам толком не привык, не уловил каких-то конкретных вещей, а ему уже торопятся дать еще больший уровень абстракции: учат алгебраически изображать примеры или задачи, вместо цифр ставить буквы. Причем не только русские, но и латинские, что представляет собой дополнительный уровень сложности для русского ребенка! И многие дети полностью теряются. Их интеллект не в состоянии справиться с таким обилием трудностей. Поэтому они могут “вылезти” только на большом объеме операционной памяти.

Т. Ш.: Фактически на зазубривании?

Н. Х.: Да. Ребенок запомнил некую комбинацию значков и алгоритм вопросов и ответов, а какой в этом смысл, — от его восприятия уже ускользает. У него в уме путаются символические системы обозначения тех или иных явлений, никакой целостной картины не создается. Он просто их механически воспроизводит, повторяет, как попугай. Я считаю, что это психологическая диверсия, направленная на разрушение интеллектуальной сферы ребенка. Моя личная война с учебником Петерсона началась с 1993 года. Я была завучем, потом работала в разных школах психологом. Из тех школ, с которыми я сотрудничала, мы Петерсона изгоняли. (Эти учебники составлены хорошими математиками, но плохими психологами.) Хотя всякий раз требовались экспертизы, доказательство, поэтому процесс борьбы затягивался в среднем на год. Но зато потом дети и родители могли вздохнуть спокойно. Ведь ни один ребенок не мог заниматься по учебникам Петерсона самостоятельно! Всем требовалась помощь родителей.

Т. Ш.: А разве это плохо? Сейчас во многих школах родителей изначально настраивают на то, что они должны будут делать уроки вместе с детьми, потому что без них дети не разберутся.

Н. Х.: Конечно, плохо! Сами посудите: что это за учебник такой, в котором никто из детей разобраться не может? Да, на первых порах, пока дети не привыкли, родители должны помогать им **ОРГАНИЗОВЫВАТЬ** учебный процесс. Могут они и что-то подсказать ребенку: “Вот, смотри, эту палочку не так надо писать, а тут у тебя ошибка...”. Но в целом ребенок должен понимать, что и зачем он делает, в чем **смысл** того или иного домашнего задания. Он должен сначала **понять**, о чем задача, а потом — как ее сделать. Тут же не только дети, но и многие родители не понимают, чего от них хотят авторы учебников! И знаете, некоторым учителям именно это и нравится! Нравится, что родители чувствуют себя беспомощными перед этой программой. Тогда статус учителей как бы возрастает.

Т. Ш.: Да, юная учительница моего сына с гордостью заявляла: “Никто из родителей не может разобраться в учебнике Репкина, только я могу. Для этого нужно специально учиться”.

Н. Х.: И в той школе, куда я пришла завучем в городе Тольятти, мне ответили то же самое. Хотя это было не в Москве, и учительница была совсем не юной, а наоборот, предпенсионного возраста. Помнится, я ее спросила: “Ну, а Вас-то чем пленил учебник Петерсона? Дети мучаются, ничего понять не могут!” А она: “Зато нас, учителей начальных классов, раньше так не уважали! А теперь родители понимают, что мы знаем больше их, и отношение к нам другое”.

Т. Ш.: В новых учебных пособиях масса картинок. Считается, что так детям интересней учиться. Вы придерживаетесь такого же мнения?

Н. Х.: Нет. Излишнее обилие картинок рассеивает внимание. Вспомните старинные книги. Бумага — на вес золота, книгопечатание — процесс очень трудоемкий. Казалось бы, надо стараться уместить на листе как можно больше текста. Ан — нет. Во всех старинных книгах — огромные поля. Почему? А потому что текст, размещенный таким образом, как бы вбирает в себя внимание читателя, и тот легче вникает в мысли автора. А заголовки текстов в первом классе, написанные разноцветными буквами? Глупый прием, претендующий, якобы, на детскость восприятия, а на самом деле разрушающий целостность восприятия слова, сохраняющий дискретность его письменного образа. Прimitивность выдается за детскость, абсурдность, за развлекаемость. Это часто встречается в учебниках “Программы 2100”. Но если бы в наших учебниках внимание рассеивалось только благодаря картинкам! Само содержание учебников “обновленного”, “реформированного” образования

формирует фрагментацию, клиповость мышления. Многие дети и так-то не умеют сосредоточиться, поскольку страдают повышенной возбудимостью, гиперактивностью с дефицитом внимания. А тут еще и школа не приучает к сосредоточенности, вдумчивости. Детям даются алгоритмы задач, и они механически подставляют нужные цифры.

Т. Ш.: Как Вы, кстати, прокомментируете такую ситуацию: первокласснику предлагают прибавить к трем яблокам пять, но при этом требуют от него сделать “чертеж задачи”, изобразив яблоки... отрезками?

Н. Х.: Это грубейшее нарушение образной целостности и предметной конкретности восприятия, характерных для младшего школьника. В данном случае оно усугубляется еще и тем, что происходит вторжение в уже сложившийся опыт ребенка, разрушаются его представления о вещах и явлениях. Он ведь уже знает, что линия – это черта, обозначающая последовательное продвижение вперед. И вдруг надо **движением** изобразить **предмет**. Причем тут предмет, тем более не длинный, а круглый? Для первоклассника с его наглядно-образным мышлением это две разные ассоциативные зоны.

Т. Ш.: В преподавании русского языка по “Программе 2100” та же картина?

Н. Х.: Увы. Раньше в школе никогда не давали разноцветную схему звуко-буквенного разбора, не учили транскрипцию слов. И вдруг – первый класс. Казалось бы, почему? Это же область языкознания. Зачем такие премудрости малышам? Неужели затем, чтобы в результате таких экспериментов русский язык начинал восприниматься детьми как чужой, чуть ли не как иностранный?! Абсурдность – и больше ничего. Представьте себе, что ощущает первоклассник, когда его заставляют записывать одно и то же слово тремя разными способами: нормально, в транскрипции и с пропуском каких-то определенных букв. Возникает раздвоение, а то и расстройство восприятия. В букваре недаром слово всегда иллюстрировалось картинкой. Так возникал целостный образ. Нарисована елочка, а под ней написано слово “ель”. Тут же целостности нет. Елочка – это что? “Ель”, “йэль” или “...ль”, с пропуском орфограммы? Шизоидность закрепляется учебными программами! А поскольку такой подход внедряется планомерно на протяжении нескольких лет, то у многих изначально вполне здоровых детей могут возникнуть расстройства мышления. А у детей, от природы шизоидных, это может усугубиться до болезненного состояния.

Т. Ш.: В гимназических классах часто проверяют скорость чтения. Как это отражается на детях?

Н. Х.: И не только в гимназических. Это требование нормативов нынешней начальной школы. Для многих школьников это стресс. У детей, которые читают не очень бегло, такие проверки вообще отбивают охоту читать. Я знаю это и как психолог, и как мать. Моя средняя дочь научилась читать в 4 года, да еще она по темпераменту холерик. Естественно, она читала, как из пулемета строчила. А у младшей – более сдержанный темперамент. Она быстро читать не могла, и для нее каждая проверка была потрясением. Но даже если ребенок формально справляется с чтением “на скорость”, это не значит, что он хорошо читает! Многие читают, но не понимают смысла прочитанного. Защитники проверки скорости чтения уверяют, что таким образом дети к старшим классам научатся читать “по диагонали” и смогут без труда осилить большой объем литературы. Но в старших классах многие из жертв подобных экспериментов вообще не открывают ни учебников, ни книжек. Для того чтобы читать “по диагонали”, нужно иметь совсем другие навыки. Главное – ухватывать суть. А именно этому сейчас и не учат. Перегружая ненужными абстрактными знаниями, школьников не учат выделять главную мысль, не развивают речь, хотя сейчас масса детей с неразвитой речью, и такие занятия более чем актуальны. Ребят вообще не учат выражать свои мысли. Если и задают пересказать что-нибудь, то “близко к тексту”. Я бы не поверила, если бы сама не поработала в современной школе. Помните, как нас сызмальства учили описывать какие-то предметы, людей, явления природы, задавали написать, как мы провели каникулы? Лучшие строки сочинений зачитывали при всем классе. Не ругали за плохое, а восхищались хорошим. И у детей появлялась уверенность в своих силах, пробуждалась потребность описывать свои впечатления. Сейчас описывать впечатления не учат. А ведь, не умея описать свои впечатления и выразить мысль, нельзя научиться писать сочинение!

Впрочем, теперь от выпускников школ сочинение и не требуется. В последнее десятилетие надо было написать на выпускном экзамене изложение, а теперь и вовсе предлагают ограничиться диктантом. Аналогичная картина с математикой. На начальном этапе, в нарушение психовозрастных законов, в урок включают как можно больше нового материала, перегружая интеллектуальную сферу и искажая детскую психику. Злоупотребляют проверками знаний. Когда я работала в школе, обучавшей детей по “Программе 2100”, то буквально на следующем уроке после объяснения новой темы (в среднем звене) устраивалась самостоятельная работа. Дети не успевали переварить материал и прибегали к шпаргалкам. Поначалу меня это возмущало, а потом я поняла, что иначе нельзя, детям просто **иначе** не выжить. Зато “на выходе” хотят урезать программу. Дескать, зачем детям начатки высшей математики, тригонометрия? То есть сначала эксплуатируется интеллектуальная сфера (поскольку в начальных классах в силу возраста дети настроены на учение), но убивает живую потребность теоретического познания, и у детей надолго отбивается охота учиться. А в старших классах, когда школьники становятся выносливей и как раз пора повысить нагрузку, ее предлагают снизить. Итог – дебилизация. Честно говоря, мы с коллегами долго не могли поверить, что все это делается вполне сознательно. Однако подробный анализ учебников не оставляет сомнений. Предметные программы направлены на разрыв поколений, на понижение интеллектуального и нравственного уровня наших детей, на формирование абсурдности и беспредметности мышления и даже на национальное самоуничтожение. Это прослеживается через множество текстов, рисунков и тому подобное.

Т. Ш.: Такие вещи характерны только для учебников “Программы 2100”?

Н. Х.: К сожалению, нет. Но “Программа 2100” – форвард и идеолог разрушения лучших традиций российского образования, которому подражают многие авторы. Вот, например, “Мир вокруг нас” А. А. Плешакова. Немного о птичках, немного о бабочках, а потом – про плохого папу. Тема: “Семейный бюджет”, 3 класс. Папа получил премию и купил лодку. А дело было зимой, и в результате Диме не хватило денег на лыжи. Ну а дальше детям задают вопрос: правильно ли распределил папа семейный бюджет? И такого там очень много. А в учебнике других авторов (А. А. Вахрушева, С. М. Алтухова, А. С. Раутиан) “Мир и человек” для 3-го класса вообще звучат человеконенавистнические мотивы. Детям рассказывают о бедной природе, которая терпит от человека столько зла! В третьем классе детки узнают, что людей на земле стало слишком много, поэтому природа не успевает перерабатывать продукты жизнедеятельности человека. Казалось бы, достаточно уменьшить народонаселение – и проблема будет решена. Но нет! Человек так ярко уничтожает природу, что даже уменьшение населения не приведет к желаемым результатам. А дальше, после запугивания экологической катастрофой, ребенку дается установка: “Ты – человек. Береги себя!” И разъяряется: “Ты, наверное, моешь посуду. А задумывался ли ты над тем, что моющий порошок потом спускается в реку и от твоего порошка погибнут рыбки?”

Т. Ш.: Прокомментируйте это, пожалуйста, с позиции детского психолога.

Н. Х.: Здесь два плана. На уровне подсознания ребенку внушается чувство вины за его принадлежность к человеческому роду, внушается, что люди на земле – лишние существа. А на уровне сознания дается другая установка. Ты помогаешь родителям? Не смей этого делать, не надо мыть посуду, потому что ты рыбок можешь погубить. У хорошего, совестливого ребенка после таких уроков могут появиться страхи и чувство неполноценности. Это ж как мастерски все продумано! В одном абзаце сразу решается несколько задач: тут и провокация разрыва поколений, и человеконенавистнические теории, и пропаганда непослушания, и оправдание лени, безделья. В другом разделе картиночка: экскаватор разрыл землю, а рядом – березка... Вывод напрашивается сам собой: рабочий поступает плохо, лучше бы он ничего не делал, зато березка осталась бы цела. Диву даешься, до каких деталей продумана обработка детского сознания...

Т. Ш.: Слушая Вас, я попыталась, встав на место ребенка, почувствовать себя лишним существом – и не смогла. Так это страшно!

Н. Х.: Разумеется. Это развитие подсознательной суицидальности. В прошлом году, летом я увидела граффити следующего содержания: “Убей себя – спаси природу!” Подросткам уже подбросили слоган! Но с таким чувством

многие люди жить не могут, и у них возникает желание ситуацию перевернуть. Ах, я лишний? Ну, я вам тогда покажу! Плевать я хотел на природу! Я подомну все под себя! — Так формируется девиантное поведение. Обратите внимание, раньше этот предмет назывался “природоведение”. Спрашивается, зачем изменили название курса? Очевидно для того, чтобы из естественно-научного превратить его в обществоведческий, и уже в начальной школе начать “промыывание мозгов”. Программа не рассказывает об истинном предназначении человека, в ней не уточняется, что, конечно, не **он** существует для природы, а природа дана ему Богом в РАЗУМНОЕ хозяйствование. Сознание и подсознание школьников зажимают в тиски внутренне противоречивых чувств: чувства собственной неполноценности и протестного чувства собственного превосходства. То есть мы видим две крайности искаженного отношения к природе. Безусловно, это является следствием глобалистского экологизма, положенного в основу “Программы 2100”, когда языческое поклонение рыбкам или березкам становится важнее человека. Поэтому и шаманизм процветает. Такое поклонение природе характерно для неоязыческих сект типа “Анастасии”, многие из которых имеют щедрую подпитку с Запада. Не менее идеологизированы и гуманитарные предметы.

Т. Ш.: То есть, как? У нас же был взят курс на деидеологизацию школы.

Н. Х.: Теоретически да. Но на самом деле “Программа 2100” весьма идеологична. Она проповедует идеологию либерализма, ставящего во главу угла гедонизм, “самость” и индивидуалистскую направленность личности. Ведь если мы хотим воспитать ребенка хорошим семьянином, гражданином и патриотом своего Отечества, нужно с раннего детства прививать ему уважение к старшим, к предкам, к традициям и истории своего народа. Либеральная идеология же, наоборот, стремится возвысить эгоистический индивидуализм и принизить общественное. Особенно дискредитируется все традиционное. Вера объявляется суевериями, проистекающими от неграмотности и невежества, история очерняется, авторитет старших принижается, “я” выпячивается. Применительно к образованию это выглядит так: “Посмотри направо, теперь быстренько — налево, назад вообще лучше не оглядываться, там сплошной мрак и дикость. А главное — смотреть вперед, стремиться к успеху, к самореализации. Главное — это ты и твои достижения. Остальное вспомогательно. Ты, твои права и интересы — вот что для тебя важно”. Поэтому такой предмет, как история, всегда идеологичен. Что бы ни говорили разработчики программ! Особенно важно преподавание истории в средней школе, когда ребенок начинает взрослеть и входить в социум. Для нормального развития личности совершенно необходимо ощущать гордость за историю своего народа, за своих предков. Иначе школьнику с подростковым максимализмом захочется отмежеваться от “проклятого прошлого”, порвать со своими корнями. В “Программе 2100” история своей страны рассматривается не через призму любви, а через призму осуждения. Воспитывается ложное превосходство над историей Отечества, над предыдущими поколениями. Биология, как и в советский период, подается с эволюционных позиций, здесь никакого плюрализма нет, даже не упоминается, что Дарвин был верующим и писал, что основные виды созданы Богом. В курсе биологии господствует лишь вульгарный материализм. А идея прогресса, заложенная в гипотезе эволюции, естественно, внушает детям чувство превосходства над предками. В одном пособии для начальной школы есть очень выразительная картинка: обезьяна, а рядом мальчик лет десяти на карачках. Без слов внушается: “Ты же примат!”.

Т. Ш.: Давайте подведем итог: какой человек формируется такими программами?

Н. Х.: Именно сейчас, под разговоры о свободе самовыражения, насаждается схоластическая практика обучения, детей учат зубрежке, отбивают охоту самостоятельно мыслить, формируют людей, удобных для манипуляции, которые будут бездумно действовать по инструкции, даже не задаваясь вопросом, зачем нужно то или иное. Разрушается осмысленность восприятия действительности, ребенка погружают в беспредметную реальность. В программе заложены механизмы формирования потребительского типа личности. Воспитывается человек рынка, лишенный целостного мировоззрения, с абсурдным, хаотизированным, шизоидным мышлением, человек, жаждущий лишь “прикола” и развлечения. Это человек толпы, который, видя какие-нибудь бессмыслицы, ощущает себя в своей стихии. Формируется анархист,

индивидуалист, нигилист. А с учетом оккультной пропаганды, содержащейся в “Программе 2100”, можно сказать, что формируется и личность, открытая навстречу “тайным, эзотерическим знаниям”, которые рано или поздно могут привести к сатанизму. Это та модель выпускника, которая сейчас вытекает из содержания образования.

Т. Ш.: Что делать?

Н. Х.: Сейчас начата борьба с вредоносными учебниками. Родители и учителя перестали считать себя глупцами, не понимающими “новые веяния”, перестали слепо доверять министерским чиновникам от образования. В настоящее время нет никаких препятствий к тому, чтобы учить детей нормально. Еще живы традиции отечественной школы, есть достойные учителя, есть выверенные программы. Совершенно необходимо сохранять золотой фонд: и хорошие учебники последних лет, и лучшие учебники советского периода, особенно по химии, физике. “Алгебру” Киселева, по которой учились все наши выдающиеся математики и физики, американцы немножко переделали на свой лад, и она стала лучшим учебником мира по математике.

Т. Ш.: То есть чем традиционной школа и программы, тем лучше? Не надо гнаться за статусом гимназии?

Н. Х.: Не в статусе дело. Статус дает несколько большие возможности школьной администрации. Но беда в том, что сейчас многие школы получают статус гимназии как раз под “Программу 2100” или при условии ее внедрения. По нашему законодательству каждая школа имеет право выбирать программу и учебники, но управление образования нередко давит на школьную администрацию, склоняя ее именно к этой программе.

Т. Ш.: Каким образом?

Н. Х.: Говорят, что гимназия должна применять более прогрессивные, инновационные программы. И якобы только “Программа 2100” может обеспечить специальные “гимназические” знания. О том, что они собой представляют, мы с Вами немного поговорили. Еще уверяют, что без Петерсона детей невозможно “правильно” научить математике, особенно геометрии. Но все это чистые декларации. Чтобы навести порядок в нашем образовании, нужно привлекать честных, не ангажированных ученых. У нас есть достаточно много сильных педагогов и психологов, но Министерство образования их не видит в упор. Нужно давать им возможность озвучить свои взгляды, и это могут сделать родители, которым надо объединяться, включаться в работу всероссийского движения “Родительское собрание” или создавать собственные организации. Главное – не пускать все на самотек, считая, что “наверху” лучше знают, чему и как учить детей. Время слепого доверия школе и Министерству образования прошло.

НАТАЛЬЯ ФЕДЧЕНКО

НЕ ВЕРЬ НАПИСАННОМУ...

О содержании современных школьных программ по литературе

Спор о содержании школьных программ по литературе начался далеко не сегодня. Проблема преподавания предмета затрагивалась в целом ряде статей и выступлений, в частности, в работах Ирины Стрелковой, публиковавшихся в журналах “Наш современник” и “Русский дом”. Названия статей показательны: “Удар по русской школе” (“Русский дом”, 2001, № 2), “Страсти по классике” (“Наш современник”, 1994, № 3) и “Страсти по классике. Десять лет спустя” (“Наш современник”, 2004, № 6), “Русская школа: что впереди? Повторение пройденного” (“Наш современник”, 2002, № 1). Именно тогда уже было сказано о перестановке имен “в иерархии русской культуры”, о том, что “идет не деидеологизация, а внедрение “новой” идеологии”, что “сравнительное, компаративистское построение курса литературы... разрушает у школьников образ родной русской литературы” (И. Стрелкова Русская школа – что впереди? http://www.netda.ru/newpublicist/strelkova/strelkova_a.htm). Совсем недавно к этой проблеме обратился Валентин Осипов (“Методика антилитературы”. – “Наш современник”, 2009, № 8).

Сегодняшняя ситуация с преподаванием литературы в школе не только не лучше, но, пожалуй, еще безрадостней, нежели несколько лет назад. Ответ на вопрос “чему учат в школе” звучит поистине пугающе.

В полной мере подтверждаются слова о внедрении “новой” идеологии. Для нее характерно неверие в национальную культурную самобытность и неприятие отечественной истории; отношение к народу как к материалу, используя который можно осуществить любые идеи; отказ от исконных традиций в угоду традициям инородным. Сказанное касается всего школьного курса литературы, так как лежит в основе самого принципа подбора произведений.

Основные программы, по которым работает большинство школ – это программы под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и В. Я. Коровиной. Кроме того, обучение ведется по программам под редакцией А. Г. Кутузова и В. Г. Маранцмана. Менее распространены, но также “допущены Министерством образования и науки Российской Федерации” или выпущены под грифом Минобразования РФ программа Б. А. Ланина и Л. Ю. Устиновой, а также программа под редакцией Г. И. Беленького и Ю. И. Лысого. “Исправляясь и дополняясь”, но не меняясь по сути, все эти программы расходятся по школам, определяя содержание сегодняшнего образования. И это на фоне того, что ли-

тература – предмет, некогда бывший одним из основных в школе, – ныне уверенно скатывается к статусу факультатива.

Из программ незаметно изымается детская литература. Происходит ее подмена адаптированной “взрослой”, упрощенно трактуются серьезные произведения.

Так, в программе под редакцией Т. Ф. Курдюмовой в 5-м классе предлагается познакомиться не только с отрывком из романа Л. Толстого “Война и мир”, но и с соответствующим фрагментом инсценировки эпопеи М. Булгаковым. В 6-м классе изучается фрагмент романа Ф. Достоевского “Братья Карамазовы” “Мальчики”. В программе под редакцией А. Г. Кутузова в 6-м классе значится “Гаргантюа и Пантагрюэль” Ф. Рабле – правда, с оговоркой: “в пересказе для детей Н. Заболоцкого”, – но и с таким комментарием: “Утверждение красоты, многообразия и полноты жизни. Гуманистическое звучание романа”.

В программе под редакцией В. Г. Маранцмана пятиклассникам предстоит изучить – цитирую – “А. С. Пушкин “Евгений Онегин” гл. IV, строфа XL... гл. IV, строфы XLI, XLII, гл. VII, строфы XXIX, XXX... гл. VII, строфа I “... Зачем нужно такое отрывочное знакомство с романом, не лучше ли полноценно и вдумчиво прочесть великое пушкинское творение в более старшем возрасте?

Произошло значительное увеличение объема произведений зарубежной литературы по сравнению с вариантами программ прошлых лет. При этом подбор произведений, предлагаемых для школьного изучения, трудно объяснить, если не сказать более. Так ли важно для формирования личности ребенка знакомство восьмиклассников (согласно программе под редакцией Т. Ф. Курдюмовой) и шестиклассников (программа под редакцией А. Г. Кутузова) с “авантюрно-историческим” романом А. Дюма “Три мушкетера”? Чем, по мнению составителей, могут обогатить внутренний мир ребенка новеллы А. Конан Дойла “Пляшущие человечки” – в программе под редакцией Т. Ф. Курдюмовой для семиклассников и сразу три произведения писателя: “Шесть Наполеонов”, “Голубой карбункул”, “Пестрая лента” – в программе под редакцией А. Г. Кутузова для 5-го класса? С какой целью в программу вводится “Падение дома Ашеров” Э. По (8 класс) – программа под редакцией В. Г. Маранцмана?

Некоторые задания и вопросы, предлагаемые ученикам в программе Маранцмана, ничего, кроме недоумения, не вызывают. Такова дискуссия на тему “В чем вы видите разницу поступков отцов и сыновей в повести Гоголя и новелле Мериме?” – “в результате дискуссии ученики приходят к выводу о том, что Андрей оказывается в стане поляков из-за неприятия жестоких законов Сечи...” (7 класс). Урок, основанный на сопоставлении “жизни Робинзона на острове и жизни участников телепередачи “Последний герой”: сходство и различия. Кому было тяжелее?” (6 класс).

Вопреки логике, для школьного изучения отобраны далеко не лучшие образцы западной литературы. Программа под редакцией Т. Ф. Курдюмовой обращается к таким “вершинам” мировой классики: 5 класс – Дж. Р. Р. Толкин “Хоббит, или Туда и обратно” (с программной формулировкой: “Джон Роналд Руэл Толкин – один из самых читаемых в мире авторов второй половины XX века”), Т. Янссон “Последний в мире дракон”; 6 класс – О. Уайльд “Кентервильское привидение”; 7 класс – Р. Шекли “Запах мысли”. Программа под редакцией А. Г. Кутузова в разделе “Советы библиотеки” (иными словами, перечень произведений для самостоятельного чтения) называет “Кошку, которая бродила, где вздумается, и гуляла сама по себе” Р. Киплинга, “Соловья и розу” О. Уайльда, а также Г. Мало “Без семьи”, П. Гэллик “Томасина”, Ф. Б. Гарт “Подопечные мисс Пегги”, Г. Хаггарт “Хозяйка Блосхолма”, вновь следуют Дж. Р. Р. Толкин “Хоббит, или Туда и обратно” и Т. Янссон с “Муми-троллем” – все это предлагается для знакомства 5-го класса.

А вот один из “Лимериков” Э. Лира, изучаемых в 5-м классе согласно программе под редакцией В. Г. Маранцмана (беру наугад не из школьной хрестоматии, а просто из сборника, предполагая, что все лимерики должны быть равновеликого достоинства): “Не любили барона девицы, // И от горя решил он не бриться... // В бороде у барона // Поселились вороны, // Гуси, утки и прочие птицы”. Или другой, исполненный, как видно, столь любимой нынче толерантности: “Проживал некий парень в Баку, // Не любил он лежать на боку: // Бегал он как шальной // В платье бабки родной – //

В том, которое шло пареньку”. (А ведь детям предлагается еще и “освоить технику написания” лимерика. . .)

Да и другие произведения из приведенного перечня вовсе не столь безобидны. Например, “Томасина” Пола Гэллико – это не только рассказ об умерщвленной кошке (с попутно сообщаемыми 10-летним детям “откровениями”: “Старые псы и старые люди должны умирать”), но и религиозный спор о существовании Бога между атеистом ветеринаром и отнюдь не православным священником.

Формальный подсчет – неблагодарное занятие, но порой он позволяет сделать поразительные наблюдения. Так, в программе под редакцией А. Г. Кутузова (5 класс) на 16 отечественных сказок (как народных, так и авторских) приходится 10 зарубежных. А ведь сказка – это не просто волшебный сюжет, но и запечатленное мировидение народа.

Более приемлемый принцип подачи материала, как представляется, присутствует в программе под редакцией В. Я. Коровиной.

Знакомство с литературой здесь также начинается с произведений устного народного творчества, но фольклор представлен в лучшем варианте: есть обращение к детскому фольклору, анализируются разные типы русских народных сказок, национальное не подавляется западным мифологическим мышлением. Потому органично в курс пятого класса вписываются авторские сказки (В. Жуковский, А. Пушкин, А. Погорельский), сказ П. Бажова. В 6-м классе обрядовый фольклор обращает учащихся к годовому циклу жизни славянина, а пословицы, поговорки и загадки представляют стихию народной речи. В 7-м классе центральными в знакомстве с устным народным творчеством становятся былины, в 8-м классе – народные песни, частушки и предания. К тому же в программе каждого класса соблюдается принцип движения от языческого к христианскому сознанию: за устным народным творчеством следует житийная или поучительная литература.

Однако этот момент – введение в школьный курс евангельских сюжетов и духовной литературы – является еще одним камнем преткновения. От заявленного в перестроечном запале знакомства с Библией и, в том числе, с Евангелием составители программ отказываются, зато торжествует мифологическое языческое сознание, и это – одна из самых значительных потерь современного преподавания литературы.

Признавая русский фольклор уникальным источником, питавшим и питающим по сей день отечественную литературу, мы вряд ли сможем принять его за источник исключительный и единственный. Коль скоро программы обращаются к устному народному творчеству, от самих истоков прослеживая формирование национального художественного мировосприятия, то почему они пропускают момент появления христианского самосознания народа, почему нарушается логика “взросления” человека (сходная с взрослением всего человечества), когда от языческих сказок он переходит к более серьезному – православному, взгляду на мир? Разумеется, евангельские тексты нельзя признать собственно художественным явлением, но ведь никто не отменял толкование Библии не только как исторического, законодательного, но и культурного памятника. Смею утверждать, что дальнейшее знакомство с творчеством Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского без знания хотя бы основ русской православной культуры попросту невозможно.

При внимательном рассмотрении программ становится очевидным, что принцип включения в них тех или иных произведений, характер их сочетания друг с другом порой абсолютно произвольны и зачастую продиктованы только критерием составителей “нравится – не нравится”.

В программе под редакцией В. Г. Маранцмана изучение рассказов и повестей XIX–XX века перемежается знакомством с русскими народными сказками (5 класс), мифами Древней Греции, героическим эпосом народов мира и русского народа (6 класс), народными песнями (7 класс). Знакомство с библейскими сказаниями “Иосиф и его братья” или “Давид и Голиаф” (по выбору учителя) в 6-м классе идет в едином контексте с мифами и героическим народным эпосом. В 7-м классе Нагорная проповедь (Евангелие от Матфея) соседствует не только с “Поучением Владимира Мономаха”, но и с “Одиссеей” Гомера, хокку М. Басе, сонетами У. Шекспира. В 8-м классе изучение “Жития Петра и Февронии” (или, на выбор – “Жития Сергия Радонежского”) предваряется “жизнеописаниями” Плутарха и стихотворениями Ли Бо, а после жи-

тийных повестей изучается “Дон Кихот” М. Сервантеса. В 9-м классе положение сходное: возвращается фольклор, а “Житие протопопа Аввакума...” идет в одном ряду с сонетами Ф. Петрарки и “Гамлетом” У. Шекспира. Таким образом, произведения литературы становятся явлениями исключительно эстетического, но не духовного порядка, уравниваются мифологический и монотеистический типы сознания.

... По какой-то неведомой причине одним из ведущих, самых популярных у составителей программ русским писателем стал В. Набоков. В этом нас убеждает то, с какой частотой обращаются к его творчеству составители программ. В программе под редакцией В. Г. Маранцмана с данным автором учащиеся встречаются в 5-м, 6-м, 8-м и в блоке профильного уровня 11-го класса.

В 5-м классе ученики знакомятся со стихотворениями Набокова “Лестница”, “Бабочка” (которое, согласно программе, сопоставляется с одноименным стихотворением А. Фета, причем стихотворение XIX века почему-то стало “возможным ответом на обращение Набокова к бабочке”). В 6-м классе исследуется рассказ Набокова “Обида”. В 8-м классе составитель программы обращает нас к проблематике новеллы Набокова “Пильграм” с ответом на “проблемный вопрос” о “неважности смерти” Пильграма, а также в рамках внеклассного чтения – к произведению “Terra incognita”.

В 11-м классе учащимся предстоит познакомиться с философскими романами писателя “Другие берега” и “Дар”.

Сходная картина и в программе под редакцией Т. Ф. Курдюмовой. В 5-м классе наряду с “Алисой в стране чудес” Л. Кэрролла ученики должны прочесть перевод-обработку этой сказки Набоковым – “Аня в стране чудес”. И также вызывает недоумение вопрос, каким образом учащиеся 5-го класса смогут провести сопоставительный анализ двух столь непростых произведений, а главное – зачем им нужно это делать, какая воспитательная цель может быть заложена в этом процессе.

В 9-м классе изучаются произведения “Рождество”, “Сказка”. В 11-м классе такие писатели первой волны эмиграции, как И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев и др., даются обзорно, “в скобках”, монографически же в программе представлено только творчество Набокова. Здесь и “Другие берега”, и “Дар”, и “Защита Лужина”, и “Машенька”, указаны “романы на английском языке”: “Лолита”, “Пнин”, “Бледный огонь”... Кто еще из русских писателей удостоен столь полного освещения творчества?

Попытка отойти от извращенного преподнесения литературы видится в программе под редакцией Ю. В. Лебедева (авторы – Ю. В. Лебедев, А. Н. Романова), выпущенной в свет в 2009 году издательством “Просвещение”. В блоке 5-го класса подбор и порядок произведений и впрямь продуман и логичен. За русскими народными сказками, представленными в традиционной классификации (волшебные, о животных, социально-бытовые) следуют литературные сказки – от русских писателей к зарубежным. И несмотря на то, что составителям не удалось избежать традиционных хоббитов Д. Толкина, а в разделе “Между сказкой и былью” – “Алисы...” Л. Кэрролла и “нетрадиционных”, но столь же ненужных для духовного здоровья ребенка “Хроник Нарнии” К. Льюиса (все это предлагается как произведения для самостоятельного чтения), все же звучат в программе имена С. Т. Аксакова, П. П. Ершова, А. А. Погорельского, П. П. Бажова (акцентирую внимание на, как правило, “забываемых” составителями школьных программ авторах).

Есть здесь и знакомство с евангельским сюжетом, после которого подобраны произведения, отражающие мир детства (отрадно обращение к отрывкам “Лета Господня” И. Шмелева, причем чувствуется неслучайность выбора глав “Чистый понедельник”, “Пасха”, “Разговины”, которые, согласно тематическому планированию, будут изучаться весной, не исключено, что именно в пасхальные дни). И это настроение пробуждающейся жизни, духовной радости закреплено последним разделом блока – подборкой поэзии и прозаических миниатюр, обращенных к красоте полной природы.

Канула в небытие советская литература (куда уж тут до споров о включении-невключении в программу Н. Островского!), чтобы возродиться то ли военной поэзией и прозой, то ли лагерной (трудно уследить за логикой авторов). При том, как и в “лучшие” советские годы, у нас вновь нет литературы русского Зарубежья.

За шесть часов обзорно “пробегаются” шолоховский “Тихий Дон”, и при этом на час больше времени отведено на творчество Б. Пастернака, в том числе на его приписанный к классике роман с неясными для учеников национально-классовыми коллизиями. В конце XX века из отечественной словесности вместе с обзорами исчезла и деревенская проза, отсутствуют в программе имена В. Белова и В. Астафьева.

И сказанное можно считать только небольшим замечанием по вопросу преподавания в школе современной литературы, то есть – литературы XX века. Претензии к другим программам значительно более весомые. Если XVIII–XIX век традиционен в своем “списке литературы” и там не пытаются заменить Пушкина Кукольниковом, то советско-постсоветская реальность становится благоприятным полем для произрастания самых чудесных фантазий.

“Находки” в каждом издании свои, но, пожалуй, самой одиозной можно назвать программу под редакцией В. Г. Маранцмана.

Стремясь отразить и представить школьникам современный литературный процесс, составитель, вероятно, менее всего беспокоился об объективности и даже элементарной правдивости. Так, “литература периода “оттепели” (так у автора), охватывающая время с 1953 по 1968 год, не представлена ни творчеством В. Белова, написавшего уже в 60-е годы произведения, которые открывали новую страницу современной отечественной словесности, ни лирикой Н. Рубцова, выпустившего первый сборник стихов в 1965 году, а спустя два года опубликовавшего “Звезду полей”. У школьников формируется представление, что в указанные годы наша литература состояла из творений Б. Окуджавы и А. Вознесенского, В. Тендрякова и Д. Гранина, а культурный “фон” задавали режиссерские “нетленки” Э. Рязанова и драматургические “шедевры” Э. Радзинского.

В разделе “70-е – первая половина 80-х годов” определяющие вектор развития русской литературы произведения В. Белова и В. Распутина вынесены в раздел “деревенская проза”, стоящий в одном ряду не только с “интеллектуальной прозой”, но и с “литературой “эстетического андерграунда” и даже фантастикой братьев Стругацких. Ничем иным, как идейным лукавством, не назовешь определение “тихой лирики” через противопоставление “темам, идеям, поэтике “громкой лирики” “шестидесятников”. И трудно сказать, то ли духовной (бездуховной?) зашоренностью, то ли желанием намеренно сместить акценты в трактовке литературы объясняется истолкование творчества В. Высоцкого и А. Галича как “голоса и совести эпохи”.

Кто же из авторов 40–90-х годов достается монографического изучения? Это неизменный В. Набоков, которому, в отличие от того же А. Платонова или А. Вампилова, уделяется 5 часов программного времени.

“Получил право” на представление своего жизненного пути “поэта и “бомжа” Вен. Ерофеев; затем учащимся должен быть составлен “альбом любимых песен” Окуджавы (оставляем без внимания грамматическую двусмысленность, не позволяющую разобраться, кто же должен любить эти песни: учащиеся или сам Окуджава). Современная поэзия представлена только И. Бродским, современная проза – “сердечными повестями В. Токаревой”, “детективными фантазиями Б. Акунина”, “грустными сатирами М. Жванецкого”. И вновь анекдотичные формулировки предлагаемых для изучения тем пугают необходимостью их серьезного восприятия. Бродского нам предлагают считать “последним из значительных поэтов XX века”, в “творениях” Жванецкого – искать “временное и вечное” (в качестве материала для самостоятельного исследования учащихся указана, в числе прочих, сатира “Собрание на ликеро-водочном заводе”), а у автора псевдолитературных поделок Б. Акунина – “своеобразие художественного мира”.

Программа под редакцией Т. Ф. Курдюмовой также вызывает вопросы. Русская литература 50–90-х годов XX века представлена именами А. Твардовского, И. Бродского, А. Солженицына, Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Распутина (принцип подбора авторов – необъясним); рассмотрение современной литературы завершается постмодернизмом. “Толстые” литературные журналы представлены на редкость выборочно – “Новым миром” и “Октябрем” (как видится, и “Наш современник”, и “Москву”, и, на худой конец, “Юность” следует искать в слове “др.”).

В программе под редакцией В. Ф. Чертова в обзор “ушли” В. Распутин, В. Астафьев, Н. Рубцов, зато монографически изучается И. Бродский.

Еще более произвольна, вплоть до откровенной вкусовщины, программа Б. А. Ланина и Л. Ю. Устиновой. Литературный процесс второй половины XX века обозначен “художественными поисками поэтов” Б. Пастернака, А. Твардовского, И. Бродского. Литература “оттепели” – “возникновением” прозы А. Гладилина, В. Войновича, В. Аксенова. Крайне тенденциозен подбор тем для монографического изучения. Значительным представляется авторам программы творчество А. Солженицына (с чем не спорю), В. Шаламова, Ф. Искандера, Ю. Рытхэу, зато обзорно (напомню, по меркам школьной программы – на 1–2 уроках) изучаются В. Шукшин, В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, В. Астафьев, как и Н. Рубцов и А. Вампилов. Завершает список современной литературы ряд таких “именитых” авторов, как В. Сорокин, В. Пелевин, С. Гандлевский, Б. Акунин, В. Золотуха, а вслед за ними – Д. Быков, М. Веллер, А. Геласимов, Л. Улицкая и некто А. Эппель...

И под конец коренной недостаток рассматриваемых программ – они не имеют своей целью сформировать у детей представление о русской литературе как хранительнице нравственного идеала и воплощении эстетического совершенства, как об одной из самых великих мировых литератур и, что не менее, а может быть, и более важно – как о **родной** литературе, как о нашей национальной памяти, нашем духовном достоянии.

Когда-то Игорь Тальков спел о том, что “солнце... чтобы снова родиться, спешит на восток”. И с этим ничего нельзя поделать, уважаемые господа создатели программ. Как и с тем, что наша отечественная словесность, как и любое истинно национальное явление, развивается по своим законам, что она имеет своим истоком евангельский свет, а в основании ее лежит патристическое начало, любовь к своей земле и своему народу, глубинное семейное чувство, нравственная чистота, совесть и духовность. Так было и будет впредь.

А все остальное – только чудится, мерещится, блазнится...

СЕРГЕЙ СЕМАНОВ

АВСТРИЙСКИЕ УРОКИ ДЛЯ РУССКИХ

Для лучшего понимания весьма важного вопроса необходимо сделать несколько предварительных пояснений. Австрийская республика – небольшое государство в самом центре Европы, площадь его точно равна нашей Тверской губернии, тоже расположенной в самом центре родной России. Сразу же отметим мимоходом некоторую бросающуюся в глаза разницу в нынешнем состоянии этих старинных земель. В Австрии проживает 8 миллионов жителей, в Тверской области – менее двух миллионов. Живут по-разному. В Твере остановлены большинство предприятий, поля запущены, бедность. А в Вене и вокруг – процветающее народное хозяйство, высокий уровень жизни, всемирно известные курорты. Не можем не отметить, что наши вороватые “олигархи” частенько развлекаются именно там, держат там же свои семейства, скупая для них богатые владения. Нет, однако, сведений, чтобы они приобретали поместья в Твере или тем паче возводили бы на берегах Волги заводы и фабрики. Им на Дунае спокойнее и веселее. Впрочем, общественно-политическая сторона для нас тут не главная.

Австрийское государство, основанное южногерманскими немцами и до сих пор состоящее на 98% из немцев, считает датой своего основания 996 год. С 1282 года страной непрерывно правила династия Габсбургов, один из старейших королевских родов Европы и, бесспорно, самый долговечный: они правили в Вене до 1918 года, до жуткой революции, сокрушившей все три великие консервативные империи – Австрийскую, Германскую и Российскую.

Из небольшого государства от Альп до Дуная Австрия с годами необычайно расширилась. Военной силой были покорены многие соседние народы: поляки, венгры, румыны, южные славяне, часть итальянцев. При этом австрийцам приходилось два столетия отбиваться от нашествия турок-мусульман, которые, сокрушив православную Византию, двинулись на покорение католического Запада. Последняя осада Вены, ставшая решающей битвой с захватчиками, произошла уже в 1683 году, когда судьба Европы висела на волоске. Тогда нашествие воинственных мусульман было отбито, зато теперь, три века спустя, они постепенно овладевают Западом, так сказать, мирным путем. Пока мирным.

В 1804 году Австрия была объявлена империей. Она тогда достигла вершины своего внешнего могущества, и в ту же пору началось ее неумолимое внутреннее ослабление. Причина того бесспорна и была ясна уже современникам: бесконечное смешение разных народов в одном государстве. Более того, в стране были искусственно объединены граждане различных верова-

ний, которые подчас издавна враждовали друг с другом: протестанты чехи – с немцами и венграми – католиками, православные славяне – с немцами, поляками и венграми, да еще и сербы с хорватами-католиками. И начался постепенный распад могущественной державы.

Первым отделились итальянские владения Габсбургов. Восстание в Венгрии было жестоко подавлено в 1849 году, но не прошло и двадцати лет, как необходимое разделение неизбежно произошло: с 1867 года империя стала именоваться Австро-Венгрией, империя стала как бы двуединой. Но то была весьма слабое единство.

Несмотря на очевидные и растущие со временем межнациональные противоречия, австро-венгерское руководство продолжало захваты новых земель и народов. В 1908 году (за десять лет до крушения империи!) были присоединены Босния и Герцеговина, населенные славянами, но частично отуреченными и принявшими ислам. Так в новой европейской истории одна из ведущих стран Запада включила в своей состав мусульманское меньшинство. (Грозные последствия этого отозвались уже в недавние дни в кровавых событиях в Югославии.) Впрочем, последствия бессмысленного присоединения сказались вскоре: летом 1914 года террористами был убит наследник престола Габсбургов, что стало сигналом к началу Первой мировой войны, погубившей империю. Убийство случилось именно в боснийской столице Сараево.

Национальный состав разбухшей от включения в нее множества самых разнообразных народов империи к исходу жизни стал уже каким-то истинно вавилонским смешением. Перепись населения Австро-Венгрии в 1910 году показала следующие данные: в процентном отношении там проживало австрийцев (немцев) – 23,5, венгров – 19, чехов и словаков – 16,5, сербов и хорватов – 10,5, поляков – 10 процентов. На долю евреев приходилось лишь один-два процента, их было около 300 тысяч, но они составляли весьма влиятельную группу, 100 тысяч из них проживало в столице империи Вене, они были очень заметны в финансах, печати и среди тогдашних социал-демократов, игравших важную роль во всей Европе (“австро-марксизм”).

Неизбежное случилось: осенью 1918-го разбитая в войне Австро-Венгрия рухнула – окончательно и навсегда. На ее обширном пространстве возникли новые государства: Чехословакия, Венгрия, Югославия, немалые куски отхватили Польша, Румыния и Италия. Австрия по площади оказалась в пределах герцогства, возникшего тысячу лет назад. На всем бывшем пространстве империи долгие годы бушевали войны и мятежи.

Австрия ждалась и стала вдруг малой европейской страной из недавней великой державы. Большинство граждан очень болезненно переживали случившееся. Имперские настроения проявились в новом облики. Ясно, что вновь завоевать Чехию и Боснию было невозможно. И возникла в относительно широких кругах мысль о новой единой Священной империи германской нации. Она ведь действительно существовала со времен легендарных Карла Великого, Оттона I и была знаменита, хотя всегда оставалась непрочным объединением весьма различных земель (и не только немецких, например, Чехия).

Мировое масонство, развязавшее в своих провокационных целях Первую мировую войну, объявило по окончании ее “виновником войны” именно Германию и Австрию, то есть по сути весь немецкий народ. В двадцатых годах разлилось в печати разнузданное поношение Германии, ее народа и культуры. Самое деятельное участие в том приняли немецкие евреи – журналисты, литераторы, киношники, что в немалой степени породило в стране антисемитские настроения, которыми позже воспользовался Гитлер. Пожали, что посеяли...

А вскоре произошло то, о чем ужасно не любят вспоминать на толерантном Западе, а уж наши либерально-еврейские круги – тем паче: в марте 1938 года произошел Anschluss, то есть воссоединение Германии с Австрией в единое германское государство, жители Вены и иных австрийских градов и весей встречали машины с немецкими солдатами – весьма тогда, кстати уж говоря, малочисленными и слабыми – цветами и приветственными криками. Да, было именно так, ибо множеству людей представлялось, что положен предел унижениям и оскорблениям немецкого народа.

Дальнейшее хорошо известно. Одержимый манией величия, Гитлер втянул немцев в кровавую захватническую войну, австрийцы также сражались в

частях верхмахта и “СС” и понесли страшные потери, а среди боевых наград Советской армии есть почетная медаль “За взятие Вены” (ее удостоились 270 солдат и офицеров).

После 1945 года Австрийская республика, вновь ставшая самостоятельным государством, сравнительно легко пережила послевоенное лихолетье и оккупацию союзных войск. В отличие от Германии, она не была разделена на два государства с противоположным общественным строем, и через Вену не проходила трагическая стена. Австрия – свободная и добротная устроенная страна, имеющая, разумеется, свои трудности, общие для богатого Запада: нашествие черных и желтых, множество неустроенных работяг из Восточной Европы, включая несчастных русских, кризис последних лет. И уж конечно, разгул обнаглевших космополитов и гомосексов. Однако общество пока устойчиво и успешно противостоит трудностям. Пожелаем же мирным австрийцам покоя и процветания и оглянемся на русские дела.

Они до очевидности, до неприличия плачевны, и никак не меняются к лучшему вот уже двадцать несчастных лет. Это настолько очевидно, что о том давно бормочет даже так называемая россиянская “оппозиция”. И при этом – что главное – не предпринимает никаких действий. Именно для того их, наверное, держат и кормят. Это давно уже сделалось явным, а в самые последние годы даже не скрывается. Зачем? “Все схвачено”. Русский народ ныне брошен, его тяготами не озабочен никто, ни президенты-премьеры, ни липовые “партии”, ни подставные, лживые “профсоюзы”, а Патриарх Всея Руси носит часы баснословной стоимости и катается в Альпах на горных лыжах, сменив монашескую рясу на сверхмодный спортивный костюм. “Куда крестьянину податься?” Русскому крестьянину, разумеется, а не австрийскому. . .

“Так что же нам делать?” – горестно восклицал сто лет тому назад Лев Толстой. Начнем с того, что нам всем делать НЕ надо.

Кремлевские наемники из числа так называемых “политологов” вдруг согласно заголосили со всех телеэкранов, что нам-де нужна, прямо-таки позарез необходима “великодержавность”. Об этом уже в январе нынешнего года торжественно заявили мэры нашей столицы в компании с сомнительным греком Поповым, давним воспитателем нынешней криминализованной буржуазии, до костей обглодавшей Россию. Господа, а где вы были вчера, десять и двадцать лет назад? Вопят даже про воссоздание некоей империи, пятой или какой-то там еще по счету и по наименованию.

Хватит, русский народ уже долгие века прожил в империи Петербургской и многие десятилетия в советской. Мы набрались опыта. Австрийские немцы растеряли свои силы, насильственно удерживая в составе государства венгров и чехов, а русский народ тратил силы на подчинение Польши и Финляндии, где нас ненавидели. Советские интернационалисты не только подкармливали за счет богатств коренной России закавказские, памирские и прибалтийские племена, но еще и заокеанскую Кубу. Помните горькую народную шутку: “Куба – да, мяса – нет”. А старшее поколение ярославцев, нижегородцев и прочих еще не забыли, как поездами и автобусами ездили в Москву за колбасой. И как во время нелепой военной авантюры в Афгане из ничего Кабула везли домой разного рода дешевое барахло. Не надо нам никому было оказывать подобной “братской помощи”. Поможем сами себе.

Полтора века тому назад в России тоже происходила “перестройка” – реформы Александра II. Разница между той и недавней “перестройками” была существенной: ту проводили русские деятели, имея в виду благо России, эту – Гайдары и Чубайсы, имея в виду обогащение за счет русского народа Абрамовичей, Авеннов, Березовских, Гусинских и прочих Дерипасок. Там, к сожалению, делались ошибки, тут – творились преступления. Во времена тех, проводимых русскими, преобразований замечательную мысль высказал великий политик той поры князь Горчаков, соученик Пушкина по Лицею, которому поэт посвятил много проникновенных строк. Русский канцлер отчеканил, обозначив всему миру ближайшие наши задачи и цели: “Россия сосредотачивается!”. То есть мы станем заниматься лишь своими запущенными делами, а делить чужие земли мы более не станем.

Сегодняшняя несчастная Российская Федерация должна сосредоточить свои заботы исключительно на собственных нуждах. Пусть в Риге сами разбираются со своими бедами, а армяне собственными силами отвоевывают гору Арарат, захваченную некогда турками. Мы, русские, слишком много и черес-

чур щедро многим помогали, даже освобождали, получив за это лишь черную неблагодарность. Хватит. И пусть в Кремле появится наконец-то русско-патриотическое руководство, которого уже так давно ждет Россия. И тогда русский народ наконец-то облегченно вздохнет на своей земле, а вместе с ним башкиры и буряты и все прочие наши братские народы, которые могут жить и процветать только вместе. А “двойные граждане” пусть уезжают на историческую родину, они тоже имеют на это право.

Вспомним наконец уроки своего недавнего прошлого. Первый: “Никакой поддержки Временному правительству”. Верно. Масонское то правительство прямо вело страну к гибели. И наследники Гайдара пусть не надеются на иное к ним отношение. Говорят вот, что есть, мол, расхождение между президентом и премьером. Точно мы не знаем, но русский народ ничего хорошего для себя не почувствовал, его в нынешней кремлевской риторике вроде бы и нет.

И еще вспомним знаменитейшее: “Вся власть Советам!” Вот это уж как нельзя более чем своевременно. Не “олигархам” и их наемниками, а власть — честному трудовому народу России. И произойдет так, и никак как иначе, ибо в противном случае не станет вообще ничего. И почему народные Советы должны быть коммунистическими? И совсем уж нелепо было бы предположить, что когда-нибудь, разве что в бреду, мы услышим про “советы олигархические”. Нет, подлинная “Власть Советов” есть именно пожелание и требование всего трудящегося и честного народа нашей великой России.

С бодрой уверенностью вспомним нам завещанное: Мы русские, с нами Бог!

МИХАИЛ ДАНИЛОВ

кандидат философских наук

ПРОЗРЕНИЕ...

Кровь лилась рекой

1 августа 1914 г. в своей берлинской резиденции кайзер Вильгельм II, облаченный в армейскую полевую форму, объявил войну России. Затем он выступил с балкона перед ликующей толпой: “Для Германии настал грозный час испытаний. Окружающие враги заставляют нас защищаться. Да не притупится меч возмездия в наших руках... А теперь я призываю вас пойти в церковь, преклонить колени перед Богом, справедливым и всемогущим, и помолиться за победу нашей доблестной армии”. Призыв “В ружье!” был встречен ликованием, толпа сплотилась в едином воинственном порыве. Война рассматривалась как очистительный процесс, как великая надежда на освобождение от пошлости мирного времени. В день объявления войны Гитлер оказался на площади Одеонсплац в Мюнхене, где зачитывали указ о мобилизации. Это мгновение показалось ему прекрасным – закончилось безысходное существование богемного художника, который впустую влачил свою жизнь. Война ворвалась и смела старый мир, у Гитлера появилась возможность проявить свои националистические убеждения. Через десять лет он вспоминал в “Майн кампф”: “Так вот и у меня, как и у миллионов других, сердце через край переполнялось гордым счастьем”.

3 августа Гитлер обратился с прошением к королю Людвигу III разрешить ему, несмотря на австрийское подданство, вступить добровольцем в армию. На следующий день дрожащими руками Гитлер распечатал конверт с повесткой, в которой сообщалось, что он зачислен в 16-й Баварский полк под командованием полковника Листа. У Гитлера появилась цель в жизни, которая сделалась осмысленной, а нищенское существование в Вене и убогая жизнь в Мюнхене остались в прошлом. Он вспоминал: “Мне самому те часы показались избавлением от досадных юношеских чувств. Мне вовсе не стыдно признаться в том, что меня охватил восторг и, упав на колени, я от всего сердца возблагодарил Всевышнего за то, что он ниспослал мне великое счастье жить в такое время. Для меня, как и для всех немцев, начался самый памятный период жизни. На фоне событий той гигантской борьбы все мое прошлое кануло в небытие”.

Подростком Гитлер был очарован двумя патриотическими книжками о войне 1870–71 гг. И вот теперь он собрался вступить в ряды могучей армии, которая была озарена ореолом детского восприятия. Гитлер был аутсайдером, он принадлежал к маргинальным слоям общества, но сейчас он мог приобщиться к авторитету, которым обладала мощная армия. По его словам, на-

чалась “самая незабываемая и самая великая пора моей земной жизни”. В октябре Гитлер прошел курс военной подготовки, он жил ожиданием отправки на фронт и беспокоился, что война закончится еще до того, как ему доведется вступить в бой.

Немецкая армия рвалась к Ла-Маншу, но в сражении под Ипром англичанам удалось остановить ее продвижение. Немецкое командование отправило в бой дивизии, наспех сформированные из студентов-добровольцев. 29 октября 1914 г. полк Листа прибыл на фронт, и его сразу бросили в наступление. Большинство студентов погибли под пулеметным огнем англичан, этот эпизод Первой мировой войны получил название “ипрское избиение младенцев”. В “Майн кампф” Гитлер вспоминал, как он получил боевое крещение: “С горячей любовью в сердцах, с песнями на устах шел наш необстрелянный полк в первый бой, как на танец. Драгоценнейшая кровь лилась рекой, а зато все мы были тогда совершенно уверены, что мы отдаем нашу жизнь за дело свободы и независимости родины”.

Гитлер был назначен связным 1-й роты, его обязанность заключалась в том, чтобы доставлять на передовые позиции распоряжения штаба полка Листа. В декабре 1914 г. Гитлера наградили Железным крестом 2-й степени – это был самый счастливый день в его жизни. Но в 1915 г. наступательный порыв немцев потух, армия увязла в позиционной войне.

7 октября 1916 г. в битве на Сомме Гитлер получил осколочное ранение в пах. Он стал громко звать на помощь, санитары доставили его в госпиталь, расположенный в Беелитце. Гитлер вел себя спокойно, требовал к себе повышенного внимания, он получил у врачей кличку “крикун”. Августовские дни 1914 г. врезались в память Гитлера как факт внутреннего единства нации, на протяжении двух лет эта идея его воодушевляла. Но Гитлера охватило отчаяние, когда в Беелитце он обнаружил, что времена всеобщего энтузиазма прошли. Обстановка в госпитале шокировала Гитлера, который увидел, что солдаты ругали войну и хотели, чтобы она поскорее закончилась. Он вспоминал: “Здесь наибольшим успехом пользовались самые бессовестные болтуны, которые с помощью жалкого “красноречия” высмеивали мужество храброго солдата и восхваляли гнусную бесхарактерность трусов”.

Врачи сделали Гитлеру операцию и выписали из госпиталя. Он отправился в Мюнхен, где был определен в запасной батальон. Гитлер не “узнал” родину, ему показалось, что все учреждения заполнили евреи. Гитлер писал в “Майн кампф”: “Канцелярии кишели евреями. Почти каждый военный писарь был из евреев, а почти каждый еврей – писарем. Мне оставалось только изумляться по поводу обилия этих представителей избранной нации в канцеляриях. Невольно сопоставлял я этот факт с тем, как мало представителей этой нации приходилось встречать на самих фронтах. Еще много хуже обстояли дела в области хозяйства. Здесь уж еврейский народ стал “незаменимым”. Паук медленно, но систематически высасывал кровь из народа. Они захватили в свои руки все так называемые военные общества и сделали из них инструмент безжалостной борьбы против нашего свободного национального хозяйства. В сущности говоря, уже в 1916–1917 гг. почти все производство находилось под контролем еврейского капитала. С ужасом я убедился в это время, что надвигаются события, которые неизбежно приведут к катастрофе, если мы не сумеем в последний час предотвратить их. В то время как всю нацию обкрадывали и душили евреи, подлинная ненависть масс направлялась в сторону “пруссакон”. У Гитлера возник страх перед евреями – комплекс преследования трансформировался в юдофобский комплекс. Он считал, что евреи распространяют яд, который отравляет немецкий общественный организм. В марте 1917 г. Гитлер вернулся на фронт, он получил звание ефрейтора. С беспокойством отмечает он “бессмысленные письма пустоголовых баб”, которые способствовали распространению на фронте усталости от войны. Гитлер показал себя бесстрашным солдатом, участвовал в позиционных боях во Фландрии. 17 сентября 1917 г. за проявленный героизм в битве за французский город Аррас он был награжден Баварским крестом “За заслуги”.

Овеянные победами знамена

В марте 1918 г. был заключен Брестский мир, а в апреле был подписан Бухарестский договор. Россия и Румыния вышли из войны, и немецкая армия могла сосредоточить все свои силы против Антанты. Пропаганда стремилась вызвать у немцев состояние энтузиазма, которым население было охвачено в начале войны. Гитлер считал, что приближается победоносное окончание войны, ведь немецкие войска находились в 60 км от Парижа. Ефрейтор воображал себя маленьким барабанщиком, которого Провидение призвало спасти Германию. Когда Гитлер читал газеты, он приходил в негодование, считая, что через печать социалисты распространяют “психологический яд”, который губительно сказывался на солдатах. Гитлер вспоминал в “Майн кампф”: “Этот психологический яд был равносильным прямому подкашиванию наших боевых сил. Много раз мучила мысль, что если бы на месте этих преступных неведж и безвольных манекенов руководителем нашей пропаганды оказался я, то исход войны был бы для нас совершенно иным”. Гитлер считал, что Провидение простерло над ним свою длань, ему был неведом страх, он демонстрировал полное презрение к смерти. 4 августа 1918 г. ефрейтор был награжден Железным крестом I степени, который он с гордостью носил до конца жизни. Этой наградой очень редко награждались простые солдаты, поэтому возник миф, что Гитлер совершил подвиг, захватив в плен взвод солдат. Но он был награжден за то, что под шквальным огнем доставил срочный приказ из штаба на передовую. Полковой адъютант капитан Хуго Гутманн в представлении Гитлера к награде писал: “В условиях позиционной и маневровой войны он являл собой пример хладнокровия и мужества и всегда вызывался добровольцем, чтобы в самых тяжелых условиях с величайшей опасностью для жизни доставить необходимые распоряжения. Когда в тяжелых боях прерывались все линии связи, важнейшие сообщения, несмотря на все препятствия, доставлялись по назначению благодаря неутомимому и мужественному поведению Гитлера”.

Летом 1918 г. полк Листа оказался в центре последнего, отчаянного наступления немецкой армии. Гитлер вспоминал: “Теперь, наконец, после трех тяжелых лет выжидания на чужой земле в ужасающей обстановке, напоминающей ад, мы переходим в наступление, и бьет час расплаты. Возликовали вновь наши победоносные батальоны. Последние бессмертные лавры появились вокруг наших, овеянных победами, знамен! Еще раз раздалась прекрасные патриотические песни нашей родины. Подхваченные бесконечным потоком немецких солдат, эти чудесные песни неслись к небу. В последний раз творец небесный посылал свою милостивую улыбку своим неблагодарным детям”. Но немецкое наступление провалилось, в конце сентября полк Листа закрепился на позициях к югу от реки Ипр во Фландрии. Утром 14 октября Гитлер попал под массивную газовую атаку, он почувствовал, как обожгло глаза, которые превратились в пылающие угли. Окружающее померкло. Ефрейтора охватил ужас перед наступившей слепотой, но неведомый голос прогремел над ним: “Жалкий дурак, ты собираешься плакать в то время, когда тысячам куда как хуже, чем тебе”.

22 октября Гитлер попал в военный госпиталь в Пазевальке, пациента осмотрел офтальмолог Карл Кронер. Он рекомендовал показать пациента психиатру.

Гитлер прошел обследование у психиатра Фостера, который полагал, что все психические заболевания являются следствием проявления моральной слабости и отсутствия силы воли. Спокойствие и выдержка, самообладание и дисциплина — те качества, которыми должен обладать каждый немец. Психиатр поставил следующий диагноз — пациент находится в истерическом состоянии, его слепота носит психогенный характер. Но психиатр был удивлен тем, что все солдаты, страдавшие истерией, смертельно боялись фронта, а Гитлер мечтал попасть на фронт. Фостер считал, что если оказать на пациента гипнотическое воздействие, то он может излечиться благодаря проявлению силы воли. Но психопатическая личность Гитлера не поддавалась гипнозу. Тогда психиатр назначил гидропроцедуры и электрошок, но это не дало результатов.

В пасмурное воскресенье 10 ноября 1918 г. лазаретный священник сообщил раненым, что кайзер отрекся от престола и бежал в Голландию. Произошла Ноябрьская революция, и Германия была провозглашена республикой – война, которая унесла жизни двенадцати миллионов человек, закончилась. Но Гитлера охватило состояние озлобленности и отчаяния, он считал, что это событие является величайшим злодеянием в истории. Депрессивное состояние усилилось, глаза начало жечь огнем. Шатаясь и спотыкаясь, Гитлер добрался до палаты, упал на койку и уткнулся в подушку. Впервые после того, как ефрейтор стоял у могилы матери, он разрыдался. Его одолевали мрачные мысли. Гитлер не мог принять ошеломляющее известие о том, что Германия потерпела поражение, которое представлялось ему ужасным и несправедливым. У Гитлера пропало желание видеть окружающий мир. В своем выступлении 15 февраля 1942 г. перед выпускниками офицерских училищ он вспоминал, что в 1918 г. ослеп и у него не возникло желания прозреть: “Что для меня мир, который я могу видеть своими глазами, если он угнетает, если мой собственный народ поработен?” Для ефрейтора наступили страшные дни и еще более страшные ночи. Он считал, что все потеряно, у него пробудилась ненависть, ненависть к тем, кто был ответствен за Ноябрьскую революцию.

Гитлер превратился в ожесточившегося человека, он впал в глубокое депрессивное состояние, что привело к формированию мизантропического комплекса – крайней формы ненависти к человечеству. Вот как описывал развитие психоза у Гитлера психиатр Эрих Фромм: “Неудачи Гитлера обострялись постепенно: сначала это были беды ученика реального училища, затем – стороннего наблюдателя венской буржуазии, художника, которому Академия отказала в приеме. Каждый провал наносил его нарциссизму еще более глубокую рану, еще более глубокое унижение; и в той же степени, в какой росли его неудачи, усиливались его мстительные фантазии, слепая ненависть и некрофилия, корни которых следует искать в его злокачественном инцестуозном комплексе. Когда началась война, казалось, пришел конец его неудачам. Но это было не так, его ждало новое унижение: разгром немецких армий и победа революционеров” (Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1998).

“Бог вернет тебе зрение”

Фостер использовал все методы лечения, которые были в его арсенале, но не смог вернуть зрение Гитлеру. Психиатр решил помочь фронтовику, который храбро воевал всю войну. Фостер установил, что Гитлер обладает огромным честолюбием и ему присущ комплекс собственной избранности. Фостер решил дать ефрейтору установку на величие, чтобы актуализировать комплекс избранности. 20 ноября Фостер пригласил кинооператора, который должен был зафиксировать ход эксперимента. Гитлера позвали в кабинет, в котором царил полумрак. Психиатр сказал: “Ты и правда ослеп. Но раз в тысячу лет на земле рождается великий человек, которого ждет великая судьба. Может быть, это – ты, может быть, именно тебе суждено вести Германию вперед. Если это так, то Бог вернет тебе зрение прямо сейчас” (http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_main?p_news_title_id=60669&p_news_id=9B). Слова врача пробудили Гитлера от бездумного существования – мысль о великой миссии молнией пронзила мозг.

Профессор зажег свечи, которые стояли справа и слева от него. Под влиянием установки на величие депрессивная фаза сменилась маниакальной – пациент впадал в состояние эйфории. При этом переходе блокировка зрительного нерва была разрушена, и электрический сигнал от глазного нерва стал поступать в головной мозг. Произошло исцеление – Гитлер увидел горящие свечи, а затем профессора!

– Я вижу ваше лицо, – сказал потрясенный Гитлер, – вашу руку, ваш халат и лист бумаги перед вами.

– Вы здоровы, – удовлетворенно воскликнул Фостер. – Вы излечили себя сами. Вы вели себя как настоящий мужчина. Теперь можете отдохнуть. Вы устали, ваши руки и голова отяжелели. Вам хочется расслабиться и заснуть.

Фостер испытывал глубокое удовлетворение, он провел блестящий эксперимент, в результате которого ему удалось восстановить зрение Гитлера. На полях истории болезни психиатр сделал пометку: “Пациент крайне честолюбив, но лишен каких бы то ни было задатков лидера”. Но Фостер плохо понимал, в каком психическом состоянии находился Гитлер, поскольку он не сделал заключительное обследование. Когда психиатр провел первичное обследование, то пациент находился в депрессивном состоянии и производил жалкое впечатление. Но после излечения Гитлер впал в маниакальное состояние, а профессор не объяснил ему сущность проведенного эксперимента, не снял у него установку на величие. “Прозрение” привело к сильнейшему психическому потрясению, у Гитлера возникло убеждение, что исцеление носило чудесный характер. У него возникла несокрушимая вера в могущество своей силы воли, он считал, что Провидение вернуло ему зрение, чтобы он привел Германию к победе. Комплекс собственной избранности трансформировался в мессианский комплекс, ефрейтор уверился в том, что Провидение избрало его для спасения Германии.

“Чудесное прозрение” определило жизненный путь Гитлера, который решил заняться политической деятельностью, чтобы сокрушить врагов Германии. У Гитлера сформировался манихейский взгляд, согласно которому добро и зло находятся между собой в постоянной борьбе, которая в 1918 г. достигла высшей точки развития. 8 ноября 1942 г. он вспоминал: “Судьба или Провидение дадут победу тем, кто больше всего ее заслуживает. Мы могли одержать победу раньше, в 1918 году. Но в то время немцы не заслужили победы. Они были робкими и неуверенными в себе. И это было причиной, по которой я, никому тогда не известный, решил создать это движение среди вероятной разрухи и полного краха”.

“Он пришел!”

Гитлер считал, что для выполнения своей миссии он должен обеспечить себе власть над Германией. 22 февраля 1932 г. Гитлер выставил свою кандидатуру на пост президента и рьяно включился в избирательную кампанию. Когда один из сторонников посетил Гитлера в гамбургской гостинице, он заявил ему: “У меня нет времени ждать, нельзя терять ни одного года. Я должен быстро прийти к власти, чтобы решить в остающееся мне время гигантские задачи. Должен! Должен!”. “Богемный ефрейтор” нанял “юнkers” и летал из одного конца Германии в другой, выступая на массовых собраниях. В свете прожекторов демонический оратор шествовал между беснующимися, рыдающими шеренгами людей, которые исходили криком: “ОН ПРИШЕЛ! ОН ПРИШЕЛ!” На некоторое время фюрер с отсутствующим видом задерживался у сцены, машинально пожимал чьи-то руки и оглядывался вокруг. Медиум впитывал в себя мощь, которая исходила от вопящей толпы, чтобы ее покорить. Первые слова негромко, как бы ища опоры, падали в бездыханную тишину. Начало речи чаще всего было связано с тем, как Гитлер включился в политическую борьбу: “Когда я, безымянный фронтовик, в 1918 г. решил заняться политической борьбой, я ничего не имел за собой: ни имени, ни состояния, ни печати, совсем ничего, вообще ничего. Но произошло нечто волшебное...”. Оратор стремился почувствовать атмосферу зала и настроиться на аудиторию. Демагог обещал немцам счастливое будущее: девушкам – женихов, рабочим – работу, крестьянам – высокие урожаи, промышленникам – повышение деловой активности, военным – мощную армию. Когда вспыхивали долгожданные аплодисменты, возникало чувство контакта, ощущение восторга. Аккумулируя энергию толпы, Гитлер выкрикивал: “Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью... Меня не удержат никакие соображения морального и политического порядка”. Голос приобретал металлический тембр, поднимаясь до невыносимых высот. В пылу заклинаний оратор возносился над толпой. Находясь во власти своей речи, он начинал беспорядочно, импульсивно жестикулировать, прижимая к лицу сжатые кулаки и закрывая глаза.

На президентских выборах победил маршал Гинденбург, а Гитлер занял второе место. Он тяжело переживал неудачу, его охватила депрессия, терза-

ли тревога и страх. У него появились желудочные колики, которые он посчитал симптомом надвигающегося рака. У Гитлера начались припадки, возникло предчувствие скорой смерти, желание покончить жизнь самоубийством.

Однако на выборах в рейхстаг в июле 1932 г. нацисты завоевали 230 мест и превратились в крупнейшую политическую партию Германии. Гитлера охватило состояние эйфории, он начал говорить таким тоном, словно он уже канцлер: “Моя задача сложнее, чем у Бисмарка. Мне сначала предстоит создать нацию, а уж потом двигаться к поставленной цели”. Но на выборах в ноябре 1932 г. число нацистских депутатов снизилось до 196, в то время как число коммунистов увеличилось до 100 человек. 7 декабря второй человек в нацистской партии Грегор Штрассер обвинил Гитлера в том, что он ведет партию к гибели. Штрассер послал письмо Гитлеру с просьбой освободить его от всех занимаемых постов. Письмо произвело на фюрера впечатление “разорвавшейся бомбы”, он впал в депрессивное состояние. Это был жестокий удар; когда Гитлер стоял накануне обретения власти, его главный соратник бежал. У Гитлера произошло обострение суицидального синдрома, возникла мысль покончить жизнь самоубийством. Несколько часов он метался по гостиничному номеру, наконец, остановился и сказал Геббельсу: “Если партия распадется, то один лишь выстрел — и через три минуты все кончено”.

Мечь Голема

30 января 1933 г. Гинденбург назначил канцлером Гитлера. Получив это известие, генерал Людендорф послал телеграмму президенту: “Назначив Гитлера канцлером рейха, вы отдали нашу священную германскую отчизну одному из величайших демагогов всех времен. Я предсказываю вам, что этот злой человек погрузит рейх в пучину и причинит необъятное горе нашему народу. Будущие поколения проклянут вас в гробу”. Но назначение Гитлера вызвало у многих немцев радость и ликование, у них возникла надежда на то, что Германию ожидает лучезарное будущее. До поздней ночи штурмовые отряды иступленно маршировали, празднуя победу. Разбившись на колонны, они появлялись из глубины парка Тиргартен и шествовали под Триумфальной аркой Бранденбургских ворот вниз по Вильгельмштрассе. Духовые оркестры трубили военные марши под оглушительный бой барабанов. Нацисты распевали старинные немецкие песни и гимн “Хорст Вессель”:

*Чеканен шаг в стальном порядке строя,
знамена реют в стиснутых руках.
С врагом в жестоких схватках павшие герои
незримо с нами в сомкнутых рядах.*

*Простор открыт для наших батальонов,
простор открыт полкам штурмовиков.
Нам вслед с надеждой смотрят миллионы:
ведь с нами — хлеб, свобода от оков.*

Штурмовики неистово скандировали: “Зиг хайль!”, “Хайль Гитлер!” Наборщик-антифашист напечатал в газете лозунг “Хейльт Гитлер” (вылечите Гитлера). Штурмовики убили наборщика, но в Берлине жил человек, который знал — к власти пришел психопат. Профессор Фостер пришел в ужас, когда узнал, что его пациент стал канцлером. Эдмунд Фостер через пятнадцать лет после исцеления Гитлера понял, что при лечении он совершил ошибку, которая привела к катастрофическим последствиям. Профессор описал методику, которую он использовал при лечении Гитлера, и послал свои заметки в Париж издателю еженедельника “Новый дневник”.

В августе 1933 г. рейхминистр науки Руст получил донос на Фостера, который обвинялся в том, что он покровительствовал работавшим в клинике евреям. Бернгард Руст по профессии был учителем, но в 1930 г. Руста отстранили от преподавания за непристойное приставание к одной из школьниц. Симпа-

тизируя бывшему фронтовику, Фостер написал медицинское заключение, согласно которому Руст действовал под влиянием ранения в голову. Дело в отношении Руста было прекращено, он стал депутатом рейхстага по списку национал-социалистов. Министр приказал полиции провести расследование в отношении Фостера, который руководил в Берлине клиникой нервных болезней. Следователи записали показания некой Эдит Браун, которая сказала: “Я могу подтвердить, что профессор Фостер часто делал весьма сомнительные замечания относительно политики. После пожара Рейхстага он сказал, что только лунатики готовы поверить в версию о поджоге и что на самом деле это устроило правительство исключительно в пропагандистских целях. Относительно выступления рейхсканцлера Гитлера профессор Фостер говорил, что он обращается к лунатикам и умственно неполноценным”.

Руст закрыл клинику Фостера, но министр не решился арестовать врача. Чтобы избавиться от Фостера, который был в курсе его неблагоприятного поведения, Руст обратился к Герману Герингу. Во время пивного путча в ноябре 1923 г. Геринг был ранен и скрылся в Австрии, где лечился в больнице Инсбрука. Пациент испытывал сильные боли, и врачи использовали морфий в качестве обезболивающего средства. Геринг стал наркоманом, но излечился от наркотической зависимости в психиатрической лечебнице Лангбро, которая находилась в Стокгольме. В октябре 1931 г. у Геринга умерла жена, он опять стал злоупотреблять наркотиками. Эдмунд Фостер тайно излечил его от наркотической зависимости. Геринг решил избавиться от нежелательного свидетеля; он обратился к шефу гестапо Рудольфу Дильсу с просьбой ликвидировать Фостера. 11 сентября 1933 г. жена нашла Фостера мертвым на полу ванной комнаты – рядом лежал пистолет. Полицейские сделали заключение – профессор застрелился, находясь в состоянии глубокой депрессии.

Издатель еженедельника “Новый дневник”, получив известие о смерти Фостера, не стал печатать его заметки. Они попали к врачу Эрнсту Вайсу, который из оккупированной Чехословакии бежал во Францию. Вайс в 1938 г. написал роман “Свидетель”, в основу которого легли заметки Фостера. Но писатель не нашел издателя, чтобы напечатать роман. 14 июня 1940 г. Вайс наблюдал, как немецкие войска маршируют по Елисейским полям. Врач не мог вынести триумфального шествия вермахта – он написал прощальную записку и вскрыл себе вены.

Военный госпиталь в Пазевальке был выкуплен нацистской партией и превращен в музей. Сюда приводили молодежь из Гитлерюгенда посмотреть на кровать, на которой лежал будущий фюрер. Но еврея Карла Кронера, который произвел первичный осмотр Гитлера в госпитале, ждала трагическая участь. На следующий день после “Хрустальной ночи” 11 ноября 1938 г. Кронер был арестован и отправлен в концлагерь Заксенхаузен.

Три лица Гитлера

Немцы считали фюрера сверхчеловеком, который обладает сверхъестественными качествами, который все знает, все видит, за всех думает и ни в чем и никогда не ошибается. Психика Гитлера находилась на грани нормы и патологии, поэтому люди были не в состоянии распознать у него психические отклонения. Фюрер переходил от депрессивной к маниакальной, а затем “просветленной” фазе, на которой признаки психоза отсутствовали, а сохранились только остаточные психопатологические проявления в виде слабо выраженных маний. Андре Франсуа-Понсе, который с 1931 по 1938 год был послом Франции в Берлине, мог наблюдать Гитлера в процессе личного общения. Франсуа-Понсе писал: “Лично я знал три его лица, соответствовавшие трем аспектам его натуры. Первое из них было очень бледным, черты размыты и цвет лица тусклый. Глаза, лишённые выражения, немного навывахе, с мечтательным блеском, придавали этому лицу как будто отсутствующее, далекое выражение – непроницаемое лицо, вселяющее беспокойство, подобно лицу медиума или лунатика. Второе его лицо было возбужденным, с яркими красками, страстно-подвижное. Крылья носа вибрировали... глаза извер-

гали молнии, в нем сквозила сила, воля к власти, протест против любого принуждения, ненависть к противнику, циничная удаль, дикая энергия, готовая все смести на своем пути – лицо, отмеченное печатью бури и натиска, лицо одержимого. Третье лицо принадлежало обычному повседневному человеку, наивному, простоватому, неуклюжему, банальному, которого легко рассмешить и который громко смеется и лупит себя при этом по ляжкам – лицо, какое встречается очень часто, лицо без особого выражения, одно из тысяч и тысяч лиц, которые можно увидеть повсюду”.

У Гитлера смена психических фаз происходила под влиянием психогенных факторов, но имела значение и смена времен года. Ближайшее окружение Гитлера с трепетом ожидало приближение весны, когда фюрер впадал в маниакальное состояние. Когда начинались мартовские иды, фюрер принимал роковые решения. 1 марта 1935 г. Гитлер провел плебисцит, по результатам которого к Германии отошла Саарская область. 7 марта 1936 г. Гитлер ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону. 12 марта 1938 г. Гитлер подписал приказ о вторжении вермахта в Австрию. 15 марта 1939 г. он отдал приказ об аннексии Чехословакии. 1 марта 1940 г. Гитлер подписал директиву о проведении операции “Везерюбунг”, которая предусматривала захват Дании и Норвегии. Операция носила очень рискованный характер, так как ВМФ Великобритании имел преимущество над немецким флотом. 14 апреля английская эскадра атаковала в порту Нарвик десять немецких эсминцев, которые были потоплены.

По мере развития событий в Норвегии высшие чины вермахта впервые наблюдали, как их лидер теряет самообладание даже при самых незначительных военных неудачах. Несмотря на достигнутые в первую неделю кампании успехи, высадка союзников в Норвегии потрясла Гитлера, вызвав у него нервный срыв. Командующий дошел до полного нервного истощения, он то раздражался взрывом бурного возбуждения, то впадал в молчаливую задумчивость и сидел, скорбившись, в углу, уставившись ничего не видящими глазами в пустоту перед собой. 17 апреля генерал Йодль записывает в дневнике: “Каждое скверное известие порождает самые худшие опасения”. “В руководстве зреет угроза хаоса”, – пишет он несколькими днями позже, а 22-го добавляет: “Фюрер все сильнее беспокоится по поводу английских десантов”. В один из моментов Йодлю даже пришлось постучать костяшками пальцев по столу и с укором сказать: “Мой фюрер, в каждой войне бывают моменты, когда Верховный Главнокомандующий должен держать себя в руках”. Но когда генералы осмеливались возражать Гитлеру, то у него случались приступы бешенства. Вот что пишет лучший немецкий стратег: “Остается еще рассказать, как протекали споры между Гитлером и крупными военачальниками, неизбежные при тех взглядах, которых придерживался Гитлер по вопросам военного руководства. В отдельных описаниях подобных дискуссий перед нами предстает беснующийся Гитлер с пеной на губах... То, что у него были взрывы бешенства, когда он терял всякое самообладание, безусловно, верно... Но совершенно очевидно, Гитлер безошибочно чувствовал, как далеко он мог зайти в разговоре с тем или иным собеседником и в каком месте с помощью взрыва гнева – возможно, нередко умышленного, напускного – он мог рассчитывать на то, что его запугивание увенчается успехом” (Манштейн Э. Утерянные победы. – М.: АСТ, 1999).

Английский историк Дэвид Льюис в книге “Человек, который создал Гитлера” описал методику, которую Фостер использовал при прозрении Гитлера (см.: The Man who Invented Hitler. By David Lewis. Headline, 2004). После публикации книги некоторые журналисты стали писать о том, что Фостер зомбировал Гитлера. Действительно, медиумы могут осуществлять зомбирование – они подчиняют себе волю других людей, чтобы использовать их в преступных целях. Но в случае с Гитлером нельзя говорить о зомбировании, а можно говорить о врачебной ошибке. Фостер осуществил свой эксперимент ради благородной цели – возвращения зрения пациенту. Психиатр дал Гитлеру установку на величие в полутемной комнате, при эксперименте он использо-

Гитлер использовал опыт, который он получил в результате “чудесного прозрения”, для того чтобы манипулировать немцами. Он придавал театраль- ный вид митингам, которые принимали характер литургического действия. Фюрер старался выступать ночью, а десятки прожекторов посылали столбы света вертикально вверх. Используя экзальтированную риторику, оратор да- вал слушателям установку на величие. Он заявлял, что немцы являются “сверхчеловеками” – белокуроыми bestиями, которые должны все сокрушить на своем пути. Сверхчеловек лишен жалости и сострадания, жесток и беспоща- ден к “недочеловекам”. Создавая ощущение принадлежности к “высшей расе”, Гитлер формировал у слушателей комплекс величия, он воспламенял чувство сопричастности святому делу – возрождению Великой Германии. У слушателей возникало гордое сознание того, что хотя каждый из них явля- ется ничтожным человеком, но вместе они являются частью большого драко- на, от огненного дыхания которого однажды погибнет “еврейская” Европа.

С грандиозным произволом делая историю, Гитлер строил воздушные замки с какой-то бесстрашной и решительной рациональностью. Радикализм коммунистов нарушал правила буржуазной демократии, тем самым закрепляя их легитимность. Радикализм Гитлера отменял все существующие правила, внося в политику мистический эффект. Поведение диктатора представляло собой цепь фантастических выдумок, неожиданных ударов и поворотов, по- разительных по своему коварству поступков. Для реализации своих видений Гитлер избирал вполне рациональный путь, который представлял собой опас- ную смесь авантюризма и прагматизма. Противники Гитлера считали его без- умцем, поскольку его поведение противоречило здравому смыслу. Но он опрокидывал здравый смысл и побеждал! Все, о чем говорил Гитлер, превра- тилось в реальность в Третьем рейхе. А рухнуло то, что казалось нерушимым: демократия и многопартийность, профсоюзы и социал-демократия, система европейских союзов и Лига Наций. Выступая 20 мая 1937 г., Гитлер сказал: “Они все говорили, что я безумец. Так кто же был прав, безумец или дру- гие? – задавал он вопрос. – Прав был я”, – отвечал он, торжествуя.

После “чудесного прозрения” Гитлер уверился в том, что он обладает невероятной силой воли. Генерал-полковник Гудериан писал: “Эта сила во- ли проявлялась столь внушительно, что действовала на некоторых людей почти гипнотически. Я сам лично часто переживал такие минуты. В главном штабе вооруженных сил ему почти никто никогда не возражал; его сотрудни- ки находились или в состоянии постоянного гипноза, как Кейтель, или в состоянии разочарования, как Йодль” (Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск, 1999).

30 января 1943 г. исполнилось десять лет, как Гитлер пришел к власти – к этому времени вермахт захватил огромную территорию от Атлантики до Кав- каза. Диктатор находился на вершине могущества, он чувствовал себя спо- собным перекраивать границы по собственной прихоти и создавать картину мира по собственным эскизам. Но 31 января генерал-фельдмаршал Паулюс отдал приказ о капитуляции окруженной под Сталинградом 6-й полевой ар- мии. Вермахт потерпел сокрушительное поражение, и для Германии наступил момент истины. Немцы начали прозревать – триумф воли фюрера обернулся для Германии катастрофой на Волге.

НИНЕЛЬ ШАХОВА

19 АВГУСТА 1991...

В моем ежедневнике 19 августа одна запись: “Открытие Конгресса соотечественников. 10 часов, Кремль”.

Встала пораньше – нужно подготовиться к съемке. С оператором мы заранее договорились встретиться у Боровицких ворот, откуда обычно съемочные машины въезжают на территорию Кремля.

Ничто не предвещает неожиданностей, Пьем чай, муж слушает выпуск “Последний известий”... И вдруг репликой “тихо” он обращает мое внимание на важное сообщение...

Теперь каждый из нас вспоминает это утро 19 августа 1991 года, строгую форму правительственного сообщения... Оно взбудоражило народ с первых строк.

– Вот это да... – муж не комментирует, но тон сообщения его явно настораживает.

А через несколько минут из Останкина звонит Анатолий Дмитриевич Иванов:

– Неля, что будем делать? Едем? У нас тут уже кругом оцепление, – в голосе Иванова проскальзывают нотки сомнения.

– Обязательно едем, ничего не меняем!

С киногруппой встретилась без всяких сложностей, необходимые документы на въезд нашей машины на территорию Кремля были в порядке, и через несколько минут мы с аппаратурой появились на Соборной площади Кремля.

Перед Успенским собором уже собрались участники Конгресса, среди них много пожилых людей, но есть и среднее поколение... В Москву из многих стран мира приехали представители разных волн российской эмиграции.

Тема эта мне знакома еще с далеких “радийных” времен, не скрою, я рада, что именно мне доверено освещение работы Конгресса. На площади увидела несколько знакомых: среди них Петр Петрович Толстой, правнук великого писателя. Он приехал из Швеции.

Петр Петрович неважно говорит по-русски, но и без перевода ясно: он взволнован, на его лице растерянность... Рядом с ним мужчина крепкого сложения, невысокий, импозантный, “режет” прямо:

– Нет, я чувствовал, это должно было случиться, чувствовал... Через 70 лет приехать, чтобы в день открытия Конгресса опять “пришли темные времена”.

ШАХОВА Нинель Владимировна (1935–2005) — легендарная тележурналистка, комментатор программы “Время” по вопросам культуры в 1971–1992 гг. Автор книги “Люди моего времени” (2004). Воспоминания Нинель Владимировны о первом дне ГКЧП любезно предоставлены ее сыном А. Шаховым.

Игорь Петрович Францевич приехал в Москву из Сиднея. Понятно, что наши соотечественники уже пытаются комментировать правительственное сообщение, собираются группами, высказывают свои предположения.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий обращается к участникам Конгресса с приветственной речью, отмечает, что главная его цель – содействовать исторической справедливости в отношении миллионов выходцев из нашей страны, живущих ныне за рубежом, расширить взаимное обогащение культурными и духовными ценностями... В отличие от нашего соотечественника из Австралии патриарх осторожен, его слушают с особым вниманием, тут все должно быть взвешено...

А кругом такая красота! У каждого Кремлевского памятника всегда хочется постоять подольше, как бы прислушиваясь к нему повествованию обо всем, чему эти камни были свидетелями в долгих и трудных веках России.

На Соборной площади много операторов, журналистов. Они снимают соотечественников в домовых церквях великих князей – Благовещенском соборе... В нем сегодня – служба.

Собор такой цельный, чисто русский, близкий к нарядной деревянной архитектуре...

Прошу Анатолия Иванова снять побольше участников Конгресса на фоне исторических и архитектурных шедевров Кремля. И вдруг слышу интереснейший разговор об истории Успенского собора – главного храма Москвы.

Глазами показываю оператору, что фрагмент этот надо снять, и Толя меня понимает. Кто-то из гостей рассказывает подробности строительства этого храма и даже приводит слова великого князя Ивана III, которые тот произнес, когда вошел под соборные своды, озаренные тысячами свечей: “Вижу небо!”

Представьте, фрагмент этот получился прекрасно. Но... в репортаж, который я готовила для вечернего выпуска программы “Время”, он не вошел. Никто и предположить не мог, что события, начавшиеся с правительственного сообщения утром 19 августа, будут так стремительно развиваться.

Когда мы выезжали из Боровицких ворот, у Каменного моста уже стоял танк. У входа в здание Телецентра документы проверяли автоматчики...

Какой-то суесть, неразберихи, ажиотажа в редакции я не заметила, осмотрела материал, а так как мне еще вечером предстояло снимать официальное открытие Конгресса, я зашла к нашему главному редактору Ольвару Варламовичу Какучая.

– Неля, материал стоит в плане, его нужно делать обязательно.

– Может быть, не будем снимать “официоз”? – спросила я, потому что открытие началось только в 19 часов...

– Не знаю, буду советоваться с Лазуткиным.

На долю Ольвара Варламовича пришлось самое тяжелое время. Человек мудрый, уравновешенный, он хорошо знал редакцию, каждого из нас, умел поддержать в трудную минуту, но даже он не мог предположить, что свалится на его долю.

День проходил в обсуждениях ситуации, мои соседи по комнате – Хатаевич, Бестужева, Медведев – “приносили” разноречивую информацию, а я думала только об одном, как довести до финала свой материал.

... На площадь Маяковского прибывает народ, это видно сразу, но мы топимся в Концертный зал имени Чайковского.

Входим через служебный вход.

Все цвета радуги встречают соотечественников. Фольклорные коллективы из разных регионов России приехали в Москву, звучат народные песни, танцы, гармошки... Все это вплетается в хоровод эмоций, радостных, но одновременно и настораживающих впечатлений.

Слишком ярко, слишком шумно... Но ведь организаторы открытия Конгресса не знали, что день этот одних из нас повергнет в шок, а других – в радость, что общество расколется. Но это будет потом, через несколько часов.

А пока открытие задерживается. Организаторы в растерянности, тянут время, не могут принять решение. Надо менять сценарий, но пока не получается, видимо, кого-то ждут, но этот “кто-то” не выходит на сцену.

Гармошек, кокошников в просторных фойе зала имени Чайковского становится все меньше и меньше... Соотечественники уже давно заполнили зал, а Конгресс все не открывается.

Я волнуюсь, время “утекает”. И вот тут на сцене появляется господин Музыкантский... У меня создалось впечатление, что он совсем был не готов к открытию такого важного события, да еще в столь неожиданной политической обстановке. Сейчас мне трудно воспроизвести его мысли, в памяти остались лишь воспоминания о явно “антисоветской” речи, причем сбивчивой, не аргументированной, не продуманной.

Соотечественники сидели напряженные, понять что-то в этой необычной ситуации они не могли.

Мы возвращались в Останкино через запруженную народом площадь Маяковского, раздавались возгласы: “Ельцин! Ельцин!”

В эфир еле-еле успела выйти. В монтажной было удивительно тихо. Материал пришлось нещадно сокращать. Всю мою лирику – историю, архитектуру, традиции – выбросили, судьбы тоже...

Валентин Валентинович Лазуткин сам отсматривал материалы. Ему жаль было сокращать репортаж:

– Нинель, ничего не могу поделать... Этого требует ситуация.

А я и не обижалась. Жаль было соотечественников – приехали за тридцать земель и... опять не повезло.

Съемки “того” исторического дня я долго хранила, уж больно хороши были кадры Соборной площади, службы в домово́й церкви! А потом – сами соотечественники, их лица, их внимание и смятение, радость и тоска... Я видела на экране с у д ь б у людей.

Все это были документы времени, эпохи. Дорогие кадры похитили, но это произошло значительно позже, когда редакция разделилась и возникло “НТВ”, а во всех монтажных, в рабочих комнатах висели списки “неблагонадежных” людей, которым не велено было выдавать пленки... Фамилии теперь известные, вы их знаете, но нужно признать, что в той непонятной, “новой революционной” обстановке из программы “Время” “утекло”, действительно, много ценнейшего архива.

Вечером 19 августа в монтажных шла напряженная работа. Запомнила Лазуткина, он отсматривал материалы, я видела, как Валентин Валентинович заходил в монтажную, где работал Сергей Медведев.

Почему я так подробно рассказываю об этом? Так ведь некоторые люди на этой ситуации “делали” свою судьбу.

С Сережей Медведевым мы сидели в одной комнате, я вводила его в телевизионную жизнь, мы знали друг о друге несколько больше, чем мои коллеги.

Наша маленькая комната, наша “территория”, которую мы обживали все вместе – Бестужева, Хатаевич, Фатеев, я, а потом и Медведев, – объединяла нас в, может быть, и не очень счастливую, но все же – семью.

Относились мы друг к другу вполне корректно, дружелюбно. Сережа иногда делился со мной своими серьезными замыслами. Но очень редко. Незадолго до августовских событий он рассказал мне, что его приглашают в Московский городской комитет партии, мы поговорили, я активно его отговаривала, убеждала, что журналист – это очень серьезная профессия. Будучи комментатором главной информационной программы, можно многое сделать... Сережа прислушался к совету.

У него только что родился сын, хотелось получить квартиру, – все это понятно.

И вот 19 августа... Неожиданный, непонятный день и... неожиданное поведение людей, твоих коллег. Кто-то в этот день решал свою судьбу.

Мы беседуем с Ольваром Варламовичем Какучая почти через двенадцать лет после “того” исторического дня. Сколько раз мне хотелось спокойно, обстоятельно поговорить с ним о 19 августа – час за часом... Как складывался день, как он развивался.

Ностальгические нотки и в нашей встрече... Мой последний главный редактор в программе “Время” почти не изменился. Элегантен, приветлив, явно рад встрече, как всегда, мудр и памятливы на доброе, хорошее в нашей общей работе.

Ольвар Варламович, правда, начинает с 19 августа... Уходил он из редакции, как всегда, поздно, после эфира программы “Время”, в душе было ощущение гармонии, спокойствия...

Ровно в два часа ночи у него на квартире раздался телефонный звонок, это уже не предвещало ничего хорошего... Звонил Кравченко – председатель Комитета:

– Какой твой адрес, куда прислать машину? Надо кое-что исправить в “Утре”...

Какучая на своей машине домчался до Останкино. Утренняя бригада спит, ни одного “живого” человека в длинных останкинских коридорах найти невозможно...

Быстро светало. Какучая в раздумье стоял у окна, видел, с какой скоростью примчалась на улицу Королева машина председателя.

– В три тридцать на мой стол вываливается груда документов из ЦК... Много, очень много! Написаны от руки. Подписи не факсимильные, а настоящие. Где две подписи стоят, где шесть, – Ольвар Варламович вспоминает, стараясь не упустить детали. – Воззвание написано каллиграфическим почерком, – Кравченко дает распоряжение: “Все это надо дать в “Утре”...”

Леонид Петрович доводит до сведения главного редактора программы “Время”, что с четырех часов утра в Москве вводится комендантский час.

Окна всех основных служб редакции информации – выпуска, главного редактора отдела технического обеспечения – выходят на улицу Королева. Человек, на плечи которого взвалено ответственнейшее, небезопасное дело, смотрит на предутреннюю Москву, на подъехавшие машины с автоматчиками, которые полукольцом окружают Телецентр...

О чем он думал в те мгновения?

– Поражал автоматизм выполнения приказа, какая-то даже “веселость”, “лихость” в действиях автоматчиков, которые стояли в оцеплении с настоящими зарядами. Ребята ходили в бар, у них были новенькие деньги...

А Какучая нужно было решить массу вопросов. Во-первых, кто будет читать тревожное сообщение?

– Кравченко успел заехать в ТАСС и там зарегистрировать эти документы. Он мудро поступил, – говорит Ольвар Варламович. Тут уж сработал, видимо, опыт...

Какучая перечисляет нам перечень своих трудных вопросов; время-то идет, а в шесть часов надо выходить в эфир. Кто будет читать утренний выпуск, как этих дикторов найти? Время летнее, люди могут быть и на даче.

– Я выбрал Инну Ермилову, она до сих пор меня упрекает за это, и Юрия Петрова – очень хорошего диктора и человека, – вспоминает Какучая. – Они пришли на студию в своей обычной одежде, Ермилова в каком-то веселеньком платье, нашли ей темный свитер, одели наконец... И с шести утра покатило... – Ольвар Варламович и сейчас с тоской и печалью говорит о каждом часе этого тяжелого, бесконечного дня.

В десять часов поступил запрет на съемки. Ни одна съемочная группа не имела права выехать за пределы “Останкино”. Выходит, мы с Анатолием Ивановым “прорвались” в Кремль буквально каким-то чудом. Правда, необходимо иметь в виду, что наша съемка была заказана еще в пятницу, 16 августа, а речь идет о понедельник, дне, который запомнили все...

Я напоминаю Ольвару Варламовичу о Конгрессе соотечественников, о съемке в Кремле. Да, он все это помнит, но столько свалилось на него в тот день!

– У меня ведь была полная оторванность от всех. Я сидел один в кабинете, никого рядом нет, ничего не знаю... Телефон молчит. Что происходит на улицах Москвы – то ли народ ликует, то ли возмущается?..

Наконец, стали поступать отклики, у меня на “подсмотре” был канал “CNN”, именно там я увидел Ельцина на танке. Я попросил срочно эти кадры “перегнать” мне на кассету.

В 12.30 пришло разрешение на съемки. Сергей Медведев готов был поехать снимать Москву, я лично вручил ему кадры, снятые каналом “CNN”, и предупредил его об осторожности, прямо так и сказал: “Береги себя”.

Главный наш эфирный выпуск – это программа “Время”. Ее ждали 19 августа 1991 года с нетерпением. Большую роль редакция отводила репортажу Сергея Медведева. Но что он привезет, еще никто не знал. На “подмотрах” Лазуткин, заместитель президента Гостелерадио, следил за откликами. Надо было хоть что-то об обстановке в Москве знать.

Оторвавшись от экрана, Валентин Валентинович побежал в монтажную

принимать материал Медведева, — было уже поздно, — посмотрел его почти до конца, не увидел лишь последнюю склейку, — и сказал:

— Это надо давать в эфир!

Поскольку я тоже работала в этот день и видела несколько раз в монтажной Валентина Валентиновича, мало того, общалась с ним перед выходом в эфир программы “Время”, то была весьма удивлена дальнейшим поведением Сергея Медведева, утверждавшего, “что никто материала не видел”, что это исключительно его решение, его смелость, его инициатива. . .

До сих пор поведение Медведева возмущает Какучая. Казалось бы, время могло усмирить эмоции, но человек чести, мужского достоинства, Ольвар Варламович не прощает предательства, вранья. А ведь это он дал Медведеву бесценные кадры с Ельциным на танке, с его закадровым текстом, он сам вручил “подающему надежды журналисту” кассету, а потом, после эфира, подписал Сергею Медведеву заявление об очередном отпуске и отправил его по д а л ь ш е от Москвы, к родителям.

Идея с отпуском принадлежала главному редактору. Он понимал обстановку, опасался за журналиста.

А Сергей отблагодарил. . . На каждом шагу утверждал только с в о ю инициативу, свой “героизм”.

Медведев “строил” биографию. Факт появления его репортажа с кадрами Ельцина на танке стал крупным камнем в этой “биографии”, но не крепким.

Пресс-секретарем Президента России он был недолго, да и весьма невыразительно. Биографию “построил”, а уважение коллег потерял.

— После эфира программы “Время” гзкачеписты звонили с решительными угрозами, не звонил лишь Язов, — рассказывает Какучая. — Особенно нетерпим был Пуго, он дважды звонил. Второй раз сурово заявил: “Это не репортаж, это инструкция, как действовать!”

Брал трубку уже Лазуткин, он помогал нашему главному редактору **по-настоящему**. На суровые “окрики” гзкачепистов заявлял: “Я за все отвечаю!”.

. . . На третий день “революция” закончилась. Ажиотаж одной части редакции пошел на спад, другая же — больше размышляла, ставила бесконечные вопросы и не находила ответа.

Через несколько дней отечественное телевидение получило нового руководителя. Всесоюзную Телерадиокомпанию возглавил Егор Яковлев — талантливый журналист, газетчик.

Но телевидение — особый мир, это только кажется, что его “тайны” можно постигнуть быстро. . .

30 августа 1991 года на доске объявлений нашей редакции появился весьма неожиданный документ — “приказ № 331”. Я приведу его полностью.

Конкурс: “Премия — Эфир”.

1. Новую информационную программу первого канала ЦТ создать на конкурсной основе.

2. В конкурсе участвуют два творческих коллектива, возглавляемых О. В. Какучая и О. Б. Добродеевым. Коллективы формируются на добровольной основе из сотрудников любых подразделений телевидения и радио.

3. Конкурс проводится в течение двух недель. Результаты подводят зрители (опросы центров общественного мнения, рецензии в прессе).

4. Организацию и проведение конкурса возложить на первого заместителя Председателя Всесоюзной Телерадиокомпания Э. М. Сагалаева.

5. Создать рабочую группу по проведению конкурса во главе с директором студии “Эксперимент” ЦТ А. С. Пономаревым.

6. Победителям конкурса поручить формирование новой информационной программы на первом канале ЦТ.

Председатель Е. В. Яковлев

Листочек с этим текстом был исписан различными эпитетами, его меняли и снова текст “расписывали”, а потом срывали. . . Коллектив таким образом высказывал свое отношение к этому приказу.

Редакция разделилась. Старая гвардия, опытные, известные журналисты сгруппировались вокруг Ольвара Варламовича Какучая.

Второй творческий коллектив состоял из “ТСН” и “примкнувшим” к ним отдельным личностям типа Сергея Медведева. В основном это была молодежь.

Помню горячие обсуждения в кабинете главного редактора. Нередко они затягивались чуть ли не до полуночи, мы спорили, предлагали, отвергали... Нужно было доказывать свою жизнеспособность.

Сейчас уже трудно восстановить все перипетии борьбы. В нее были вовлечены не только наши сотрудники, но и пресса, журналисты, пишущие о телевидении.

В самый острый момент соревнования я уехала в командировку. Приезжаю в Москву уже на его финал. Дома, конечно же, много дел, и они мне не позволяют посмотреть последний выпуск "нашей" программы. А между тем, события развивались стремительно.

Главный редактор Студии информационных программ Какучая почти не выходит из своего кабинета. Он захвачен конкурсом, смотрит последнюю программу, она уже почти подходит к финалу, когда раздается телефонный звонок Егора Яковлева.

— Похоже, вы выиграли это соревнование, — заметил новый руководитель, не дожидаясь результатов трех социологических опросов. — Поезжайте домой, выпейте коньячку, — по-отечески заботливо посоветовал он.

Какучая рассказывает так, как будто это произошло вчера. Каждую реплику Яковлева передает точно, свои действия тоже:

— Если у вас хватит терпения, посмотрите еще пять минут...

Это было сказано явно неосмотрительно, но честно.

Эти пять минут решили все.

Телезрители, которые видели воскресную программу "Время", наверное, помнят и послесловие к ней, подготовленное Алексеем Денисовым. Это был памфлет, некая сатирическая ретроспектива истории соцсоревнования и тех условий "каменного века", в которых работали тогда журналисты, создающие информационные передачи.

Конечно, была в этом материале и ирония по поводу конкурса, объявленного в приказном порядке, итоги которого должен был подводить чуть ли не всесоюзный референдум телезрителей.

Давайте прочитаем в эти строки, разве там была неправда: "с большевистской решительностью новое телевизионное руководство в течение двух недель экспериментировало над миллионами телезрителей, разделив журналистов ТСН и программы "Время" на "наших" и "ненаших", на демократов и консерваторов.

В итоге весь конкурс свелся к тому, кто демократичнее запугает зрителя всевозможными страхами и сенсациями...

Нас опять призывают к ударному героическому труду. Вот построим, дескать, светлое демократическое будущее, и все у нас будет. Но сегодня люди не хотят быть ни красными, ни белыми, ни демократами, ни коммунистами. Они устали от соревнований и хотят просто работать и зарабатывать деньги...

И все же интересно узнать, какой выпел обещан победителям очередного соцсоревнования".

Этот сюжет привел в дикую ярость демократа Егора Яковлева. Какучая было заявлено, что он использовал телевидение в личных целях и работать с ним дальше не представляется возможным.

— Прошу вас в 9 утра быть у меня в кабинете! — Это прозвучало как ультиматум, потом Яковлев добавил: — И обязательно с вашим заявлением об уходе!

Ольвар Варламович рассказывает все, как есть. Он не мог согласиться с решением Яковлева, никакого заявления он ему не принес.

В кабинете председателя ВГТРК состоялся тяжелый разговор. Яковлев готов был назначить главным редактором Олега Добродеева, совсем молоденького, еще не обстрелянного, слишком "гибкого"...

А этот молоденький, который и попал-то в редакцию благодаря рекомендации Какучая, об этом забыл. Причем очень легко, без угрызений совести. Редакция бурлила.

В такой ситуации и состоялось собрание трудового коллектива Студии информационных программ ЦТ, на которое должен был прийти Егор Яковлев. Решалась судьба нашего главного редактора.

Мы все прекрасно понимали, что грядут перемены... Вспоминать даже сейчас трудно.

На душе тревожно, смотрим друг другу в глаза, стараемся прочесть в них ответ на многие вопросы...

В зале, где проходили наши летучки, собрался весь цвет телевидения. Политобозреватели, комментаторы, дикторы, — очень известные люди. В первом ряду сидели заместители Егора Яковлева...

Что ж, это была первая встреча с новым руководителем телевидения, и понятен человеческий интерес к ней.

Демократы повели себя, увы, не демократично. В первую очередь Сагалаев. У входа в зал его “смутили” камеры, фотоаппараты, он даже вынужден был “ненавязчиво” намекнуть — разговор-то конфиденциальный... Прорвалась только Тамара Мартынова, она освещала в газете “Правда” проблемы телевидения.

Эдуард Сагалаев торжественно представил Егора Владимировича, сотворил некий эпиграф встречи. И вдруг в самый разгар его “творчества” в зал с шумом вошли иностранные корреспонденты... Изумление и борьба отразились на лице Сагалаева — в прошлом главного редактора программы “Время”, — мы-то его хорошо знали.

С иностранцами ссориться негоже. Они расставили камеры, хладнокровно посмотрели на нас, и “историческое” собрание началось.

В нем было все — правда, страсть, желание угодить начальству, приспособиться к “новым” условиям и так далее... Все, что свойственно человеку...

К Ольвару Варламовичу подавляющая часть редакции относилась хорошо, уважительно. Запомнились выступления наших молодых коллег — Алеша Денисова, Бори Костенко. Думающие ребята... Таких бы побольше... Олег Добродеев тоже совсем молод, но из другого теста, внешне вежливый, воспитанный, а внутри — акула.

Трудовой коллектив не согласился с волонтаристским решением руководства компании и выразил полное доверие и поддержку своему главному редактору. В проект резолюции мы записали, что “предложение Яковлева Е. В. главному редактору оставить этот пост в связи с выдачей в эфир сюжета о социальном нарушении считается нарушением закона о печати, образцом администрирования, несовместимым с принципами демократии”.

Яковлеву явно не понравилось наше упрямство. Сагалаев, как всегда, лавировал...

Тамара Мартынова, которая сидела рядом и вся была в работе, являла пример журналистской солидарности, желания разобраться в ситуации. Для меня же наступил “момент истины”...

Яковлев внешне был сдержан. Говорил скороговоркой, но это, видимо, его врожденный недостаток. Старался выстроить речь: “Главное — информационная объективность... Я часто себя спрашиваю: а каким должен быть критерий в оценке работы телевидения? Кто должен оценивать?...” “Мне кажется, свести все к оценке только коллективом тележурналистов было бы неправильно... Вот почему я предложил зрительский конкурс программы, которая выходит в 21 час... Это, я бы сказал, формула нашего движения...”

В блокноте остались лишь отдельные выдержки из речи Егора Яковлева. Он говорил о приоритете “информационного ствола”, о том, что такое демократия в “нашем” журналистском деле...

Речевая скороговорка Яковлева мешала... Правда, когда он спокойно заявил: “Мы меняем лица на телевидении”, я очнулась от его убаюкивающей интонации. Это уже программное заявление!

Почему-то аудитория не отреагировала достойным образом на него... Может быть, устали, не придали значения? Отнесли к разряду эмоциональных всплесков...

Мы в устах Егора Владимировича звучало внушительно, заставляя мозг усиленно работать: где же этот штаб, где принимают решения на “замену” лиц? И какие “лица” нынче необходимы телевидению?

Это откровенное признание господина Яковлева 18 сентября 1991 года я никогда не забуду.

Действительно, поменяли, но на какие лица?! Есть ли в большинстве “этих” лиц интеллект, мысль, сострадание, обаяние? Наконец, желание помочь России обрести себя или найти факт, событие, поднимающее человека над бытом, над грязью, которая так быстро прилипла к “революционной ситуации” 1991 года?

Путь, пройденный с 19 августа 1991 года, определил каждого из нас. И в отношении к новым “лицам” телевидения, и к фигурам, “творящим” историю, и к партиям, и к пиаровским кампаниям... Ко многому.

Через два года Егор Яковлев из радиопередачи “Маяк” узнал, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина снят с работы...

А чуть позднее возродят и название информационной программы, вернут ей прежнее название, которое Егор Владимирович хотел вытравить из сознания телезрителей. Ведь это он сменил и шапку программы, и название...

И ведь на что поменял – на безликие “Новости”!

Кто помнит, что все это было, что это правда?

Убеждена, что многие из нас.

Это была трудная пора телевидения, она убрала из эфира действительно способных журналистов, думающих людей, образованных, интеллигентных.

Что бы ни говорили, ни писали, – но эпоха интеллектуального телевидения кончалась.

Публикация А. Шахова.

ВЯЧЕСЛАВ ТЕТЁКИН

НА ЮЖНОАФРИКАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Из записок африканиста

Собираясь опубликовать эти записки, я задумался. А кому они будут интересны? Моей семье? Двум десяткам добрых знакомых? Нужно ли для этого тратить время и силы?

Однако (подумалось чуть позже) нужна ведь книга об ушедшей эпохе 60–80-х годов. Это была эпоха нашего стремительного появления в Африке к югу от Сахары, где наши соотечественники доселе, за всю свою тысячелетнюю историю, никогда в больших количествах замечены не были. В те районы энергично проникали англичане, французы, португальцы, итальянцы, наконец, в числе последних, немцы. Русские же неспешно, в течение многих веков занимались освоением близлежащих к нам колоссальных и малонаселенных просторов Севера и Сибири. Причем делали это не путем захвата, а путем взаимовыгодного сотрудничества с населявшими эти просторы местными племенами с их постепенной ассимиляцией.

И вдруг, после начала деколонизации Африки в начале 60-х годов XX века, тысячи наших соотечественников приехали на работу в десятки стран черного континента.

Бойцы Манделы сражались нашими “калашами”

С марта 1981 года я был принят на работу в Советский комитет солидарности стран Азии и Африки (СКССАА). Формально это была общественная, как нынче говорят, “неправительственная” организация. Но неформально Комитет солидарности подчинялся Международному отделу ЦК КПСС. И только ему. То есть это был орган партийной внешней политики. Но прямо с КПСС не связанный, как бы совершенно свободный в своих действиях. В этом не бы-

ТЕТЁКИН Вячеслав Николаевич — советник РФ 1 класса, эксперт комиссии “Анти-НАТО” Государственной Думы. В 1972 году окончил переводческий факультет института иностранных языков в Минске, работал переводчиком в Уганде. В 1990 г. окончил заочную аспирантуру Института стран Азии и Африки при МГУ, кандидат исторических наук. Был сотрудником Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, занимался вопросами поддержки национально-освободительных движений Юга Африки (АНК в Южной Африке и СВАПО в Намибии).

ло ничего особенно необычного. Тем же самым занимаются и западные страны, у которых сеть “неправительственных” организаций, к стати, куда более разветвленная, является инструментом государственной политики.

Все наши общественные организации – самыми известными среди которых были Советский комитет защиты мира, Комитет советских женщин, Комитет молодежных организаций – играли свою “скрипку” в общем оркестре внешней политики СССР. Формы деятельности у всех были примерно одни и те же. Но особенностью СКССАА была в том, что мы имели дело не с многочисленными “движениями за мир” (с коими поддерживали весьма приятные связи наши коллеги из других общественных организаций), а с вооруженной освободительной борьбой, с людьми, действовавшими в подполье, сражающимися и гибнущими в этой борьбе. То есть за обычными формами работы, коими пользовались все (международные конференции, обмены делегациями и так далее), у нас в Комитете происходило вполне реальное, физическое, даже вооруженное сопротивление с миром империализма.

Главных направлений нашей деятельности было три: поддержка Вьетнама (к описываемому времени эта тема уже отходила на второй план), солидарность с палестинцами и другими народами Ближнего Востока в их противоборстве с Израилем, поддержка освободительных движений юга Африки. Ключевым направлением было арабское. Это отражало значение Ближнего Востока в международной стратегии СССР. Арабисты преобладали среди сотрудников Комитета. Палестинцы были частыми гостями у нас. В те края регулярно ездили наши делегации. По этой проблематике регулярно писались “записки в Инстанцию”, проводились “круглые столы” и конференции.

Африка была несколько на отшибе. К этому времени Ангола и Мозамбик получили независимость. Успехом закончилась и освободительная борьба в Зимбабве. А вот в ЮАР и Намибии перспективы победы дружественных нам АНК и СВАПО были еще туманными. Я пришел на южноафриканское направление (АНК, СВАПО, Зимбабве, Замбия, Ботсвана). В силу того, что в мире существовало мощное движение солидарности с народами ЮАР и Намибии, в сфере моих обязанностей было и поддержание связей с движениями против апартеида, прежде всего Западной Европы.

Линия КПСС была предельно ясна: в нашем случае это была полная и всесторонняя поддержка освободительных движений Южной Африки и Намибии. И эта работа велась не на уровне сотрясения воздуха громкими, но пустыми устными декларациями. Под дело поддержки освободительной борьбы выделялись немалые средства.

Сотрудничали мы в основном с Африканским национальным конгрессом (АНК) – влиятельнейшей и старейшей организацией коренного населения ЮАР. Конгресс возник еще в 1912 году, за пять лет до Октябрьской революции в России. Что давало повод нашим товарищам из АНК иногда подтрунивать над молодостью нашей компартии, которая была преобразована из РСДРП только после 1917 года, а также давало нам всем весомый аргумент в борьбе с теми, кто утверждал, что АНК чуть ли не создан Советским Союзом как инструмент проникновения на юг Африки. Стоило указать, что АНК возник задолго до революции в России, как наши оппоненты умолкали. Хотя и не надолго: различных пакостей в их арсенале всегда бывало немало.

В январе 1987 года мы широко отпраздновали 75-летие конгресса. В Москву для участия в соответствующих мероприятиях прибыла делегация во главе с членом Исполкома АНК, руководителем Международного департамента Джонни Макатини. Это был очень обаятельный человек, с огромным опытом как борьбы внутри Южной Африки, так и международной деятельности. Он долгое время представлял АНК в ООН и поэтому был весьма умелым дипломатом.

Трехсторонняя встреча между представителями СССР, Кубы и АНК состоялась в сентябре 1987 года. Я был приглашен поработать в качестве переводчика-сопровождающего с делегацией АНК. В ее состав входил президент АНК Оливер Тамбо, члены Исполкома Альфред Нзо, Табо Мбеки, Джо Слово, Джо Модисе, а также один из помощников Тамбо. О сути переговоров распространяться не буду, ибо непосредственно в них участия не принимал. Но антураж был интересным. Делегацию АНК поселили не в партийной гостинице “Октябрьская-2” в Плотниковом переулке или в “Октябрьской” (ныне “Президент-отель”) на улице Димитрова. На этот раз делегация АНК жила на “ближ-

ней” даче Сталина “Волынское-1”. Ощущение, конечно, было сильнее. Помню благоговейное выражение лиц членов делегации АНК, которые входили в здание дачи. Даже Джо Слово, который к Сталину относился, мягко говоря, без лишнего восторга, тем не менее, вошел в это здание с сознанием значимости этого места и с уважением к духу его бывшего хозяина.

Примечательно, что внешне, с улицы, это двухэтажное здание не производит монументального впечатления. Однако внутри оно очень просторное, отделанное деревянными панелями, хотя и без особой роскоши. Сначала широкая прихожая, затем большой зал заседаний с длинным столом. Оливер Тамбо жил на втором этаже, а члены делегации – в огромных и от того несколько неуютных комнатах на первом. Сопровождающие (я и сотрудник МИД Костя Шичко) поместились во флигеле, соединенном с основным зданием длинным крытым переходом. Кормили (в столовой в том же флигеле) хорошо, но без излишеств. Функции наши были несложные – помогать нашим южноафриканским друзьям во всем, что касалось их пребывания на даче Сталина. А так по утрам они уезжали на встречи в различных советских министерствах и ведомствах, где были свои переводчики.

Впрочем, один раз в беседе АНКовцев с нашими военными мне поучаствовать пришлось. Случалось так, что Андрей Чужакин, мой давний знакомый еще по временам КМО, перешедший на работу в сектор Африки Международного отдела ЦК, был где-то за пределами Москвы. А тут после визита на Кубу транзитом через Москву возвращались Джо Модисе и начальник военной разведки АНК Ронни Касрилс. Шубин пригласил меня поучаствовать в этой встрече в качестве переводчика. Беседа проходила в гостинице “Октябрьская” в небольшой комнате на втором этаже.

С нашей стороны были два генерал-майора. После того как Модисе и Ронни рассказали о ходе вооруженной борьбы и привели впечатляющие цифры роста боевых операций военного крыла АНК “Умконто ве сизве” (до 180 операций в год), наши военные сообщили о выполнении заявок АНК на поставки оружия. Точных цифр не назову, но хорошо помню, что был поражен масштабами поставок. Число пулеметов и “калашниковых”, пистолетов Макарова и Стечкина измерялось сотнями, если не тысячами, там были гранатометы, зенитные установки, противопехотные и магнитные мины и много чего другого. Подлинный размах вооруженной борьбы АНК стал мне после этого гораздо яснее.

Что до конкретных данных о наших поставках оружия для АНК, то они появились позже, хотя и при весьма неприятных обстоятельствах – после государственного переворота 1991 года, когда к власти в нашей стране пришли откровенно прозападные силы.

О размахе сотрудничества СССР с АНК по военной линии обстоятельно поведала миру статья “Тайные арсеналы АНК: выстрелит ли ружье, висящее на стене”, опубликованная в “Независимой газете” 7 августа 1992 года. В статье сообщалось, что 9 июня 1992 года Данкен Селларс, председатель “Международного фонда свобода” – “неправительственной организации”, финансирующей военной разведкой ЮАР, – направил письмо помощнику президента США по национальной безопасности Brentу Скоукрофту, в котором довольно подробно перечислил основные склады АНК и номенклатуру находящегося там оружия. Аналогичная информация была тут же опубликована одной из ведущих южноафриканских газет “Санди таймс”. В частности, сообщалось, что на базе Графанил в 20 километрах от Луанды находилось несколько танков и бронемашин, а также 2188 автоматов Калашникова, 727 пистолетов Макарова, 22 пулемета, 8 снайперских винтовок, 11575 кг тринитротолуола, 800 кг пластиковой взрывчатки и большое количество боеприпасов.

Не будем вдаваться в “шпионскую” сторону этой темы, хотя данные о количестве оружия указывали на то, что щупальца американской и южноафриканской разведок забрались довольно далеко и высоко. Большого вреда АНК раскрытие этой информации уже нанести не могло, ибо к этому времени, к середине 1992 года, центр борьбы переместился из области военной в область политическую. АНК, вступив в переговоры с правительством белого меньшинства, приостановил вооруженную борьбу. Нас в данном случае гораздо больше интересуют масштабы военной помощи Советского Союза освободительному движению. То, что было опубликовано в “Санди таймс” – яв-

но было лишь верхушкой айсберга советской поддержки вооруженной борьбы на юге Африки.

Поставки АНК осуществлялись с 1963 года и были полностью прекращены в 1990 году. Естественно, оружие поставлялось не в ЮАР, а в третьи страны. В разные годы, в зависимости от политического расклада, этими странами были Танзания и Ангола.

Такая же помощь оказывалась СССР и освободительным силам в Намибии, оккупированной ЮАР. Полезно знать, как наша страна вложилась и в “намибийское” направление деколонизации. Вложилась, как выяснилось, очень основательно. Общий объем поставок нашим товарищам из СВАПО составил 157,3 миллиона рублей. Одних автоматов намибийцы получили несколько десятков тысяч штук, да еще 97 бронетранспортеров и несколько танков.

Здесь нужно иметь в виду, что если лагеря АНК были расположены в глубине Анголы (то есть им не угрожали напрямую периодические вторжения армии ЮАР в Анголу) и обучение в них велось почти исключительно для партизанской деятельности внутри ЮАР, то лагеря СВАПО располагались вблизи границ Анголы и Намибии, полностью оккупированной тогда армией ЮАР. К тому же лагеря СВАПО находились в зоне действия антиправительственного движения УНИТА, являвшегося, по сути дела, вспомогательной армией ЮАР. Так что оружия и тяжелой боевой техники нашим друзьям из СВАПО требовалось гораздо больше, чем АНК.

Как бы ни складывалась политическая ситуация в СССР к началу 90-х, но освободительная борьба на юге Африки приобрела совершенно неуправляемый размах, оружие уже было переправлено внутрь ЮАР и спрятано в тайниках. К тому же, как я уже отмечал, АНК заявил о приостановке вооруженной борьбы, чтобы создать благоприятные условия для политического урегулирования.

Как я нарушал границу

В апреле 1989 года мне привелось впервые побывать в Намибии. Мои задачи в этой доселе недоступной нам стране были обозначены самым общим образом: посмотреть, что там происходит. Сам себе я добавил задачу – поплотнее познакомиться с внутренним крылом СВАПО – организации левого толка, борющейся за независимость страны. Однако сначала все-таки нужно было формализовать свой “журналистский” статус. На этот счет было заготовлено письмо от журнала “Азия и Африка сегодня”, в котором заинтересованным лицам сообщалось, что я являюсь корреспондентом этого журнала, направленным для освещения начала процесса деколонизации Намибии. Никакого особенного искажения истины в этом не было. Это не было, как это принято называть в разведках всего мира, “крышей”. Я действительно регулярно публиковал статьи в этом журнале, который был органом не только Института Африки и Института востоковедения АН СССР, но и Советского комитета солидарности стран Азии и Африки. То есть нашим органом.

Пресс-центр миссии ООН размещался в самой большой гостинице города “Калахари сэндс” (“Пески Калахари”). Я добросовестно явился туда и обнаружил молодую женщину, явно французенку, лет 35, сидевшую почему-то на полу. Она заметно была раздражена многочисленными иностранными журналистами и лицами, выдававшими себя за журналистов. Поэтому мое историческое появление на земле Намибии она встретила оскорбительно равнодушно. Не было даже традиционного подозрения: “не очередной ли агент КГБ?”. Нет, она спокойно прочитала мое рекомендательное письмо и быстро оформила аккредитацию. После этого без лишних вопросов я был отпущен восвояси. ООН, в отличие от южноафриканцев, моя персона совершенно не волновала.

Затем я занялся привычным делом – установлением контактов с членами “внутреннего” руководства СВАПО. Еще в Москве глава представительства СВАПО в СССР Филемон Малима (впоследствии министр обороны Намибии) снабдил меня некоторыми именами и телефонами. Теперь предстояло связаться с этими людьми. Кстати, новость о том, что один из постояльцев гостиницы находится в дружеских отношениях с лидерами СВАПО, довольно бы-

стро стала известна среди африканского персонала гостиницы, и я периодически отмечал признаки особого расположения с их стороны. Когда я уезжал домой, водитель микроавтобуса, который довез меня от гостиницы до центра города, где я должен был пересестись на другой автобус (до аэропорта), доставая из багажника мои вещи, тихо сказал: “Передайте привет нашим товарищам в Москве”.

Но для начала надо было осваиваться на этой абсолютно непривычной территории, где не только не было посольства СССР (на которые мы всегда опирались), но и каких-либо связей с “местными”. Для начала съездил в “черный” пригород Виндхука Катутуру. В “лучших традициях” режима апартеида сам Виндхук был городом для белых. А вот десятки тысяч черных жителей Намибии, которые, собственно, и крутили жернова намибийской экономики и делали столь приятной жизнь своих белых сограждан, жили в нескольких километрах от Виндхука в огромном “поселке”, по размерам превышающем средний европейский город.

Это были ряды одинаковых домиков. В Южной Африке их за однообразие и размер называли “спичечными коробками”. Тысячи этих коробков практически ничем друг от друга не отличались. Но это только на первый, непосвященный взгляд. Через некоторое время, присмотревшись, я увидел, что на дверях домов, кроме номеров, стоят еще и какие-то буквы. Сопровождавший меня активист СВАПО разъяснил, что на доме указывается не только его номер, но и этническая группа, к которой принадлежит его хозяин. Например, если на двери стояла буква “D”, это значит, что там жила семья, принадлежавшая к племени дамара. А если на доме была буква “O” (а таких было большинство), то это означало, что в доме проживали люди из Овамболенда. Вот такой внутренний апартеид устроили даже в черном поселке.

Затем сходил в местную оппозиционную газету “The Namibian”, которая занимала жестко критическую позицию по отношению к южноафриканскому колониальному режиму и с симпатией писала о СВАПО. Смелым редактором этой газеты оказалась молодая хрупкая женщина Гвен Листер.

Встретился с лидером Демократического альянса “Турнхалле” Дирком Маджем — пожилым, но крепким буром, бывшим летчиком. Кстати, этот самый Турнхалле, который в те годы непрерывно поминали в мировой прессе, оказался самым прозаическим спортзалом неподалеку от центра Виндхука. А попал он в название партии лишь потому, что там проходили конференции “внутренних партий”, созданных в попытке создать видимость политической опоры для колониальных властей ЮАР.

Затем побывал у председателя Национального союза Юго-Западной Африки (СВАНУ) Козонгуизи. Он проходил у нас в СССР по категории “марионеток режима апартеида”. Поэтому я пошел к нему отчасти из любопытства, отчасти чтобы изобразить объективность в своих “журналистских” изысканиях. В ходе беседы я совершенно неожиданно для самого себя спросил его, не бывал ли он в СССР.

— Бывал, — потупив глаза, ответил он, — по приглашению Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

Я чуть со стула не упал. Потом В. Шубин подтвердил, что это была чистая правда. До того, как он стал ренегатом, мы принимали его в качестве представителя СВАНУ, входившего в состав Организации солидарности народов Азии и Африки со штаб-квартирой в Каире.

Но совсем одиноко в Намибии я себя не чувствовал. Хотя нас, граждан СССР, в тот момент на земли Намибии было всего пятеро, а именно: Павлов и Морев из МИДа, В. А. Андреев — директор Регионального центра ООН в Намибии, еще один советский ООНовец и я. Мы периодически пересекались на тропинках политического мира маленького Виндхука, и это было всегда приятно.

В один из вечеров устроили “встречу советского землячества”. Собрались на небольшой служебной вилле Андреева. Жарили южноафриканские сосиски и пили местное вино. Но под звездным небом далекой Намибии мы не чувствовали себя оторванными от Родины, ибо были там в ее интересах. Это было поразительное чувство единства столь разных людей, сведенных обстоятельствами в этих дальних краях.

С Андреевым для меня связаны два примечательных эпизода. В один из дней, направляясь на очередную встречу, я увидел его на улице с пожилым человеком, явно нашим. Они пригласили меня выпить в этот жаркий день по

кружке пива. Зашли в ближайшую гостиницу, сели, и тут выяснилось, что пожилой гражданин — не больше, не меньше, чем заместитель Генерального секретаря ООН В. С. Сафрончук. Он курировал Совет Безопасности ООН, и деколонизация Намибии была в сфере его обязанностей. Вот он и заехал в Виндхук, чтобы проинспектировать ход выполнения резолюции № 435 Совбеза ООН по Намибии. Посидели минут двадцать и разошлись. С Сафрончуком мы потом много и полезно взаимодействовали и в Госдуме, и в редакции газеты “Советская Россия”.

Второй эпизод, связанный с Андреевым, был менее приятным. В какой-то из дней в одной из намибийских газет появилась статья, в которой утверждалось, что он является офицером КГБ, выполняющим специальное задание в Намибии. Этого можно было ожидать, ибо в традициях западной пропаганды тех лет любого нашего мало-мальски заметного соотечественника объявлять агентом КГБ, чтобы отбить у его партнеров желание общаться с ним. Обвинение было делом почти естественным. Но, тем не менее, крайне неприятным.

Дальше было хуже. Поздно вечером, через пару часов после того, как я услышал уже по радио ссылку на злополучную статью, мне позвонил чем-то очень взволнованный местный журналист, с которым я успел познакомиться. Он попросил о срочной встрече. У него было для меня какое-то экстренное сообщение. “Начинается, — невесело подумал я. — Вероятно, я — следующий в списке тех, кто будет объявлен сотрудником КГБ”. Никакого отношения к этому уважаемому ведомству я не имел. Но кому это докажешь в далекой Намибии? Если бы южноафриканские спецслужбы пошли на какую-то серьезную провокацию (а неожиданный звонок местного журналиста мог быть именно прелюдией к провокации), то ничего сделать я не смог бы. Посольства СССР в Намибии не было. Морев давно переехал в гостиницу в центре города, Павлов на несколько дней куда-то уехал из Намибии, а я был один-одинешенек в этой почти загородной гостинице. Ночь прошла, мягко говоря, беспокойно. В голове роились разные неприятные мысли. Но до утра ничего не произошло. А утром вновь позвонил тот знакомый журналист, и скоро выяснилось, что ничего особенно экстренного у него не было. Кампания против Андреева тоже быстро сошла на нет. Но понервничал в ту ночь я немало.

1 мая, как и во всем мире, намибийцы отмечали День труда. По этому случаю в Катутуре проходил праздничный митинг. Как мне стало известно, предстояло прибытие делегации профсоюзов ЮАР. Митинг, по нашим меркам, был небольшой — человек пятьсот нарядно одетых намибийцев, десяток человек в “президиуме” на низенькой платформе. Особенностью было разве то, что на митинг, как мухи на мед, слетелись иностранные корреспонденты.

Помимо политической миссии, была у меня в Намибии и еще одна — бытовая. Вполне в духе тех времен, когда в СССР уже полным ходом шла горбачевская “перестройка” и в нашей стране уже всюду ощущался товарный голод. Советские заграникомандированные обычно получали от жен список предметов, которые было жизненно необходимо привезти из-за границы. Имел соответствующий список и я. Кое-что по мелочам заказали отец с матерью. Поэтому в перерывах между посещением штаб-квартир конкурирующих партий мне приходилось совершать визиты в разнообразные магазины. Для меня лично было довольно комично, когда я с какой-то распродажи должен был стремительно мчаться на очередную политическую встречу.

Для тех же “джентльменов”, которые, несомненно, присматривали за моими телодвижениями, это наверняка выглядело менее комично. Скорее всего, визиты в магазины женских товаров воспринимались ими как метод оперативной маскировки “опытного разведчика”. Никакой слежки за собой я не ощущал. Во-первых, я и не пытался ее выявить. Во-вторых, это было бесполезно, ибо южноафриканская полиция безопасности (а я был ее “клиентом”) была организацией высокопрофессиональной и обладающей немалыми ресурсами. Мне как-то рассказали в тех краях, что за “обычным” иностранцем, вызывающим интерес, присматривала команда в составе семи сотрудников внешнего наблюдения. С “клиентами” же, вызывающими особый интерес (а видимо, я был в их числе), работала команда до 30 человек, что отчасти льстило мне: какой там Штирлиц!..

Как бы то ни было, никаких признаков слежки не чувствовалось. Единственным случаем, когда наружное наблюдение себя хоть как-то проявило, был эпизод в воскресенье.

С утра никаких встреч не предполагалось. Поэтому я отправился посмотреть на расположенный в двух шагах от гостиницы аэропорт, обслуживавший местные рейсы и частные самолеты. Дойдя до ограды аэропорта, остановился и начал с удовольствием наблюдать за взлетом и посадкой небольших самолетов. Торопиться некуда, погода прекрасная, самолеты взлетали и садились весьма эффектно. Поэтому я простоял возле этой ограды существенно больше часа.

Вдруг сзади подъехала машина, из которой медленно вылезли два африканца. Вид у них был крайне недоброжелательный. “Типичные убийцы”, – подумалось мне. Они весьма настороженно посмотрели на меня, и в их взглядах читалось нечто вроде “какого хрена ты здесь торчишь?”. Затем медленно подошли к ограде, посмотрели на нее и за нее. Потом не торопясь уехали. Я понял, что мне вежливо посоветовали не трогать свое и чужое (караул устал!) драгоценное воскресное время попусту, и вернулся в гостиницу.

Постепенно осваивался в Виндхуке. Завел знакомства среди местных руководителей СВАПО, которые начали выходить из подполья. При этом, для того чтобы сохранить свою журналистскую “легенду”, исправно ходил на пресс-конференции, которые давали представители ООН.

Я безостановочно носился (как правило, пешком) из одной точки города в другую. Как-то раз пригласил двух лидеров местного профсоюза в гостиницу. Пошли попить пива в бар возле бассейна. Несколько позже я понял, что сделал ошибку. Во-первых, мои собеседники чувствовали себя не вполне в своей тарелке в этом баре, который де-факто был еще “только для белых”. Во-вторых, вокруг было столько любопытных глаз, что о какой-то конфиденциальности беседы говорить не приходилось.

Между тем, жизнь в столице Намибии на подходах к независимости менялась на глазах. Конечно, там еще полностью доминировали южноафриканцы. Запомнилось, как на центральной улице Виндхука из военной машины не торопясь вылезли два молодых южноафриканских офицера весьма сурового вида в армейских шортах и с пистолетами на боку. Именно они – южноафриканские военные – были пока реальными хозяевами Намибии. Во всех магазинах висели все те же плакаты с макетами и рисунками советского оружия, которые я видел в аэропорту Йоханнесбурга. На входе в магазины охранники обыскивали всех мужчин, а женщинам заглядывали в сумочки. То есть “террористическая угроза” со стороны СВАПО еще не была отменена.

Но, с другой стороны, я был свидетелем и такой сцены. На все той же центральной улице, где, собственно говоря, и сосредоточивалась местная “светская” жизнь, молодой белый парень, явно подвыпивший, начал придирается к средних лет африканцу. Тот попытался уклониться от ссоры, вежливо что-то объясняя молодому хулигану. Но тот наседавал и уже начал размахивать кулаками. Тогда вежливый африканец отдал портфель своему спутнику и вполне уверенно врезал белому хаму два-три раза в физиономию, после чего тот был вынужден спасаться позорным бегством.

Дело подошло к отъезду из Намибии. Лететь нужно было через транзитный аэропорт в Йоханнесбурге (ЮАР). При вылете из Виндхука я сдал свою большую сумку в багаж. Прибыв в ЮАР, я обнаружил, что ручка замка-молнии была оторвана. Видно, кто-то с такой яростью дернул за нее, что она отлетела. Впрочем, эту ручку вполне благоразумно вложили в сумку. Гораздо более любопытно, впрочем, было то, что упаковка батареек, которые я купил в Виндхуке, была вскрыта. Юаровским спецслужбам и в голову не могло прийти, что к этому времени в результате все той же “горбостройки” у нас в СССР начали исчезать самые простые вещи, и я должен был тащить батарейки для приемника аж с юга Африки! Наивные южноафриканские оперативники подумали, что хитрый русский Штирлиц вывозит под видом батареек какие-то секретные данные.

Естественно, у меня не было визы для въезда в ЮАР, потому я настроился на ночевку в скучнейшей транзитной гостинице аэропорта в Йоханнесбурге. Однако ночью, часа в четыре, меня разбудил телефонный звонок. Это был Вэлли Муса из Йоханнесбурга. Он совершенно спокойно поведал мне, что только что закончил работу и решил позвонить мне. Затем так же буднично поинтересовался, когда и каким рейсом я предполагаю прибыть в Йоханнесбург. Спросонья не сразу найдя билет, я, тем не менее, сообщил ему требуемые данные.

– Я встречу тебя в аэропорту, – по-прежнему буднично сказал Вэлли и повесил трубку.

С этого и начались события, наделавшие потом немало приглушенного шума в Южной Африке, да и в Москве. Из Виндхука я вылетал утром. Полет до Йоханнесбурга прошел обыденно. Однако самолет подрулил не к уже знакомому мне международному терминалу, а к зданию местных авиалиний. Пока я соображал, что бы это значило, поток пассажиров вынес меня из самолета и потащил к этому самому зданию. И как только я вошел в двери, то обнаружил Вэлли, стоящего, скрестив руки, возле одной из колонн, подпиравших крышу здания.

– Привет! – небрежно кинул Вэлли.

Не так просто описать, какие чувства я испытал. По-видимому, это было радостное возбуждение. На этот раз я был не в пустынном каземате транзитного зала, а в самой Южной Африке. Вокруг меня ходили не белые чиновники – таможенники, полицейские, а обычные южноафриканцы, куда-то улетавшие или откуда-то прилетавшие. Все эти годы, кроме друзей из АНК, мы других южноафриканцев никогда не видели. А тут, в зале аэропорта, было шумное многоцветье людей – черных, белых, цветных, молодых, пожилых, детей. Нигде не увидишь такой срез населения страны, как на вокзалах и в аэропортах. Вот и здесь перед моими глазами был разноцветный и многогранный срез южноафриканского общества. Я был зачарован. Хотелось просто сидеть и смотреть на эту совершенно незнакомую жизнь.

Но Вэлли был настроен по-деловому.

– Где твои вещи? – спросил он. Забрав их с ленты транспортера, мы присели на одной из лавок около стены. Мне хотелось как можно быстрее обменяться с Вэлли информацией и впечатлениями, ибо я был твердо убежден, что через пару минут ко мне подойдут люди в форме или в штатском и препроводят туда, где мне было положено находиться до вылета в Лусаку – в транзитный зал международной части аэропорта. Шла, однако, минута за минутой, а ко мне никто не подходил.

Вэлли, казалось, не разделял моего нервного стремления быстро обсудить все что можно. В голове у него явно было что-то другое. Минут через десять он предложил мне пойти чего-нибудь перекусить и выпить в один из кафетериев аэропорта. Поколебавшись (ибо я, будучи законопослушным гражданином, был все-таки намерен добровольно отправиться в транзитный зал, а визит в кафетерий был бы уже “шагом в сторону”), я все-таки согласился. Поход в кафетерий для меня был, как для исследователя какой-то неоткрытой земли, экспедицией в неведомое. В кафетерии взяли чаю и каких-то пирожных. Я продолжал возбужденно говорить, но Вэлли по-прежнему сохранял полное хладнокровие.

Еще минут через десять, когда с чаем и пирожными было покончено, он неожиданно сказал:

– Ну что, поехали?

– Куда? – ошарашенно спросил я.

– В Союзто, товарищи ждут тебя.

Тут мной овладело полное смятение. Вэлли, по сути дела, предлагал мне нарушить границу ЮАР и вторгнуться на ее территорию без согласия ее властей. То есть совершить противоправный шаг... Между тем Вэлли с большим интересом поглядывал на меня. Он прекрасно понимал, что означает его предложение. Но для него риск был делом привычным.

Советоваться было не с кем. Да и ясно было, какой совет я получил бы от любого разумного советского чиновника – опрометью бежать в транзитный зал и не думать ни о каких авантюрах, связанных с незаконной поездкой в Союзто. На лице Вэлли, однако, по-прежнему читался живой интерес: испугаюсь я или нет. На карте стоял, и я это прекрасно понимал, престиж Советского Союза. Если я испугаюсь, то уважение к нам со стороны наших товарищей, постоянно рисковавших свободой, а то и жизнью, было бы сильно поколеблено. Надо было рисковать. Мы сели в двухместный белый полугрузовичок, закинув вещи в кузов. Поехали.

Это было удивительное путешествие. Наверное, что-то подобное испытывали исследователи, которые долго изучали по картам какую-то неведомую землю, а потом получали возможность высадиться на ее берегах и двинуться вовнутрь. Безумно интересно было все вокруг. И цвет неба, и поток машин

вокруг, и дома вдоль дороги, и многоэтажный силуэт Йоханнесбурга на горизонте. Небрежно кивнув на одну из машин, обогнавших нас, Вэлли сказал:

– На таких обычно ездит полиция безопасности.

“Так, – подумал я. – Сейчас нас тормознут, попросят предъявить документы и...”. Дальше думать на эту тему не хотелось, тем более что означенная машина укатила вперед и пока никто останавливать нас не собирался.

Одно-двухэтажные пригороды постепенно сменялись многоэтажными зданиями, и вскоре мы вкатились в самый центр. Это была Комиссионерская улица.

– Ты знаешь, наши только что провели классную атаку на одну из армейских баз вблизи границы с Ботсваной. Обстреляли ее из минометов. Такое случилось впервые. У военных есть потери. Надо бы узнать поподробнее. Давай-ка купим газету.

Мы припарковались возле “Карлтон-Центра” – огромного здания из стекла и бетона. Стоя на тротуаре возле здания Центра, я вновь испытал чувство путешественника на неведомой земле. Прохожие, здания, сама обстановка были абсолютно новой. Непривычной. Вокруг были одни белые – на тротуаре, в машинах, в окнах магазинов. Африканцы попадались, но они явно чувствовали себя чужими на этом празднике жизни.

Купили газету. Вэлли с видимым удовольствием прочитал сообщение об атаке на армейскую базу, и мы поехали дальше. Осмелев, я достал фотоаппарат и начал с увлечением фотографировать все вокруг. Вэлли снисходительно посматривал на меня. Вдруг он схватил меня за руку и тревожно крикнул:

– Немедленно убери камеру!

Я повиновался, но воззрился на него с удивлением.

– Да это же главное здание полиции! – ответил он на мой взгляд.

Поехали дальше. Скоро миновали “белый” центр города, вокруг опять пошли улицы одно-двухэтажных домов.

– Это индийский квартал. Здесь живет моя сестра.

Мы подъехали к одному из домов. Вэлли предложил мне выйти и зайти к его сестре.

– А что будет с моими сумками?

– Заберем их с собой.

– А ты знаешь, что произойдет дальше? Если за нами присматривают, а нужно исходить из этого, то если мы внесем в дом твоей сестры какие-то сумки, можешь не сомневаться, что этой же ночью полиция совершит налет на этот дом.

Вэлли, поразмыслив, согласился, что все случится именно так. Он пошел в дом, а я остался в машине. Через некоторое время мы двинулись дальше. Было уже около шести часов вечера, и солнце начало заходить. Километров через пять на горизонте появился огромный массив одноэтажных домов. Это был Соуэто – “черный” пригород Йоханнесбурга. Через некоторое время Вэлли показал на группу зданий возле дороги, возле которых стояли вооруженные помповыми ружьями африканцы в голубой форме.

– Это полицейский участок Морока, который несколько месяцев назад обстреляли из гранатометов, – прокомментировал он.

Но я обратил внимание, прежде всего, на небольшие, низкие облака дыма, которые проплывали в воздухе буквально на уровне лица. Облака были явно рукотворные. Тут особых разъяснений не требовалось. Народ в Соуэто готовил пищу в печках на древесном угле, поэтому к ужину весь этот гигантский “поселок” с населением около миллиона человека затягивался дымом.

Вскоре мы подъехали к одному из скромных домов. Мы должны были встретиться с Альбертиной Сисулу. Я знал, что Альбертина не только жена Уолтера Сисулу, который вместе с Манделой находился в пожизненном заключении, но и один из лидеров Объединенного демократического фронта Южной Африки. Зашли в дом. Там на меня посмотрели с интересом, но без большого удивления. Видно, привыкли к самым разнообразным посетителям. Проблема, однако, заключалась в том, что самой Альбертины дома не было. А ведь было уже пятнадцать минут седьмого. Вэлли выглядел слегка смущенным. В шесть часов вечера все “запрещенные персоны”, к числу которых относилась Альбертина, под страхом наказания должны были находиться дома. Именно на это Вэлли и рассчитывал, везя меня в Соуэто. Но, видно, Альбер-

тина особого страха не испытывала, поэтому дома ее не было, и никто не мог сказать, когда она появится.

— Ладно. Поедем к другому товарищу, — сказал Вэлли. Он тоже “запрещенное лицо” и уж он-то точно должен быть на месте.

Когда минут через десять мы подъехали к другому дому, уже начало смеркаться. После того как мы вышли из машины, к соседнему дому немедленно подкатила другая машина, из которой вылезло несколько крепких африканцев. Была ли это полиция безопасности или нет, трудно сказать. Но именно такое впечатление у меня создалось. Впрочем, никаких действий они не предпринимали.

Зашли в дом. Хозяина, разумеется, не было на месте. “Ну и нравы у них тут, — подумал я, — все они под полицейским надзором, но, видимо, чихать они хотели на этот надзор”. В доме был только брат того товарища, к которому мы приехали. Мы расположились и стали ожидать хозяина дома. Минут через пятнадцать раздался громкий стук в дверь. “Ну, вот, — с элементом фатализма подумал я, — сейчас в дом войдет полиция, чтобы проверить соблюдение домашнего ареста, и вместо черного южноафриканца обнаружит белого русского из Москвы”. О том, чтоб будет происходить дальше, не хотелось даже думать...

К счастью, это оказался сосед, которому понадобились спички или что-то в этом роде. Минут через тридцать появился, наконец, и сам Эрик Молоби — жизнерадостный руководитель ОДФ. Мы сели за небогатый, но вкусный ужин и отдали должное бутылке виски, которую Эрик вытащил по этому поводу. Вопросам его не было конца. Еще бы! Внутри Южной Африки можно было получить только самую скудную и, как правило, весьма искаженную информацию о сути событий, которые происходили в СССР. Поэтому для Эрика было крайне важно узнать обо всем, что называется, из первых рук.

Расстались мы за полночь в самом добром расположении духа. Вэлли повез меня обратно в аэропорт. По этому маршруту ездить ему до этого не приходилось. Поэтому мы вскоре заблудились в лабиринтах улиц Йоханнесбурга. Долго колесили в поисках случайного прохожего, который смог бы указать нам правильный путь.

Ближе к двум часам ночи мы все-таки добрались до гостиницы “Холидей инн” в двух шагах от аэропорта. Вэлли пожелал мне спокойной ночи и удалился. В тот момент я еще находился под влиянием соответствующих паров и поэтому расстался с ним в самом жизнерадостном духе. Однако спокойной ночи никак не получилось.

Итак, несмотря на волнения предыдущего дня и ночные волнения, часа на три я все-таки заснул, а проснувшись около восьми утра, начал думать, как выбраться из этого положения. То есть переходить границу ЮАР обратно... На свежую голову все очертания моей авантюры и ее возможные последствия вырисовывались довольно отчетливо. “Из партии, скорее всего, не исключат, но выговор с занесением, скорее всего, закатят. Да и выездов за границу лишат года на три”. Вот такие безрадостные мысли носились в голове.

Но прежде чем предстать перед суровым судом партии, нужно было для начала выбраться из ЮАР. Прежде всего, надо было дать отбой намерениям Вэлли продолжать знакомить меня с руководством подполья. Было ясно, что терпение полиции безопасности небеспретельно, и если меня не повязали сразу, то нет никаких гарантий того, что они не сделают это во время моих последующих “выходок”. Поэтому позвонил Вэлли и дал понять ему, что намеченные на утро встречи нужно отменить. Вэлли, очевидно, и сам понимал, что мы заигрались, поэтому согласился на отмену встреч довольно спокойно.

Следующей задачей было проникнуть в транзитную зону аэропорта, где, если бы я был законопослушным гражданином, мне и надлежало ночевать. Поэтому, собрав манатки, я сел на микроавтобус, который курсировал между гостиницей и зданием аэропорта. Там я сразу же попросил найти старшего смены иммиграционной службы. Ему я, как на духу, рассказал, что попал из самолета, прибывшего из Виндхука, в терминал местных рейсов, и что не догадался сразу же отправиться в транзитную зону, а отправился на ночлег в ближайшую к аэропорту гостиницу. При этом я размахивал квитанцией об оплате гостиницы.

Пограничник сказал что-то насчет важности на глазах укрепляющейся дружбы между ЮАР и СССР (имея в виду, видимо, контакты МИДов двух стран

по намибийскому урегулированию) и дал команду пропустить меня через кордон. Тут у меня на сердце окончательно отлегло. Но, вместо того чтобы сидеть и не высовываться, я тут же вознамерился совершить еще одну авантюру, хотя и меньшего размера. С учетом того, что до вылета самолета на Лусаку оставалось еще часа четыре, то я подумал, что было бы интересно смотаться в центр Йоханнесбурга. Ясно, что от аэропорта в центр города должны ходить регулярные автобусы...

Но тот же сотрудник иммиграционной службы, к которому я подошел, дал понять, что уже сделал для меня гораздо больше того, на что имел право. Поэтому мне оставалось только утихомириться и ждать самолета. Как позже выяснилось, пограничнику вольное обращение с госграницей все-таки аукнулось. Через несколько месяцев я опять был в транзитной зоне аэропорта Йоханнесбурга, вновь возвращаясь из Виндхука (пассажиры попадали уже в международную часть аэропорта). Увидев того сотрудника иммиграционной службы, вознамерился подойти к нему, чтобы поблагодарить за “неформальный” подход прошлый раз. Однако он почти незаметно покачал головой, дав понять, что новый контакт со мной для него крайне нежелателен. Ясно было, что он получил “по первое число” за то, что пропустил меня тогда.

Но это было позже, а в середине того памятного дня я с немалым облегчением и чувством, что сделал что-то весьма необычное, сидел в самолете, летевшем в Лусаку – столицу соседней Замбии. О том, что я выкинул что-то необычное, я окончательно убедился уже в аэропорту Лусаки. Там был кто-то из руководства АНК, и по особому блеску в глазах и вопросу: “Ну, как там поживают товарищи?” я понял, что известия о моих похождениях уже докатились до штаб-квартиры АНК.

На другой день по договоренности с руководством СВАПО их делегация приехала в посольство СССР в Замбии, где я подробно сообщил им о своих впечатлениях о положении в Намибии. После этого я занялся привычным делом написания шифротелеграммы “наверх” об увиденном и услышанном на юге Африки, умолчав, разумеется, о несанкционированном вторжении в ЮАР. Поскольку информации накопилось много, то и телеграмму писал долго. С трудом успел на самолет на Москву. Как выяснилось, в аэропорт специально, чтобы пообщаться со мной, приезжали командующий “Умконто ве сизве” – военного крыла АНК Джо Модисе и комиссар МК Крис Хани. Не дождавшись меня, они уехали. Это было очень обидно.

В Москве я не только подробно рассказал В. Г. Шубину о том, что видел-слышал в Намибии, но и осторожно сообщил о своей вынужденной аванюре. Шубин отнесся к моим приключениям, вопреки опасениям, даже с некоторым энтузиазмом. Однако через пару недель он высказался на эту же тему с некоторым холодком. Стало ясно, что некие волны с юга Африки по неким ведомственным каналам все-таки дошли. И не все разделяли принцип “все хорошо, что хорошо кончается”. Тем не менее, никаких оргвыводов не последовало. Победителей, в конечном счете, все-таки не судят.

Победы и поражения

11 февраля 1990 года, после 27 лет пребывания в тюрьме, Нельсон Мандела вышел на свободу. Это было событие, которого мировое сообщество давно добивалось. Поэтому мир буквально всколыхнулся. В адрес Манделы посыпались тысячи телеграмм приветствия. Мы, в Комитете, ожидали, что Горбачев будет в числе первых, поздравивших Манделу с освобождением. Тем более что Советский Союз внес весомый вклад в борьбу за его свободу. Технически это не представляло ни малейшей сложности, госаппарат и партийный аппарат еще действовали четко.

Однако прошел день, другой, а телеграммы Горбачева все не было. Дело начинало обретать скандальный оборот. Президент США Д. Буш чуть ли не первым позвонил в ЮАР и лично поздравил Манделу с освобождением. Из-за отсутствия поздравлений от советского лидера следовали крайне неприятные выводы насчет того, что СССР окончательно отказался от поддержки АНК.

Позвонил В. Г. Шубину в Международный отдел ЦК. Ничего утешительного он сообщить не мог, за исключением того, что текст телеграммы, что называется, “лежит на столе” у Горбачева и подписание ожидается “вот-вот”.

Это “вот-вот” могло затянуться, и тогда скандал был бы неминуем. Надо было что-то делать.

Сделал я на свой страх и риск вот что. Позвонил в представительство АНК в Москве и попросил у товарищей номер телефона Комитета по встрече Нельсона Манделы, который был создан широким кругом организаций в Южной Африке, чтобы торжественно отметить ожидавшийся выход Манделы на свободу. К этому времени представительство АНК возглавлял выпускник УДН Темба Табете – спокойный и надежный товарищ с большим опытом работы в землячестве южноафриканских студентов в СССР. Впоследствии он был послом ЮАР в Замбии и на Мадагаскаре. Темба дал мне несколько телефонов в Йоханнесбурге. Начал названивать. Через несколько звонков мне подтвердили, что я попал именно в Комитет по встрече Нельсона Манделы. Тогда я сказал, что звоню из Москвы, и что приветственная телеграмма Горбачева будет отправлена с минуты на минуту.

Не знаю, какие механизмы сработали в Южной Африке; возможно, наши товарищи тоже испытывали недоумение по поводу отсутствия поздравления из СССР и поэтому с удовольствием приняли мое сообщение на веру, но факт тот, что вскоре Комитет по встрече Манделы объявил, что получено приветствие и от Горбачева. Честь СССР была спасена. На самом деле телеграмма с горбачевским поздравлением пошла из Москвы лишь на следующий день.

Все хотели чествовать Манделу, который пользовался колоссальным уважением в мире. Но в горбачевской телеграмме, опубликованной в прессе, приглашения посетить Советский Союз не было. Как потом выяснилось, поручение передать это приглашение Манделе было передано через посла СССР в Замбии, где формально еще находилась штаб-квартира АНК. Подтвердил это приглашение и Шеварднадзе во время встречи с Манделой в Виндхуке в марте 1990 года. Но сам закрытый характер передачи этого послания означал, что Горбачев не особенно жаждал видеть Манделу в Москве. Последующие события это вполне подтвердили.

Горбачев, к тому времени уже явно сменивший приоритеты, желал уклониться от встречи с Манделой, левым политиком по убеждениям. Но сделать это было непросто, ибо Мандела во всеуслышание заявил, что первой страной за пределами Африки, которую он намерен посетить, чтобы поблагодарить за поддержку освободительной борьбы, должен быть Советский Союз.

Лидеру южноафриканского сопротивления пришлось сначала поехать в Америку. Где он, кстати, чуть не пересекся с нашим Генсеком. Но если на Горбачева “американское начальство” смотрело как на жалкого просителя, то Мандела получил в США поистине триумфальный прием. Сотни тысяч жителей Нью-Йорка (по данным американской прессы, до миллиона) вышли на улицы города, чтобы оказать достойный прием этому великому человеку. Горбачева с его “общечеловеческими ценностями” триумф Манделы в США ни на какие размышления не сподвиг. Нехотя предложили Манделе приехать в сентябре, но когда оказалось, что это время у него уже занято, новых сроков предлагать не стали.

Была, однако, еще одна возможность разорвать занавес неясности. В начале ноября в Москву должен был приехать Уолтер Сисулу и его жена Альбертина. Пожалуй, У. Сисулу был третьим по влиятельности членом руководства АНК после Н. Манделы и О. Тамбо. Поэтому для нас его визит был большим событием. Он ехал в СССР по приглашению нашего Комитета на отдых и лечение. Я отвечал за его прием.

Случилось так, что пребывание У. и А. Сисулу в Москве приходилось на 7 ноября. Поэтому вместе с ними я попал на военный парад на Красной площади (как оказалось впоследствии – последний ноябрьский парад...). Вечером они были приглашены на прием в Кремль, где Уолтера Сисулу подвели к Горбачеву. Тот сказал пару малозначащих округлых фраз, а на прямой вопрос Сисулу о сроках визита Манделы ответил очень уклончиво.

Подоплеку позиции Горбачева вскрыл его помощник А. Черняев в вышедшей в 1993 году книге “Шесть лет с Горбачевым”. Вот что он писал о Манделе: “К слову сказать, у Горбачева был какой-то нюх на неперспективных и “ненужных нам” деятелей. У него даже такое выражение есть: “А зачем он нам?”. Он “замотал” свою встречу с Манделой, хотя и ученые, и мидовцы (правда, при некотором сопротивлении с моей стороны) не раз ему простран-

но доказывали, что это нужно сделать: весь мир тот объехал, везде – на высшем уровне, а в Москву так и не может попасть! Горбачев не верил, что, подпитывая АНК и снабжая его оружием, мы содействуем правильному процессу в ЮАР. Не пресекал это “по инерции”, руки не доходили. И понимал, что одно дело, когда Манделу принимают даже в Вашингтоне, а другое дело – в “красной” Москве, подозреваемой в экспансии коммунизма”.

Вот такие “великие стратегические соображения” лежали в основе уклонения Горбачева от встречи с Манделой. Генсек и его окружение начали изображать из себя бóльших приверженцев “общечеловеческих ценностей”, чем их западные партнеры, которые заботились, прежде всего, о своих национальных и классовых интересах. Они были готовы дружить хоть с дьяволом (коим для них являлся Мандела), лишь бы защитить свои интересы на юге Африки.

А вот Горбачев изображал из себя “католика” большего, нежели папа римский, утверждая, что не следует принимать великого южноафриканца в “красной” Москве, ибо это, мол, усилит подозрения в экспансии коммунизма. Как будто отказ от приема Манделы мог эти подозрения рассеять. На самом деле набору горбачевских “ценностей” никак не соответствовал вождь черного населения ЮАР, отсидевший в тюрьме 27 лет. А нашу поддержку вооруженной борьбы АНК, которая продолжалась уже почти три десятилетия и которая была одним из ключевых факторов неминуемой ликвидации системы апартеида, этот “гуманист” не пресекал, оказывается, лишь потому, что “руки не доходили”. Горбачев к этому времени уже внутренне полностью переродился, и история с отказом от приема Манделы это подтверждала.

В СКССАА о реальных настроениях кремлевской верхушки, разумеется, не знали, наивно полагая, что они ведут себя так от недостатка информации. Кое о чем мы, правда, уже начали догадываться. Но в любом случае опускать руки не следовало. Надо было бороться. Решили воспользоваться поддержкой Олжаса Сулейменова, в то время депутата Верховного Совета СССР. После поездки в Намибию он проникся африканской тематикой и вообще был человеком широко мыслящим. В то время он вращался в верхних слоях советской политики, и его мнение часто имело вес. Поэтому в ноябре 1990 г., когда затяжка с визитом Манделы в СССР начала приобретать уж совсем неприличный характер, мы обратились к нему с предложением направить письмо Горбачеву. Подготовленный нами проект, в котором в концентрированном виде содержалась суть проблемы, он подписал сразу же.

“Уважаемый Михаил Сергеевич!

В марте с. г. тов. Шеварднадзе Э. А. передал лидеру АНК Нельсону Манделе приглашение советского руководства посетить СССР. Южноафриканская сторона предлагала сделать это в июне, причем СССР должен был быть, по их мнению, первой страной, которую Н. Мандела посетил бы официально. Этим АНК хотел подчеркнуть особую роль СССР в поддержке освободительной борьбы, которая привела к нынешнему политическому процессу ликвидации апартеида.

К сожалению, предложенные АНК сроки совпадали с Вашим визитом в США. Похожая ситуация сложилась в октябре с. г., когда, ввиду Вашей особой загруженности делами, предложенные АНК даты оказались неприемлемыми.

Представляется, однако, необходимым вновь вернуться к теме визита Н. Манделы в СССР. К настоящему времени авторитет Манделы как реального, а не эмоционально-лозунгового лидера, выявился вполне. В принципе он де-факто превращается в лидера всего Африканского континента. Это подтверждается особым личным вниманием, которое оказывают ему лидеры Запада, включая Д. Буша, Г. Коля, Ф. Миттерана и других.

Но дело даже не в личности Манделы. Южная Африка представляет особый интерес для нас как необычайно важный потенциальный объект взаимовыгодного сотрудничества. Ввиду монополии СССР и ЮАР на добычу золота, алмазов и ряда редких минералов, мы можем получить огромную экономическую отдачу от взаимодействия с этой страной после ликвидации апартеида.

Дальнейшая отсрочка визита Н. Манделы в СССР (приглашение исходило от нас) может привести к охлаждению отношений с АНК, который общепризнанно будет играть ключевую роль в будущем государственном устройстве Южной Африки.

С учетом крайне напряженного графика Вашей деятельности можно было бы пойти на приглашение Н. Манделы от имени советского руководства на отдых и лечение в СССР в январе-феврале 1991 года сроком на 20–25 дней. В течение этого времени можно было бы найти возможность проведения Вашей беседы с ним. Его пребывание можно использовать также для проведения церемонии вручения Н. Манделе Международной Ленинской премии мира.

Вопросы ликвидации апартеида по-прежнему находятся в центре внимания мирового сообщества. Н. Мандела по-прежнему пользуется большим авторитетом в мире, и думается, что Ваша встреча с ним способствовала бы реализации внешнеполитических целей СССР”.

Ответа или какой-либо реакции на это обращение О. Сулейменова от Горбачева не последовало...

Подоспел август 1991 года. КПСС была запрещена. Хотя СКССАА был общественной организацией, но его тесная связь с Международным отделом ЦК КПСС была слишком хорошо известна. Тем не менее прямых гонений на нас не было. Из стана победивших “демократов” до нас поначалу доносились какие-то слухи о готовящемся запрете всех общественных организаций внешнеполитического профиля, связанных с ЦК КПСС. Но уже к середине сентября Ельцин и его команда стала впадать в ступор от того количества проблем, которые свалились на их голову вместе с властью. Новой верхушке России было не до нас. Мы продолжали действовать.

Хотя для того, чтобы избежать обвинений в “старорежимности”, мудрые головы у нас приняли решение переименовать Комитет в Движение солидарности народов Азии и Африки. Суть же того, чем мы занимались, практически не изменилась. Разве что объем работы заметно уменьшился.

Дело в том, что пришедшие к власти в Москве прозападные силы мгновенно стали третировать наших союзников в АНК как изгоев, а застарелых противников – вроде вождей режима апартеида – принимать с распростертыми объятиями. У российской “демократической” власти в России появились друзья из белой элиты ЮАР. Режим апартеида по-прежнему находился в мировой экономической, политической и культурной изоляции. Но “демократов” в Москве это нисколько не смущало. А поскольку Советский Союз продолжал существовать вплоть до позорного Беловежского сговора в декабре 1991 года, то вся предательская линия новой правящей группировки по-прежнему воспринималась как политика СССР.

7 ноября 1991 года в Москву прикатил министр иностранных дел ЮАР Рулоф (Пик) Бота. В ЮАР еще не понимали всех размеров предательства со стороны новых лидеров нашей страны по отношению к АНК. Поэтому цель Р. Боты была довольно скромной: попытаться договориться об установлении консульских отношений. Однако мидовцы после недолгой беседы с Р. Бота предложили подписать соглашение об установлении консульских отношений, “не отходя от кассы”. Бота немедленно согласился. Соответствующая бумага тут же была подготовлена и даже подписана.

Поезд, отправлявшийся от станции “АНК” к станции “расистское правительство ЮАР”, уже набирал скорость. В феврале 1992 года стало известно, что глава МИД РФ А. Козырев готовится ехать в ЮАР для установления дипломатических отношений. Но перед этим, по закону, следовало заручиться согласием Верховного Совета. Там было много единомышленников Козырева. Но не все российские депутаты были марионетками в руках истеричного “демократического” большинства. Я попросил депутата М. Астафьева – лидера “кадетской” партии, придерживавшегося разумной позиции, – пригласить меня на заседание Комитета Верховного Совета по международным делам, посвященное отношениям с ЮАР. Это был мой первый визит в “Белый дом”.

Вел заседание Комитета депутат Кожокин. Мы не были с ним знакомы, но он знал, что я из себя представляю. Во всяком случае, он отвел Астафьева в сторону и спросил: “Зачем ты привел этого экстремиста?”. И впрямь я оказался не ко двору. Присутствующие “эксперты” из Института Африки и других научных учреждений и “практических ведомств”, хотя и с оговорками, но все дружно высказались за установление дипломатических отношений с ЮАР. Причем это были те самые люди, которые еще недавно обличали “преступный режим апартеида” и добивались возможности встретиться с руководителями

АНК, когда те бывали в Москве. Я был единственным, кто публично выступил против диктаторских действий правительства белого меньшинства.

Между тем, поводов для недовольства у АНК становилось все больше. В конце мая 1992 года в Россию был приглашен президент ЮАР де Клерк. Договоренность об этом явно была достигнута еще во время поездки А. Козырева в Преторию. Белое правительство, чувствуя, что симпатии даже его недавних союзников в западном мире перетекают к АНК, который по всем показателям уверенно шел к власти, пыталось разыгрывать “русскую карту”. Несложный смысл этой игры заключался в том, чтобы показать Западу, что если он бросает белых на произвол судьбы, то они могут найти себе новых партнеров в лице России.

Нельсона Манделу в Москву тоже поспешно пригласили, но не в качестве президента АНК (к АНК стараниями российской демпрессы приклеили ярлык “террористической организации”, от которого уже отказался Запад), а в качестве некоего абстрактного “борца за права человека”. Эта хитрость была шита белыми нитками (использовать Манделу в качестве ширмы для визита де Клерка), в АНК ее легко разгадали, и Мандела, разумеется, в Москву не поехал. Через два года он стал президентом ЮАР. Но когда ельцинская дипломатия принялась обхаживать его, уговаривая приехать в Россию, уже наши южноафриканские друзья с удовольствием водили московских чиновников за нос, обещая визит Манделы, а потом откладывая его.

В целом же отношения между Россией и Южной Африкой в результате маневров в Москве, больше похожих на предательство, были основательно заморожены. Между тем никакого золотого дождя на нашу страну от того, что она начала активные контакты с правительством белого меньшинства ЮАР, не пролилось. Разрушение СССР было крайне болезненно воспринято в АНК. И репутации наших бойких соотечественников, которые хлынули в ЮАР после 1992 года, это никак не способствовало. А когда АНК пришел к власти, наши дипломаты, находящиеся там, в полной мере почувствовали последствия бездарной, мягко говоря, политики российской верхушки.

Визит Нельсона Манделы в Москву все-таки состоялся. Но произошло это буквально за несколько недель до того, как он покинул пост президента ЮАР, в апреле 1999 года.

Однажды вечером мне позвонил домой бывший представитель АНК в Москве, а к тому времени посол ЮАР в России Саймон Макана и предложил на другой день прибыть в правительственный аэропорт “Внуково-2”. По его словам, я был включен в список официальных лиц, встречающих Манделу.

Солнечным апрельским утром приехал во “Внуково-2”. Охрана, проверив мои документы, пропустила машину на стоянку возле здания правительственного аэропорта. Он выглядел строго, но достаточно скромно. Неподалеку солдаты почетного караула отрабатывали строевые приемы с карабинами. В зале уже были члены южноафриканской делегации, включая министра иностранных дел ЮАР Альфреда Нзо, которые прилетели на день раньше. Кстати, рейсовыми самолетами. Я подошел к Нзо посоветоваться. На мне был обычный галстук. Но в кармане у меня лежал галстук с символикой АНК. Мне надо было выяснить, уместно ли его надеть. Нзо заулыбался и заверил меня, что это было бы приемлемо. Отойдя в сторонку, я перевязал галстук.

Вскоре нас пригласили на площадку перед зданием аэровокзала. По взлетно-посадочной полосе уже двигался, снижая скорость, небольшой, на 10–12 пассажиров, реактивный самолет. Он был во много раз меньше, чем огромный “Боинг-747”, на котором 7 лет назад в Москву прилетал последний белый президент Южной Африки де Клерк. Мандела не терпел роскоши и предпочитал тратить бюджетные деньги на улучшение жизни своих сограждан, а не на пышный антураж поездок.

Встречающие лица начали выстраиваться. Африканские послы привычно стали в ряд. Мне надо было сообразить, куда становиться. Располагаться позади послов было бы неверно. Большинство присутствовавших (за исключением южноафриканцев) не имели ни малейшего отношения к поддержке АНК. А я это отношение имел. И немалое. Поэтому встал в ряд российских встречающих, располагавшихся перед послами.

Мандела в сопровождении одного из заместителей председателя правительства РФ, прихрамывая (у него со времен тюрьмы были проблемы с коленями), прошел мимо строя почетного караула. Затем подошел к российским

встречающим. Их было всего-то несколько человек, во главе с заместителем министра иностранных дел (московскую “элиту” прибытие столь легендарной личности не взволновало). Следовали сухие официальные приветствия и короткие рукопожатия. Когда Мандела добрался до меня, я сказал: “Добро пожаловать, товарищ президент. Мы долго ждали этого визита”. Мандела посмотрел на мой галстук и значок АНК на пиджаке, улыбнулся и пошел дальше, к африканским послам.

Когда кортеж машин неся по Ленинскому проспекту, движение было перекрыто. Вдруг откуда-то с боковой улицы вынырнула машина с номерами посольства США и, резко вклинившись с кортеж, помчалась за лимузином Манделы в сторону Кремля. Меня разбирали одновременно злость и смех: американские “друзья” не хотели оставлять нас с южноафриканцами наедине ни на секунду.

Помимо официальных встреч, у Манделы были запланированы два мероприятия, выходящих за пределы официальной программы. Первое было известно заранее – посещение Мавзолея В. И. Ленина. К тому времени антикоммунистическая и антиленинская шумиха уже поутихла. Но все равно посещение Мавзолея было политическим жестом, который ельцинской камарилье понравиться никак не мог. Но формальных причин отказать Манделе в посещении Мавзолея не было. Ограничились тем, что **ни в одном сообщении о визите президента ЮАР в Москву об этом упомянуто не было.**

Другим мероприятием была встреча с председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым. А случилось это так. Когда стало известно о визите Манделы, подумалось, что негоже было бы, чтобы этот визит прошел без встречи Манделы с руководством партии – преемницы КПСС, столь много сделавшей для поддержки освободительной борьбы в Южной Африке. Зюганов в этот момент находился в Страсбурге, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. С ним связались по телефону, и он с большим удовольствием вернулся на день раньше, чтобы повидаться с Манделой.

В недрах южноафриканской делегации, хорошо знавшей о роли коммунистов в поддержке АНК, тоже быстро нашли в насыщенной программе пребывания время для встречи Зюганова с Манделой. И вот теплым апрельским утром мы с Зюгановым вошли в здание сбоку от Кремлевского дворца съездов, где находилась резиденция Манделы. В небольшой комнате наверху президент ЮАР пошел навстречу, протянул руку и сказал: “Без этой встречи мой визит в Россию был бы неполным”.

Южная Африка – далекая и родная

Еще раз я побывал в ЮАР уже в конце мая – начале июня 2006 года. На этот раз с женой Татьяной и с сыновьями – Димой и Андреем. Я получил гононар от издания книги по Южной Африке в моем переводе и решил использовать его на то, чтобы показать семье страну, на которую я тратил так много времени, отрывая его от жены и детей. Отправились туда в самых последних числах мая.

Летели туда через Дубай. Самолет из Москвы прилетал в полночь, а другой – на Йоханнесбург – уходил только в четыре часа утра. Так что пришлось коротать время, разглядывая многочисленные магазинчики в транзитном зале. Зато утром мы с удовольствием смотрели через иллюминаторы вниз, на Индийский океан, а затем, когда самолет пошел внутрь континента, на проплывающие под крылом зеленые холмы и долины сначала Танзании, а затем Замбии и Зимбабве.

В Южной Африке июнь – начало зимы. Кому-то может показаться, что зима и Африка – понятия несовместимые. Так вот, в ЮАР в это время по ночам бывают минусовые температуры (дальше к югу – Антарктида). Раз в несколько лет выпадает и снег (правда, лежит он день-два). К счастью, на этот раз начало южноафриканской зимы оказалось теплее иного российского лета. Хотя в тот момент, когда самолет из Йоханнесбурга заходил на посадку в Кейптауне, над городом висели тяжелые облака, а пилот сообщил, что температура воздуха – вполне бодрящие 15 градусов.

На следующее утро обнаружилось, что в Кейптауне была отменная погода. Столовая гора, не закрытая зимними туманами, возвышалась над городом во всем своем великолепии.

Мы решили начать наш вояж с подъема на нее. Огромная круглая, стеклянная со всех сторон гондола подъемника, вмещающая человек 60, во время подъема медленно вращалась по кругу. Так что можно было и разглядывать со все большей высоты роскошную панораму большого Кейптауна, включая его обширные пригороды, и рассматривать скалы, проползающие буквально в нескольких метрах от твоего носа.

Столовая гора не зря является одной из мировых достопримечательностей. Нам с большой гордостью рассказали, что растительный мир этой горы, как, впрочем, и всей провинции Западный Кейп, уникален. Мало где в мире есть такая концентрация тысяч видов растений. Впрочем, не будучи биологами, мы этого разнообразия не заметили, хотя позже, в ходе визита в Ботанический сад Татьяна и сыновья имели полную возможность убедиться в красотах местной природы.

Но и без растительного царства виды открывались изумительные. Город возник с одной, океанской стороны горы. Но постепенно пригороды охватили ее со всех сторон. Видно на десятки километров во все стороны. Мы с огромным удовольствием побродили по проложенным во всех направлениях дорожкам этой действительно плоской Столовой горы. Ощущение невероятно приятное и интересное: ведь не просто ощущаешь себя на вершине горы, но и, одновременно, наблюдаешь с разных сторон величественный Атлантический океан и один из прекраснейших городов мира.

Оттуда отправились к Ронни Касрилсу, моему давнему знакомому, занимавшему теперь пост министра разведки ЮАР. Он пригласил нас побывать в своем кабинете на самом последнем, 18-м этаже здания кабинета министров в центре Кейптауна. Для меня это не меньшая экзотика, нежели Столовая гора. Только экзотика политическая. Как выясняется, в прошлые, аппаратные времена это был кабинет президента ЮАР Пика Боты, а затем его сменил — последнего президента “белой” Южной Африки де Клерк. Здесь проводились заседания правительства ЮАР. Из широких, во всю стену окон кабинета открывался превосходный панорамный вид на город.

На другой день, к нашему удовольствию и удивлению наших хозяев, погода опять была солнечная. Отправились на Мыс Доброй Надежды. Дорога пролегла мимо живописных районов, где живут преуспевающие белые. Далее — обширные пляжи Мюзенберга, где, несмотря на прохладную погоду, на досках каталась масса молодежи в гидрокостюмах.

Въехали на территорию Национального парка. Обширная парковочная площадка, на которой на глазах увеличивалось число экскурсионных автобусов. К счастью, основной наплыв туристов — немцев, случился как раз после нас. Поднялись на небольшом вагончике-фуникулере на самый верх. Туда, где расположен старый маяк. Оттуда, с высоты метров в 100 над уровнем моря, открывается превосходный вид на океан. Там стоит столб, на котором указано, сколько километров до какого города мира отсюда. Погода была великолепная, как по заказу. Яркое солнце, безоблачное небо и, что особенно важно, не было ветра. А ведь ветра в этих местах бывают такие, что трудно устоять на ногах.

Спустились вниз и отправились к месту неподалеку, которое посещают туристы со всего мира. Ничего необычного там внешне нет. За исключением широкой доски с надписью координат. Здесь все фотографируются, фиксируя сам факт пребывания на крайней точке Африки. На самом деле самая южная точка континента находится километрах в двухстах отсюда на мысе Игольном. Но туристы этого не знают и с полной уверенностью говорят дома, что побывали на самом юге Африки.

Но еще интереснее то, что мы попадали в это место в момент отлива. Это был уникальный шанс (для нас, людей сугубо сухопутных) побывать на дне моря. Мы с сыновьями воспользовались им в полной мере, пробираясь по здоровенным валунам, которые неспособны сдвинуть с места даже мощные волны прибоя, метров на 150 от кромки океана. Она хорошо очерчена выброшенными на берег огромными черными водорослями. Удивительно чувство — ощущать, что ты находишься, по сути дела, на дне океана.

Оттуда — в заповедник для пингвинов. Это еще одна местная достопримечательность. Они очень уморительные, эти птицы в черных фраках с белой грудью. Правда, это не королевские пингины, которые водятся в Антарктиде. Но все равно они очень симпатичные, особенно когда дружной толпой бе-

гут к воде и смело бросаются в волны. К этому времени вновь подъехали немецкие туристы, гнавшиеся за нами от Мыса Доброй Надежды. Их было гораздо больше, чем пингинов, и нам надо было спастись бегством.

Правда, в то время как толпы любопытствующих немцев, японцев и китайцев (они очень активно осваивают Африку) штурмовали Столовую гору, Мыс Доброй Надежды и знаменитые капские виноградники, для меня по-прежнему основной интерес представлял крошечный участок земли в центре города площадью меньше двух гектаров, где расположены скромный президентский дворец, здания парламента и правительства.

Уже подступы к этим зданиям выявляют некоторые особенности южноафриканской политической системы. Вновь поразило то, что на входе в президентский дворец всего лишь один пост охраны, где стоит один дружелюбный полицейский. На входе в парламент и здание правительства полиции чуть больше, но лишь потому, что и народу туда идет гораздо больше. Парламент особенно доступный – люди имеют право присутствовать не только на пленарных заседаниях (галерея для посетителей в парламенте ЮАР вмещает около тысячи людей, в Госдуме РФ – человек 30), но и на заседаниях парламентских комитетов.

Никто не смотрит на тебя с нескрываемым подозрением, как в наших присутственных местах. Никто не требует документы. А ведь Южная Африка живет в том же мире, наполненном опасностями, что и Россия. Но даже из-за угрозы терроризма никто не превращает страну в осажденный лагерь. Служба безопасности ЮАР действует четко, но незаметно. В любое министерство можно прийти, что называется, “с улицы”, и вам помогут сориентироваться, к кому обращаться, даже не спрашивая, кто вы, откуда и зачем. Правительственные служащие ЮАР, включая высших, доступны и отзывчивы. После грубости, отличающей чиновничество РФ, это поражает как солнце в осенний день.

В один из дней побывал на пресс-конференции главы Департамента правительственной информации Д. Нетшитендже, которую он вел в дружелюбной, свободной манере. Так вот, рассказывая об итогах утреннего заседания кабинета министров, Д. Нетшитендже буднично упомянул, что предложения правительства по реформе работы маршрутных такси получили поддержку 85% таксистов.

Затем он столь же буднично рассказал, что министры обсуждали усиливающуюся общественную критику в адрес руководства страны, и о том, как правительство намерено реагировать на эту критику. Выступавший на пресс-конференции министр провинциального и местного самоуправления, мой давний добрый знакомый, Сидни Муфамеди говорил, что его план реорганизации системы местной власти выработан на основе консультаций с населением. Вот так!

На меня произвел сильное впечатление один эпизод. Мы сидели в кафе с бывшим министром образования ЮАР Кадером Асмалом. В это время мимо кафе проходил целый класс школьников. Увидев своего бывшего министра, они начали весело махать ему руками. Чуть позже, когда мы шли по улице, столь же радостно его приветствовала другая стайка школьников. “Вот это да”, – подумал я. В России министра образования и науки закидывают яйцами студенты и освистывают академики. А в ЮАР министр образования по улице пройти не может без того, чтобы ему не улыбнулся кто-то из его бывших подопечных.

АНК и его союзники из компартии и профсоюзов к этому времени были у власти уже 12 лет. Работают они, по оценке даже правой, прозападной оппозиции, вполне успешно. Но они не намерены предаваться самолюбованию и тем более останавливать программу преобразований. Процесс этот сложный и длительный. Товарищи из АНК откровенно признавали, что лет пять после прихода к власти они лишь погружались в понимание глубинной сути проблем. Затем потребовалось немало времени, чтобы сформулировать пути и создать эффективные механизмы их решения.

Ведь АНК и его союзники унаследовали от режима апартеида политическую и экономическую систему, обеспечивающую процветание лишь 5 миллионов белых. Черные (африканцы, индийцы и люди смешанной расы) считались таким же “природным ресурсом”, как золото, алмазы, платина. Их предназначением было приносить прибыль и обслуживать белое меньшинство. Сами же черные получали лишь необходимый минимум, чтобы выполнять эти функции. То есть жили зачастую на грани голодной смерти. Теперь правительство АНК должно заботиться уже не о 5 миллионах белых, а о 40 с

лишним миллионах черных и белых граждан. Причем задача не в том, чтобы опустить уровень жизни белых, а в том, чтобы поднять уровень жизни черных. Нужно было фактически строить социально-экономическую систему страны заново.

Это строительство продолжается и поныне. Методично, без рывков, учитывая накопленный опыт (положительный и отрицательный). Но главный критерий неизменный – **все должно быть подчинено интересам людей, а не финансовой “элиты”, как это есть, к сожалению, в России.**

Главная забота власти – дети. Ни один ребенок (даже из самой бедной семьи) не должен оставаться вне школы. Поэтому привлекают внимание отличные современные здания – это школы. При них большие участки земли со спортивными площадками. Бесплатные завтраки, а кое-где и обеды. Ребенок хотя бы на время учебы вырывается из бедности, и его личность формируют не стесненные условия, в которых живет его семья, а школа. То есть он уже видит перспективу.

Но и о взрослых не забывают. Так же разумно, в пределах досягаемости расположены общинные центры. Там есть библиотека, концертный зал. Поблизости поликлиника.

Дома, понятное дело, строятся без особой роскоши. Это примерно то же, что квартиры, презрительно называемые у нас “хрущевками”. Действительно, в “хрущевке” не особенно развернешься. Но именно они позволили решить колоссальную по остроте жилищную проблему после войны. Так вот, **стандарт “социального” (то есть полностью бесплатного) дома 42 кв. м общей площади**, а у меня квартира в Москве – 35 кв. м. Вот и судите, хорошо или плохо решают жилищную проблему в ЮАР.

Я был в одном из таких домов. Две комнатки-спальни, одна общая комната, кухонька, туалет. Плюс вода, электричество, канализация. В доме живет семья из 7 человек. Тесновато, но по сравнению с тем, как оно было еще недавно, – небо и земля. Каждый дом – на участке в 110 кв. м: если есть желание и силы, можешь сделать пристройку (еще одну-две комнаты). Многие так и поступают.

Меня особо интересовало: как относится население к деятельности правительства? Свыше 90% населения отдают свои голоса за АНК. Почему? Да потому, что люди видят, что жизнь улучшается, что правительство делает то, что обещало. **То есть правительству верят.** Но не под гипнотическим дурманом телящика, как в России, а потому, что наяву видят: АНК исполняет свои обещания.

На следующее утро я погрузился в водоворот южноафриканской политики. Кейптаун в этом смысле – особое место. В центре города вдоль Парламентской аллеи с ее прекрасным садом расположен не только комплекс здания Национальной Ассамблеи, но и президентский дворец, а также высотное здание кабинета министров. То есть все ветви власти – президентство, правительство и парламент расположены на участке размером сто на двести метров. И если в Претории – официальной столице страны, чтобы увидеться с министром, нужно носиться по городу и долго сговариваться с секретарями, то в Кейптауне для этого достаточно войти в многоэтажное здание кабинета министров, где на каждом этаже расположено по министерству, а то и по два.

Все отзывчивы и дружелюбны. Если у вас нет предварительной договоренности о встрече, вам расскажут график работы министра и помогут согласовать время беседы. Если встреча назначена, но министр еще занят, то вам предложат чашку чая. В случае с Кадером Асмалом чашкой чая отделаться не удалось. Кадер настоял на том, чтобы мы пообедали с ним прямо в министерском кабинете. Туда принесли несколько сэндвичей, заправленных по-индийски очень острыми соусом.

Примерно то же самое в парламенте. Там в извилистых коридорах и переходах из старого здания в новое я вскоре наткнулся на жизнерадостного Иссопа Пахада – члена Исполкома АНК, одного из самых динамичных лидеров организации и члена парламента. Заместитель президента ЮАР Табо Мбеки принял меня в кабинете на втором этаже президентского дворца. Я пришел вместе с Иссопом. Первые минут десять они обсуждали свои текущие дела. Мое присутствие их не смущало – я был “свой”.

Как хотелось бы и всегда оставаться своим в этой гостеприимной и улыбчивой стране, смело смотрящей в будущее.

А что же Россия?

ГЕННАДИЙ ГУСЕВ

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Из абхазского дневника. 13—20 августа 1992 г.

... Зачем зря ломать голову, придумывая заголовок для грустных дневниковых записок из “абхазского плена-92”? Лев Толстой не побоялся же обвинения в “плагиате” у Александра Сергеевича! Все равно лучше и точнее не придумать.

Плен, правда, это чересчур: боевики шеварднадзевского нукера Кетовани до Пицунды, куда меня угораздило приехать в командировку за два дня до грузинского вторжения в Абхазию, так и не дошли — застряли в Сухуми (откуда потом еле ноги унесли). Но Москве в войну не верилось, и Ю. В. Бондарев направил меня, своего “начштаба”, в четырнадцатизэтажный Дом творчества, чтобы отвоевать, отстоять хотя бы часть его (хотя бы ежегодную квоту на путевки!) для российских писателей у окончательно “осепаратившихся” бывших друзей. И не грузин, а абхазов.

В первый же день по прибытии дозвонился до Сухуми и договорился о встрече в СП. “Ждем; приезжайте”. Да вот только встретиться нам так и не удалось...

Ощущение абсолютной ненужности этой моей поездки все усиливалось — вплоть до того момента, когда абхазское ТВ сообщило о начале грузинского вторжения. На следующий день прервалась всякая связь с внешним миром: телевизионная, телефонная, замолчало радио. Мышеловка захлопнулась.

* * *

13 АВГУСТА

Какое море, как я его люблю! Бархатно-ласковое, нежное, теплое — но и оно не снимает сверлящего мозг вопроса: а на кой нам она, эта Пицунда, когда уже практически все потеряно — и в Прибалтике, и на Украине, и в Армении, и на Иссык-Куле — везде-везде! В лучшем случае светит договор о квоте для “россиян” — неважно, что Москва (то есть Союз) всё сама финансировала и строила. Наступила эпоха “суверенной приватизации”: земля теперь абхазская, так что “Гани Маскву атсуда!” (Услышал эту реплику на пляже — не стесняются, нарочно “па-русски” оскорбляют. “Чемодал-вокзал-Россия”: даже абхазы, подумать только...)

Ну, а на пляже кто? Ни одной знакомой физиономии. Пис. дочки, пис. жены (это — из злоязыкой Юнны Мориц) греют свои телеса под палящим южным

солнцем. И ради этой самодовольной, сытой дворяноподобной кодлы я должен упираться, спорить, выдумывать компромиссные ходы?!

Стоп. Прекращаю запись. Володя Огнев приближается. Хоть один знакомец¹... Хоть один, какой-никакой, писатель.

14 АВГУСТА

Безделье (особенно вынужденное) – наихудшее из занятий. Чувствую физически: кругом полная глухота. Как в танке с выключенным мотором. Это политика “выключила”, оглушила, как поленом по голове.

А Огнев! Хорош “либеральный гусь”: оказывается, это имперская Россия пожинает плоды своей многолетней жестокости в отношении малых народов! Россия у них всегда и во всем виновата. Софистика негодяев.

... Пообещал мне (клятвоенно!) дачу в Переделкине. Изгнанный весной из Внукова, я даже на минутку потеплел к Володе. Ох, уж этот быт – угнетатель и совратитель...

Только врет, наверное, Огнев². Своих-то желающих тьма-тьмушая. Так что “имперцам” и русакам – не светит.

15 АВГУСТА

Роскошное море, пусть ненадолго, примиряет с гнусной реальностью. И снова накатывает удушливое ощущение беспомощности, потерянности, никому ненужности. Пилия, замдиректора Дома, вчера вечером как бы между прочим сказал мне, что совсем недавно у него три недели (!) гостил Валера Поволяев, председатель нашего Российского Литфонда, мой заклятый друг.

– Хот бы раз встретился с каллэктивом, – осуждающе протянул Пилия и строго воззрился на меня: куда, дескать, вы, начальство, смотрите? Знал бы он, какое я и над кем “начальство”...

Вчера же, от нечего делать, заглянул в бар, знакомый мне с 1980 года, когда я, новоиспеченный директор “Современника”, изредка пропускал здесь по рюмочке-другой коньяку со старшим Стругацким. Большой был любитель выпить. Но – не поговорить. Во всяком случае, я тогда ни разу его не растормошил. Молча, по-европейски приподнимем рюмки, обменяемся малозаметными улыбками – и опять молчим.

Так что же когда-то доступный бар? Бокал шампанского – 70 руб. (то есть бутылка – 300!), пиво – 100 руб.³ А у меня командировочные – на полбутылки шампанского в сутки! Mein Gott, я всю жизнь гордился (хоть и не хвастался) своею **честной** бедностью, близкой к достатку, – а теперь это чувство сменилось щемящей нотой **постыдности**, презренности, униженности. Цепляюсь за каждый рубль, их всё меньше, а ведь надо еще как-то до Москвы добраться. Как?

... А они, члены пис. семей, хохочут, ныряют, мячики гоняют. Племя **чужое**, незнакомое. Оказывается, тут и дочка огневская со своей дочкой. А писателей-то нетути – и это в самый дефицитно-престижный сезон!

... Спрятался в тень. Солнце палит немилосердно. Пробежал по пляжу к морю, обратно – и ступни обжег, словно их, как кофейную турку, сунули в раскаленный песок. Ашхабад сразу вспомнился, веселые луконинские денечки. Миша тогда угощал нас и кофе, и собственной непечатной (и, естественно, никому не ведомой) поэмой о приключениях лейтенанта Луконина в госпитале, куда герой попал после легкого ранения на фронте. Шестнадцать уж лет, как Миши нет...

16 АВГУСТА

Рядом с нашим Домом – заброшенная стройка. На покосившемся грязном планшете крупно по-русски: “Пансионат семейного отдыха Госплана Грузинской ССР”. И ниже – цифры: 1985–1989. Потрясающий образ разрушительной “горбостройки” (чуть переставь буквы – и получится гробостройка...): разор, запустение, зияющие провалы окон, бессильно повисшие руки башенных кранов. Прямо по-достоевски: мерзость запустения...

¹ Владимир Фёдорович Огнев долгие годы был председателем Литфонда СССР, потом – Международного Литфонда.

² И вправду соврал. Никакой дачи, даже во Внукове, вплоть до осени 1998 г., я не получил.

³ Это – цены 1992 года.

Вчера банды Кетовани ворвались в Сухуми. Идут уличные бои, как в Великую войну. Как в стародавние времена, новости приходят молвой, от человека к человеку. Сухуми – недалеко...

Море (подумать только – даже оно!) начинает надоедать. Закрываю глаза, а оно себе чавкает, хлопает, хрюкает, хрумкает, сухо хрустит леденцами прибрежной гальки. Наверно, про леденцы – это краснота, хотя, честно, очень похоже!

... У директора Дома Гугуши (может быть, он Гугушиа, но и абхазы зовут его Гугуша!) – транзистор, и Эдику из Тбилиси не под силу его заглушить. Узнаю вчера вечером: “Москва осуждает вторжение в Абхазию”. Ни звука – о поддержке. Мы – над схваткой, мы – миролюбивы а ла кот Леопольд (особенно Козырев, господин “Да”). Взволновало сообщение об общероссийской забастовке авиадиспетчеров. Получают до 40 тыс. руб., а требуют удвоения зарплаты! Между тем летчик-испытатель оценен гайдаровской властью всего в 5 тысяч, а опытный авиаинженер в 2,5 тысячи руб. Что уж тут говорить о секретаре правления СП с несчастными полутора тысячами... Пусть бастуют, денег всегда и всем мало – но дайте мне, ради Бога, сперва вырваться из мышловки и улететь в Москву! Глупый возглас. Тут поглупеешь...

17 АВГУСТА

Сегодня в очередной горячий полдень сидел в негустой полутени на широкой скамейке и читал от нечего делать “Ремесло сатаны”. Прелестная старомодная вещица в духе наших беллетристов средней руки – от И. Шевцова и выше. Читал – и наслаждался сухим шорохом прибрежного тростника, легким морским ветерком – ну прямо “тростниковый рай”, а не замершая в ожидании оккупантов Пицунда...

Жара становится всё невыносимее. И “райское” блаженное настроение растворилось, развеялось, как мираж в пустыне. Рай – это состояние души, яркая вспышка, миг счастья. Миг – единица его измерения; и сколько бы ни было их в жизни, все равно они только миги, тут же сметаемые, как мелочь со стола, суровой рукой быстротекущего времени. (Боже, опять неуклюжие красоты; так и тянет, так и тянет в пропасть графомании.)

Год за годом одолевающие меня сомнения, творческая робость сметают и миги дерзких замыслов. Сомнение, похоже, стало доминантой моего поведения. “Подвергай все сомнению”. Ну и что же в итоге? Душа, лишенная отваги, беспомощное перо, утратившее уверенность почерка. Да, графомания – это тупик самообмана, вплоть до безумия. Но в этой бесспорности таится и слабостное самооправдание: лучше никак, чем хуже других. А может быть, все-таки – пусть и похуже, чем никак?!

18 АВГУСТА

Словно в продолжение вчерашних раздумий о “мигах счастья” и долгих сроках сомнения (мать трусости!) – целая пригоршня противных мелочей, принесенных (вместо овощей и фруктов) с Пицундского рынка. Война войной, но “рынок – это святое”. Именно он, в который раз, напомнил мне о внутренней, неразрывной связи таких слабостей и грехов человеческих, как стеснительность – и мелочность, нерешительность – и скупость, непомерность желаний – и скудость доброты... Тут, в паутине вынужденного безделья, придумалось мне новое, почти философское определение – “консуморей”. “Консум” – потребление; “рея” – недержание (или мочи, или словес). А что? И вправду от безмерности плотских желаний, столкнувшейся с ничтожным объемом возможностей, и возникают стычки страстей, доводящих человека до скотства и тяжких психозов. Вспомнились лондонские “страсти-мордасти” при виде бесконечных типов и сортов одежды, обуви, машин, не говоря уж о продуктах. Консуморей, одним словом. Или, как тогда пришло в голову, “синдром изобилия”. Тяжелее похмельного. И какая уж тут “честная бедность”... Именно этим и купили “совков” демократы. Знали, гады, какие кнопки нужно нажимать.

18-е, ВЕЧЕР

Ничего неясно: когда и как выскользну из капкана. Придут ли боевики? Сегодня на рынке встретил абхазов-ополченцев: суровые небритые лица, “калаши” через плечо, рожки с автоматными патронами, щедро обмотанные изо-

лентой. К вечеру ближе по-над берегом, тревожно жужжа, летал темно-зеленый боевой вертолет. Война “близ, при дверях”, шансы выбраться близки к нулю.

Любимец “лучшего немца”, “новомышленец” Эдди заявляет: мы-де не вторгаемся в Абхазию, а восстанавливаем конституционный порядок и ставим на место распоясавшихся сепаратистов. “О мерзость, мерзость, мерзость...”

Разговорился с поляком Войтехом. Он из Варшавы. Поразительно чистый русский говор. Учился в Москве; однако “наши”, философские поляки объяснялись по-русски гораздо хуже и забавнее. (Вацек Бонашук: “Один, как божий палец”, “ничего”, “прэчь” вместо “прочь” и т. д.). Радостно поддержал мой разговор о родине Николая Коперника Мальборке – он, оказывается, родом из тех краев. Но повернуть разговор к более актуальным темам мне не удалось. Замкнулся пан, посмурнел. А может, это я повинен, не сумел раскачать его умными вопросами? Тоже ведь талант – задавать вопросы. Правда, бывает, что на вопрос дурака и сто умных ответить не могут.

19 АВГУСТА

Слава Богу, наладили телепередачи. И надо же: прямо с утра останкинское жулье устроило судилище – визгливое и голословное – над Сталиным и вообще всеми русскими! Так они отмечают годовщину янаевского “путча”. Сталин, оказывается, “государственный антисемит”, а мы, русские (особенно “совки”), – прирожденные юдофобы, воспитанные в духе ненависти к иноплеменникам вообще. Знакомая песня: “Россия – тюрьма народов”.

С ума сойти: целых 40 газет названы антисемитскими! В лидерах, конечно же, прохановский “День”. Зацепили и Пономарева, прокурора Москвы, “за недостаточную решительность в пресечении антисемитизма”. Наверняка вспомнили ему и прошлогоднее заступничество за русских писателей во время “музыкантской” атаки¹ неких “национальных гвардейцев” на дом Союза писателей России. Наверняка!

Снова и снова – Михоэлс, АЕК и его жертвы (неважно, что с той поры 44 года прошло). Раздувают старые угли, сеют ветер злости и раздора. Что пожнут? И еще важная деталь: защищают, обеляют “черных” и чернят русских. В общем, по схеме Вольтера: если бы антисемитизма не было, его следовало бы выдумать.

...Тонким, бледным “шариком” ценой 7 рублей (другого не нашлось) пытаюсь поймать отметины времени, события, которые уже завтра станут историей. Хотя бы набросками, эскизно. Своего рода записки “человека со стороны”. Ведь в этой командировке не по своей воле я обречен ни во что не вмешиваться и ничего не делать – даже если бы очень сильно захотел. Бог даст, потом всё, что схвачено сейчас мыслью и сердцем, будет преобразовано в нечто более интересное и весомое².

О, эти мучительные попытки передать ощущение “ничейной полосы”, в которой я оказался! Справа – Гагра (там, говорят, уже есть убитые), слева – пылающий Сухум, уличные бои, большая кровь... Сводки боевых действий; морские сторожевики на горизонте; кружение боевых вертолетов. Вся атмосфера насыщена тревогой войны, жадной надеждой: а вдруг завтра всё кончится?

Кассы, ж. д. и авиа, закрыты. Что будете делать, тов. эвакуант? А впереди еще, не исключено, придется испытать прелести шмона под дулами повстанческих (“сепаратистских”) “калашей”. Будет тебе песня про купца Калашникова...

Ручку – в сторону! Море зовет! Как говаривал великий бабник Эдик Ляпишев, “море – это хорошо. Море – это жизнь; стаканчик вина, кусочек женщины... хорошо схвачено!”

19-е, ВЕЧЕР

Сухумские новости. Спешу записать.

В. Ардзинба: “Нас хотят поработить. Но Россия нас не оставит... Дудаев прислал вертолеты... Абхазию не сломить никому!”

Ю. Воронов, депутат Верховного Совета Абхазии: “Важно прорвать информационную блокаду, оставить потомкам правду о врагах Абхазии и ее на-

¹ Музыкантский в 1991 году – префект ЦАО г. Москвы.

² Увы, увы... Эскизы так и остались эскизами.

рода. Создается большая ложь о маленькой свободолюбивой республике: “сепаратисты, бандиты, экстремисты”. Ложь, наглая ложь! Против грузинских оккупантов встают на бой не только абхазы, но все жители Абхазии – греки, грузины, адыгейцы... Победа будет за нами!”

В. Логинов (депутат ВС Абхазии): “Русская школа № 14 в Сухуми разрушена. Русских берут заложниками... Главное – блицкриг им не удался. Бандиты разбегаются, но опасность остается”.

Переключаю ТВ на Москву. Подготовка к выборам “Мисс Россия”. Я называю это действие “Бюст-92”. Двух “телок” по 15 лет (!) привели мамы, еще двоих – папы. “Россия, ты одурела!” – как вопил Карякин, правда, совсем по другому поводу. Неужели Россия окончательно примет такой строй, где будут в наивысшей цене не умные головы, а пышные бюсты? Но тогда это будет уже не Россия, а Rußland... Просто – Раша...

Только что сообщили: грузины нанесли мощный ракетный удар по Гудауте. Неужели Пицунда на очереди? Свят, свят, свят... Ближе к ночи разразилась южная гроза. Грохот грома, ослепительные стрелы молний.

20 АВГУСТА

Вчера сообщили, что на трассе в направлении Адлера взяты 60 абхазских заложников. А чего китованцам стóит и русских захватить? Стоп, Гена, стоп, ты не смельчак, но не надо нагнетать – и так тошно...

Неожиданная маленькая удача последнего дня – знакомство на пляже с Колей Плецко из иностранной комиссии бывшего СП СССР. Впечатлило его сообщение об коммерческом издании 82 (!) томов сочинений Жоржа Сименона. Очень может этот человек пригодиться – либо в ПАО¹, либо на каком-нибудь другом участке. У мужика есть хватка, связи – и “рыночные” подходы.

20-е, ВЕЧЕР

Вечер. Круглый оранжевый диск солнца скоро, совсем скоро нехотя, с неслышным шипением погаснет в морской пучине. Тишина. Я один на берегу, в грусти и тревоге. “Проклятая неопределенность”, как сказано в моем любимом анекдоте.

Завтра утром – “дранг” на Москву. Билет в автобус до Сочи куплен. Домой, домой, как всё вдруг невыносимо надоело – сил нет!

Светило погасло, “на море синее вечерний пал туман...” О Александр Сергеевич, как бы мы без Вас жили?

В сгустившейся мгле зияет своими пустыми глазницами искореженный жуткий скелет заброшенной грузинской стройки, жертвы перестройки.

*Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит...*

* * *

Утром 21 августа автобус – скрипучий, как несмазанная дверь – повез меня прочь из Пицунды в Россию. Не доезжая Гагры, он был остановлен пикетом абхазских ополченцев. Шмон. Показываю старшему бородачу удостоверение. Взгляд бойца с “калашом” на плече чуточку теплеет. Меня не обыскивают, только спросили, какие у меня вещи. Ну, ребята... Проверка закончена, двери со свистом закрываются. Всё, война позади! А вот и село Леселидзе; за мостом через речку – Адлер, южные ворота моей страны. Здравствуй, Родина!

Выгрузились на широкой площади возле аэропорта. Да это уже и не площадь, а огромный цыганский табор! Шум, гам, детский плач – сотни людей стремятся поскорее улететь, поскорее выбраться из “горячей точки”, да, видно, не удастся. Сразу толкнулся к кассам: народу – страсть! А вот и объявление по радио – как серпом по ногам: билетов на московские рейсы нет на ближайшие три дня...

Да-а... Ну и как быть? Денег в кармане – только на билет до Москвы. За три дня можно с голоду подохнуть. Рвануть на Краснодар? Там друг Воло-

¹ Писательское акционерное общество – наша с Бондаревым беспомощная выдумка способов спасения остатков писательской собственности.

дя Колесник, там Валя Есипенко – помогут! Но в Москве Галя и Оля наверняка с ума сойдут – столько дней никаких весточек от мужа и отца...

И вдруг озарило: а не попробовать ли проникнуть в депутатскую комнату и через нее достать билет?

Четыре года тому назад, возвращаясь из санатория “Россия”, мы с Галей в этой самой депутатской досматривали по телевизору последние минуты победного матча советской сборной по футболу на Олимпиаде. “Хозяйку” комнаты звали... точно, Нина Васильевна!

Для меня с этого мига началась полоса везения. “Здравствуйте! Я был Вашим гостем осенью 1988 года. Возможно, и Вы меня вспомните: помощник председателя Совета Министров Воротникова”.

Уверен, что она меня не узнала, но “остаточное почтение” к моей бывшей должности все-таки сработало. Без лживых улыбок, вполне деловито она посоветовала мне пробиться к зам. начальника аэропорта. “Знаете, он очень любит литературу, значит, и писателей. Купите билет, а я уж как-нибудь впихну вас в ИЛ-86”.

Рассыпаясь заранее в благодарностях, я двинул в администрацию вокзала. Господи, и здесь толпа народу! Наверное, впервые в жизни, позабыв о своей врожденной стеснительности, озабоченно прошагал сразу к кабинету. С порога представился: 1-й секретарь Союза писателей России.

Нина Васильевна была права: худощавый быстроглазый армянин расплылся в улыбке, усадил меня и спросил: “Чем могу?...” Выслушал, написал записку, назвал номер кассы, куда мне надо будет обратиться.

– Идите прямо сейчас, не задерживайтесь! Касса будет закрыта. Постучите два раза длинным стуком и три раза – коротким. Но учтите: билет будет без места! Остальное – как Вам повезет. – Он встал из-за стола, печально улыбнулся, сказал:

– Как жаль, что мы не можем поговорить! Передайте мой привет Юрию Васильевичу. Храню как реликвию его “Горячий снег” с автографом.

Я раскланялся и вылетел на улицу из раскаленной авиаконторы. До отправления ближайшего ИЛа было целых три часа. Как же я зауважал себя этим днем!

Потом Нина Васильевна провела меня без всякой очереди как VIP-персону прямо к трапу, что-то шепнула бортпроводнице – и я уже в пузатом аэробусе. Как и предполагал, в огромном, вроде бы до отказа набитом людьми лайнере местечко для Гусева нашлось. Рев моторов, разбег – и вот уже промелькнул за бортом “цыганский табор”, полный людского горя, слез, криков досады, плачущих матерей с плачущими малышами и подданных отупевших мужиков. “Я узнаю тебя, Россия”, – как сказал вернувшийся из эмиграции Вертинский, когда у него “увели” чемоданы в новороссийском порту. “Не узнаю и вряд ли вновь узнаю...” – что-то похожее, отчаянное, горькое, безысходное шевельнулось в моей груди.

Во Внукове меня встречали Галя и Николай Ткач. Торопливо, перебивая друг друга, сообщали, как ежеутренне звонили нашему кубанскому другу Виталию Сыроватко (тогда – секретарь Президиума Верховного Совета РФ), нет ли Гусева, застрявшего в Абхазии, в “смертных списках” россиян. К счастью, не оказалось.

“Есть предложение подвести черту”, – говорю я сам себе. Мой темно-коричневый блокнот, дневник “кавказского пленника”, исписан досуха. Остается, пожалуй, вспомнить только, как мой патрон Ю. В. Бондарев, не скрывая раздражения, сказал по телефону моей жене, крайне обеспокоенной внезапной “пропажей” благоверного:

– Бросьте, Галина Михайловна, волноваться! Я завидую вашему мужу: он сейчас **пузико** греет на солнце, а мы здесь уже в плащах ходим по лужам...

Успокоил. Заодно и обидел.

НИКОЛАЙ КРИЖАНОВСКИЙ

НЕОБЪЯСНИМЫЕ ПРАВИЛА ПРОЗЫ

Подборка прозаических произведений, опубликованных на страницах журнала “Наш современник” в 2009 году, впечатляет: шесть романов (три из которых опубликованы полностью, а три – избранными главами), восемь повестей, более пятидесяти рассказов и других произведений малых жанров. Обращусь к тем произведениям, которые привлекли внимание и отражают общие тенденции опубликованной на страницах журнала прозы.

Роман Владимира Пронского “Казачья Засека” (№ 1) посвящён современной выживающей деревне.

Жизнь “рыночной” России в трудные “нулевые” показана через судьбу крестьянина Андрея Бунтова, его семьи, всей деревни. В романе присутствуют черты оскудения деревенской жизни. Например: дети главного героя уехали в город, селяне живут бедно, многие мужики без работы и пьянствуют. Но ещё больше другого – признаков того, что русская деревня не умрет, она ещё крепка и способна к обновлению. Подтверждение этому – судьба главного героя. Автор показывает нравственное обновление современного русского крестьянина, его преодоление пьянства, стремление созидать жизнь. Нет, Андрей Бунтов – не лубочный герой. Ему трудно удержаться от соблазнов. Чего стоит его, мужа, отца и деда, “увлечение” соседкой-почтальонкой Розой Устиновой. Но главное в герое – умение осознать свое падение и прийти к необходимости подняться, преодолеть греховное: от праздного пьянства – к трезвой трудовой крестьянской жизни, от измены – к покаянию и возврату в семью.

В. Пронский создал нужный современному обществу роман-призыв, в котором многое соответствует нынешним реалиям на селе. Автор верит в обновление всей деревни. Ведь без духовного и экономического подъема жизни всей крестьянской России не будет так чаемой нынешним руководством государства подлинной модернизации всей страны.

Пометка “журнальный вариант” подсказывает, что перед нами не всё произведение. Но, так или иначе, после прочтения романа возникает несколько вопросов. Чем бандит Семён Пичугин хуже тех, кто его убивает (по логике романа – это люди, подсланные сыном главного героя)? Почему слабо прорисована сюжетная линия, связанная с сыном Андрея Бунтова Геннадием, его работой, семьёй? Какова судьба предприятия Андрея Бунтова, неужели все так гладко? Для чего крупный олигарх-меценат, на которого работает Генна-

дий, поддержал крестьянский труд? Эти и другие вопросы подталкивают к поиску и прочтению полного варианта романа.

Иной показана деревня в **рассказе Владимира Гофмана “Командировка” (№ 1)**. Описание Сосновки, где осталось жить несколько десятков старух и старик и куда зимой можно попасть только пешком, бросив машину на трассе, становится фоном повествования, в основе которого темы духовного единения поколений в православии и познания красоты и чистоты русской жизни молодым священником, командированным из города для проведения крещенских служб. Поначалу Сосновка для него – медвежий угол, куда трудно добраться. После поездки – один из лучших уголков христоробивой гостеприимной Руси.

Нижегородский священник В. Гофман наполнил повествование ощущением чистоты и открытости мира, показал искренность веры и старшего и молодого поколения верующих в России.

“Изображение детей в русской литературе всегда было органической частью исследования русской жизни, дополнительным углом зрения на неё”, – писал Михаил Лобанов в известной статье “Освобождение”. **Роман А. Лиханова “Слётки” (№ 2–3)** продолжает эту отечественную традицию, идущую от Л. Толстого, С. Аксакова, М. Горького, А. Толстого, И. Шмелёва.

В центре романа трудная жизнь братьев Бориса и Глеба из небогатой семьи с окраины провинциального города. Название произведения напрямую связано с темой детства, взросления, родительской заботы. Ведь “слётки, – отмечено в словаре В. Даля, – молодая птица, уже слетевшая с гнезда”. А. Лиханов вглядывается: что там происходит, в простом русском человеческом гнезде? Как дети взрослеют? Как родители радеют о них? Какие опасности подстерегают подростков? Взгляд писателя сосредоточен на 1990-х – 2000-х годах, в которые многие как будто забыли, что есть дети. Проблемы детской жизни сознательно связываются автором с проблемами взрослой. Безотцовщина и отесненность подрастающего поколения на обочину родительского внимания, братская любовь и жестокость подростков, обнищание жизни в России и волны агрессивных мигрантов с юга, нравственный выбор молодого человека и попытка обрести смысл жизни, искренняя радость от общения с взрослым товарищем и разочарование в тех, кому поверил – это и многое другое отобразил автор на страницах романа.

Альберт Лиханов – один из немногих современных писателей, кто всё своё творческое внимание обращает на ребёнка. Он знает: от того, какие сегодня дети, как они воспитаны, какие привычки, взгляды у них формируются, зависит будущее нашей страны. Он провидец грядущего, основывающий своё знание на понимании простого и неотменимого закона смены поколений.

Русская жизнь в историческом времени, в её соотношении с непреходящими христианскими ценностями и народными традициями – вот что интересует современного прозаика **Анатолия Байбородина** из Иркутска. Его **рассказ “Медвежья любовь” (№ 3)** посвящён судьбам двух друзей-сибиряков – подполковника Павла Николаевича Семкина и преподавателя вуза Ивана Петровича Краснобаева.

Темы семьи и любви – центральные в рассказе. Их освещение автор напрямую связывает с православием. Любовь без Бога, по мнению Ивана Петровича, становится звериной – “собачьей” или “медвежьей”. От неё – измены, “бракованные браки, и вся семейная жизнь кобыле под хвост”.

В рассказе есть и описание нравов современной молодежи, оторванной от русской традиции, и воспоминания о первой влюбленности друзей-старшеклассников, и спор-размышление о подлинных ценностях этих же, но уже проживших большую часть жизни друзей.

Два начала борются в героях – природно-животное, страстное, подталкивающее смаковать пышные формы увиденных в электричке барышень, и христиански-традиционное, русское, семейное. Поведение Павла Николаевича и в юности и в зрелые годы определяет первое, и он живет, не признавая Бога, а Ивана Петровича – второе.

Художественная концепция рассказа построена на шутивно-серьезной полемике постаревших друзей, перебиваемой воспоминаниями о пережитом в юности. Припоминания о давней влюбленности ярче высвечивают характеры друзей: в начале жизненного пути Иван более покладистый, стыдливый, “смирный телок”, Павел – задиристый, “за матужкой сроду в карман не лазил”.

Православно-христианское восприятие жизни Ивана Петровича во многом совпадает с авторским видением мира. Логика развития действия в рассказе как бы подталкивает Павла Николаевича к христocентричному пониманию жизни, однако этого в пределах повествования не происходит.

В финале А. Байбородин не выносит приговора “грешному” персонажу, оставляет надежду на его духовное возрождение. В пространстве рассказа это подтверждают и привидевшийся Ивану Царь Небесный, обличающий многогрешного Петра, и горячая молитва пожилого преподавателя о душе друга.

Колоритен и насыщен язык рассказа. По стилю он отдалённо напоминает язык произведений Владимира Личутина, только с байкальской просоленностью народными крылатыми выражениями, поговорками, прибаутками.

Рассказ А. Байбородина “Медвежья Любовь” напомнил мне повесть “Третья правда” другого уроженца Прибайкалья – Л. Бородина. Авторы – земляки, оба их произведения – сравнительная характеристика русских людей, отображение разных ценностных подходов к жизни.

В мартовском номере есть ещё один **рассказ** о любви – лирическое повествование **Татьяны Соколовой “Под большой медведицей” (№ 3)**. Это внутренний монолог женщины о мире, взаимоотношениях с ним, о поиске и обретении любимого человека. Лирическое начало рассказа лежит в области глубоко личной, отграниченной от окружающих. На первом плане “я” лирического героя. Всё остальное к нему прилагается, служит для него объектом наблюдения. К сожалению, тема любви в сознании героини никак не связывается с семьёй. Любовь – чувство, которое может растревожить и нарушить в сознании лирической героини устоявшийся порядок вещей, а ещё – “любовь-морковь” – все это выдумки поэтов, завитушки для украшения одного из инстинктов”.

Андрей Воронцов – давний автор “Нашего современника”. Он талантливый публицист, критик и исследователь истории отечественной литературы. Публикация журнального варианта его **романа “Необъяснимые правила смерти” (№ 5–6)** стала своеобразным открытием года в прозе. Не часто на страницах “Нашего современника” можно увидеть детективы, да ещё такие остро сюжетные.

Писатель овладел детективным жанром почти в совершенстве. Сюжет связан на таинственной истории о двух чемоданах со смертоносным содержимым, в которую судьба вплетает жизнь главного героя повествования Василия Колыванова. Журналист Колыванов – отечественный интеллеktуал-супермен в обличии интеллигента, порой склонный к рефлексии и наделенный способностью проницательного психологического и политического анализа. Ему удастся уйти от бандитов из организованных преступных группировок, заставить плясать под свою дуду офицеров ФСБ и при помощи спецслужб выиграть схватку с силами зла за свою собственную жизнь и жизнь многих людей. Все, что он делает – не только спасение “живота своего”, но и служба Родине, протivостояние охватившей страну смуте.

Интерес читателя подстегивает и любовная интрига романа – сорокалетний Колыванов и его подруга Виктория вот-вот признаются друг другу в любви, а выпавшие на их долю испытания хотя и мешают этому, но постепенно сближают.

Детективное повествование о современной жизни перемежается с воспоминаниями героя-москвича о событиях 1980–1990-х, свидетелем которых он был, и его размышлениями на самые разные темы: о работе СМИ, о национальном вопросе на Кавказе в 1980-е, об оранжевых политических интригах на Украине, о переменах в облике столицы к началу 2000-х, о людях социального дна, о характере русского народа и т. д.

В статье “Художественная проза родилась одновременно с исторической литературой” А. Воронцов формулирует основные условия, соблюдение которых обеспечивает успех художественного произведения: “. . . Честность, правдивость, смелость и талант”. Если оценивать роман писателя по этим критериям, то, думаю, сделано многое. Несомненна честность художественных и исторических обобщений, очевидна правдивость, понимаемая как стремление опираться на конкретные факты жизни, проверенные лично. Постановка острейших проблем внешней и внутренней жизни нашей страны (жизнь в ближнем зарубежье, организованная преступность, социальные контрасты) свидетельствует о смелости автора. Определенная новизна и дерзость мыш-

ления присутствует и в методе чтения судьбы и расшифровки тайн, основанном на поиске и столкновении схожих фактов (“... Тайнопись расшифровывают, используя повторяющиеся знаки и слова”), и в откровенных размышлениях журналиста о губительной для постсоветской России роли СМИ.

Однако некоторые умозаключения Колыванова поверхностны и противоречивы. Для примера возьму две цитаты, отдаленные друг от друга страницей текста: “Разговоры о пресловутой “амбивалентности” русского (а равно украинского и белорусского) человека, соединяющего в себе праведника и грешника, я считаю пустым вздором”; “... В нашей жизни, — как сказал Дмитрий Карамазов, — дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце человеческое”. В одном случае — очевидный отказ от амбивалентности, в другом — признание её.

Сомнительны и такие размышления Василия Колыванова о народе: “В патристических кругах до сих пор бытует легенда, что в “глубинке”, в народных недрах, живет ещё воля к сопротивлению, правда и справедливость. Как хотелось бы верить...”; “Люди в глубинке буквально вымирают от пьянства, девчонки... пошли на панель, в проститутки...”; “Мы без конца курили народу фимиам, как идолу какому-то и дождались благодарности: народ, когда мы стали писать воззвания к нему, удивленно выпучился на них”; “... Люди и до “перестройки” жили почти без идеалов, угрюмой свинцовой жизнью без Бога, оживляемой лишь звоном нелегко достающихся рублей”. Легковесность и необоснованная широта обобщений в приведённых цитатах, думаю, очевидны.

Колывановское понимание народа — это местечковый взгляд из Москвы, рассматривание проживающих на территории страны через отражение в кривом зеркале столичных СМИ.

Детективное повествование А. Воронцова мне напомнило романы Ф. Достоевского. В тексте есть и прямая отсылка к произведениям великого романиста позапрошлого века: “Нынешняя Москва переплюнула Петербург Достоевского”. Однако, как мы помним, романы последнего всегда идейно соотносены с идеалом Христа, чего в произведении А. Воронцова нет.

Ещё одно слабое звено повествования — решение в романе темы православия. Есть в “Необъяснимых правилах смерти” блеск золота новых куполов столичных церквей, есть “великолепный Кремль, внутри которого тяжело и скучно”, поскольку “благородный облик древних соборов **придавливал** (выделено мной. — **Н. К.**) масонский классицизм”, есть постоянные прихожане — “серые людишки”, потесненные в храмах “холеными бабами в искристых меховых шубах” и их решительными мужиками... В конце концов есть “соборное сознание”, которое чаще всего проявляется в принципе “народ безмолвствует”. Нечто подобное мы уже проходили: давайте вспомним солженицынский “Пасхальный крестный ход”, где в святую ночь автор замечает в первую очередь пьяную развязную русскую молодежь, испуганную и тоже русскую серую массу верующих, в которой вдруг “мелькают одно-два мягких еврейских лица”.

Далек от церкви и веры православной Василий Колыванов. Об этом наглядно свидетельствуют досадебные отношения с подругой, к сожалению, ставшие сегодня для многих нормой.

Стиль романа ровный, близкий к разговорному, с вкраплениями просторечий типа “почесал репу”, “по барабану” (в значении “всё равно”), “ментяра”, ничуть не облагораживающих облик рассказчика-интеллектуала и даже проявляющих некоторую люмпенизированность и неуравновешенность его натуры.

Герой-рассказчик амбивалентен, противоречив. За “перестройку” он проходит путь “от демократа-идиота до маньяка — антидемократа”. Однако в стане противников демократии он не остается и, не высываясь, живет в скорлупе обыденной суеты.

Благополучный для центрального персонажа финал далек от нынешней реальности, но выражает авторские чаяния, связанные с победой сил добра и света над общественным злом. Оно в романе воплотилось и в организованных преступных группировках, и в стремлении многих утративших человеческое начало людей наживаться на чём угодно, и в желании жить только для себя, спокойно перешагивая через жизни других, и в завравшихся СМИ, способствовавших обольщению населения в 1980-е, в 1990-е, в 2000-е, а также в антироссийских силах ближнего и дальнего зарубежья.

Проблема исторической памяти затронута в **рассказе** воронежского автора **Ивана Евсеенко “Каратели” (№ 5)**. Жизнь приводит фронтовика Ивана Родионовича Калиновского к таким мыслям: на месте Германии, как страны-агрессора, сделать озеро, а в могилы погибших на нашей земле фашистов вбить осиновый кол. Иван Родионович убежден, что в первую очередь повинен в фашистских зверствах немецкий народ: “Кто кричал: “Хайль Гитлер!”, кто мнил себя высшей расой, кто держал в домах рабов со всей Европы?”

Рассказчик, в 60-е годы молодой человек, не соглашается с приятелем-ветераном, но, спустя сорок лет, повторяет слова старого ветерана: “И пока озера и осинового кола нет, не будет на земле ни мира, ни покоя...”

В контексте рассказа озеро и кол символизируют вечное напоминание о наказании агрессора и универсальное средство борьбы с войнами. Но это ложная панацея. В мире десятки и сотни подобных напоминаний, и ни одно из них не останавливает и тем более не может окончательно исправить греховную природу человека.

Фашистские зверства, описываемые в рассказе, как бы подталкивают читателей к этому выводу. Но, думаю, русский солдат и русское войско тем отличались и отличаются от варваров-европейцев, что находят в себе силы не мстить всем подряд, могут остановиться и заставить себя не переносить свирепую ненависть к врагу на мирное население завоёванной страны, на поверженного врага. Подтверждения этому мы без труда найдем в истории и XVIII, и XIX, и XX веков. Русские – не каратели!

Картины из жизни послевоенной деревни обрисованы в **рассказах Василия Килякова “Знак” и “Письмо Сталину” (№ 5)**. В первом затронуты темы исторической памяти, памяти поколений. Справедливо утверждение повествователя в этом произведении: о безжалостном, бесчеловечном отношении фашистов к нашим пленным солдатам во время Великой Отечественной войны “надо спрашивать и рассказывать надо”.

“Знак” – это воспоминание рассказчика об одном эпизоде детства, связанном с дедом-фронтовиком. Дед, прошедший жесточайшую войну и смущавшийся фашистского клейма военнопленного, противопоставлен своему лукавому сверстнику Кузьме Лукичу, всю жизнь хитрившему и не попавшему на фронт. Через это противопоставление поставлены проблемы личного нравственного выбора, верности и предательства.

Автор связывает финал рассказа с исторической перспективой, с необходимостью всегда помнить о том, что было: “И когда я волей судьбы был закинут в Берлин, ходил... вдоль рисованной и разбитой берлинской стены, вдоль сияющих супермаркетов и гаштетов, в которых пьют тягучее пиво и одобряют “продвижение НАТО на Восток”, я вспоминаю... слёзы деда...”

В рассказе “Письмо Сталину” В. Киляков рисует трудный быт русской послевоенной деревни. Сложная и противоречивая эпоха правления Сталина отразилась в рассказе. В центре внимания автора – взаимоотношения подростка Кольки с родителями. Колька верит в великого и могучего вождя народов Сталина и пишет ему письмо с просьбой помочь попасть в Суворовское училище. Родители – много повидавшие в жизни крестьяне – к Сталину относятся иначе. Ребенок пишет письмо именно тогда, когда побывавшего в плену отца в очередной раз вызывают в НКВД.

Солдатские истории из книги **Сергея Михеенкова “Когда мы были на войне” (№ 6)** – ещё один яркий штрих в правдивой картине событий Великой Отечественной войны, создаваемой народной памятью. Воспоминания фронтовиков, собранные писателем, наполнены суровой и трагической правдой, мужеством защитников Родины, горечью отступления, потерь и радостью победы над врагом. Подобные документальные повествования утверждают мысль: все, кто сражался с фашизмом, – не прокляты и убиты, а благословенны и живы. Не может быть проклят тот, кто “душу положил за други своя”. Не исчезнет бесследно живая память о павших. Живое слово и живые души сохраняют её.

Из мозаичных воспоминаний выживших солдат и офицеров складывается широкое полотно трудной и жестокой борьбы за Родину, за свой народ, за наше будущее.

Николай Ивеншев для меня писатель-загадка. Как ни стараюсь, не могу понять его образы и ассоциации. Например, почему в **рассказе “Клифт” (№ 7)** слово “костюм”, с точки зрения повествователя, “колкое”, неудобное,

а “клифт”, обозначающее “костюм” на языке уголовников или, как пишет автор, “урок”, больше подходит к “парадно-выходной одежде”?

Влияние разновидностей классической верхней одежды на поведение рассказчика находится в центре произведения. Его костюмы становятся символом отрезка личной жизни, а также жизни всей страны. Самый первый, неладно скроенный, – юность с её надеждами, пору 1950–1960-х годов. Другой, польский – молодость, свободу, щегольство, самодовольную игру в иностранца, а также спокойную жизнь 1970–1980-х. Третий, костюм-клифт – “протоптал” в 1990-е “дорогу в зековский стиль”.

Слог у Н. Ивеншева неровный, издерганный, почти разговорный. В нем часты повторы, вопросы-ответы, восклицания, недоумение, попытка прозреть истину и возвестить её миру. Чего стоит такое высказывание: “Синдром Акакия Акакиевича живёт в каждом человеке...”.

В другом рассказе этого же автора – **“Певчая кровь” (№ 7)** – повествование “пересказывает” с одной темы на другую. Образом рассказчика Н. Ивеншев соединяет пёстрые, разнородные картинки из жизни: любование куском сыра в холодильнике, сцену с цыганкой, описание воробьёв, которые в сознании повествователя ассоциируются с коммерсантами, фантазию о соловье-лгуне (!?), вороне-землемере и безобразных бакланах, истории о скворце, прилетевшем из детства, и о взаимном непонимании поэта-отца и малолетнего компьютерщика-сына...

Роман рязанского писателя **Бориса Шишаева “Время любви” (№ 7–8)** можно по праву назвать открытием “Нашего современника” в 2009 году. Проблема возвращения, одна из центральных в произведении, решается автором в разных аспектах. Это путь к родительскому дому, дорога к постижению жизни и познанию веры, возвращение русского человека к духовным корням.

Главный герой, Павел Андреевич Велешев, – известный кардиохирург, потрясенный внезапной смертью матери от сердечной болезни. Остро почувствовав надобность своего присутствия в родной деревне Поречье, он возвращается из города в дом своего детства. Вскоре случается ещё одна трагическая утрата – смерть жены. Опять – не выдержало сердце.

В деревне, где Велешев продолжил работать главным врачом, завхозом, терапевтом, хирургом, его жизнь проходит в постоянных заботах о сельской больнице и пациентах. Но внезапное чувство к случайной пациентке, буквально свалившейся на доктора с неба, меняет жизнь вдовца.

Взгляд на мир у писателя Б. Шишаева светлый. И хотя немало трагического изображено на страницах повести, оно осознаётся главным героем и автором как результат человеческой и своей, личной греховности, влияющей на окружающий мир. Поэтому исправлять мир Велешев начинает с себя. Сам начинает возрождение родного угла – дома, больницы, а по сути и родного Поречья. Многие торопятся похоронить русскую деревню, отказать ей в дееспособности. Но, оказывается, там и врачи есть, и почта работает, и люди не только матом разговаривают, и детишки подрастают, и даже семьи не все развалились. Конечно, деревня далеко не та, что была в 1960–1980-е годы. Но живет. Такую картину рисует автор в романе.

На провинциальную тихую жизнь в Поречье мало что влияет. Она – вне телевизионного, политического, экономического воздействия. О приметах времени читатель догадывается лишь по описанию плохого финансирования больницы и по городским страницам повести, где присутствуют рекламные агентства, автосалоны и прочие приметы 2000-х.

Автор ведет Велешева от утрат близких к обретению себя и своей новой любви. Этому способствует божественная красота русской природы: “...Высокие, светлые истины, скорее всего, открывались людям... когда они смотрели на небо, на красоту земли и воды...”. Многие персонажи романа наделены отзывчивостью, добротой, состраданием, трудолюбием. Это сестра Велешева, живущая в Поречье, медицинский персонал сельской больницы, коллеги по работе в городе.

Авторский идеал человека воплощен в образе пожилой деревенской учительницы Анны Тимофеевны, которую главный герой характеризует так: “Она мудрая от природы. К тому же всю жизнь читала и до сих пор читает только хорошие книги”. Она добрым ангелом заботится о Велешеве и его возлюбленной Валерии Сергеевне, наставляет их, проговаривает в беседе с ними житийские мудрости: “...Несчастье, скорбь, страдание помогают человеку ста-

новиться сильнее”; главное в том, “чтобы научиться быть счастливым в доброте и быть добрым в несчастье. Ну и конечно... помнить сердцем, что небо видит всё”; “... Вера и верность всегда окупаются, а человек, отрёкшийся или предавший даже, и не подозревает, на какую бедность и пытку обрёл самого себя”. Ключ к пониманию названия произведения и основную его идею автор вкладывает в предсмертное письмо Анны Тимофеевны, адресованное пропавшему без вести в Афганистане и вернувшемуся только после смерти матери сыну и полюбившемуся ей Велешеву: “... Не сетуйте... на то, что время нынче жестокое и слепое, что это время жадности и зависти, ненависти и бессердечия. Для кого-то воистину так, а для других это время любви, веры и верности... вы должны любить в этом прекрасном мире... истинный двигатель жизни – это любящий человек. <...> Если любишь – ты освещён изнутри, и в душе у тебя тепло, которое может согреть как одного, так и многих”.

Мысли Анны Тимофеевны близки к православному пониманию жизни, но автор не связывает напрямую образ старой мудрой женщины с церковью. Христианский подтекст повествования явственно обнаруживается во второй половине романа, когда в речи Велешева появляются явные и скрытые цитаты из Евангелия и произведений святоотеческой литературы, свидетельствующие о постепенном приближении героя к православным христианским идеалам, и он начинает посещать церковь, осознавая, что “нельзя веровать без церкви. Она помогает помнить о Боге постоянно и освещает совестью каждый... поступок... В единении верующих такая спасительная сила...”.

Трудная любовь к своевольной Валерии Сергеевне причиняет Велешеву много страданий. В финале писатель вновь отдаёт строптивую владелицу рекламной фирмы, попавшую по дороге в Поречье в автомобильную аварию, в руки врача Павла Андреевича Велешева и даёт ему ещё один шанс сблизиться с любимым человеком.

Авторское видение героя связано с постепенным приближением Велешева к православному христианскому идеалу. Но после прочтения возникает несколько вопросов к автору, связанных с образом главного героя. Например, не пошел ли Велешев на поводу у своего эгоистического чувства, когда оставил пациентов, ожидающих операции на сердце? Ни для кого не секрет, что высококласные кардиохирурги ценятся в России “на вес золота”. Почему опытный специалист вовремя не обратил внимания на сердечную болезнь матери и жены? Чего не хватило? Способен ли этот герой по-настоящему заботиться не только о пациентах, но и о родном, близком человеке? Способен ли он любить, не стремясь изменять того, кого любит? Прямые ответы на эти вопросы проявляют в характере Велешева то, о чем автор умолчал, но что следует из его поступков...

Рассказ известного писателя-петербуржца **Николая Коняева “Пётр” (№ 8)**, посвященный исследованию веры современного неопита-паломника – одно из лучших произведений этого жанра, опубликованных в журнале “Наш современник” в прошлом году.

В повествовании Н. Коняева, как и во многих других его произведениях, соединяются простота слога и глубокий смысл.

Автор на современном материале говорит с читателями о проблемах крепости веры, предательства, лжи, истинного православия и модного увлечения им.

Стойкость, твёрдость веры во Христа русского парня Петра выдерживает проверку смертельной опасностью. Он, хоть и не большой любитель паломнических поездок, не снимает с себя крест. Инициаторы паломничества к источнику – семья Толкуновых – предают веру, выбрасывают крестики в пропасть, а позже – лгут, изворачиваются, сваливая своё предательство на Петра.

Кремень, найденный Петром на краю скалы, и его имя становятся символическими деталями повествования.

В **повести-мелодраме** писателя из Орла **Юрия Оноприенко “Несбыточный роман” (№ 9)** есть всё: небритый, загадочный, сверхобаятельный, привлекательный и даже несчастно женатый мужчина “в самом расцвете сил”, три одинокие женщины, ждущие настоящего, а значит и несбыточного чувства, три корoba разговоров о любви, постельная близость с небритым “обаяшкой”, закулисная жизнь театра, безответно влюбленный в неприступную красавицу олигарх, умирающая от тоски по хозяйке бесценная чудо-собачка ки-

тайских императоров, ребёнок, украденный русской матерью у отца-итальянца, и даже стрельба. Этот набор, типичный для женского ироничного детектива, заполняет добротной скрепленную динамикой сюжета ткань повествования, присыпанную кое-где православной лексикой и порой перегруженную метафоризмами типа: “Снежная взвесь упруго крутанула вдоль скамьи, опутав обоих одним витком, словно бы объединившим, как трамвайных ездоков, случайно усевшихся рядом” (в начале повести); “Декорации местами влажно светились, словно драгоценные иконы-мироносицы, предрекающие благу весть” (в середине); “Мысли лились микронным безвременным сгустком” (в финале).

Читая **рассказ** писателя из Белгорода **Виталия Малькова “Телескоп” (№ 10)**, так и хочется воскликнуть: а ведь автор писал с оглядкой на “Микроскоп” Василия Шукшина! И герой-работяга, и мечта давняя, и жена против, и даже фамилии схожи: у Малькова – Ерохин, а у Шукшина – Ерин. Однако по окончании чтения понимаешь: у В. Малькова всё по-другому.

Нет атмосферы пошлости и взаимной супружеской неприязни, нет обмана и тайной покупки с последующим разоблачением. Но есть давняя мечта Ерохина и жертва ею ради лада в семье, есть духовный рост героя, способного понять, что стремление к познанию небесно-звездной выси оказывается мелочным в сравнении с семейным ладом и заботой о ближних.

Рассказ у В. Малькова получился светлый, жизнеутверждающий, со своеобразным сюжетом, и ни о какой вторичности произведения речи нет и быть не может.

Читатели “Нашего современника”, наверное, помнят увлекательную повесть **Сергея Козлова** о становлении характера талантливого подростка-пианиста “Бекар”, опубликованную в 2006 году. **В последнем номере 2009 года** увидела свет ещё одна **повесть** писателя – “Движда”.

Начало этого произведения, на мой взгляд, можно сравнить с началом булгаковского “Мастера и Маргариты”. Наставник-еврей и его ученик-русский беседуют о творчестве и об идеалах жизни. Только у Козлова эти герои – журналисты из одной областной редакции и антагонисты: первый – шестидесятилетний агрессивный “борец за либеральные ценности”, второй – тридцатилетний “добродушный и отзывчивый человек”, критично оценивающий буржуазно-демократические достижения в постсоветской России. Стремление журналистов осуществить профессиональный эксперимент, то есть ради познания жизни “низовой глубинки” стать “бомжами” в другом городе приводит обоих в больницу в качестве пациентов. Только у молодого – Константина Платонова – перелом ноги и сотрясение мозга, а пожилой – Виталий Степанович Бабель – попал в реанимацию с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Но это лишь завязка событий повести.

Спор между Платоновым и Бабелем – это спор между религиозным православно-христианским и скептически-атеистическим мировоззрениями. Решающим аргументом в этом споре становится образ молодой медсестры Марии, много отстрадавшей в недолгой жизни и наделенной духовным состраданием к больным. Чудесные молитвы медсестры-христианки, прозванной в городке “Магдалиной”, помогают многим с небывалой быстротой избавиться от хвори. Испытывают их действие и горе-журналисты.

В повести С. Козлова удивительным образом соединены всепобеждающая сила Христовой любви, поиск человеком истины, своего места в мире с жесточайшей реальностью современной жизни. Но последнее слово остаётся за христианством.

Радует меня как читателя, что произведения многих авторов о современности наполнены пониманием необходимости активного влияния на жизнь и её преобразования, борьбы за народные интересы, верой в победу над тёмными силами.

Христиански осмысленное изображение жизни православных верующих – то, чего, на мой взгляд, не хватает современной литературе. Западное, выхолощено-циничное отражение действительности пелевиных, юзефовичей, аксеновых, рубиных, улицких и других нормальному русскому читателю давно надоело. Эту нехватку заполняют многие авторы “Нашего современника” (А. Байбородин, В. Гофман, С. Козлов, А. Лиханов, Н. Скромный, Б. Шишаев и другие), напоминающие читателям, что русский – значит, православный.

Однако удивляет меня одиночество центральных героев многих произведений. Как правило, это люди без семьи или без детей, а порой и без первого, и без второго (роман А. Воронцова, Б. Шишаева, повесть Ю. Оноприенко, рассказы Д. Ермакова, А Черновой, Т. Соколовой). Часто семья в современных произведениях живет на изломе, разваливается. Изображения полноценной семейной жизни — её красоты, заботы друг о друге и о детях, воспитания детей — просто нет. То ли это не модно, то ли подобный опыт жизни и вовсе отсутствует у авторов, то ли, стремясь отобразить современный развал семьи, писатели забывают, что за критическим отношением к действительности обязательно должен стоять образец, идеал бытия, являющийся основанием критики.

Наверное, кроме рассказов “Командировка” В. Гофмана, “Сказка” Д. Щёлокова, “Телескоп” В. Малькова и ряда эпизодов романов “Слётки” А. Лиханова, “Казачья Засака” В. Пронского и “Время любви” Б. Шишаева, во всех практических произведениях, где затрагивается тема семьи, авторы избегают описания жизни обычных счастливых семей, хороших семейных впечатлений. Неужели срабатывает установка великого русского романиста Льва Толстого: “Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастна по-своему”? Прозаики, словно загипнотизированные, рвутся описывать семьи “несчастные” и “разные”, боясь затронуть жизнь “одинаковых” и “счастливых”. Но разве одинаковость “счастливых” раз и навсегда доказана? Разве правильно при изображении жизни супругов и детей в семье делать акцент на всём изуродованном и разломанном? Что мешает отображению духовно здорового, радостного, светлого бытия семьи, не исключающего естественных вторжений трагедийности жизни? У писателя есть два основных пути преобразования жизни: бичевание пороков при помощи их изображения “во всей красе” и их искоренения прекрасным образом и образцом. Незадолго до смерти в смутном и голодном для его многодетной семьи 1918 году Михаил Меньшиков записал в дневнике: “Мы размазываем в нашем воображении грязь народную вместо того, чтобы смывать её. Общее правило: вода ванны должна быть чище тела, то же и литература: она должна быть чище жизни, чтобы очищать её. Только великие поэты у нас понимали:

*И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и омыт...”*

Как читателя, меня поражает и ещё кое-что. Некоторые авторы как-то слишком быстро, избегая традиционные свадьбу и венчание, стремятся поместить своих молодых и немолодых героев в постель. И главная беда здесь — писательское нежелание замечать грех и его последствия. Неужели для ряда прозаиков, печатающихся в “Нашем современнике”, так называемый “гражданский брак” стал нормой, образцом поведения? Хороший патриотический секспросвет у нас получается... Многому молодежь научим. Понятия “стыд” и “целомудрие” такими авторами практически утрачены, ведь они мешают динамично развернуть любовный сюжет до самой острой и клубничной развязки...

Подводя итоги этого краткого обзора прозы, опубликованной в 2009 году в журнале “Наш современник”, хочу отметить хороший подбор произведений, широту тематики, сочетание авторов молодых и опытных, из столицы и из самых разных уголков России. Налицо тщательная работа редакции, способной из большого потока авторов и произведений современной прозы выбрать наиболее значимое, подчёркивающее многообразие творческих манер, проблематики, жанровых форм в отечественном литературном процессе.

Моё главное впечатление: практически всё, опубликованное в журнале за год, — это добротная традиционная проза, ориентированная не на стилистику “а ля рюс”, а на правдивое отображение русской современной жизни и отечественной истории. В этой прозе нет и намека на заигрывание с читателем, на модные интеллектуальные выкрутасы, на стремление подстроиться под мнение какого-либо жури богатенькой премии. Не секрет, что жури многих “больших” и так называемых “национальных”, а в особенности “букеровских”, премий крайне зависят от мнений людей, дающих деньги. А люди эти “слишком далеки... от народа”, русского народа в особенности.

Журнал делает своё дело, упорно продвигая, в том числе и при помощи новой прозы, идеи и традиции отечественной классики в литературе. И делает его хорошо.

ИРИНА ГРЕЧАНИК

ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ

ФИЛОСОФСКАЯ МЕТАКРИТИКА ЮРИЯ ПАВЛОВА

Ю. М. Павлов. Критика XX–XXI веков: Литературные портреты, статьи, рецензии. М.: Литературная Россия, 2010 г.

При знакомстве с книгой Юрия Павлова и ее ведущими идеями мне вспомнились слова В. В. Розанова: “Достоевского я читал как родного, как своего...”. И дело не столько в полном приятии транслируемых мыслей, сколько в подспудном иррациональном ощущении чего-то выверенного, настоящего – такого, чему сразу даешь право на жизнь, чему потом можно посвятить время, чтобы логически достраивать и “додумывать”, – и, как ни странно, упрямый ум впоследствии всегда подтверждает верность первого спонтанного чувства.

Несмотря на кажущуюся необычность оценок или суждений, на многочисленные утверждения о “спорности” или “ошибочности” взглядов критика мы не найдем ни одного места в его книге, которое подлежало бы дисквалификации за подтасовку фактов или называние “черного” – “белым”. Энциклопедическая точность, быстрота реакции, отсутствие описательности, смелость, редкий дар называть вещи своими именами – без утаиваний и подтекста – вот характеристика “литературного портрета” самого Ю. Павлова. Нелишне будет добавить, что некоторые из упомянутых качеств сегодня считаются мветоном. И так, перед нами настоящий критик – трезво мыслящий, живой, неравнодушный, чутко откликающийся на явления современности, вдумчиво анализирующий факты уходящей действительности.

Заслуга Ю. Павлова и в том, что многие статьи его книги повествуют о ныне действующих литераторах – а всегда трудно писать “о живых”, о тех, кто еще сегодня творит и смотрит тебе в глаза – готовый опровергнуть неосторожное слово или неверную оценку, кто еще не поставил последней точки, кто активно развивается.

Открывается книга интереснейшим и нестандартным размышлением о Василии Розанове, без которого, по слову Ю. Павлова, “любой серьезный разговор о литературе, истории, России немислим”. В связи с именем философа звучат имена Ф. Достоевского, К. Леонтьева, Н. Страхова. Смысловыми точками, задающими линию жизненного и творческого пути автора “Опавших листьев”, становятся религиозно-церковная культура, восприятие личности через Бога, через “культы” семьи, дома, народа, Родины.

Добавляя свои штрихи к портрету В. Кожинова, Ю. Павлов упоминает В. Розанова и М. Бахтина как мыслителей, определивших творческую судьбу Вадима Валериановича, – таким образом, становится понятна логика расположения статей в книге. Несмотря на то, что в основе статьи о В. Кожинове,

по признанию Ю. Павлова, “лоскутное одеяло” из статей и набросков предыдущих лет, обнаруживаем целостный исследовательский пласт. Обращают на себя внимание детали, воспроизводящие обстановку замалчивания 60-летия В. Кожина. Отталкиваясь от них, с уверенностью можно сказать, что автор книги был одним из тех, кто уже в 80-е годы оценил масштаб личности В. Кожина и более того – подтвердил это делом, еще тогда написав первую статью о нем. Рассматривая этапы становления В. Кожина-мыслителя, Ю. Павлов старается подходить к фактам биографии критика непредвзято, затрагивая и “запретные” темы, например, вопрос русско-еврейских отношений. На фоне портрета главного героя – В. Кожина – даны оценки и характеристики многим явлениям литературы, истории и философии.

Статьей о Михаиле Лобанове опрокинуто мнение о том, что в современной критике нет подлинных богатырей, людей, у которых совпадают слово и дело. Ведущий идеолог “русской партии”, М. Лобанов через свою личную творческую судьбу пронес чувство сопричастности судьбе народной, религиозно-духовное восприятие мира. Это отчетливо просматривается в сравнениях с современниками. Мера, которую меряют события, людей, собственную жизнь М. Лобанов и, например, Ст. Рассадин, – разная, и для каждого она в той или иной степени определяет их личную судьбу. В этом легко убедиться. Принцип “писать с любовью” воплотился во всех работах М. Лобанова, “не покидавшего передовую” отечественной литературы, – не случайно статья Ю. Павлова продолжает этот принцип, только уже применительно к самому М. Лобанову.

Образцом принципиального подхода к фактам литературы служит статья Ю. Павлова, анализирующая размышления одного “эстетствующего интеллигента” о В. Маяковском. Те самые розановские “мелочи”, из которых складывается целое, позволяют читателю составить “общее представление о времени, Маяковском, о многом и многих”. Хлестаковскому подходу к оценкам русской литературы, “сарновской “лапше” Ю. Павлов противопоставляет работы В. Дядичева и других честных и непредвзятых исследователей.

Прослеживая творческий путь “одного из лучших критиков второй половины XX века”, И. Золотусского, Ю. Павлов попутно затрагивает проблемы сути критики, ее разновидностей, свободы и самостоятельности мысли. Отмечая колоссальную работоспособность и весомый вклад И. Золотусского в историю русской критики, Ю. Павлов поверяет работы мыслителя временем, отмечая несомненные заслуги автора книги о Гоголе, его смелые, точные высказывания о литературе в многочисленных статьях, однако приводит и некоторые суждения критика о политических и культурных деятелях XX века, вызывающие принципиальное несогласие. На поставленные вопросы Ю. Павлов дает собственные аргументированные ответы, предвидя, впрочем, что они вызовут отрицательную реакцию как И. Золотусского, так и многих других.

Сквозь разговор о веке XX в книге проступают голоса из XIX века: К. Аксакова, А. Хомякова, Н. Страхова и других, – “услышанность” которых стремится усилить Ю. Павлов. Так, например, суждения В. Лакшина о воле и неволе, применительно к “лагерной прозе”, проходят “проверку” мыслями К. Аксакова, изложенными в статье “Рабство и свобода”, а в целом творчество потенциального преемника А. Твардовского на посту главного редактора “Нового мира” – отношением к народу, русской литературе и истории. В отличие от тех, для кого В. Лакшин остался вечно “левым”, Ю. Павлов сумел увидеть свидетельства “поправения” критика на краю земной жизни. Интересно сравнение творческого пути В. Лакшина с линией развития мировоззрения В. Белинского, которого друзья-западники перед смертью упрекали в “тайном славянофильстве”. Такая чуткость к твоим работам – редкий подарок, выпадающий не всякому литературному критику. В связи со сказанным хочется привести одно из признаний автора книги: “Я 20 лет пишу преимущественно “в стол”...”. Будет ли прочитан Ю. Павлов – критик и литературовед, – столь внимательный к чужим книгам?

В статье о Ю. Селезневе – одном из самых заметных критиков 70–80-х гг. XX века, – Ю. Павлов выдвигает на первый план “незаметные” или искаженные страницы его творческой биографии, во-первых, подчеркивая, что еще в годы обучения на историко-филологическом факультете Краснодарского пединститута Юрий Иванович “выделялся среди студентов обширнейшими и разносторонними знаниями, полемическим даром”; во-вторых, отмечая,

что вся последующая литературная деятельность могла взойти только на “краснодарской почве”; в-третьих, обозначая большую положительную роль В. Кожина в судьбе критика; в-четвертых (а по смысловому наполнению – во-первых), справедливо утверждая, что в критических статьях, книгах, на посту редактора серии “ЖЗЛ”, на путях к постижению Ф. Достоевского и всей русской литературы Ю. Селезнев был настоящим подвижником, человеком принципиальной честности и колоссальной работоспособности. Рассматривая отношение к Ю. Селезневу, выразившееся в мемуарах и статьях современников, Ю. Павлов выделяет высказывания Ю. Лошица, А. Казинцева, точно уловивших сущность этого “витязя, русского защитника, заступника” и указывает на фактографические неточности, неувязки в статьях и мемуарах А. Разумихина и С. Викулова.

Создавая литературно-критические портреты, Ю. Павлов всегда обращается “к истокам” личности – выявляет скрытые или явные причины, заставившие критика вступить на тот или иной путь. По такому же принципу создан образ “ударника критического труда” В. Бондаренко. Критик, побиваемый своими и чужими за широту взглядов, за обращение к крамольным именам из “чужого” лагеря был пронизательно назван “врачевателем любовью” за попытки найти родственные души и тягу к свету в тех, кого давно зачислили в “литературные тролли”. И пусть с иронией говорит Ю. Павлов о необходимости литературной “порки”, “размазывания”, “убивания” – в действительности он совершает обратное: возрождает, защищает и обеляет незаслуженно очерненное.

Литературный портрет А. Казинцева отражает многочисленные грани внутреннего мира этого незаурядного мыслителя, назвавшего критику “искусством понимания”, и является не только ответом А. Немзеру, С. Чупринину и другим “принципиально неадекватным” в оценке А. Казинцева, но и еще одним точным штрихом в исследовании литературного процесса, утверждающим художественность, не замутненную социальностью, не искореженную перекосом в сторону формализма. Осмысливая различные рассуждения А. Казинцева о тех или иных авторах, Ю. Павлов вычленяет единый закономерный критерий, применимый к отечественной литературе – “русская матрица”. Вне ее оказываются национальный эгоцентризм В. Гроссмана, видящего в истории первой половины XX века, переполненной трагедиями разных народов, исключительно еврейскую трагедию; “игра на понижение” и искусственность творчества В. Маканина последних десятилетий; “новая мифология” А. Вознесенского, Е. Евтушенко, А. Рыбакова, В. Войновича, В. Аксенова, И. Бродского, А. Дементьева и др. Возвращение в лоно критики сегодняшнего публициста А. Казинцева – надежда Ю. Павлова, которую, возможно, не оставит без внимания герой его статьи.

Уважением к таланту и преданности русскому делу проникнут портрет Сергея Куняева, посвятившего свою литературную судьбу восстановлению истинной истории русской литературы XX века. Серьезная работа в архивах легла в основу уникальных материалов, переворачивающих штампованные версии событий 1920-х – 30-х гг. Открытие имен Павла Васильева, Алексея Ганина, Пимена Карпова, Василия Наседкина и др., максимально приближенная к реальности история жизни и смерти С. Есенина, точные оценки творчества Н. Тряпкина, В. Крупина, Л. Бородина, В. Галактионовой, немедленные отклики на явления современности – это и многое другое, выходящее из-под пера Сергея Куняева, вместили страницы “Нашего современника” и других изданий. Верным служителем отечественной литературе, “русскому делу” с “редкой для нашего времени верой в Слово и Человека” вырастает перед нами фигура С. Куняева. И становится очевидной неизбежность перемен, вызванных его подвижнической деятельностью.

О катастрофическом положении современного есениноведения, идеологических перекосах, небрежности и намеренных искажениях творческого пути одного из самых любимых русских поэтов говорит Ю. Павлов в статье “Есениноведение сегодня”. Несмотря на весь абсурд пародийно-уничтожительной гиппиусовской формулы “Пил, дрался – заскучал – повесился”, многочисленные “воспоминания” и литературоведческие изыски воспроизводят именно эту издевательскую схему, умножающую на ноль наследие русского гения. Рассматривая вопросы тайны смерти С. Есенина, об отношении поэта к России, к политике, к существующей власти, критик приводит примеры иног –

философско-метафизического, православного подхода, осуществленного в работах Ст. и С. Куняевых, Ю. Мамлеева, М. Нике, Ю. Сохрякова, Н. Зуева, А. Гулина и др., способных служить образцом лучших традиций отечественной мысли.

В статье “Дмитрий Быков: Чичиков и Коробочка в одном флаконе” подчеркивается “шестидесятничество” автора книги о Пастернаке. Ю. Павлов дает исчерпывающе точные характеристики как “зеркалам” Бориса Пастернака – М. Цветаевой, А. Блоку, В. Маяковскому, А. Вознесенскому, так и его героям – Юрию Живаго, в первую очередь.

На примерах многочисленных фактографических, логических и прочих ошибок Ю. Павлов вскрывает “фантазийную основу” суждений Дмитрия Быкова и его “ПТУшный уровень” знания литературы. Критик защищает от комментариев Быкова “одного из самых достойных государственных мужей России XIX века” – Константина Победоносцева, напоминая, что за время его правления число церковных школ в России увеличилось с 73 до 43 696, а количество обучающихся в них выросло в 136 раз; Ю. Павлов указывает на забытое сегодня, а именно: то, что Обер-прокурор Святейшего Синода уже в свое время точно определил суть либеральной демократии.

Надо сказать, что в отличие от остальных критиков, получивших в книге “Критика XX–XXI вв.” по одному литературному портрету, премированный “трудоголик” Дмитрий Быков, вероятно, сообразно объему написанных им за довольно короткий период “кирпичей”, посвященных кумирам интеллигенции – Б. Пастернаку и Б. Окуджаве, – оказывается в центре сразу двух статей Ю. Павлова. Нетрудно понять, что импульсом к созданию этих работ послужило возмущенное “не могу молчать” – как реакция на искажение ценностей отечественной литературы, на искажение фактов русской истории.

В статье “Дискуссия “Классика и мы”: тридцать лет спустя” Ю. Павлов призывает видеть в классике не “критический-критикующий” реализм, а “духовную реальность”, напоминая о завете М. Лобанова постигать литературу через высшие устремления души, искать “не обличение, а (...) глубину духовно-нравственных исканий, жажду истины и вечных ценностей”. На красноречивых примерах творчества Э. Багрицкого, В. Маяковского, Вс. Мейерхольда, Д. Самойлова автор статьи проводит мысль о том, что и более чем через тридцать лет не утрачивают своей значимости высказывания Ст. Куняева, М. Лобанова, С. Ломинадзе, И. Роднянской; что, формально завершившись 21 декабря 1977 года, дискуссия о классике и о русской литературе продолжается и не может быть окончена, поскольку мир между “завоевателями”, “маркитантами” и защитниками духовного наследия отечественной культуры невозможен.

Троящаяся личность А. Твардовского вырастает сквозь призму реалий того времени, в преломлении воспоминаний В. А. и О. А. Твардовских, статьи В. Огрызко. Ю. Павлов комментирует разночтения и дает ответы на спорные вопросы, возникающие при обращении к фигуре бывшего редактора “Нового мира”. Автор “Страны Муравии”, помещенный в один ряд с создателями “Погорельщины”, “Котлована”, “Истории дурака” заметно проигрывает и в смелости, на которой настаивают В. А. и О. А. Твардовские, и в объективности, о чем свидетельствует в конце жизни сам А. Т. Твардовский. Снимаются и другие наслоения румян, “высокие скороговорки”, адресованные редактору новомировской вотчины. В этом приходят на помощь “Рабочие тетради” А. Твардовского и проверенные по разным источникам свидетельства современников.

Отклик Ю. Павлова на книгу В. Пьецуха “Русская тема” носит подзаголовок “Сборник мерзких анекдотов”. Книга видится критику очередным звеном в дискуссии о классике, заново вспыхнувшей в последнее десятилетие, очередным залпом, дискредитирующим лучших представителей русской литературы. Пафос рецензии Ю. Павлова на В. Пьецуха напоминает пафос И. Ильина, защищающего А. Пушкина от желающих узреть его “малость и мерзость”, свести жизнь гения к серии анекдотов. А еще возникает в памяти ответное слово А. Синявскому Р. Гуля “Прогулки хама с Пушкиным” – такое же протестное слово тем, в ком неукротима тяга увидеть в русской жизни не поэзию, а уродство, предмет для насмешек, “тзму египетскую”. В каком-то смысле книга Пьецуха и есть “прогулка хама по садам российской словесности”, хама, пытающегося насадить мифы о всеобщей нелюбви к Достоев-

скому, о есенинской страсти к самоубийству, о подпольно-антисоветском “колобке”–Пришвине. И снова, как в случаях с Б. Сарновым, Д. Быковым, вскрыты Ю. Павловым предсказуемые русофобские схемы, вопиющие неточности, вольные интерпретации, преподнесенные “глупо, бесчестно, непрофессионально”, без всякого серьезного обращения к художественным текстам. Не без иронии замечает критик, что разницы между условным “убогим”, играющим, прикидывающимся Пьецухом в маске и Пьецухом–”просвещенным” автором совершенно не ощущается.

Противоречивое отношение к учебнику М. Голубкова “История русской литературной критики XX века” высказано Ю. Павловым в рецензии с подзаголовком “Удачная неудача”. Озвучивая единственную относительную удачу этой неудачной книги, Павлов делает попытку “выправить” воссозданный М. Голубковым литературный процесс 1960–1970-х гг., добавляя недостающие штрихи и линии, недостающие имена, устраняя фактические ошибки, очевидные алогизмы, и отказывается от дальнейшего подробного разбора учебника ввиду несоответствия его ни заявленному разделу литературоведения (учитывая различия между историей критики и историей литературы), ни необходимой научной кондиции.

Герои книги, “живущие” в разных статьях, будто бы связаны между собой незримыми нитями. То там, то здесь возникают В. Розанов, В. Кожин, Ст. Куняев, С. Куняев, М. Лобанов, В. Бондаренко и др. в связи с тем или иным явлением, с той или иной фигурой. Это говорит о целостности литературного пласта русской критики, взятого Ю. Павловым и помещенного под одну обложку. Фактически, он и сам – один из тех, кто определяет литературный процесс сегодня. По ссылкам на различные статьи, книги, прочие источники, приводимым Ю. Павловым в качестве иллюстраций к различным темам, можно изучить не только историю критики, но и историю русской литературы XX века. Это чтение наполняет энергией, дает духовный заряд, просветляет душу и приводит в порядок мысли, учит культуре литературно-критического мышления и вдохновляет на занятия критикой.

Каждая статья Ю. Павлова – миниатюрная диссертация, обоснованное и фактоемкое полноценное исследование, в сжатом виде представляющее итог большой работы – глубокого и серьезного проникновения в тему. Сейчас подобные системные и качественные исследования встречаются не во всяких диссертациях. Такая книга – приговор тем критикам, которые строят свои доказательства на одной цитате и ловле “словесных блох” в текстах коллег. Если использовать классификацию И. Золотусского, то метакритику Ю. Павлова можно отнести к философской. Тем, кто говорит о критике как о вторичных проявлениях, исходящих от неудавшихся писателей, можно предъявить книгу “Критика XX–XXI веков”, в которой есть подлинная философия, подлинная литература, ответы на важнейшие вопросы и требования современной русской жизни.

Упомянутые в книге В. Кожин и А. Твардовский считали критический дар более редким, нежели писательский. И сегодня, когда доля книг, посвященных русской критике, по отношению к колоссальному потоку прозы вероятно мала, мы отмечаем выход книги Ю. Павлова “Критика XX–XXI веков: Литературные портреты, статьи, рецензии” как значительную веху современного литературного процесса. Эта книга – ответ на вопрос: что получится, если быть критиком-профессионалом и в применении своих принципов руководствоваться не полумерами и соображениями минутного удобства, не боязнь непонимания или привычными стереотипами, а быть честным и последовательным до конца, оставаясь самим собой.

МАРИНА ПЕТРОВА

“ПЕВЕЦ ПРОСТОРОВ И СВЕТА...”

(К 100-летию кончины А. И. Куинджи)

Архип Иванович КУИНДЖИ по всем статьям был человек оригинальный. Сразу бросалась в глаза необычность его внешнего облика, отличавшегося странным, несоразмерным сочетанием его “прекрасной, благородной головы на очень некрасивом, но крепко сколоченном теле без шеи, с короткими кривыми ногами” (1). Оригинальной была и его речь, растянутая, медлительная, где паузы перемежались с бесчисленными “ну то... это...” (2). А между тем сквозь эту речь, угловатую, в чем-то даже косную, в которой не хватало порой слов для выражения мысли, так и сквозила “страстность и горячность” (3) его натуры. Он был от природы мягким человеком, с нежной душой, способной откликнуться на чужое страдание. И в то же время в нем вдруг пробуждалась бурная энергия, когда речь заходила о его художественных принципах и убеждениях, которые он отстаивал властно, твердо и непримиримо. Будучи уже известным художником, чьи произведения были нарасхват, скопив миллионный капитал, жил он более чем скромно, буквально на 50 коп. в день, но считал: “Это вот так, чтоб денег много было и их дать тем, кто нуждается, кто болен, кто учиться хочет” (4). Ему, родившемуся в семье сапожника, очень рано вкусившему и сиротство, и нищету, пробывавшему и в жизни, и в искусстве без всякой поддержки, были, может быть, больше, чем кому-либо, понятны те жизненные трудности, с которыми сталкивается молодое дарование, и на преодоление которых уходит столько физических и душевных сил. Отсюда это стремление помочь, создать условия для естественного и полноценного развития таланта. Потому, будучи с 1894 г. профессором Академии художеств, он на собственные деньги отправлял сво-



А. И. Куинджи. Фото. 1905 г.

их учеников и на курорты, кто слаб здоровьем, и за границу для ознакомления с классическим и современным европейским искусством. Наконец, он вносит в Академию художеств в качестве основного капитала 100 000 руб. “с тем, чтобы проценты с них шли на уплату премий за лучшие ученические работы” (5). И объяснял все это очень просто: “С детства привык, что я сильнее и помогать должен” (6). Вот уж поистине, “где сокровище Ваше, там и сердце Ваше...”.

Ну и, конечно, более чем оригинальным было само его творчество, развивавшееся не на основе полученного системного профессионального образования, а на почве каких-то своих ощущений, интуиции, своего обостренного от природы чувства цвета, способности видеть его малейшие градации, нюансы, которыми будет так богата живопись Куинджи.

В Третьяковской галерее картин этого замечательного художника не так уж много, но зато в свое время каждая из них, появившись на очередной передвижной выставке, сразу становилась событием в художественной жизни обеих столиц. Являясь подлинной жемчужиной галерейного собрания, коллекция произведений Куинджи, созданных в 1870-е – начале 80-х годов, охватывает, за некоторым исключением, ранний период его творчества. Тем не менее она дает достаточное представление о своеобразии творческого пути мастера, его поисках и новациях, его откровениях в искусстве. К слову сказать, периодизация творчества Куинджи достаточно условна и определяется не столько ростом мастерства, его совершенствованием, сколько внешними обстоятельствами, весьма существенно скорректировавшими жизнь художника.

Грек, родившийся в 1842 г. в деревне под Мариуполем, он впитал в себя жаркое дыхание южной природы, богатство ее красок, густых, насыщенных, блистающих в ярких лучах полуденного солнца. И потому не случайно для Куинджи свет – не просто фиксация того или иного времени суток, но – условие бытия цвета. Свет для него – будь то солнечный или даже лунный – своеобразная палитра, на которой только и оживает цвет, выявляя каждый раз богатство, многообразие всё новых своих оттенков, звучности и состояний.

Правда, в Академию художеств, хоть и с третьей попытки, Куинджи все же поступил, но проучился недолго, дойдя лишь до натурального класса. Одна из причин – общее критическое отношение к Академии, которую нещадно ругали на всех перекрестках за ее рутинность, ложноклассические идеалы, ее отрыв от современности и национальной тематики. При этом в общем потоке уничтожающей критики никто не вспомнил о прочной художественной школе, которую давала Академия, к тому же воспитывая в своих питомцах мыслящую личность, почему русское классическое искусство всегда находилось в прямом диалоге со своим временем. А другая причина, не менее существенная, – природа самого Куинджи, его творческая энергия, переполняющая, бьющая через край. Эта мощная стихия не умещалась в академические рамки, не вписывалась в строгий распорядок последовательного, скрупулезного освоения профессиональной грамоты. Недаром современники называли его “гениальным дикарем, не признающим никаких традиций” (7). Получив звание некласного художника – самого низшего, которое давалось всем тем, кто не прошел полного курса обучения и не писал “программу” на медаль, Куинджи покидает Академию. И хотя он как-то сразу, можно сказать, с первых шагов очень громко заявляет о себе как художник, по словам Крамского, “интересный, новый, оригинальный” (8), тем не менее практически все исследователи творчества Куинджи единодушно отмечают, особенно в ранних работах, его слабый рисунок. Но вместе с тем этот серьезный художественный недочет не бросается так прямо в глаза. Его как-то и не замечаешь, подпадая сразу же под необычайное эмоциональное воздействие его живописных образов, в которых одновременно и почти вселенский масштаб, и тонкая поэзия, и возвышенная красота.

Куинджи вступает на самостоятельный творческий путь, когда ему уже под 30, – довольно поздно, по сравнению с Саврасовым, Шишкиным и др., чьи имена в этом возрасте были уже на слуху. И не только потому, что их произведения радовали глаз, а потому, что они принесли с собой новое понимание, новое отношение к пейзажной живописи. Их произведения, пронизанные мыслями, чувствами, состоянием художника, рождались как откровение души. Отсюда эта доверительная интонация русского пейзажа, его исповедальность. Отсюда же заявленная его самоценность как самостоятельного жанра и

потому сознательное отстаивание его права и места в общей иерархии искусств. В связи с этим рубеж 60–70-х годов – крайне важный период в истории становления самого жанра, образный строй которого, рожденный поначалу впечатлением от увиденного, все более и более преобразуется в образ-настроение, а затем и



На острове Валааме. Х.м.1873. ГТГ

образ-состояние, обогащенный личными переживаниями самого художника, определяя внутренний масштаб пейзажа-картины. И молодой Куинджи как-то очень быстро проходит эту “науку”, приобщаясь к новейшим достижениям в ней. Даже в самых ранних его полотнах, как, например, “На острове Валааме” (1873, ГТГ), нет присущей начинающим художникам неуверенности и в выборе натуры, и в компоновке, и в колористическом решении. Как опытный художник, он знает, чего он хочет, чего добивается, к какой цели стремится. Более того, здесь уже довольно ощутимо его стремление к передаче глубинности пространства, его огромности, масштабности, что будет столь характерно для зрелого Куинджи. И вместе с тем – внимательное отношение к природе, пристальное всматривание в нее. В отличие от Саврасова, воспевавшего природу в ее переменчивости, или Шишкина, в пейзажных образах которого природа предстала как раз в своем постоянстве, молодой Куинджи, напротив, абсолютно в духе времени еще воспринимает ее как жизнь в борьбе, как извечное противостояние столь разных и столь мощных сил.

Болотная тина приблизилась к берегу и уже наползает на него, стремясь завладеть этим новым обширным жизненным пространством. Но чудом пробившиеся из скальной породы березы отстаивают свое право на жизнь. А на дальнем плане поднялся дремучий, непроходимый лес, вставший сплошной черной стеной во свидетельство той силы, с которой берег отстоял свою независимость от болота, не дал размыться, разорвать скалистый берег, хотя и изъеденный трещинами и разломами. Их сумбурный ритм – как отражение этой борьбы, жертвой которой стала павшая, словно подкошенная, береза. Пастозный и вместе с тем сочный, цветоносный мазок в живописи скальной породы тут же перебивается едва намечаемыми желтыми мазками неброских, скромных цветов, пробившихся в хаотическом ритме, как своеобразная пульсация жизни, борющаяся за самое существование свое. Усугубляя этот беспорядочный ритм, пишет художник болотные заросли, камыши, согнувшиеся под холодным северным ветром, а кое-где сломавшиеся, не выдержав его силы и натиска. Густая мрачная синева неба непроницаемой чернотой отражается в темных водах болота. Казалось бы, обыденный, ничем особо не примечательный мотив, но художник придает ему особый масштаб, в котором обыкновенное, повседневное воспринимается не как простое явление природы, но как ее внутренняя жизнь. В дальнейшем эта жизнь стихий, как главный предмет изображения, и станет отличительной чертой искусства Куинджи.

Вместе с тем в ранних произведениях мастера, созданных в самом начале 1870-х годов – в эпоху процветания критического реализма с его стремлением к социальной заостренности образа, палитра молодого художника еще достаточно сдержанна, порой даже аскетична, а избранные им мотивы – будничные, серые, полные тоски и безысходности. Даже сами названия картин этого периода – “Осенняя распутица” (1870, ГРМ), “Забывтая деревня” (1874, ГТГ), “Чумацкий тракт” (1875, ГТГ), – усиливают эту грустную, печальную ноту повествования. И в этом смысле они довольно органично вписывались в общую критическую направленность искусства того времени. За картину “Осенняя распутица” Академия даже присвоила ее автору в 1872 г. звание классного художника 3-й степени. Правда, в тогдашней прессе она была отмечена исключительно как “самобытная вещь, обнаруживающая большое чу-

тье к явлениям северной природы” (9). Иначе восприняли творчество Куинджи тех лет передвижники, которым был необычайно близок его страдательный пафос. Потому и предоставили молодому художнику в 1874 г. возможность участвовать на выставках Товарищества, на которых Куинджи дебютировал созданной в том же году картиной “Забытая деревня”. В ней, пожалуй, сильнее всего, по сравнению с другими его работами, и выражен этот обличительный дух, которым была пронизана идеология передвижничества.



Забытая деревня. Х.м. 1874. ГТГ

Художник пишет по-осеннему пасмурный день, красно-бурую, проржавевшую, словно от истощения землю, глухие, темно-коричневые силуэты покосившихся домов под соломенной, полусгнившей крышей. К одному из них бредет тощая корова и виднеющаяся невдалеке одинокая фигура человека, растворившаяся словно тень в вечернем сумраке. Над нищенской безлюдной деревней зависло затянутое облаками небо, будто впитавшее в себя эту “ржавчину”, исходящую от земли и пропитавшую собой, кажется, и сам воздух, которым дышит эта деревенька, живущая заурывной, безрадостной жизнью. Даже небесная голубизна, засветившаяся было на горизонте, тут же поблекла, подернутая серой пеленой клубящихся облаков, привнося в атмосферу картины ощущение какой-то безнадежности, неизбывности. И эта беспросветность как печать судьбы на неприкаянной, забытой Богом и людьми деревне, потерянной в огромном пространстве жизни. Даже дорога обходит ее стороной, как символ разорвавшейся связи с большим миром, который где-то там, далеко, неизвестно где.

Наряду с другими работами, созданными в эти годы, “Забытая деревня” сыграет свою немаловажную роль в том, что уже через год Куинджи будет принят в Товарищество передвижников.

Как известно, в силу идеологической направленности искусства передвижничества, развернутого к повседневности, реалиям окружающей действительности, бытовизм со всей его откровенной правдой, будничностью, неприглядностью оказывается в центре художественного внимания. Именно поэтому, встречая живой отклик у публики, особенно демократически настроенной, начинает очень быстро набирать силу “жанр” как таковой. И уже вскоре он становится не только, пожалуй, самым популярным среди других направлений в искусстве, но и начинает оказывать на них свое непосредственное влияние. Не стала исключением и пейзажная живопись. Уже в произведениях А. Саврасова, а чуть позже у Шишкина и др. появляются в пейзаже разные по характеру сценки из бытовой жизни. Правда, не будучи главным “действующим лицом” в композиции, они, соподчиненные пейзажу-настроению, тем не менее влияли в известной степени и на стилистику художественного повествования, и на его образный настрой. В конечном итоге именно в эти годы появляется качественно новое явление под названием пейзажно-бытовой жанр, в котором природа и разворачивающееся в ней действие живут как бы в унисон, дополняя друг друга, что, в свою очередь, определялось и художественной задачей, и идейной направленностью самого произведения. Последнее, разумеется, играло решающую роль. В этом смысле картины Куинджи начала 70-х годов не только не выпадали из общей художественной тенденции, но даже обуславливались ею.

И все же социально-ориентированная живопись, сосредоточенная на обличении общественных язв, на серых, тоскливых буднях, сужала жизненные рамки искусства, сдерживала тем самым выход на другие темы, на решение других художественных задач. Монотонность и однообразие жизни с ее убогостью, безрадостностью и царящим в ней злом находило выражение в соответствующем колорите, столь же мрачном и унылом. Такая картина бытия,

протокольная и прозаическая, подавляла присущее искусству эстетическое видение мира, закрывала возможность отражения в поэтических образах красочного многообразия природы, богатства форм ее самопроявления. Иными словами, все более и более начинает ощущаться



Украинская ночь. Х.м. 1876. ГТГ

узость рамок народной эстетики, в основе которой исключительно — простота, обыденность и национальность сюжета. Тому в немалой степени способствовало изменение и общественных настроений, вызвавших, как справедливо отмечает Ю. С. Манин, “переориентацию народнического движения, сменившего бунтарские призывы к переустройству общества, на мирное хождение в народ” (10). И то, что еще вчера было столь популярно у публики, столь привлекательно в среде самих передвижников, начинает постепенно выявлять свою ограниченность, почему многие “птенцы гнезда Крамского” пытаются искать себя в других художественных сферах, позволяющих более полно выявить свои возможности, реализовать творческий потенциал.

В 1875–1876 годах появляются, казалось бы, совершенно разные работы Куинджи: “Степь” (Ярославский художественный музей), в которой впервые царит яркий солнечный свет, словно вырвавшийся на волю из беспросветной серой мглы, и “Украинская ночь” (ГТГ), название которой говорит само за себя. День и ночь, свет и тьма — взаимоисключающие мотивы. Между тем именно этими произведениями художник заявлял о направленности своего искусства, главным героем которого отныне станет стихия света, представленного в самых разных своих ипостасях: солнечной, лунной, закатной или даже радужной.

В картине “Украинская ночь” (1876) художник, сохраняя верность реалиям природы, прописывает темной синевой небо. Но и живопись земли также пронизана этой синевой, в которой растворилась зелень деревьев и трав. Укрывая мир ночным покровом, художник наполняет атмосферу картины покоем и тишиной. Но сквозь этот ночной покров земли прорывается освещенная лунным светом дорога, идущая вдоль склона холма. Окаймляя его справа, она бежит дальше, вглубь, но при этом продолжая свое ритмическое восхождение. Тонально соединены с дорогой и белые хатки на его вершине, впитавшие в себя ночные тени, пропущенные сквозь лунный свет, источник которого нам не виден. Лунный свет словно завораживает художника своим действием на цвет, на фактуру, на форму. И хотя свет не конструирует ее, да и в дальнейшем этот аспект будет мало интересовать художника, но уже здесь проявилось какое-то особое внимание к свету, его воздействию на представление об окружающем мире. И в этой картине ему важен свет, который и в ночи не пропадает, но под влиянием которого природа открывается нам наново. Привычное днем, обретает в ночи какую-то свою новую жизнь. Именно это и интересует художника: изменение мира и нашего восприятия его в зависимости от характера светила. В картине “Украинская ночь” какой-то особый тон — мягкий, теплый, своя фактура письма — матовая, бархатистая. И хотя художник сохраняет естественный контраст светлого и темного, но не обостряет его, а как бы сглаживает теплым тоном живопись мазанок. Они в картине — то ли мистические глаза ночи, которыми она всматривается в мир, погруженный в сон, то ли призрачное видение в этом сне. И в этой работе точно так же, как и в предыдущих, присутствует тот масштаб, которым художник будет измерять изображаемый им мир, огромный, бескрайний. Типичный украинский хутор, он точно так же, как забытая деревня, кажется затерявшимся в этом огромном пространстве, выстроенном новым для Куинджи членением планов: не один за другим, но в восходящей ритмике: один над другим. Взгляд недолго задерживается на неширокой реке первого плана, а сразу же перекидывается на ее противоположный берег. Подхваченный здесь высоким камышом, он

и на втором плане продолжает свое движение по восходящей и опирается в хутор, расположенный на самой вершине холма. А третьего плана как бы нет, там – непостижимая глубина, бездна, там – небеса. “Украинская ночь” занимает свое, очень важное место в эволюции творчества художника, выявляя, кроме всего прочего, его потенциальное стремление осваивать пространство не только через постижение его глубины, но и объемности. А в дальнейшем такая выстроенность планов по вертикали позволит художнику привнести в его композиции совершенно иной настрой. По своему характеру он будет гораздо ближе самой природе мировосприятия художника, способствуя ее более точному и более полному выражению.

Уже в этих ранних работах проявилась отличительная особенность искусства Куинджи, его содержательная основа, в которой два начала: земля и небо. Их стихия и определит в конечном счете все тематическое разнообразие его полотен: будь то “Радуги”, озарившие послегрозовое небо, или зимние пейзажи с удивительной игрой света, или его многочисленные “Березовые рощи”, предстающие каждый раз, в зависимости от времени суток, в своем новом световом облачении, или мощные громады Кавказских гор, по-разному днем и ночью выявляющие свою величественную красоту, или вечерние закаты, полыхнувшие на небосклоне. Но независимо от того, про что будут пейзажи зрелого Куинджи, их главные герои: земля и небо уже не будут, как раньше, активно противостоять друг другу. Художника будет интересовать уже не борьба этих мощных стихий, а их взаимовлияние, взаимодействие, в которых развивается жизнь природы как гармоничного, целостного, огромного мироздания. Так изначально заявила о себе особенность поэтических пейзажных образов Куинджи – их монументальность.

В 1878 г. за картины “Вид на о. Валааме”, “Степь”, “Чумацкий тракт” и “Украинская ночь” Академия художеств присудила Куинджи звание классного художника 1-й степени, тем самым признав высокий уровень и его профессионализма, и мастерства. Вместе с тем само присвоение столь высокого звания как бы подытожило ранний период его творчества. Зрелый Куинджи не только развивает идеи, заявленные о себе в начале творческого пути, но и идет дальше. Недаром А. Н. Бенуа назвал его “великим и вечным искателем новых колористических задач” (11). Но сам поиск им “новых колористических задач” все же не был самоцелью, хотя современники порой и упрекали Куинджи в увлечении световыми эффектами, видя в этом даже его “действительное призвание” (12). В отличие от Бенуа, гораздо более проникательным оказался И. Н. Крамской, считавший Куинджи “человеком глубоким, увлекательным... Он всегда идет вглубь, до бесконечности”, – писал он в одном из писем Репину (13).

Много позже, став уже профессором Академии, Куинджи не раз повторял своим ученикам: “Художник есть тот, кто умеет уловить и воссоздать ВНУТРИСЕРИЙНОЕ, единое, – ту жизнь и тот смысл жизни, которые как бы рассыпаны в частностях, раздроблены в них...” (14). Следовательно, и постижение “внутреннего”, и осмысление его было для Куинджи столь же значимо, как и его художественное воплощение. Именно поэтому для него пейзаж никогда не был портретом с природы, к чему усиленно призывал, в частности, Стасов. Недаром Куинджи не уставал повторять: “Надо уметь выстрадать картину” (15). И хотя он считал, что “вся окружающая действительность, за небольшим исключением, может быть объектом художественного творчества” (16), тем не менее свою задачу пейзажиста понимал не узко, не как протокольное списывание природы, а гораздо шире: и мысль, и образ должны быть выношены, “выстраданы” художником.

В 1879 г. Куинджи создает сразу три полотна: “После дождя”, “Березовая роща” и “Север” (все три – в ГТГ). При всем тематическом и даже стилистическом разнообразии они отличаются все же единым духом миросозерцания.

Картина “После дождя” на первый взгляд воспринимается еще как своего рода отголосок раннего Куинджи с присущим ему тогда несколько романтическим восприятием мира как противоборства стихий. Но это темное, беспроекторное небо, тяжело нависшее над землей, не воспринимается как предвестник надвигающихся каких-то страшных, трагических катаклизмов. Художник сознательно снимает этот присущий романтизму патетический пафос, передавая совершенно конкретное, реальное состояние природы, когда одна грозная волна отошла, а вторая уже здесь, грозя залить эти холмы и

долы новым проливным дождем. Рваные, грязные облака в вихревом потоке наглухо закрыли, кажется, всё небо, погасили большей частью яркую зелень травы, подавили черными тенями заболоченную речку, заросшую тростником. Но проявившиеся светотеневые контрасты интересны художнику уже не как способ обострить атмосферу. И потому сами эти кон-



После дождя. Х.м. 1879. ГТГ

трасты здесь уже не самодовлеющи и в этом смысле не первостепенны для художника. И хотя переданное общее состояние природы вызвано скорее надвигающейся грозой, но предпосланное название картины свидетельствует о совершенно иной задаче, которую решает здесь художник. Прорвавшийся сквозь грозовое небо солнечный луч, падающий откуда-то слева, оживил и луг с пасущейся лошадью, и холм с жилыми и хозяйственными постройками. И этот едва пробившийся свет, хоть еще робкий, не яркий, и эта лошадь, что мирно, неторопливо щиплет траву, и посвежевшая после дождя земля, засиявшая чистотой своего обновленного зеленого покрова, приносят в атмосферу картины ощущение покоя и даже тишины, подавляя возникшее было чувство тревоги, обостренное напряженным светотеневым контрастом. “После дождя” – пожалуй, первое произведение Куинджи, где свет наделяется силой, способной противостоять тьме, что и приподнимает образ над обыденностью, будничной повседневностью, тем самым выявляя позитивное, жизнеутверждающее начало искусства художника. Вместе с тем этот мало примечательный вид, в котором и глазу зацепиться-то не за что, оказался способным вместить в себя масштаб мировидения Куинджи, для которого бытие природы – в ее постоянном обновлении, движении, развитии, что и составляет “смысл жизни”. Отсюда этот обостренный интерес к свету. Не к световым эффектам с их декоративностью, а именно к свету, под воздействием которого раскрывается красота и богатство красок в природе, их цветоносность. Жизнь цвета в свете начинает занимать Куинджи больше всего, определив в конечном итоге отличительную особенность его искусства.

Одно из самых известных полотен Куинджи – “Березовая роща”. Но к окончательному варианту художник пришел не сразу, постепенно освобождаясь от дробности, детализации, нарочитой цветовой насыщенности, рельефности пастозного письма. Умеряя свой живописный темперамент, художник постепенно отходит от первоначального замысла, порожденного впечатлением от поразившего его вида, в котором солнце как бы забавляется игрой света: то ослабляя, то обостряя контрасты, то растворяя в его сильном потоке цвет, меняя привычную окраску деревьев, неожиданно обретающих в тени



Березовая роща. Х.м. 1879. ГТГ

красно-коричневый оттенок. В окончательном варианте уже нет безудержного порыва фантазии в колористических построениях. Его композиция становится собраннее, письмо – строже, обобщеннее. Но при всем том сохраняется то главное, что объединяет самую картину и предшествующие ей эскизы и этюды – пря-

мая и нескрываемая зависимость цвета от потока солнечного света, тепло, яркого, в котором и сам цвет начинает выявлять свою светоносность. Если в эскизах Куинджи сосредоточен на выявлении материальности березовых стволов, их объемов, которые лепит сочным, фактурным мазком, то в самой картине использует уже несколько иной живописный прием. Солнце бликами прошло по деревьям и засветилось на них. При этом ярким до остроты светом, очищенным до белизны, художник то сплошной линией, то как бы “пунктиром” очерчивает силуэты берез, не смущаясь явным разрушением при таком освещении их объемов, низведенных до плоскостного построения. Полученный эффект показался очень интересным. Открытый неожиданно принцип сочетания объема и плоскости стал даже основой построения всей композиции.

И стволы берез, и стена леса – словно аппликации, которыми художник членил пространство, вызывая ассоциации с кулисным оформлением сцены. А на переднем плане, как на авансцене, – хоровод берез, очерченных солнечными бликами. Просвечивая сквозь ажур листвы, солнце засияло яркой зеленью травы на поляне. А по контрасту с ним в водах лесного ручейка, подернутого тиной, отражается не голубое небо, а темень ставшего стеной лесного массива. Свету в картине вообще отдана главная роль, под действием которого цвет то высветляется и даже горит, то теряет свою насыщенность, естественную окраску. И всё это “светопредставление” как бы пронизано мыслью художника о том, что цвета в чистом виде нет. О том, каков он на самом деле, неизвестно, так как оживает он, а главное, преобразуется и существует только в зависимости от света. И как бы в доказательство разводит зеленый на полюса: от светлого, сочного до темного, доведенного почти до черноты. Эта светопис и интересует, занимает здесь художника, выступая главным организатором развернутого на холсте природного действия. А художник, как режиссер, создает разные мизансцены в жизни природы, творит их состояние: то радостное, ликующее, то таинственное, хранящее в себе что-то сокровенное. Вместе с тем они как мгновение, схваченное художником. Это – еще не импрессионистическое видение природы, но его предтеча. Вместе с тем это – дальнейшее развитие характерного, в частности, для Саврасова восприятия природы как чего-то переменчивого, непостоянного. Но если у Саврасова эта переменчивость определялась действием стихий, как, например, гроза, которая нагрянет и пройдет, то у Куинджи ее происхождение определяется в данном случае светом, который лишает природу застылости, однообразия, но привносит движение внутри цвета, привносит жизнь. Именно она и поразила тогда современников, которые поначалу не могли объяснить самим себе в чем сила притягательности картины и даже упрекали Куинджи в чрезмерном увлечении световыми эффектами. Много позже Репин писал по этому поводу: “Все тонкие эстетические упреки Куинджи в бестактности: брать такие резкие моменты в природе, от которых больно глазам. Но никто не думал о своих глазах – смотрели, не сморгнув: не оторвать бывало” (17).

Примечателен в картине избранный художником принцип организации ее пространства, в основе которого не противостояние, не откровенная борьба, а чисто структурное преодоление плоскостного освоения пространства объемом, горизонтального ритма – вертикальным. Эти структурные изменения развиваются не постепенно, а начинаются сразу: с формата картины, вытянутого по горизонтали, которой вторит выдвинувшийся почти до половины холста лесной массив слева и справа, оставляя посередине просвет для ручейка. Подчеркивая горизонталь плотными тенями, распластавшимися на первом плане, Куинджи, в пандан к ним, пишет и темную гладь воды, трактованную не объемно, а так же, как и тени, плоскостно. Но при этом перспектива ручейка, устремляя вдаль наш взгляд, стелющийся по земле, выявляет глубину пространства, постепенно подавляя приоритет плоскости. Тому в не малой степени способствует и диагональная постановка берез по обеим сторонам ручья. Подхваченные его перспективой обе диагонали также оказываются вовлеченными в освоение трехмерности пространства, придавая одновременно всей композиции внешне сокрытое, нарождающееся изнутри движение. Эта внутренняя динамика, ненарочитая, почти незаметная, не только лишает фронтальную композицию внешней статичности, но и помогает преодолевать чисто плоскостную организацию пространства.

Выявляя объем через плоскость, художник для поддержания найденного

решения активно вводит ритм вертикалей. Но ему важно не просто графически перекрыть горизонталь, а задать этому ритму определенный вектор: не вглубь, а ввысь. И начинает он свое восхождение проложенными вдоль берега ручья темными линиями зарослей камыша, мелко прописанных в учащенном, суетном ритме. Но стоящие здесь же березы, крупные и стройные, старые и молодые, прямые и чуть склоненные, не столько вкоренившиеся в землю, сколько возвышающиеся над нею, разрежают, снимают эту хаотичность ритма, придавая ему спокойную размеренность и даже некую торжественность. Зазвучавшую новую, возвышенную ноту подхватывают, унося к небу, роскошные зеленые кроны березовой рощи, поднявшейся невдалеке.

Эта высокая нота повела за собой и череду планов, в которой темный сменяет светлый, затем опять темный и вновь светлый. Идя при этом не один за другим, но поднимаясь один над другим, они сохраняют и удерживают ритмику восхождения. Постепенно именно она становится доминирующей в картине, вовлекая в свое движение и наш взгляд, устремляющийся к небесам. Взгляд, преисполненный восторга и упоения той красотой, что открыл нам художник в простом, ничем особо не примечательном пейзаже, но пронизанном жизнерадостным мироощущением художника, для которого эта картина как признание в любви к природе, к миру, к самой жизни.

Для Куинджи «Березовая роща» стала первым откровением его души и потому надолго оставила свой след в его художественном сознании. На протяжении последующих 30 лет мастер не раз и не два будет возвращаться к этой теме. Правда, чаще всего это будут небольшие, камерные работы, скорее даже этюды, в которых варьируется по сути один и тот же мотив – уголок леса или в солнечных бликах, или в лучах вечернего заката, или в ночной мгле, в которой крохотным огоньком таинственно зависла луна. Много позже, уже в 1901 г., Куинджи почти повторит свой первоначальный вариант, правда, в вертикальном формате (Национальный художественный музей Республики Беларусь. Минск). Но там, равно как и в этюдах, не будет той внутренней монументальности, той широты дыхания, что отличает «Березовую рощу» 1879 г.

Этот год был вообще очень плодотворным для мастера. Дело, разумеется, не в количестве созданных им работ, но прежде всего в их качественной новизне. И картина «Север» не только не выпадает из этого ряда, но существенно его дополняет. Именно здесь изначально присущая искусству Куинджи масштабность пластического образа перешла как бы в новую свою стадию, обрела новую ипостась, которой еще не знало отечественное искусство.

В этой картине примечательна прежде всего сама интерпретация пейзажа, увиденного с вершины скалы. Открывшееся глазу огромное, без конца и края, пространство представлено во всем своеобразии северной природы с ее скудной растительностью, редкими деревьями, прорастающими прямо сквозь камни, мелким кустарником, извилистой рекой, убегающей вдаль, зелеными просторами, окутанными прозрачной дымкой летнего дня, в котором так мало солнца и тепла. Но даже в этих условиях природа не утрачивает своей естественной красоты, в которой нет экзотики, нет вычурности и эффектности, но есть сдержанность, скромность, простота. И как бы вторя этой негромкой тональности, наделяет художник колорит картины мягким, плавным сочетанием зеленого и сиреневого, низводя их по мере сближения до бледно-голубого, растворенного в нежной дымке там, на самом горизонте. Прозрачная, тонко прописанная дымка словно столп света падает на землю,



Север. Х.м. 1879. ГТГ

прорвав плену клубящихся облаков. Она вбирает, впитывает в себя зелень земли, смягчает очертания редкого кустарника, снимает зеркальный блеск водной глади. Этим же светом художник тонально собирает цвета, согревая их теплом своего сердца, своей любви к природе, преклонением перед ее силой и размахом. И атмосфера картины наполняется какой-то неожиданной, непонятно откуда взявшейся величавостью, торжественностью повествования, в котором небо, занимающее 2/3 холста, и земля выступают его главными героями. Выступают не в противоборстве, не в противопоставлении, но в каком-то космическом единении, неотъемлемости, сопричастности друг другу, рождая грандиозный образ, исполненный доселе невиданного – планетарного, вселенского масштаба.

Наконец, есть еще одно важное обстоятельство, определившее значимость этой картины для самого Куинджи. Раскрыв пейзажную панораму, но организованную в восходящем ритме, при приподнятой точке зрения, художник добивается того, что будет отличать его лучшие работы. Поначалу характерное для него чувственное восприятие природы впервые сменяется ее созерцательностью, свидетельствуя о явном подъеме искусства Куинджи. Вообще созерцательность – в самой природе русского человека, его национальной стихии. Именно в ней находило свое наиболее полное выражение русское сердце, русская душа. Впервые это национальное своеобразие получило свое отображение в искусстве Венецианова. Но в его крестьянских образах, в его пейзажах созерцательность предстает уже не только как стихийное проявление ментальности народа, но прежде всего как особое, ОДУХОТВОРЕННОЕ состояние его души. Состояние, которое зарождается только в симфонии, только в единении человека и Бога, открывающего духовные очи, которыми созерцается окружающий мир как Божье творение. И потому она – наивысшая ступень лестницы, т. е. духовного восхождения человека. И не удивительно, что к ней так будут стремиться вообще русские художники, независимо от того, в каком жанре они работают. Но именно в пейзаже созерцательность раскрывается не опосредованно, а прямо, выявляя свою духовную высоту. Это то, к чему будут так стремиться и Саврасов, и Шишкин, и Васильев, и другие. Не всегда и не каждому удавалось достичь заветной цели, наивысшей точки творческого взлета, но стремиться к ней они будут все. И Куинджи – не исключение, поскольку все эти художники на подсознании, интуитивно понимали, что пейзажная живопись – это не только портрет природы и не только эмоциональный отклик художника на родные просторы. Пейзаж – это прежде всего сама душа народа, его дух, его мирозерцание, что и придает ему, как жанру, характер национального. Духовная созерцательность русского пейзажа и определяет его принципиальное отличие от своего европейского аналога, несмотря на внешнюю – стилистическую и формальную – близость.

“Глубокомысленный грек”, как называл Куинджи Крамской, родился и вырос на русской земле, жил и мыслил как православный человек и уже одним этим оказался приобщенным к тем духовным корням, тем живительным сокам, что питали и русскую душу, и русскую мысль. “Предки мои греки, – свидетельствовал о своем происхождении Куинджи, – которые еще при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали г. Мариуполь и 24 деревни. Я – русский” (18). И потому его выход на отображение созерцательного мирозидения является вполне естественным и даже органичным. В созданных художником в этот период произведений, начиная с самых ранних, никогда не было дробности, акцентирования частных деталей. Напротив, их отличали в большей или меньшей степени и обобщенность, и масштабность воссоздаваемого им пространства, и постоянный прорыв в его глубину, и внутренняя монументальность образа. Но все это были лишь подступы, точнее, накопление той творческой энергии, что и позволила ему по-особому увидеть мир, не обозревая его ширь, не рассматривая его пристальным взглядом, но созерцая его внутренним оком, душой, воспарившей к небесам. Впервые это произошло в том же 1879 г. в картине “Север”.

И эта созерцательность, и этот планетарный масштаб будут отличать в дальнейшем композицию Куинджи, даже если они небольшие и полуэпюдоного характера, как, скажем, “Пейзаж” 1890–1900-х годов (ГТГ) с его внешней простотой и незамысловатостью.

Легкий, еле уловимый оттенок голубого в живописи неба проникает, на-

чиная от самого горизонта, в живопись зеленого покрова земли, от которой исходит мягкая дымка утренних испарений. Благодаря возникшей тонкой колористической связке, обусловленной этим сугубо естественным явлением, земля и небо как бы соединяются в гармонии мироздания. Даже в



Пейзаж. Х.м. 1890–1895. ГТТ

малом Куинджи умеет почувствовать и передать огромность этого мира, его необъятность и бесконечность. Фронтально решенная композиция не утрачивает своей масштабности, а заключенное в ней пространство, как бы выхваченное из общей панорамы, продолжает существовать, длиться, выходя далеко за пределы самой картины. Это одна из отличительных особенностей искусства мастера, который выстраивает композицию так, чтобы она и воспринималась зрителем как часть целого. Вот эту целостность огромного окружающего нас мира и подчеркивает всегда художник, независимо от избранного мотива и даже характера освещения.

Да и сам этот характер освещения, как мы уже отмечали, никогда не был для Куинджи исключительно самоцелью. Его интересовали не световые эффекты как таковые, а жизнь света, его воздействие на окружающий мир, который меняется в нашем восприятии в зависимости и от силы света, и от времени суток. Мир, преображенный светом, – вот по сути главный объект художественного внимания Куинджи. Но современники не сразу поняли, про что было искусство этого мастера, полагая, что “передача световых эффектов” и составляет его “действительное призвание” (19). А самого Куинджи называли даже “специальным изобразителем световых эффектов в природе” (20). Эту мысль подхватил и известный художник и педагог П. П. Чистяков, доведя ее до логического конца: “Эффект хотя и сильно действует на публику, но зато скоро и надоедает...” (21). Полагая, что Куинджи стремится лишь удивить публику, Чистяков вынес свой критический вердикт: “Искусство, которое удивляет, при всей своей удивительности недолговечно” (22). Пожалуй, первый, кто почувствовал эту поразительную новизну Куинджи, был Крамской. Хотя и он не мог объяснить ее самому себе, но, не отвергая ее с порога, осторожно заметил: “Что-то в его принципах о колорите есть для меня совершенно недоступное; быть может, это совершенно новый живописный принцип, быть может, эти краски суть наиболее верные, с научной точки зрения...” (23). Лишь спустя много лет в профессиональных кругах пришло, наконец, понимание тех “световых эффектов”, что некогда были преданы анафеме. “Иллюзия света была его Богом, – писал в своей книге “Далекое близкое” И. Репин, – и не было художника равного ему в достижении этого чуда живописи” (24). А художник, ничуть не смущаясь критикой в свой адрес, продолжал идти дальше, возделывая художественную целину, расширяя горизонты отечественной пейзажной живописи.

Не успела тогдашняя публика пережить изумление от “Березовой рощи”, как Куинджи преподнес ей новое потрясение, открыв выставку всего одной картины “Лунная ночь на Днепре” (1880, ГРМ). Все так и стремились заглянуть за подрамник: нет ли там специальной подсветки, настолько поразила всех необычайно точная в своей естественности и правдивости иллюзия лунного света. “Что это такое? Картина или действительность? – как бы от имени изумленной публики вопрошал тогда Я. Полонский. – В золотой раме или в открытое окно видели мы этот месяц, эти облака, эту темную даль, эти “дрожащие” огни печальных деревень и эти переливы света, это серебристое отражение месяца в струях Днепра, огибающего даль, эту поэтическую, тихую, величавую ночь” (25). “Это было целое откровение”, – признавался тогда же В. В. Стасов (26).

В собрании Третьяковской галереи представлено авторское повторение

этой картины, созданное двумя годами позже по просьбе П. М. Третьякова. Великий собиратель был просто вынужден просить автора о повторении, поскольку “Лунная ночь на Днепре”, приобретенная вел. кн. Константином, сопровождала его в длительном морском путешествии. Таким образом,



Лунная ночь на Днепре. Х.м. 1880. ГТГ

изъятая из художественного обихода картина, имевшая грандиозный успех, перестала быть доступной публике. И для того, чтобы вернуть ее в общую панораму русского искусства, открытую и зрителям, и сообществу художников, Павел Михайлович и обратился к Куинджи с такой просьбой. Обычно при повторе даже самим авторам не всегда удается сохранить тот душевный настрой, ту взволнованность чувств и переживаний, из которых рождался первоначальный вариант. “Ночь на Днепре” из собрания ГТГ – счастливое исключение. Правда, незначительные отличия все же есть. Галерейный вариант более лаконичен, и асфальта в красках уже нет, что и придало картине большую воздушность по сравнению с оригиналом. Но никаких корректив ни в общий замысел, ни в композиционное, ни в колористическое решение автор не внес. В этом смысле она – полное повторение художественных идей, воплощенных в картине 1880 г., и в хронологическом ряду принадлежит именно данному времени. Эта справка имеет отнюдь не протокольное значение. Она очень важна для выявления не спонтанного, а последовательного развития искусства мастера.

В ночной мгле еле видимы лишь слегка освещенные лунным светом дороги, тропы и тропинки, что ведут к хутору, а от него к реке, что величаво несет свои воды. Диск луны, прорвавшийся сквозь густое, почти пастозное письмо облаков, затянувших небо, освещает все это открытое ночное пространство глухим, мягким светом. И широкий Днепр, утратив свою голубизну, обретает в ночи, теплой, бархатной, странный зеленоватый отлив. Прописанный лессировочно, вплоть до маленьких, крошечных мазочков, он все время меняет свою насыщенность. По мере удаления от прямого попадания лунного света возникают все новые оттенки, отмеченные неприметной на первый взгляд синевой. Ночь не уничтожила природные цвета, но погасила их звучность, заглушила их сочность. И белые мазанки на первом плане, утратив свою белизну, обрели какой-то новый, рожденный лунным светом, призрачный цвет. А красные цветы, с которых начинается этот пейзаж, лишь при самом приближенном рассмотрении открывают свой подлинный цвет. На расстоянии он сливается, растворяясь в ночной темени, накрывшей это необъятное пространство, без конца и края. Фрагмент бесконечного мира – излюбленный прием Куинджи, порожденный умением изобразить его как неотъемлемую часть общего и вместе с тем сохранить его масштаб.

При этом в живописи картины черного цвета не так уж много, а создается ощущение ночной мглы благодаря тому, что художник берет цвета в нижних регистрах. Отсюда эта их единая тональность. И потому даже сам диск луны, обретая особую светоносность от контрастного сопоставления с чернотой ночи, не выпадает из общей тональности картины, но как бы организует все это живописное поле, собирая его, пронизывая собой всю живопись холста, определяя и глубину ночи, и жизнь самой этой ночной мглы. При этом художник не акцентирует, а снимает остроту контраста, и поэтому луна хоть и является собой главное лицо в этом ночном действе, но она не доминирует, не подавляет собой общий колорит. Даже напротив, придает ему удивительную органичность, а всему пейзажу ощущение гармонии земли и неба. И потому сам пейзаж воспринимается не констатацией природы, увиденной в ночное время, но царством ночи: глубокой, теплой, густой, насыщенной. И в этой картине художник точно так же, как и в “Березовой роще”, раскрывает жизнь

света. С той лишь разницей, что там это – Солнце, свет дня, а здесь – Луна, ее особый, завораживающий свет. И если там раскрывается богатство цвета, который или оживает в солнечных лучах, или растворяется в тенях, то здесь цвет как бы засыпает. Скрадывая свою насыщенность, он вместе с тем как бы обретает свою новую ипостась, в которой больше намека на цвет и даже



Дарьяльское ущелье. Лунная ночь. Х.м. 1890–1895. ГТГ

некой призрачности его. Художник не размывает цвет, не подавляет его, а дает ему как бы новую жизнь, словно потустороннюю. Это новый мир, мир теней, недосказанностей. Словом, мир ночи. Стихия ночи. И именно как стихия она захватывает художника, которому она интересна в самых разных своих проявлениях. И этот интерес со временем не только не ослабевает, но даже усиливается, способствуя выявлению огромного художественного потенциала мастера, о чем свидетельствуют находящиеся в разных музеях страны произведения, появившиеся у него много позже: “Лунная ночь” (1890), “Сумерки” (1890–1895), “Ночное” (1905–1908). В этом же ряду и ночные горные пейзажи из его “Кавказской серии”. Созданная на рубеже XIX–XX веков, она станет мощным гимном природе, ее величию и совершенству. Именно здесь планетарность мировидения, заявленная еще в его “Севере”, проявится с особой силой (“Эльбрус”. Этюд, 1898–1908; “Эльбрус. Лунная ночь”. Этюд, 1890–1895).

В собрании Третьяковской галереи находится, в частности, одна из лучших картин этого цикла “Дарьяльское ущелье. Лунная ночь” (1890–1895). Художник пишет могучие горы подчеркнуто фактурно, материально, весомо.

Лунный свет, прошедший по крутым горным склонам, заблиставший особым блеском на зеркальной поверхности горного озера, привносит собой некую таинственность в атмосферу этого пейзажа, придавая ему какой-то новый, необычный, сокрытый днем колорит. Горные массивы наплывают, надвигаются, тесня друг друга, создавая ощущение неведомой, непостижимой ночной жизни гор, когда они воспринимаются особенно могучими. Их массивный рельеф, скалистую фактуру, леса, словно укутавшие горные склоны, художник погружает в глубокие тени, в которых прячется, таится какая-то неведомая жизнь. И даже, кажется, сама луна пасует перед этими тенями, подавившими собой яркость небольшого костерка на дальнем берегу. В них утопают и красные цветы, и даже камни, разбросанные на первом плане. Но при всем том в этом величественном природном строении нет хаоса, нет противостояния. Напротив, все здесь находится во взаимодействии, как части одного целого. А небо – не черное и не синее, а словно, поменявшись с водой, обрело цвет морской волны, и лунный свет связывает их в единое, неразрывное целое. Небо, горы, земля, вода – не дополняют здесь друг друга, а кажутся нераздельными, выступая взаимосвязанными стихиями природы, передавая масштаб мироздания, огромного, могучего, величественного.

И наконец, последняя картина из Третьяковского собрания – “Днепр утром”. Созданная в 1881 г., она вобрала в себя все то мастерство, те достижения, которыми было отмечено к тому времени творчество мастера. Его особенность, кроме всего прочего, определялась еще и тем, что, идя своим путем в искусстве, Куинджи “непрестанно вырастал из рамок господствующей реалистической эстетики” (27). Его “религиозная душа” (28) протестовала против чисто мирского восприятия жизни, не позволяла ему цепляться, держаться за землю. Она же и продиктовала ему восходящую ритмику в его ком-

позициях, как подспорье для его взлета. “Он ведь... всю жизнь фактически “летал” — в своем творчестве — над просторами земными, по необозримым просторам небесным, которые передавал с такой любовью и мастерством” (29), — писал о художнике один из первых исследователей его творчества М. П. Неведомский. Отсюда это преобла-



Днепр утром. Х.м. 1881. ГТГ

дание “небесных просторов” в его картинах, этот взгляд с небес и на “просторы земные”, которые не просто обозреваются художником. Они им созерцаются. Отсюда это своеобразие, этот эпический размах его полотен, но и та особая атмосфера, царящая в них, — яркая, волшебная.

“Утро на Днестре” — еще один вдохновенный взлет Куинджи: его мастерства, его души. Тонким, возвышенным слогом ведет он рассказ о том мгновении в жизни природы, которое еще не произошло, но должно вот-вот произойти — ее пробуждении. Художник увидел, почувствовал это переходное состояние природы, представшей на полотне в блеклых тонах, потухших, скрывающих свой подлинный цвет, но который откроется, заиграет всеми цветами радуги, как только небосвод озарится, засияет первыми лучами солнца. Пред его посланником — светом, исходящим от самого горизонта, уже отступили ночные тени, но природа еще не облачилась в свой наряд, по-летнему яркий, красочный, благоуханный. Это предчувствие, ожидание великого чуда — пробуждения природы — Куинджи передает с присущим ему художественным тактом, выстраивая колористическую композицию в восходящем ритме. Не быстром, медленном, почти незаметном. Отчетливо прописанная зелень на первом плане постепенно, по мере удаления, высветляется, тонально сближаясь с белыми, подсвеченными легкой желтизной головками полевых цветов на втором плане. Но его общий светло-охристый тон при ближайшем рассмотрении оказывается соткан из самых разных, лишь точно намеченных цветов. В художественной образности картины он как хранитель и вместе с тем предвестник того многообразия красочного разнотравья, которым расцветет, заиграет под живительным солнечным светом этот высокий берег Днестра. А затем почти незаметный переход на дальних планах к нежно-сиреневому тону, которым художник тонко прописывает утренние тени, залегающие на земле. И хотя солнце еще не взошло, но ночь уже отступила, и потому тени уже не густые, не плотные, а мягкие, ослабленные. Поэтому нет резких контрастов, тон светлый, но не теплый, а словно пронизанный легкой утренней прохладой. Очертания трав и цветов, по мере их перспективного удаления, все более сглаживаются, растворенные в утренней дымке. Накрывшая землю, она растворилась в себе не только зеркальное свечение водной глади, но и небольшой кораблик, тихо плывущий в этом мареве летнего утра. Течение реки, тихое, размеренное, выявляется тончайшей прописью просветленной голубизны мягких волн. Лишь слегка намеченные художником, они как бы слегка подхватывают, лениво подгоняют друг друга. Движение реки, поначалу неприемное, художник затем усиливает резкими угловатыми изгибами речного русла, зигзагом уходящего вдаль и теряющегося там, на самом горизонте, сливаясь с небом, царящим в этом бескрайнем просторе. Художник наполняет его той великой тишиной, что водворяется в мире в преддверии нового дня, оживления, обновления природы. Это как шестой день творения, когда все замерло в ожидании той жизни, которую Господь преобразил, одухотворил землю. И эта одинокая птица, что парит над пространством, что не охватить ни взглядом, ни мыслью, словно тот самый Святой Дух, от которого и новый свет, и новая жизнь, и Божья благодать.

К сожалению, эта картина осталась, на мой взгляд, недооцененной. От нее ждали импрессионистических откровений Куинджи. Ждали, что он, так близко подошедший в своих прежних работах к созданию свето-воздушной среды, наконец-то соединит цвет, свет и воздух. А для его “религиозной души” было гораздо важнее создать не просто вдохновенный, но одухотворенный образ окружающего мира. Именно здесь, в этой картине, свершилось то, к чему он так стремился все время. Отсюда это своеобразие, эта особенность мировидения в его вселенском масштабе. Отсюда же созданные уже на рубеже веков горящие закаты, полыхающие словно очистительным огнем. Отсюда же присущая в большей мере ночным пейзажам Куинджи какая-то особая, возвышенная, молитвенная тишина, к которой так тянулась его “религиозная душа”. И неудивительно, что Куинджи, пейзажист и по творчеству, и по самой созерцательной природе своего мировосприятия, “певец просторов и света...” (30), как называли его современники, человек, отличавшийся бескорыстной, поистине христианской добротой, любовью к людям, несмотря “ни на какое лицо”, говоря словами апостола Павла, художник с его религиозным отношением к своему искусству как служению не мог не прийти к теме Христа. Уже в конце жизни он пишет картину “Христос в Гефсиманском саду” (1901). И хотя она находится в собрании Алушкинского музея, но не упомянуть о ней нельзя, даже при том, что подобного рода композиции не характерны для Куинджи. Лишь в самом начале в его пейзажах появляются люди, а впоследствии, впрочем, так же, как и Шишкин, он будет писать только самую природу в чистом виде, без присутствия в ней человека. Потому появление такой картины несколько неожиданно и вместе с тем вполне естественно и даже закономерно. Рожденная потребностью души, она — как откровение его не замиравшей никогда духовной жизни, что своим покровом осеняла творчество этого замечательного художника, поэта, творца.

С 1882 г. Куинджи закрывает доступ в свою мастерскую для всех, кроме жены, и новых произведений никому не показывает и не продает, живя на деньги, вырученные от продажи недвижимости. Успешный художник, заставивший с самого начала громко говорить о себе, привлекая сразу внимание и публики, и своих собратьев по цеху, Куинджи порывает с Товариществом передвижных выставок и уходит в затвор, длившийся долгих 30 лет, до самой его смерти.

Поводом к такому демаршу послужила бесцеремонная статья М. К. Клодта, который в непристойных выражениях обвинял художника чуть ли не во всех смертных грехах: и в отсутствии профессионализма, и в странной, непонятной манере письма и т. д. И здесь же с бахвальством и высокомерием выражал готовность поучить недоучку-Куинджи, как надо правильно писать пейзажи. Примечательно, что, например, Шишкин и по своему мироощущению, и по характеру своего искусства, его направленности принципиально отличался от Куинджи, тем не менее высоко ценил его талант. А Клодт и вместе с ним, менее даровитые, судя по всему, испугались “отрицавшего и затмевавшего их, — по признанию современника, — нового явления” (31), каким было искусство Куинджи. Но в защиту его выступил тогда только один Н. А. Ярошенко. В своем письме к Клодту он обнажил главную причину нападков — элементарную зависть к “художнику, обладающему гораздо более свежим и сильным талантом” (32). Все остальные коллеги по цеху промолчали. Официально никак не отреагировало и само Товарищество, что и послужило причиной выхода из него А. Куинджи, хотя со многими передвижниками у него продолжали оставаться хорошие, дружеские отношения.

Так исторически сложилось, что почти все произведения “затворнического” периода попали в Государственный Русский музей. В Третьяковской галерее этот период представлен лишь созданными уже в 90-е годы этюдом “Эльбрус. Лунная ночь” и двумя картинами: “Пейзаж” и “Дарьяльское ущелье. Лунная ночь”, о которых мы уже говорили. Разумеется, эти работы не позволяют судить о широте тематического охвата, характерного для позднего Куинджи, равно как и о самом его творчестве в эти годы, но они все-таки свидетельствуют прежде всего о внутренней связи, о дальнейшем развитии тех художественных идей, что зародились у него прежде, в период становления, обретения себя. И хотя продолжался он недолго — всего 11 лет, но даже этого времени хватило Куинджи, чтобы состояться и как человеку, и как художнику и создать свои лучшие произведения. Всего 11 лет, но как много

он успел сказать за такой короткий срок, как много успел открыть, как много нового он привнес в русскую пейзажную живопись, раздвинув ее горизонты, открыв новые возможности, новые грани, новые пути ее развития.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Ростиславов А. Куинджи. СПб., 1914, с. 1.
2. Там же.
3. Там же.
4. ОР ГТГ, ф. 35, е. х. 9.
5. Там же.
6. Неведомский М. П. и Репин И. Е. Архип Иванович Куинджи. Ростов/Дон, 1997, с. 13.
7. ОР ГТГ, ф. 35, е. х. 9.
8. Крамской И. Н. Письма. Т. 1, М., 1937, с. 241.
9. Цит. по кн. М. П. Неведомского и И. Е. Репина. Архип Иванович Куинджи. с. 23.
10. Манин В. С. Архип Иванович Куинджи. М., 2001, с. 12.
11. Неведомский М. П. Указ. соч., с. 246.
12. "Московские ведомости", 1882, № 213, август.
13. Крамской И. Н. Переписка в 2-х томах. Т. 2. М., 1954, с. 274.
14. Неведомский М. П. Указ. соч., с. 238.
15. Там же, с. 219.
16. Там же, с. 220.
17. Репин И. Е. Далекое близкое. М., 1960, с. 330.
18. "Мир искусства". Хроника. 1904, № 3, с. 73.
19. "Московские ведомости", 1882, № 213, август.
20. Там же.
21. Чистяков П. П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. М., 1953, с. 111.
22. Там же.
23. Крамской И. Н. Переписка в 2-х томах. Т. 2, с. 369.
24. Репин И. Е. Указ. соч., с. 332.
25. Цит. по кн. М. П. Неведомского и И. Е. Репина. Архип Иванович Куинджи, с. 63.
26. Стасов В. В. Избранное в 2-х томах. М.-Л., 1950, т. 1, с. 221.
27. Неведомский М. П. Указ. соч., с. 137.
28. Там же, с. 139.
29. Там же, с. 156.
30. Там же, с. 262.
31. Там же, с. 86.
32. ОР ГТГ, ф. 69, е. х. 177.

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

ОТЦЫ И ДЕТИ В “НАКАНУНЕ”

(К 150-летию выхода романа И. С. Тургенева)

По большому счету проза зрелого Тургенева, с ее горечью и иллюзиями, читаемая современниками взахлеб, началась с “Накануне” – романа о том, что “наступили новые времена, нужны новые люди”.

Нельзя сказать, что в советские годы литературоведение недостаточно говорило об этом романе. Нет, писали много и охотно, провозглашая главным героем произведения, скажем так, о тенденциях русской жизни того времени... болгарина Инсарова. Человек сильного характера и целеустремленности, разночинец-демократ, студент, оказавшийся в России и стремящийся вернуться на родину с освободительной миссией, он чрезвычайно устраивал историков литературы, доказывающих прямую связь между автором романа и развитием демократического движения.

Что касается самого Тургенева, то Инсаров вполне соответствовал мысли писателя “о необходимости сознательно-героических натур... для того, чтобы дело подвинулось вперед”. И не более того.

Будучи по натуре человеком деликатным, постоянно сомневающимся в себе, Тургенев вообще-то имел намерение предложить читателям в качестве главной героини Елену Стахову, представлявшуюся ему новым типом в русской жизни. Но ей, признавался писатель, “недоставало героя, такого лица, которому Елена, при ее еще смутном, хотя сильном стремлении к свободе, могла предаться”.

Ему, убежденному “западнику”, все же казалось, что русская ментальность героини накладывала на нее печать необходимости иметь рядом с собой мужское плечо, к которому она должна прислониться. И писатель помог ей это самое плечо обнаружить.

Впрочем, это только на первый взгляд кажется, что Елена ищет мужское плечо, к которому прислониться. А на самом деле, укажет вам какой-нибудь доктор филологических наук, ее выбор другой: она голосует сердцем, “решая вопрос о том, какие люди нужны России”. Четыре кандидата: Шубин, Берсенев, Курнатовский, Инсаров. Чем не прообраз современных президентских выборов?

Но шутки в сторону, вернемся к тургеневскому роману. Шубин традиционно считается – беспечный, эстетствующий художник, талант которого уходит на бесцельные, никому не нужные, оторванные от жизни произведения.

Начинающий ученый Берсенев обычно преподносится как благородный человек, убежденный в том, что он трудится на благо родины, но дело его тоже оторвано от действительных, насущных потребностей народной жизни.

Но самым непривлекательным в этой компании оказывается делец Курнатовский. Вообще-то он служит обер-секретарем при Сенате. Чиновник, но о

нем говорят, что он знает толк в коммерческих предприятиях и “чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику”. Уже одного этого вполне достаточно. Как всегда – распространённое среди российских интеллигентов мнение – Чичиковым и Штольцам не место не только на российской земле, но и в сердце прекрасной девушки. Не поразительно ли! В романе говорится, что ей некому протянуть руку: кто подходит к ней, того не надобно; а кого хотела бы... тот идет мимо. Но литературоведам, ориентированным на оценки, предначертанные самим Добролюбовым, не до сантиментов: чиновник-коммерсант нам не нужен! – не наш человек!

Всех милее и краше для Елены, глядящей на мир через призму тургеневских симпатий, стал студент Инсаров. Во-первых, разночинец-демократ (тем самым писатель обозначает свое видение новой политической проблемы – общественной роли и значения разночинной демократической интеллигенции). Во-вторых, студент (будущее России за образованными “детьми”, как бы говорит автор романа). В-третьих, патриот, несущий в себе идею героического служения родине (общественный прогресс все же видится Тургеневу за Дон-Кихотами). В-четвертых, избрание в качестве героя романа болгарина позволило писателю осветить злободневную тему отношения угнетенных славянских народов к России (напомню: это время, когда в связи с Крымской войной на Балканах наметился подъем национально-освободительного движения порабощенных Турцией славянских народов, надеявшихся на поддержку России).

Что же касается новой жизни, начинавшейся тогда в России, она видится автору “Накануне” если не безоблачной, то во всяком случае романтической. Романтика будущего России – придет время, и мы узнаем – будет спокойно уживаться с кровью студента Иванова, убитого Сергеем Нечаевым, и Александра II, взорванного народовольцами, Николая II, расстрелянного большевиками, и миллионов людей, сгинувших в водовороте гражданской войны, репрессий, коллективизации, рассказывания, борьбы с инакомыслием... Но это знание придет потом. А пока мы выбираем, чем хорош и чем плох каждый из претендентов на руку и сердце Елены.

Вот Шубин полулеживо, полушутливо подкалывает Берсенева: *“Отчего ты не лежишь, как я, на груди?.. Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку – вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж – смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. <...> Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!.. Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают назад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?”*

И впрямь, слушая сей монолог, если выбирать того, кто может наполнить содержанием жизнь, кто способен удовлетворить женскую требовательную душу, – это одно. А если выбирать того, кто соответствует тенденции русской жизни, – совсем другое.

Потому как тенденция определена заранее – революция. Перед которой и поля, горячо блестящие на солнце, и маленькие гроздьи желтых цветов на ветках липы, чей сладкий запах с каждым дыханием втесняется в самую глубь груди, и прекрасная музыка, и женская красота, и великое слово “любовь”, – всё ничто.

А раз так, то ни Шубин с его душой, обращенной к природе, этой тенденции никак не соответствует. Ни Берсенев с его совестливой стеснительностью и непотерянной способностью краснеть тоже не соответствует. Жажда любви, жажда счастья, которые соединяют, движет ими обоими. И в этом писатель вместе со своими героями видит мудрость простой, естественной жизни. При которой и другие прекрасные слова, обратите внимание на них в тексте романа: “искусство”, “родина”, “наука”, “свобода”, “справедливость”, – такие же соединяющие слова.

Но соответствует ли заявленной тенденции русской жизни такое восприятие слов тургеневскими героями? Или энергия революционной одержимости

формирует иные взгляды на искусство, родину, науку, тем более свободу и справедливость? Роман Тургенева, как известно, был назван так по времени его создания – *накануне* последнего года перед освобождением крестьян, *накануне* реформ Александра II. Но по выходе романа в свет его название стало читаться куда радикальнее – *накануне революции*.

Сегодня мы можем подумать, что перед нами известный национальный феномен: русский человек везде хочет слушать эзопов язык. Оно и понятно, когда нет свободы, кругом ищешь проявления инакомыслия. Ищешь, чтобы в своем согласии с ним почувствовать собственную смелость. И, конечно, находишь. Однако в то время, полагаю, дело обстояло несколько иначе. Пять лет, минувших после революционных событий во Франции, в столь близкой, почти родной для дворянства стране, незаметно пробудили среди части российской молодежи не свойственную ранее бескомпромиссность.

В подтверждение своих слов сошлусь на строки Тургенева, посвященные Елене Стаховой: *“Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала “во веки веков”; требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу; не легко давалась ей жизнь”*.

Конечно, можно спорить, что одна бескомпромиссность еще ни о чем не говорит. Но тут же рядом нахожу авторское объяснение состояния Елены: *“Ей недавно минул двадцатый год... Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больною бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, Бог знает в кого!”*

Слово-ключ – “республиканка”, – как видим, писателем произнесено. Оно не просто обозначает понятие, соотносимое с республиканскими взглядами. Оно прежде всего подтверждает очевидность факта, что возникла некая живая взаимосвязь русских людей с чужой революцией, и на нашей земле появились, можно сказать, ее отпрыски, так называемые “дети свободы”.

Было ли республиканцами все поколение “детей”? Конечно, нет. Их было не так много, но они были. И были, бросалось в глаза, *какими-то не такими*. Люди нового типа, нигилисты, демократы, революционные демократы, революционеры, бомбисты, боевики – как их только не называли. Среди них, признаем, были не одни разночинцы, но и выходцы из дворянских семей.

Их не могли понять ни “деды”, умевшие желчно шутить и помнившие, как в свое время ежжили “к фармазонам в клуб”, ни “отцы”, готовые подвергать насмешке всё и вся, и в молодости, начиная с 25-го числа каждого месяца, спрашивавшие в кофейнях, получен ли свежий номер “Отечественных записок”.

“Отцы”, взрослевшие ранее 1848 года, глядели на странную молодежь с испугом, но утешали себя спасительной мыслью, что та рано или поздно перебесится, и жизнь войдет в свою обычную колею. Оно и понятно: без веры в то, что всё обойдется и будет хорошо, на Руси долго не проживешь. Потому у нас любой футуристический прогноз (взгляд в будущее) непременно оптимистичен. Мол, за облаками всегда есть солнце, завтра оно выглянет и наступит желанное светлое будущее. Это тоже национальная черта.

Тургеневское время – по политическому раскладу, по ожиданиям и настроениям, по совершаемым шагам очень напоминающее наши дни, – период, когда Россия выбирала свой дальнейший путь. В очередной раз, по выражению П. Чаадаева, странный, из тех, что с вектором движения вкривь и вбок. Период, для большинства россиян соединивший в себе, с одной стороны, ожидание реформ и страхи, что реформы могут спровоцировать беспорядки и, хуже того, революцию, с другой – нерешительность и беспощадность власти.

Время под стать смуте. Сколько здесь происков и зависти, сколько безмерной веры в свое предназначение и ненависти к другому, если он наделен тем, чего лишен ты. Сколько тут страхов, что всё отымут и тогда на что жить? и надежд, что наступит блаженный миг, когда явит себя справедливость и каждый получит причитающуюся всем равную долю счастья. Причем в вечно выдвигаемом на первый план противостоянии дворян и разночинцев, смею

утверждать, дает о себе знать не просто социальное, а глубоко обосновавшееся психологическое неприятие.

Известные слова “Когда народ плачет, желябовы смеются” еще не прозвучали, но вместе с тем нельзя не видеть, что в пору, когда и впрямь “безумных развелось людей, и дел, и мнений”, обществу предстояло как-то осмыслить устремления, мировосприятие, характер, принципиальные позиции новой российской вольнолюбивом поросли.

И Инсаров, и Елена, уверяло советское литературоведение, “движимы высоким чувством патриотизма. Именно оно прежде всего и заставило их откликнуться на общественную потребность живого дела”. Подобное утверждение заставляет нас сделать логический вывод, что, если патриотизм свойственен Инсарову и Елене, он, получается, отсутствует у тех, кто не является их сторонниками.

Другими словами, Шубин и Берсенев – никакие не патриоты (а на Руси, как известно, этот приговор обжалованию не подлежит), потому что в своей нежной любви к природе и жизни они подчинены неким личным интересам. А вот помыслы Инсарова и Елены направлены к общественной цели – освободить свою родину. Один – от турецкого ига, другая – от ига крепостничества и ига самодержавия.

В этом устремлении Инсаров, хочу обратить ваше внимание, “находит в себе силы побороть желание отомстить за смерть родителей, за поруганную честь семьи, ибо месть эта может помешать общему делу борьбы”. Ради чего отказывается он от мести за поруганную честь семьи? Ради величия и благородства идеи “народного, общего отмщения”.

Тогда, в день, с которого началось тургеневское повествование, Елена, еще до знакомства с Инсаровым, много думала о Берсеневе. Он ей нравился; она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Неудивительно, что, вспоминая его несмелые глаза, его улыбки, она, несмотря на все свои условия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплачет “какими-то странными, недоумевающими, но жгучими слезами”.

Задержим свой взгляд на этих слезах. Хотя перевернуто всего страниц двадцать произведения, повествующего, напомню, о наступлении новых времен и о новых людях, они, слезы, уже не первые в романе. К тому же не последние.

Чуть раньше, когда Шубин с Берсенывым после философствования в тишине полуденного зноя – о чем еще можно говорить в этом возрасте? – конечно же, о великой любви и о жажде счастья, – к ночи переводят разговор на чисто практические рельсы: кого же из них любит Елена? Оба убеждены, что та отдала предпочтение не ему лично, а приятелю.

И чем оборачивается эта уверенность? Сначала “Шубин вдруг заплакал, отошел в сторону, присел на землю и схватил себя за волосы”. Потому Берсенев, как истинный дворянин, присел к фортепьяно, более часа не отходил от него, “много раз повторяя одни и те же аккорды, неловко отыскивая новые, останавливаясь и замирая на уменьшенных септимах. Сердце в нем ныло, и глаза не однажды наполнялись слезами”.

Прекраснобаи, слезливые до умопомрачения, прикрывающиеся либеральной фразеологией о гордости *класса среднего русского дворянства*, – ясно, им не быть ни избранниками прекрасной Елены, ни “новыми людьми”. У Гамлетов, вслед за Тургеневым скажем мы, на русской земле нет перспектив. Кажется, это понятно всем, кроме российских Байронов: Чацких, Онегиных, Печориных, Обломовых, Маниловых, Болконских. Правда, их, таких, в России легион и совсем даже не малочисленный.

Доведись им делать выбор: с кем быть, они пошумят-пошумят и примкнут даже не к Анне Васильевне и Николаю Артемьевичу Стаховым, а к троюродному дяде отца Елены, Увару Ивановичу Стахову, отставному корнету лет шестидесяти, который, если присмотреться, напомнит нам милого Манилова. Он тоже никоим образом не почитал за грех мечтать. И так же, как герой Николая Гоголя, “он ничего не делал и навряд ли думал, а если и думал, так берег свои думы про себя”. В затруднительных случаях, то есть всякий раз, когда ему приходилось выразить какое-либо мнение, он судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: “Надо бы... как-нибудь, того...”

Милейший человек, умеющий и смотреть сосредоточенно, с усиленным вниманием то на рюмку водки, то в окно, то на пол и стены, и почивать в мезонине на широко и удобном диване, получившем прозвище “Самсон”. (Вам Увар Иванович никого больше не напоминает?) Ну, как к такому не присоединиться, услышав, к примеру, одно лишь жуткое слово “реформа”?

Да что там “реформа”, достаточно Anne Васильевне Стаховой ужаснуться: как Шубин может манкировать Николаем Артемьевичем, своим благодетелем? — и сразу: “Я готов извиниться перед вами, Николай Артемьевич, — проговорил он с учтивым полупоклоном, — если я вас точно чем-нибудь обидел”. Ну, прямо-таки душка Молчалин изволил пробудиться.

Ему под стать и Берсенева, 23-летний старец, про отца которого автор романа поведает: “. . . он был постоянно подавлен ходом истории, всякого рода вопросами и соображениями”. Еще добавит: “. . . он был мечтатель, книжник, мистик. . .” — чисто российский винегрет. И в качестве последнего штриха упомянет, что к тому же Берсенева-старший был автором сочинения, “в котором шеллингианизм, сведенборгианизм и республиканизм смешались самым оригинальным образом”. Кстати, это не помешало (а может, помогло?) ему, владельцу восьмидесяти двух душ, перед смертью освободить их. Примечательно, саму смерть отца писатель напрямую свяжет с событиями 48-го года, которые “потрясли его до основания”.

Спрóсите, зачем столь подробно Тургенев распространяется об отце Берсенева? Затем, чтобы было ясно: яблочко от яблони недалеко падает. В Андрее Берсенева тоже понамышано многое и разное. Однако далеко не скверного качества. Нельзя было не признать в нем, читаем в романе, “хорошо воспитанного человека; отпечаток “порядочности” замечался во всем его неуклюжем существе”. Он умница, философ, третий кандидат Московского университета.

Между прочим, именно он знакомит Елену с Инсаровым. Правда, мотив, по которому он это сделает, содержит, представляется мне, по меньшей мере, большую долю авторской иронии. “Русский человек любит потчевать — коли ничем иным, так своими знакомыми”, — заметит в скобках Тургенев.

В отличие от них Дмитрий Никанорыч Инсаров — человек непреклонной воли, или, как скажет Берсенева, железный человек. Железо, как известно, не переносит влаги, потому ни о каких слезах тут и речи быть не может. Российской слезливости тут и на дух нет. И еще, что бросалось всем в глаза, Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же как никогда не откладывал исполнения данного обещания.

Понятно, что подобные качества, отличающиеся от присущих почти каждому русскому семи пятниц на неделе, резко выделяли его. Берсенева, “как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою”. Оно и понятно, мы к этой самой аккуратности сызмальства не приучены.

Надо признать, по сей день мы с превеликим удовольствием обращаем внимание школьников и студентов на главные, с нашей точки зрения, слова об Инсарове, сказанные сначала Берсеневым: “У него одна мысль: освобождение его родины”, потом Еленой: “Освободить свою родину! — промолвила она. — Эти слова даже выговорить страшно, так они велики. . .”

Еще бы — как я смог прочитать, взяв дочкин школьный учебник для 10-го класса, — ведь “Елена олицетворяла молодую Россию, охваченную жаждой перемен. . . И когда Елена отдала свою любовь революционеру, это воспринималось как ответ на возникавший у читателя вопрос: какой тип деятеля наиболее привлекателен для современной русской молодежи”.

Я сейчас даже не о том, что школьникам предлагают познакомиться с ответом, привлекательным для времен пусть не очаковских и не покоренья Крыма, а куда ближе: 60-х годов XIX века. И даже не о том, что без должного комментария остается позиция Н. Добролюбова, в статье которого, информирует учебник, “речь шла о предстоящей борьбе с “внутренними турками”, а в число последних попали у Добролюбова не только крепостники-реакционеры, но и сторонники либеральных реформ”.

Я всего лишь о том, что при изучении в школе романа “Накануне” мы все не задаемся вопросом: а какой тип деятеля наиболее привлекателен для нынешней молодежи, сидящей перед нами за школьными партами. Или мы полагаем, что ее по-прежнему должен привлекать образ железного революционера-ниспровергателя? И наоборот, нас, получается, ничуть не интересу-

ет тема человека, успешного в делах, никогда не меняющего своих решений и не откладывающего исполнения данного обещания.

А действительно, почему он должен нас интересовать? зачем? Тип, и впрямь, не самый распространенный в российском обществе. Может, и не нужен он вовсе? Мы, если надо, и без него до основания все разрушим железной рукой (нам не привыкать!), а затем... Во всяком случае именно так преподносится в школах на уроках литературы. В полном соответствии с учебной программой. А как иначе?

Иначе у Тургенева. Читая “Накануне”, убеждаешься, что смерть Инсарова в пути на родину не сюжетный ход писателя (вернее, не только сюжетный ход), отражающий объективные финалы судеб того времени: дуэльная пуля, чухотка, ссылка. Смерть Инсарова – она и предостережение, смутное ощущение писателя, что жизнь, самая трагическая и тяжкая, все же лучше и умнее любого умного заговора, восстания или революции. Потому что свободу, равенство, братство, а вместе с ними счастье чужую кровь не покупают. Если уж безмерно тяжела и значима, как знают все, слезинка ребенка, то сколько “тянет” на весах истории капля крови? Но ведь, опять же знают все, одной каплей ни одна революция не обходится – льются реки крови.

А вот Елена, которой сам писатель, казалось бы, уготовил роль женщины, ищущей мужское плечо, чтобы к нему прислониться, Елена, рожденная новой эпохой и с детства жаждущая деятельного добра, совсем не такова. Ее светлая и чистая любовь менее всего готовит среду, в которой началось то, что Николай Добролюбов называет “делом” (можно встретить и такое). Ее любовь, следуя ощущениям автора, предсказывает торжество не железных людей с непреклонной волей, а самых что ни на есть живых и светлых личностей и торжество высокочеловеческих отношений.

Инсаров, надо признать, четко сознает, как *нельзя* жить. Елена по-женски мудро понимает, как *надо* жить. Он говорит, что “жизнь дело грубое”, он спокоен, он предчувствует войну и радуется ей. Она не может понять: к чему эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд к глазам? Ей почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы недалеко. Она влюблена.

Они оба за свободу, равенство, братство, которые несут счастье. Только он готов добиваться его любой ценой, потому что речь идет о счастье родины. Для нее же счастье (куда делись “следы настоящей стаховской крови”?) – это когда “я” равен другим, а не другие равны мне; когда ты мне брат, но это не значит, что я твой “старший брат”; когда свобода и счастье – понятия не личные, но и не размыто-всеобщие.

Внимательный читатель легко разглядит в этой 20-летней девушке и знакомое по героиням Пушкина и Л. Толстого томление: “Как жить без любви? а любить некого!” и услышит по тем временам совсем не женские вопросы, обращенные к самой себе: “К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем всё это?” Мы их обычно связываем с нравственными поисками Пьера и князя Андрея, а тут, что делать, мучительные метания души одной из “тургеневских девушек”, желающей знать: “Чего мне хочется? Отчего у меня так тяжело на сердце, так томно? Отчего я с завистью гляжу на пролетающих птиц? Кажется, полетела бы с ними, полетела – куда, не знаю, только далеко, далеко отсюда. И не грешно ли это желание?”

Как этот внутренний монолог, отраженный в дневниковых записях Елены, созвучен диалогу Пьера и князя Андрея: делать добро или не делать зла?

Перечитайτε дневник – ведь в нем тургеневская девушка, предвосхищая спор толстовских героев, дает свой вариант ответа, пусть и в форме вопроса: “Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким?”

В России, понимает писатель, иные люди, иные проблемы. Россия не Болгария, поработенная турками. Необходимость борьбы с “внутренними турками”, тема, обязательно присутствующая в школьном анализе романа “Накануне”, самому Тургеневу в голову не приходила и не могла прийти.

Питал ли Тургенев надежды на реформы “сверху”? Возможно. Но точно можно сказать, что сторонником революционных реформ он никак не был. Притянут за уши к революции Инсаров был не им, а Н. Добролюбовым. В романе писателя речь идет о человеке, мечтающем о Болгарии без турецкого ига, стороннике освободительного, но никак не революционного движения.

А что ж Елена? Как в знаменитом эпизоде, где она, взяв инициативу в свои руки, объясняется Инсарову в любви, ее мысли об одном: “Он тут, он любит...”

чего ж еще?”, так и в последние дни жизни заболевшего мужа она “чувствовала себя глубоко счастливою” – Инсарову было гораздо лучше в тот день.

Так о чем роман – о страсти, пламенной и нежной, или о герое, воплотившем авторский (либо общественный) идеал общественного деятеля? Сегодня учитель на уроке привычно избирает второй вариант. В полном соответствии с учебной программой. А как иначе?

Хотя иначе подходил к творчеству Тургенева даже такой вроде бы “заинтересованный” человек, как П. Кропоткин. Князь, революционер, теоретик анархизма, в свободное от политической борьбы время географ и геолог, он в своих воспоминаниях “Записки революционера” оказался, на мой взгляд, куда пронизательней литературного критика Добролюбова, заметив: “Тургенев... показал нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме, и чем она может быть, как вдохновительница мужчины”. Как видим, ни слова про идеал.

А ведь в его “политическом преискуранте” цена понятий “идеал” и “идея” была куда как высока. Кто-кто, а он слыл ревностным служителем идеи. Был из тех, кто ставил ее выше и Бога, и царя, и народа, и истины.

Вот и хочу я спросить: раз уж учителя в этой ситуации, как судьи, рассматривающие споры “хозяйствующих субъектов”, привычно всем иным предпочитают “революционную” точку зрения, может, им все же прислушаться к мнению профессионального ниспровергателя?

Безусловно, наши дети, не на Луне родившиеся, давно поняли, что в жизни правда одна не ходит. Ее как минимум – две. Или три. Чаще всего, конечно, пять... Потому как нормальные российские дети. И только на школьном уроке литературы правда по-прежнему одна – революционная. Одна на всех – помните? – мы за ценой не постоим. Как долго?

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

МЕТОД СОБАКЕВИЧА

О книгах Александра Бушкова

На обложке книги Александра Бушкова “Распутин. Выстрелы из прошлого” (М., “ОЛМА”, 2009) помещена информация, что общий тираж книг этого писателя превысил 30000000 (тридцать миллионов!) экземпляров. Весьма недурно, особенно если учесть, что Бушков считается автором патриотического направления. Например, Шолохов, один из самых издаваемых советских писателей, таких тиражей достиг где-то к концу жизни.

Увы, прочитав “Распутин”, никакой радости я за 30 миллионов экземпляров А. Бушкова не испытал, напротив, испытал сожаление, что погибло столько русского леса (если, конечно, издатели не врут насчет тиражей). Книга Бушкова вроде бы о Григории Распутине, но из 576 страниц издания собственно о Распутине написано лишь... 94 (сс. 323–417). В них автор достаточно убедительно рассуждает о фальсификациях на тему разгульной якобы жизни Распутина. Но это, по существу, статья с кратким эпилогом. О чем же остальной текст книги, если не считать приложений?

“Григория Распутин — как и кое-кого другого — настигли именно выстрелы из прошлого... — пишет Бушков. — А потому мы начнем издавать. От времен Николая I”. В общем, это всё равно, как если бы мы попытались объяснить убийство Павла I проблемами, назревшими в конце царствования Петра I. Но это была бы, конечно, книга не о Павле, а о временах Петра Великого. Так и “Распутин” Бушкова — книга не о Распутине, а о пагубной, по мнению автора, панславистской ориентации России, приведшей к втягиванию России в Первую мировую войну и последующей катастрофе.

Распутин же, появляющийся лишь на 323-й стр. — это лишь некий “глас народный”, он же глас вопиющего в пустыне, пытающийся предотвратить неизбежное. Но с таким же успехом книгу можно было посвятить любому другому известному русскому человеку, придерживающемуся в то время прогерманской ориентации, — а таких было немало. Они упоминаются и в книге Бушкова. Тогда вопрос: почему Распутин? Потому, что имя и неординарная внешность Распутина с портрета на обложке помогут книжку эту быстро и выгодно продать? Других объяснений я не нахожу. Но это — чистой воды плутовство, не знаю уж, авторское или издательское.

Взятая на вооружение Бушковым критическая точка зрения на внешнюю политику царского правительства в 1856–1917 гг. не раз уже высказывалась и имеет право на существование. Но она еще ни разу не формулировалась в столь площадном и даже хамском духе, не исключая и советского времени, когда любая политика царского правительства признавалась негативной. Такое ощущение, что человеку долго зажимали рот, а потом он вырвался и стал, весь красный, брызгая слюной, кричать без умолку об известной якобы ему одному правде, не заботясь о том, что в его крике разумно, а что бредово и невежественно.

Об идее славянского единства “патриот” Бушков пишет, как об “оторванной от жизни теории, выдуманной безответственной интеллигенцией”. То есть, надо

понимать, и Пушкиным в том числе, который написал: “Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос”. Ладно, Пушкин — “безответственный интеллигент”. А как быть с чехами и словаками, которые в 1915 году целыми полками, в парадном строю, под музыку оркестров переходили на русскую сторону? Из этих полков и был сформирован под Киевом знаменитый Чехословацкий корпус, вступивший в бой против немцев и австрийцев в июле 1917 года под Зборовом, на Юго-Западном фронте. Можно спорить о роли этого корпуса в истории России, особенно после 1917 года, одного не скажешь — что чехи изменили Францу-Иосифу, чтобы элементарно спасти свои шкуры (а именно это, по мнению Бушкова, побуждало западных славян искать защиты в России). И “злые поляки”, по свидетельству Деникина, хорошо дрались на нашей стороне!

О том, что усилия царской России на “славянском” и “православном” направлениях были вовсе не напрасны, говорят свидетельства таких непредвзятых лиц, как гитлеровский фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Он писал: “...еще одним фактором, затруднявшим применение румынских войск на Восточном фронте, было их поразительное уважение к русским. В трудных ситуациях это обязательно приводило к панике. Нельзя не учитывать эту проблему, если речь идет о войне против России с участием народов Юго-Восточной Европы. Что касается болгар и сербов, то их ненадежность усугубляется из-за чувства славянского родства” (“Потерянные победы”). Стало быть, не так уж “оторвана от жизни” теория “славянского единства”!

А вот как отзывается Бушков о западниках и славянофилах: “... в том-то и глубинная суть, что ни те, ни другие в общем не оказали никакого мало-мальски заметного влияния на жизнь страны, на ее политику, экономику, культуру”. И это сказано о творчестве западников Белинского и Тургенева, славянофилов С. Аксакова, Даля, Островского, Григорьева, Тютчева, Языкова и близкого к славянофилам Достоевского? О революционной агитации западника Герцена, исключительную роль которой отмечал еще Ленин (а он знал, что говорил)? О роли славянофилов в отмене крепостного права, которую не отрицали даже в советское время?

Аргументы Бушкова очень похожи на аргументы подданных люмпен-интеллигентов во время дебатов на исторические темы в пивной. У них — “все козлы”, в отличие от пресловутых “пикейных жилетов”, у которых каждый — “голова”. А еще “метод Бушкова” смахивает на отзывы о своих знакомых гоголевского Собакевича.

“Господина Герцена” Бушков считает “не отмеченным, прямо скажем, особенными талантами”. Между тем, даже не разделяя политических взглядов Герцена, он бы мог многому поучиться у этого блестящего мемуариста, в частности, последовательно, не скачущему в разные стороны изложению своей мысли.

Но Бушкова уже понесло. Достается и Чаадаеву, “которого иные восторженные борзописцы и сегодня именуют мыслителем без всяких кавычек”. Надо же! До чего опустились! Ведь мыслитель-то — он, Бушков! Что вы, не знаете разве? Волки позорные...

Поражают геополитические рассуждения Бушкова. Он не видит разницы между контролем над проливами Босфор и Дарданеллы и отсутствием такового: “Разница только в том, что раньше русский флот был заперт в Черном море как в тюремной камере, а при новом раскладе камера всего-навсего немного расширилась — до размеров Средиземного моря, не более того”. Дескать, англичане захлопнут Гибралтар — и всё. С таким же успехом можно рассуждать, что, взломав “гибралтарский замок”, русский флот расширил бы свою “тюремную камеру” всего-навсего до размера Атлантического океана.

Бушков охотно делится с нами такими открытиями: “Община — это, если откровенно, сплошное уродство”. Зато “столыпинские отруба”, видимо, сплошная красота и гармония. То-то царская Россия после “выселения на хутора” просуществовала только 11 лет. Общинная психология — психология державная. “Фермеру”, знаете ли, интересы государства не столь близки, как “общинному уроду”. Этот “столыпинский фермер” на фронте после Февраля 17-го только и думал о том, как без него там делят землю. А знай он, что землей по-прежнему управляет община, то мог бы не беспокоиться: “мир” всё равно поделил бы как надо, а не как кому-то хочется.

Но самое-то смешное в том, что в своем крикливом пафосе Бушков с грохотом ломится в открытую дверь. Какой смысл призывать Россию к внешнеполитическому прагматизму, к отказу от использования в европейской политике

“славянского” и “православного” факторов, если Россия после разрушения системы Варшавского договора и распада СССР волей-неволей вынуждена проводить именно “политику лорда Пальмерстона”, к которой призывает автор сего опуса? Это когда нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов (у нас, впрочем, есть), только постоянные интересы. Весь пар Бушкова ушел в свисток. Разве существуют какие-либо симптомы, что Россия сворачивает с этого пути?

Но, может быть, книга “Распутин. Выстрел из прошлого” – локальная, единичная неудача Бушкова, по которой нельзя судить о его творчестве в целом? Что ж, возьмем другую книгу писателя, вышедшую одновременно с “Распутинным” в том же издательстве “ОЛМА”, – “Екатерина Вторая: алмазная Золушка”. Удивительно, но в ней столько же страниц, сколько и в “Распутине” – 576. Это что – “стандарт Бушкова”? Или, точнее, стандарт “проекта по имени Бушков”, поскольку половина книги написана не им, а другими авторами, современниками Екатерины Великой?

Судя по анонсу на обложке, Бушков поставил себе целью ответить в произведении на следующие вопросы: “Кто она, Екатерина Великая? Немецкая принцесса, с триумфом взошедшая на российский престол и преуспевшая на этом поприще? Собирательница русских земель и угнетательница крестьян? Просвещенная правительница, всеми силами борющаяся со свободомыслием, но при этом тяготившаяся изысками придворной жизни? Или простая женщина, окружившая себя толпой фаворитов, но так и не встретившая своего главного мужчину?”.

Очевидно, Бушков или редакторы издательства предполагают, что эти вопросы противоречат друг другу, а между тем даже при их беглом прочтении особых противоречий здесь не обнаруживается. Возникает только сомнение, что “простая женщина” может окружить себя толпой фаворитов. Я, например, подобных “простых женщин” никогда в жизни не видел. Тут дело даже не в женщинах, а в том, что фавориты не “кучкуются” вокруг “простых”.

Короче, автор на обозначенные вопросы в книге не ответил и, похоже, даже не собирался. Вопросы эти, в сущности, просто пункты некоего плана, который он и разворачивает в своей книге. А поскольку ничего нового он нам о Екатерине Великой сообщить не может, то рассказывает вообще о тогдашней эпохе, расширяя географию повествования на всю Европу. Эта книга ни в коем случае не о Екатерине Второй – она об эпохе Екатерины Второй. В главе первой “Самый причудливый век”, занимающей 77 страниц, наша героиня появляется только в конце: “Родилась однажды девочка...” Рассказывается же о Петре Первом, о князе Борисе Куракине, императрице Анне Иоанновне, Михаиле Ломоносове (точнее о том, как его чуть не забили в прусские рекруты, когда он учился в Марбурге), о писателе Вальтере Скотте, едва не погибшем во младенчестве, и т. д. и т. п. Что ж, в главе, выполняющей, в сущности, функцию введения или предисловия, такой принцип повествования, может быть, и оправдан. Вопрос в другом: оправдан ли он в других главах? А именно такова творческая манера Бушкова – что в “Распутине”, что в “Екатерине” – галопом по Европам. Ну, в данном случае уже не только “по Европам”, но и по российской истории, но без какого-либо серьезного зондажа. Автор быстро прыгает по смежным темам, как водомерка по воде. Пишет об одном, но при упоминании какого-нибудь второстепенного (в данном контексте) лица или события легко переключается на них и преподносит нам очередной боковой сюжет. А об основном – неизменно забывает.

В общем, абсолютно та же картина, что и в “Распутине”.

Я не знаю, какое образование получил Александр Бушков, но, судя по тому, что он “эпистола” называет “эпистоляром”, а Валентина Саввича Пикуля постоянно величает на украинский лад Валентином Савичем (с одним “в” в отчестве), он образован умеренно. Он много читает, но, судя по приведенной библиографии, вдохновляется такими же книгами, какие пишет сам, – С. Баймухаметова, Б. Головкина, А. Исаева, Б. Кагарлицкого, А. и Д. Коцюбинских, П. Кошеля, Р. Пайса, Э. Радзинского... Это история для обывателя, умными книгами раздраженного и их не понимающего. Ему надо, чтобы “разрубили узлы”. Бушков их и разрубает.

Вот он “разрушил” миф о “славянском и православном единстве”, зачем-то использовав для этого Григория Распутина. В чем убедил Бушков обывателя? Что тот не напрасно проводит время с пивом у телевизора? Ведь ничего нет: Распутина убили и спустили под лед, Николая II с семьей расстреляли, Сталин умер, СССР распался, Россия проиграла зимнюю Олимпиаду.

Остались лишь “неизменные интересы”: телевизор, пиво, очередная книга А. Бушкова.

АЛЕКСАНДР КАЗАРКИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕОРГИЯ ГРЕБЕНЩИКОВА

Из *возвращенных писателей* он, кажется, возвращается последним. Когда-то его называли Баяном Сибири. В литературу беженцев, не в эмигрантскую мысль, он вписался раздумьями о России в целом, но всегда привлекал читателей изображением сибирской жизни. При жизни писателя последняя книга на родине вышла в роковом 1917 году, и к концу XX века прибавилось лишь два издания: избранные произведения (Иркутск, 1982) и “Гонец” (Москва, 1996). Лед тронулся с началом нового века: изданы книги “Былина о Микуле Буяновиче” (Москва, 2002), “Моя Сибирь” (Барнаул, 2002), “Избранное” в 2-х томах (Томск, 2004), “Егоркина жизнь” (Барнаул, 2005), “Чураевы” – в 4-х томах, в каждой книге – по два романа-тома (Барнаул, 2006–2007). Наконец-то восстановлением памяти, штопкой прорех литературной истории занялись сами сибиряки.

“Широка и необъятна сибирская земля, так широка и так необъятна, что не пришел еще певец, чтобы воспеть ее и изобразить ее величие”. Это начало седьмого тома романа “Чураевы”. Первым изобразителем величавых пространств северной Азии назвали Гребенщикова эмигранты. А. Куприн признал в нем продолжателя школы реалистов. Впечатляющие слова обронил Ф. Шаляпин: “Когда я читаю “Чураевых”, я горжусь, что я русский, и сожалею, что не сибиряк”.

Энциклопедии и справочники указывают разные годы рождения Георгия Дмитриевича Гребенщикова: 1882-й, 1883-й или 1884 год. Недавно из Америки в Барнаул перевезен архив писателя, и в нем есть документ: “Краткие биографические сведения о Г. Д. Гребенщикове. Записано со слов Татьяны Денисовны Гребенщиковой”. Сразу после смерти писателя, в 1964 году, жена продиктовала: “Георгий Дмитриевич Гребенщиков родился 23 апреля 1884 года в Сибири в маленьком селении под названием Николаевский Рудник, затерянном в предгорьях Алтая”. Сейчас, увы, это Казахстан (близ Усть-Каме-ногорска), в то время Бийский уезд Томской губернии.

Сам он сообщил в автобиографии о своих азиатских корнях: “дедушкин дед был калмыком”. А “белыми калмыками” называли алтайцев. Из-за крайней бедности ему не удалось закончить даже начальную школу, но в Америке он стал доктором философии, преподавал русскую историю и литературу. С десяти лет пришлось работать – и в аптеке, и санитаром в больнице, и помощником лесничего, и писарем в суде, и письмоводителем у адвоката. Ше-

стнадцатилетний Егор лучше следователя оформлял дознание, так что юристы заметили: письмоводитель-то — беллетрист. В Семипалатинске двадцатидвухлетний корреспондент местной газеты выпустил сборник рассказов “Отголоски сибирских окраин”. Дальше начинающий писатель редактировал в Омске газету и за ее “вредное направление” оказался в тюрьме, правда, не надолго. Но это была рекомендация в самое известное периодическое издание Зауралья — в газету “Сибирская жизнь”.

В 20-е годы, уже в эмиграции, писатель вспоминал: “Я жил в Омске, где редактировал небольшую газету “Омское слово” и откуда направился в Томск со специальной целью познакомиться с литературным миром сибирской столицы, а главное, с Г. Н. Потаниным”. Наставник сибирских областников стал опекать молодого писателя из крестьян, советовал стать вольнослушателем университета и заняться этнографией. У патриотов Сибири, учил бывший казачий сотник, прошедший каторгу, неотложные задачи: освободить родной край от колониального состояния, развивать культуру сообразно климату и традициям местных народов. От него у Гребенщикова неприятие декадентского уклона: “. . . разрушить пагубный пессимизм российской литературы, которая, по моему глубокому убеждению, накликала на нашу общую судьбу множество совершенно ненужных несчастий”.

В Томске Гребенщиков впервые оказался среди литераторов. Ирония в его адрес, при обсуждениях в группе “Молодая Сибирь”, уязвила самоучку. Он должен был решить, стоит ли писать дальше. Эти колебания толкнули его в 1909 году в Ясную Поляну. Лев Толстой благословил: “Не сомневайтесь и продолжайте. . . Хорошо то, что у вас здоровая идея, а без идеи разве есть смысл жизни?..”

Автор “Войны и мира” был для него опорой в создании романа эпопейного размаха, но поначалу более сильным оказалось влияние Потанина. А идеолог областничества считал, что учителями сибиряков не могут быть ни Толстой, ни Достоевский, ни Тургенев. Литературная Сибирь не должна-де быть эхом столичных журналов: там не могут достоверно изобразить чалдона. Задача эта поручалась Гребенщикову, Шишкову, Новоселову. Это надежда и опора группы “Молодая Сибирь”, а судьбы у них оказались разные. Много обещавший Александр Новоселов успел создать одну повесть — “Беловодье” — и погиб в Омске накануне колчаковского переворота. Вячеслав Шишков закончил жизнь лауреатом Сталинской премии. А Георгий Гребенщиков, не принявший большевиков, больше сорока лет жил на чужбине.

В 1912 году он редактировал газету “Жизнь Алтая”, не имея документа даже о начальном образовании. Всё решила рекомендация “большого сибирского дедушки” — Потанина. Потом, в эмиграции, он вспоминал о его наставничестве: “Быть может, он уловил во мне ту первобытную нетронутость народной почвы, на которой лучше прорастают его семена. Я был моложе всех, я был настоящий выходец из простой среды и, по его мнению, мог вспыхнуть настоящим пламенем его идей <. . . > И, наконец, когда вышли первые мои книги сибирских рассказов, я получаю в Петербурге письмо от Г. Н. Потанина, из которого отчетливо помню очень взволновавшие и смутившие меня строки: “Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и я думаю, вы должны его поднять и понести в будущее”.

Дела Гребенщикова в предреволюционные годы пошли блестяще. В Петербурге вышло двухтомник “В просторах Сибири”, затем книги “Змей Горыныч”, “Степь да небо”. Столичная печать отзывалась о сибиряке с похвалой, а влиятельная газета “Русские ведомости” направила его корреспондентом на фронт. Первый том романа “Чураевы” он дописывал в лазаретах и землянках. Рядовой сорокалетний доброволец обслуживал вначале окопные бани, а потом его бросили на борьбу с тифом. Гражданскую войну писатель пережил в Киеве и в Ялте; в новых местах он добывал на жизнь физическим трудом и всюду — в Турции, в Болгарии, во Франции, в Германии, позднее в Соединенных Штатах — строил дома. Первый номер журнала “Современные записки” открывает роман “Чураевы”. Во Франции же вышло первое собрание сочинений, шеститомное, а в 1924 году при содействии Н. Рериха Гребенщиков уехал в Америку.

Росло ли мастерство Гребенщикова после сорока пяти лет? Один из критиков русского зарубежья (М. Бенедиктов) утверждал: “Творчество Гребенщикова созрело и окрепло в эмиграции”. Но окрепла, пожалуй, лишь публи-

цистика, а стиль сложился раньше. Бунин, с которым Гребенщиков познакомился еще в Киеве, трезво предупреждал: в литературном захолустье Америки он не сможет развиваться. Для самоучки это большая опасность.

Ему ли, крестьянину, бежать от своего народа, и что делать реалисту этнографической школы в эмиграции? Такой вопрос и задал ему Есенин в Берлине: как ты здесь оказался? Ты же, мол, не белая кость, а наш брат Ерёма. Да, бытописателю никак нельзя без любви к народу, а он увидел взбесившуюся массу: “Изнасиловали волю и убили понятие о справедливости — да здравствует! Потеряли сердце, душу, совесть — да здравствует! Изнасиловали чужих жен и дочерей, прокляли отцов и матерей, предали друзей, растлили детей — да здравствует! Пошли войной и лютой казнью брат на брата — да здравствует!” Это из “Былины о Микуле Буяновиче”, после издания которой имя его зазвучало громко. Эмигранты называли эту большую прозаическую балладу настоящим откровением о русском простачке, соблазненном кровавыми посулами.

Первой задачей для птенцов “потанинского гнезда” стал поиск положительного героя. Еще в ту пору, когда борьба за Сибирский университет была в разгаре, Потанин заметил: “Роман из жизни интеллигентных людей в Сибири не имеет до настоящего времени необходимой для него почвы <...> попытки создать его неизбежно будут неудачны” (“Роман и рассказ в Сибири”, 1875). Сибиряк, получивший образование в столице, должен возвращаться в родную глухомань. Здесь его ждет террор среды — чиновничьей и купеческой. А в каторжных местах стыдно предаваться элегическим воспоминаниям в тургеневском духе. Редко встречаются у Гребенщикова положительные героини-интеллигентки: из-под маски благообразия обязательно выглянет животное. Человек деятельный, крестьянского корня, выйдя из глухомани, вглядывается в большой мир и мыслит, как толстовский дядя Ерошка: “Фальшь одна”. Таков его герой. Особо отметили критики “бестиальность” его мира; Толстому и Бунину также ставили в вину “недоверие” к культуре. Критики, ориентированные на модернизм, говорили о Гребенщикове как о “тяжеловатом” художнике, владеющем только простой, докультурной жизнью. Но такова уж Сибирь в глазах европейцев.

Вслед за Потаниным прозаик считал, что мир больше всего ждет сибирскую эпопею. Заметим: “Беловодье” А. Новоселова, “Чураевы” Гребенщикова и “Ватага” Шишкова — самые значительные создания сибирской прозы на грани 10–20-х годов XX века — посвящены старообрядцам. Этот осколок допетровской Руси деспотически охранял традицию. Искатели воли, традиционалисты и бунтари, они открещивались от машины: “Чур меня!” Героев своих Гребенщиков наделил комплексом блудного сына, но возвращение к родному пепелищу становится всё менее вероятным.

Первый том (“Братья” — о нравах патриархальной среды) — несколько затянута экспозиция, но вдруг, срываясь, сюжет устремляется к трагедийным массовым сценам. В романах “Спуск в долину”, “Веления земли”, “Трубный глас” (вторая, третья и четвертая части “Чураевых”) ощутимо влияние идей Н. Рериха. Скорее всего, оно и помешало воплотить первоначальный замысел двенадцатитомной панорамы Сибири. Заветная мысль героев Гребенщикова: соединить веру предков с современной цивилизацией. Оказалось: это книжная утопия. Через два поколения В. Шукшин, В. Астафьев и В. Распутин будут варьировать образ-символ блудного сына для создания типа антигероя и героя с трагической судьбой.

“Чураевы” — одна из вершин региональной эпопеи. Классические образцы жанра — дилогия П. Мельникова-Печерского о поволжских староверах (“В лесах” и “На горах”) и два романа М. Шолохова о Доне — посвящены драматической судьбе субэтносов — кержакам и казакам. Не много равных Гребенщикову по точности изображения тайги, гор, степей и пашни. Он язычник, животное-стихийная жизнь у него подлинная, и конфликт природы и культуры укрупнен по-толстовски. Есть и философ в его мире. Василий Чураев, богосекретарь из кержаков, ищет религиозную истину, идет путем интеллигентских искушений и возврата домой, к роду. Но, в отличие от толстовских героев, к слиянию с народной стихией он уже не стремится: слишком много видел он сцен вандализма. Сцены зверства потрясают, но космизм снимает чувство безысходности, остается надежда на возврат к нормальной жизни. Не нашел Чураев “всемирного братства” после отречения от веры отцов, а раздумье о

гибельном уклоне истории возвращает его к “византизму”. Был он и богословом, и путешественником, и хлеборобом, и каторжником, и санитаром на фронте, и корреспондентом. И постепенно понял он, что все это – цепь искушений, против которых у предков был иммунитет, а он его утратил.

Критик Г. Адамович, откликаясь на появление в Париже собрания сочинений Гребенщикова, заметил, что его крестьянские типы “чуть-чуть пейзаже”. Это верно лишь отчасти, его ранние повести заставили говорить о жестоком таланте. “Былина о Микуле Буяновиче” позволяет догадываться, как хотел автор завершить свой роман-реку. Последний, двенадцатый, том “Чураевых” назывался “Построение храма”. Обезумевший, преступивший все запреты Микула Буянович сам себе сделал “укорот”. Интересно замечание В. Распутина по поводу внутреннего предела как лейтмотива прозы Гребенщикова: “Микула Буянович, побуянив вволюшку на родных просторах, опаленных смутой, споткнулся-таки о свое безумие и воззвал к Богу <...> Финал “Былины...”, совсем как беловодские грезы о земле обетованной с белыми храмами и нежным колокольным звоном, под которым мирно пасется раскаявшийся народ, кажется чересчур благостным, но Гребенщиков и не видел иного спасения для народа, кроме как вернуться к вере предков и укрепиться в ней до полного национального звучания”. Род распадается, жизнь без корней становится обычаем, отклонения замещают норму, но перешагнувший все запреты человек спохватывается.

В первой части большого романа (“Братья”) Василий остается второстепенным персонажем, мир видит Викул, впервые вырвавшийся из тайги в город. На втором плане Василий и в тех частях хроники – “Сто племен с единым”, “Океан багряный”, “Лобзание змия”, – в которых в центре исторические потрясения. Потанин боялся подчиняющего влияния классиков, а у Гребенщикова возникла мотивная переключка с “Братьями Карамазовыми”. Она неизбежна для семейного романа. Василий Чураев проходит путь исканий, какой предстоял Алёше Карамазову, а возвращаться ему некуда: родное превратилось в чуждое. По сравнению с романом Достоевского, в “Чураевых” усилен мотив родового греха. За преступления отцов рассчитываются каторгой и Ерёмка-мясник, и Викул, Василий. Гребенщиков подхватил славянофильский покаянный мотив: “Не говорите: то былое, то старина, то грех отцов...” (А. Хомяков). Очень сильна у него тема национального греха. Очень важна она для итогов XX века. В. Шукшин утверждал: “народ всегда знает правду”, но как быстро многие в этом усомнились. Советские прозаики писали родовую сибирского большевизма, а вот В. Шукшина заинтересовала судьба потомственного крепкого крестьянина, которому нет места на родной земле. Основная тема романа “Любавины” – превращение главного работника на земле в изгоя: “Егор Любавин оказывается в стане врагов – остатков армии барона Унгерна, которая осела в пограничной области Алтая, где существовала почти до начала тридцатых годов” (“Молодежь Алтая”, 1 января 1967). Судьбу глубоко русского человека, трагического героя гражданской войны, Гребенщиков разглядел едва ли не первым. Полвека писатели-сибиряки не могли читать зрелые романы земляка. А в них узнаются последние отголоски утопии руссоистского типа.

Так кто же больше всего повлиял на Гребенщикова? Потанин был атеистом, Толстой – богоискателем-еретиком. Размышляя о своем пути, прозаик сказал: “Ни Горький не заразил меня безумством храбрых, ни Лев Толстой, одобрявший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г. Н. Потанин, надеявшийся, что я подниму ядринцевское, т. е. его, потанинское, знамя, – никто не сделал из меня своего честного последователя”. В этой исповеди писатель не точен: в 20-е годы он подхватил рериховское знамя, но, похоже, также не остался верным знаменосцем. Теософия его не увлекла, крестьянская завкаса отторгла беспочвенные оккультные мотивы. От Рериха принял он миссию Гонца, но рано или поздно должен был ответить на вопрос: а чей же он гонец? Апостола внехристианского экуменизма? Василий Чураев – во многом автопортрет, после долгих исканий он пришел к старообрядческой апокалиптике. Ни малейшего веяния оккультизма нет в повести “Егоркина жизнь”, а она создавалась как литературное завещание.

В книге “Моя Сибирь” от сотворения дремлющая Северная Азия стала центром преображения мира, на нее возложена миссия просветления заблудшего человечества. Это не периферия, не окраина, а котел племен, где вы-

варивается самая жизнестойкая культура: “Сибирь – это такое географическое место на земном шаре, где должно возникнуть теснейшее культурное единение самых великих наций и где дружно протянут друг другу руки Восток и Запад”. Основные идеи книги “Гонец” – духовно-строительные. В творчестве эмигрантов усилен мотив оборванной идиллии, но теплится надежда на восстановление жизненной нормы. До В. Шукшина сибиряк-эмигрант размышлял, как “собрать нацию заново”. Тут повеяло руссоистской утопией: согласно теории этногенеза, народ не может вернуться в пройденную фазу.

Каковы шансы сохранения традиционных картин мира, – для тех, кто всерьез думает о вкладе Сибири в мировую культуру, это не праздный вопрос. Размышляя о возможности оригинальной литературы в Северной Азии, нельзя миновать тему творчества аборигенов. Огромное фольклорно-мифологическое наследие так и осталось невостребованным, как не был, в сущности, реализован в большой литературе “куперовский” сюжет. Гребенщиков рано выделился особым интересом к жизни аборигенов. Здесь ему тоже виделся грех отцов-первопроходцев. Один из заветов Потанина: настоящую сибирскую литературу нельзя создать без опоры на наследие аборигенов.

Нужен новый взгляд на освоение Сибири. Равен ли наш опыт “вкладу” европейцев в Северной Америке? И насколько корректно тут и там мелькающее слово “фронтир”? Этим модным словом, американской калькой, хотя заменил давно принятый термин “колонизация”. Да, освоение Сибири завершило тысячелетнее движение русских на восток, и об этом не без гордости сказал Гребенщиков в книге “Моя Сибирь”, в Америке же был геноцид.

Оставив свой большой роман недописанным, прозаик отдал последние силы исповедальной повести. “Егоркина жизнь” – поэзия векового, уложившегося крестьянского быта. Нечто близкое создал позднее писатель другого поколения, Василий Белов – поэму лада, завет поколениям, оторванным от земли. Если искать шедевр литературы о крестьянской жизни – вот он. Культура, зависящая от чувства земли, из мегаполисов уходит на окраины. Только провинциал, как говорил Шпенглер, еще “стремится воскресить жизненный стиль прошедших времен”, но вынужден “отказаться понять историю, пережить историю, творить историю”. Печальный итог века: прежде основной герой, работник на земле, объявлен маргиналом.

В “Егоркиной жизни” спрессованы три эпохи жизни: детство, отрочество и начало юности. Итоги жизни Гребенщиков извлекает в сопоставлениях, смысл ищет в контрастах: “...еще на руках матери впервые увидел Егорка небо – не в звездах, нет, а в весенней луже. И как он его увидел? Увидел таким, каким должно быть или оказалось Царствие Божие на земле, ни больше, ни меньше... он увидел и всем своим малолетним существом приник к земле, босыми ногами прошел по родной пашне и еще бессознательно взял от нее плодородную любовь и мудрость простоты... Глаза его увидели весь мир. Вест мир в грозе и буре, в огне великих войн и в кровавом море революций”. Как ни богата традиция автобиографической прозы, “Егоркина жизнь” – одно из самых заметных явлений в ней, она достойна изучения в школах хотя бы Сибири и рано или поздно станет общеизвестной.

Долгое время Георгий Гребенщиков был центром притяжения русских литературных сил в США. Его наследие заставляет размышлять, снята ли к началу XXI века миссия Сибири. Как говорит Л. Гумилев, “идет демографический спад, после которого остаются периферийные субэтности, минимально связанные с главной линией”. Возвращение Гребенщикова началось, дальше будет уточняться его место в большом контексте. Надо осмысливать уроки его непростой судьбы. О романе “Чураевы” уже говорят как о вкладе в русскую и мировую литературу. Критики допотопического круга задавали один вопрос: кто в этой провинции похож на столичное “светило”, кто “сибирский Карамзин”, а кто “сибирский Гончаров”. Тем самым стимулировали вторичную словесность. Но литературная история региона интересна, если в ней проявилась оригинальная художественная школа. О ней грезил областники, а вот была ли она в Сибири, утопия это или проект, – это остается открытым вопросом. Но если искать зачатки сибирской картины мира, в первую очередь надо читать Гребенщикова.

НИКОЛАЙ ПЕРЕСТОРОНИН

РОДУ-ПЛЕМЕНИ КРЕСТЬЯНСКОГО

К 80-летию писателя Владимира Ситникова

— Еду учиться на крестьянина, — говорит в свои восемьдесят писатель Владимир Ситников, отправляясь в старинное вятское село Волково, что в Слободском районе Кировской области, километрах в тридцати от областного центра. Там у него дом с одворицей, там у него обитель трудов литературных, которые он все норовит отложить во имя постижения премудростей крестьянской жизни, которой, собственно, его труды и посвящены в большинстве своем. Ведь из пятидесяти книг, вышедших из-под его пера, может быть, только самые первые: “Ищу призвание” и “Ирина” на городском материале созданы. Тогда как герои таких его крупных произведений, как “Русская печь”, “Свадебный круг”, “Летние гости”, “Большое новоселье”, “Белогривская метелица”, “Из огня да в полымя”, “Бабье лето в декабре”, “И за что мне эта боль?”, “Это было недавно, это было давно”; раздумий публициста “Самый вкусный на земле”, “Человеку много надо”, “О том, что дорого сердцу”, “Вятские перелески”, “Свой узор”, “Добрый совет”, “И себе и внукам”, “Роду-племени крестьянского”, “Сохрани и сотвори”; книжек для детей “Настин двор”, “Клюква-жаровица”, “Красава-матушка”, “Медовая поляна”; поставленных в Кировском областном драматическом театре пьес “Райская обитель”, “Толкач из Парижа”, “Во всю Канаринскую” — люди с сельской пропиской, с деревенской душой и таким государственным пониманием жизни, что ни одному государственнику не снилось.

О нем и Владимир Крупин отзывался как о писателе, знающем народную жизнь куда более пристально и достоверно, нежели многие пишущие о России. “Неизменно входящий в число русских писателей сельской темы, Владимир Арсентьевич вошел в нее не с асфальта. Он из деревни, сельский. И с годами я все более пристально понимаю, что это Господь дал нам такое счастье — родиться в селе; нам не надо сочинять приметы быта, разговоры людей, события жизни. Нам достаточно закрыть глаза и вспомнить и увидеть все глазами памяти. И полный крестьянский круг — от весенней страды, трудового лета, тяжелейшей уборочной поры осени, трудовой голодной и холодной зимы, и полный день — от раннего рассвета вставания на работу и отхода ко сну после заката — все это прошел и прожил писатель. И выстрадал истину, и воспел ее в своих книгах. Только человек труда понимает, что такое праведная жизнь. Что такое право на понимание хозяина жизни”.

Три района борются за право называться его родиной – Куменский, Зуевский, Кирово-Чепецкий. Пожилая женщина–агроном на мотоцикле “Урал” – сама за рулем! – мчит за тридцать восемь километров по осеннему бездорожью из деревни Пачи в райцентр Тужу, чтобы побывать на творческой встрече с ним, чтимым и читаемым. А он – “учиться”. Но, может быть, потому подросток военной поры и стал писателем. каких в Вятке раз и обчелся, да и в России немного, что никогда не считал зазорным учиться у народа – у языкотворца и правдоискателя? Сам пишет: “Очень важна литературная среда и, так сказать, скрытый период созревания, когда писатель пребывает как шелкопряд в коконе своих творческих сомнений, мучений и открытий. Мое школьное литературное окружение “кучковалось” вокруг рукописного журнала “У лукоморья” в Ленинградском университете, где я учился на журналиста и переводчика чешского языка, ходил в литературное объединение, которым руководил поэт Леонид Хаустов... Конечно, ничего не дает так много, как своей собственный горький опыт, первая книга, погрузившись в которую ты постигаешь тайны создания человеческого характера, поиска бытовой детали, диалога с психологическим подтекстом...” Но, признаваясь, как трепетно брал литературные уроки у Павла Нилина, Николая Атарова, Гавриила Тропольского и других известных прозаиков, как, постигая природу смешного и ироничного, преодолел в себе мимолетное увлечение “звездными мальчиками” из книг Василия Аксенова, Анатолия Кузнецова – и через очерки и публицистику, которые печатали в 70-е годы многие центральные газеты и журналы, пришел к осмыслению происходящего, а потом и прозрению.

– Толчком, наверное, послужила повесть Василия Белова “Привычное дело”, – сказал однажды Владимир Арсентьевич, закрепив это признание и в своем авторском, озаглавленном “Взгляд в себя”, предисловии к составленному из его романа, повести и рассказов тому антологии вятской литературы. – И я понял: не “бывалые” аксеновские “мальчики” – герои нашего времени, а мужик Иван Африканович Дрынов и его однодеревенцы. Ведь такими же были и окружавшие меня вятские мужики, мои однодеревенцы из Малого Кабаново, где я родился.

А потом в Вологде довелось нам с Владимиром Николаевичем Крупным стать свидетелями встречи Владимира Арсентьевича Ситникова и Василия Ивановича Белова. И запомнился даже не разговор двух “деревенщиков”, а один показательный эпизод. Ситников попросил Белова подписать ему книгу и протянул для автографа именно “Привычное дело”... А потом шли мы вчетвером вологодскими улочками и дворами к Вологодскому рынку, и Василий Иванович все рассказывал нам о Вологде, все показывал нам, и вдруг, прочитав какую-то хулиганскую оскорбительную надпись на стене дома, принял ее на свой счет, расстроился и повернул обратно. И вел нас уже Владимир Арсентьевич, причем верно вел, со знанием дела и местных особенностей, так что не сбились мы с пути, а пришли куда надо и вовремя. И теперь видится в этом что-то символичное – преемственность даже. Потому, что всегда важно, когда есть кому идти впереди, вести, кто находит верную дорогу, даже не зная ее изначально, и не сбивается ни при каких обстоятельствах.

А Ситников ведь много где впереди оказывался волею судеб. И Кировскую писательскую организацию возглавлял более двадцати лет, приняв штурвал управления из рук авторитетнейшего поэта-фронтовика Овидия Михайловича Любюкова. И издание вятских книжных сериалов – энциклопедии земли вятской “Откуда мы родом?”, серий “Народная библиотека” и “Антология вятской литературы” – не просто инициировал, но доводил до ума, до закономерного развития и завершения. Ведь энциклопедия земли Вятской – это уже 12 томов полновесных энциклопедических изданий по пятьсот-шестьсот страниц каждый, выпущенных в период с 1994 года по 2010-й. Где, в какой области необъятной России удавалось 16 лет удерживать читательское внимание не беллетристической, не детективами-боевиками-ужасиками, а серьезной краеведческой патриотической литературой, основанной на документах, исследованиях ученых, краеведов, историков?! У томов ведь этих скромные, мало говорящие названия “Города”, “Литература”, “Архитектура”, “История”, “Ратные подвиги”, “Природа”, “Знатные люди”, “Ремесла”, “Культура. Искусство”, “Этнография. Фольклор”, “Села. Деревни”, “Промышленность”. А какое изобилие имен, событий, фактов, какое богатое, героическое и трагическое прошлое, сколько знаменитостей, продвигавших вперед мировую науку,

национальную культуру, сколько списков уничтоженных деревень, разоренных сел, расстрелянных священнослужителей...

Каждый том — плод коллективного труда, но роль Ситникова переоценить трудно уже потому, что он не давал начатому делу “заглохнуть”. И “Народная библиотека” (издано более пятидесяти книг вятских прозаиков и поэтов, членов Союза писателей России и участников литературного клуба “Молодость”), и “Антология вятской литературы” (выпущено более 10 томов) выходили, пока писательскую организацию возглавлял В. А. Ситников, пока входил он — и по должности и по душе — в координационный и редакционный советы. А устранили, вывели, отодвинули — пишите как хотите — человека, который писал “слезницы”, “приделывал ноги” к каждой бумажке в департаменты, учреждения и организации — и все застопорилось. Конечно, кризис, нет финансирования и т. д. Но и опыта нет “выбивать” это финансирование, авторитета не хватает разговаривать с властью так, чтобы польза была от этих разговоров организации, которая доверилась, наделила полномочиями. А шуму-то было, упреков, подозрений... Кто-то премию не получил, на которую рассчитывал, кто-то якобы недополучил, посчитав полученное подачкой. Кто виноват? Ситников...

Владимир Арсентьевич оставил пост председателя правления областной писательской организации за пару лет до своего восьмидесятилетия и наконец-то сосредоточился на том, что всегда считал главным. Написал продолжение романа “Свадебный круг”, продлив жизнь Гарьки Сереброва и других литературных героев до постперестроечных времен. И еще один роман завершил — “Козел, ведущий стадо на убой”, посвященный истории создания на вятской земле сводных комсомольско-молодежных отрядов животноводов. Помните, был такой почин “Всем классом — на ферму”? Он в Даровском районе родился, в Кировской области в 1979 году. Тогда же Владимира Арсентьевича Ситникова вместе с Овидием Михайловичем Любиковым первые “скможевцы” в почетные члены отряда записали, взяв слово, что когда-нибудь напишут они о СКМОЖе. Овидий Михайлович почти сразу же написал прекрасные стихи:

*Труд человеческий — жизни основа,
Жизни великая суть.
Милые девочки из Даровского,
Славный вы выбрали путь.*

А вот у Ситникова на воплощение замысла ушло без малого тридцать лет. Если не жизнь прошла, то огромная, значительная ее часть. Особенно в судьбах тех деревенских ребят и девчонок, чья молодость пришлась на семидесятые годы, а зрелость — на девяностые. Тут с кондачка не возьмешь, и три десятилетия для осмысления — не срок. Зато получилось по-ситниковски правдописательно.

“Ольга Семеновна, приехав в больницу, кручинно глядела в Славкино лицо, вздыхала:

- Почто такая напасть на тебя?
- Случайность, — говорил Славка.

Она с такой жалостливой печалью смотрела на Славку, что он терялся, а когда уходила, вспоминалось, какой он был дурак, как обижал ее своим невниманием, грубостью, а порой и пренебрежением.

Одно время в школе завели порядок: старшеклассники с утра до вечера в вестибюле. Обедать можно было только в буфете, но у него хотя бы копейка. И вот во время урока, когда в школе тишина, вдруг приехала мать и принесла ему поесть из дома бидончик с гороховицей.

- Поешь, Славку, ты ведь голодный, — просила она.

— Да ты что? — возмущился он. Ему показалось стыдным, что он будет тут есть гороховицу за дежурным столом из бидона и кто-нибудь это увидит. Увидит мать, затрапезно одетую в телогрейку и старый платок...

Кстати, напечатан этот роман в книге “Это было недавно, это было давно” вместе с повестью “Русская печь”. Той самой, что принесла в начале семидесятых славу не только Владимиру Ситникову, но и о земляках его заставила говорить с уважением. Больше того, в воинской части 2119, обособившейся в начале семидесятых на Новгородчине, среди холмов Валдайский

возвышенности, когда была опубликована повесть Ситникова – все вятские ходили героями. “Краешком родного дома казалась крыша, на которой любил бывать юный Павел, веяло теплом домашних ярушников и рябиновых пиროгов, которыми потчевала деда Фаддея и его внука бабушка Ефросинья. А старший сержант Конямин, гордившийся своими сибирскими корнями, подошел к одному вятскому и признался: “Такого писателя воспитали. . .”

Конечно, он имел в виду нечто большее, чем шестерых парней с вятской пропиской. И строки из литературного тома энциклопедии “Откуда мы родом?” о том, что сельские воспоминания, авторитет деда Василия Фаддеевича, агронома-самоучки, навсегда связали писателя Ситникова с вятской землей, с крестьянством, с сельским ремеслом и бытом, тоже говорили о чем-то неизменно большем, чем просто кровная связь с землей, которая была, есть и будет главным, определяющим фактором его жизни, судьбы, литературы. И, наверное, не случайно завершалась повесть “Русская печь” следующими словами: “На душе у меня было горько и торжественно. Я думал о том, насколько все-таки богаче мы становимся, когда ощущаем родство свое с прошлым, насколько умнее, великодушнее и, может быть, дальновиднее, потому что минуем повторения ошибок. . .” В этом финале видится теперь некоторая заковычанность художественного замысла повести “Русская печь” и романа “Козел, ведущий стадо на убой”, переключки судьбы героев голодной военной поры 1941–1945 годов с судьбой молодых людей 70-х годов, непридуманность сюжетных линий.

Да и о какой придуманности может идти речь, если, приезжая в вятское Рябово, васнецовское село, вы можете встретиться и с героями повести Владимира Ситникова “Бабье лето в декабре”, и с самим писателем. Только не ищите его в хороводе, среди гостей праздника, посвященного очередному юбилею Аполлинария или Виктора Васнецовых – великих русских художников, родина которых здесь, в Рябове. И Ситников тут не чужой, только родня его вся на старом рябовском кладбище лежит под синими деревянными крестами. В стороне от всеобщего веселья, он и сидит на крашеной скамеечке за крашеным столом, поминая со старинными друзьями своих близких. Разойдется припасенная чекушечка, продлится еще сколько-нибудь безмолвный разговор с родственниками, которых уже нет на земле, – тронется Владимир Арсентьевич в путь обратный, к дому своему городскому, а то и в Волково уедет напрямик. И скоро вятские его читатели прочитают: “Художника Аполлинария Михайловича Васнецова волновало будущее русский деревни, родных рябовских мест. Кажется, в 20-х годах прошлого столетия сделал он карандашный рисунок с надписью “Идеальная деревня будущего”. Там утопающие в садах дома, общественный двор, большое красивое здание, возможно, сельский театр или клуб. Примерно так и выглядела примыкающая к селу Рябово деревня Вахрушево, когда находилась в составе мощного огромного колхоза имени Дзержинского Зуевского района, который возглавлял Герой Социалистического Труда Александр Харитонович Кормщиков. А потом, в перестроечные годы начала деревня хиреть. Новоявленный колхоз имени братьев Васнецовых вовсе упал, и не видно в жизни здешних жителей просвета. Ни работы, ни заботы. Я часто бываю в Рябово. В пяти километрах от него была деревня Сосновец, где я появился на свет. На здешнем кладбище похоронена моя бабушка Елена Игнатьевна Иволина-Вахрушева, дядя Алексан и тетка Наталья, двоюродная сестра Аксинья. Музей братьев Васнецовых очень приятный, много бывает здесь начальства из разных мест. И почему-то никому не стыдно, что не осуществилась мечта Аполлинария Михайловича, не создали потомки “идеальную деревню будущего”. Думается мне, что в память о самоотверженном вятском крестьянстве стоило бы именно в этих местах открыть музей деревенного зодчества под открытым небом и памятник поставить матерям-крестьянкам, подросткам, старикам, которые в дни Великой Отечественной войны сами недоедали, а снабжали армию и город хлебом, мясом и другим провиантом, заботились об эвакуированных, приехавших к нам из Москвы, Ленинграда, Новгорода, Пскова и других мест. Не видели и не знают нынешние молодые люди, как жили и работали деды, как выглядели молотильный ток – гумно, кузня, житница – водяная мельница и мельница-ветреница, колодец с журавлем. А обиходные вещи: коромысло, прялка, пестерь, льномялка, деревянный ткацкий стан, ушаты, корчаги, зыбка на очепе – были бы к месту в деревенской избе. И у художников, приезжающих

сюда на пленэр, было бы больше возможности рисовать быт и природу. И музей стал бы больше давать посетителям для души и познания”.

Нет, не изменил ни себе, ни теме, которой верен уже более 50 лет, писатель Ситников. Он и дедовы дневники, сшитые дратвой сорок тетрадей, “перевел” в роман. “Ах, кабы на цветы да не морозы”, недавно переизданный и украшенный фотографиями времен, когда дедушка Василий Фадеевич ходил в Моравию учиться на крестьянина, когда отец Арсений Васильевич постигал крестьянскую науку, когда и сам Владимир “поступал в обучение” русскому крестьянству. Надо понимать, что без этого образования не то что идеальную деревню будущего не построишь – человека в двух шагах не разглядишь. А жизнь щедро дарит новыми событиями, характерами, эпизодами – смотри, записывай, запоминай. . .

И историю своего рождения (“Ржаная пора, мама снопы вязала да упала. Я, видно, торкнулся”), крещения в трех районах (“В Ряbove поп не стал крестить – не наш приход. Тетка Наталья вспомнила, что у нее знакомый служитель культа в Селезенихе, но и там приход не наш оказался. Крестили в Каринке, а это уже не Зуевский район, а Кирово-Чепецкий нынче”) рассказывает так, будто сам все видел и запомнил. Да еще дополняет важной деталью, что вообще мог бы родиться в Армавире, откуда родители в Киров и приехали.

А как он вывернулся в Москве, в “Елисеевском” ресторане! Когда режиссер Степанцев, большой мастер розыгрышей, представил его очереди как председателя колхоза. Мол, потому с колбасой перебои, что такие вот плохо работают. Очередь зароптала, и Ситников снова взял инициативу в свои руки. “Есть ли кто-нибудь из Кировской области?” – спросил он, обращаясь к очереди. “Я из Яранского района родом”, – сказала одна дама. “Вот, – сказал писатель-председатель, – если бы вы остались на родине, а не уехали в столицу жить, мы бы работали лучше. . .”

И опять же чему удивляться. Из таких ли сюжетных перипетий приходилось ему выводить героев своих произведений. . .

Роман “И за что мне эта боль?”, вышедший лет пять назад, похож на роман-репортаж. Писатель почти соглашается, говоря, что сознательно отказывался от пространных размышлений, оценок-подсказок, чтобы вместить всю череду событий, которыми буквально пропитано произведение. Но читаешь, а мысль работает: “Эта боль – кому?”

Если Острецову, то почти сразу понятно, за что – может быть, за те бабушкины ватрушки, которые выбросил, опасаясь маминых упреков: “Опять к отцу ходил, с которым мы в разводе!” Но скорей всего, эта боль – Шурочке Светлаковой, которая возводит семью – даже такую, какая у нее есть – в ранг высокий. И писатель, который еще недавно говорил: “Прежде чем говорить о семье, я скажу о друзьях”, всей судьбой своей героини подтверждает: “Семья превыше всего”. А о дружбе и друзьях он говорил на прошлом юбилее:

*Не в том беда, что множатся года
И волосы становятся белей.
Мы старыми становимся тогда,
Когда мы остаемся без друзей.*

Владимир Ситников относится к писателям, которые идут в своем творчестве от реальной жизни, непридуманных героев, действительных событий. И кажется, что живчик Афончик из рассказа “Афончик, он же Джек Барминсон” недавно наезжал из Москвы, вихрем пронесся по Вятке и ничего о себе не оставил – ни выполненных обещаний, ни доброй памяти. Правда, имя у него другое, некоторые выверты биографии, запечатленные в повести, тебе неведомы, но узнаваемы. Кто-то узнает и Веру, героиню повести “Батрачка”, подневольную ее судьбу, на крутых виражах которой эта простая и сильная вятская женщина нет-нет да почувствует, что направляют ее опять не в ту сторону.

Писатель относится к своим героям с иронией раннего, но не утратившего доброты и сочувствия снисхождения. Больше, чем в других его произведениях, это проявляется в повести “Бабье лето в декабре”. Как когда-то в полыхающем бардовым и лимонным цветом перелеске разоружили недоучившуюся в школе Симу василискины слова да его скатерть-самобранка, так и в пору замужнюю, а значит зрелую, не устояла она опять, когда подь-

ехал к ней Витя-Сказка с шампанским и ананасами. А перелистнешь эти страницы, и откроется “Стоял уже декабрь, а земля все еще была неуютно черна, и только матово зеленоющие озими радовали глаз. Зябко, как веники-голики, торчали купы деревьев. Уныло, будто жечь, шелестели мерзлые листья в канавах. Наверное, все еще продолжалось затяжное бабье лето, но оно уже всем надоело. Люди и звери ждали снега. И Сима ждала его”.

Еще о романе “И за что мне эта боль?” Писатель доверяет героям и как бы отступает, не проявляется явно. Но “автор-сочувствие” записано у меня в блокноте. Сочувствие к героям, даже к тем, о которых страницу назад писал он не без иронии.

Как в финале, когда вроде бы Острецов размышляет, а слышится именно авторская интонация. “Конечно, он запутался в своем любовном многоугольнике. Конечно, он нехороший. Но это совершенно неважно. Важно, что Шура осталась жива. Вот она выйдет из больницы, и все решится. Должно, наконец, решиться”.

И, думается, теперь это о чем-то большем, чем просто взаимоотношения двух людей, двух любящих сердец. О стране, может быть, о жизни. И хочется продолжения – мощного, с авторскими размышлениями, оценками, описаниями, пейзажами.

Последовательность событий и впечатлений, познания и повествования всегда были важны в его жизни и творчестве. Автор около пятидесяти книг прозы и публицистики, признанный романист В. А. Ситников, оказывается, написал на сегодняшний день всего три романа – “Свадебный круг”, “Ах, кабы на цветы да не морозы”, “И за что мне эта боль?!”

Первая повесть написана еще в университетские годы, первые очерки вызрели после сорока, как это было с Г. Успенским, В. Овечкиным, И. Васильевым, другими признанными мастерами этого сложного, требующего огромного житейского опыта жанра. И только потом, после двадцати, не меньше, повестей, среди которых была уже и знаменитая “Русская печь” – первый роман. К серьезному этому жанру он готовился исподволь, основательно. Критики потом заметят: работа над очерками дала писателю знание среды, а над повестями – возможность глубокого постижения народного характера.

“Восторг и ужас” – так и теперь определяет он состояние, которое испытал еще подростком во время первого своего прыжка с парашютом. Когда с недоступной прежде высоты открывалась ему вся земля – благодатная, родная, сенокосная. Хотелось приземлиться в копну, обязательно в копну, чтобы сразу вдохнуть запах свежескошенных трав, окунуться в него, пропитаться им.

Потом, уже в романе “Ах, кабы на цветы да не морозы” он напишет: “Взглянул я окрест с высоты птичьего полета и замер. По-прежнему зелена и красива была земля. Но от горечи сжало сердце. Не увидел я уже ни одной деревни, только купы садов. Зеленая грива на самом горизонте – мое Мало-Кабаново, но это лишь отживающие свое тополя. С десяток лет уже не косят луговины и не засевают здесь поля. А они ведь кормили моих предков. Но о предках стараются забыть, как будто их не было. Раньше гуляла земля вхолостую только в пору большого мора да опустошительных вражеских нашествий, а больше веских причин не пахать и не сеять не было. Потому что хорошо знали крестьяне, как тяжело отвоевывать пашню у леса, луг сенокосный у болота. А теперь? Нет тут крестьян, а далекие от деревни люди забыли, что ждет земля любви человеческой и призрения хозяина”.

“Как обитаемо здесь стало”, – сказал Владимир Арсентьевич снова, побывав в своем Мало-Кабаново. Поросшая таволгой местность и вправду ожила, наполнилась говором близких и дорогих людей. На открытие родника приехали настоятель Вознесенского храма отец Виктор, директор совхоза “Ардашевский” С. В. Калинин, заслуженный юрист России, земляк-однодеревенец Владимира Арсентьевича Г. Е. Пономарев, директор Куменской районной библиотеки М. В. Головина, журналисты и почитатели таланта писателя В. А. Ситникова.

Три свечи горели на верхнем венце сруба, отражаясь в чистой воде. И вспоминалось, где чей дом стоял, кто тройкой правил. И бабочка перелетала с плеча на плечо, будто прислушиваясь к разговорам. И говорил писатель, показывая на поросший лесом взгорок, что там была некогда деревня Молоки. И подписывал книги, в которых рассказал об этой земле тепло и бережно,

будто делился самым сокровенным: “Думал я, соберу всех своих земляков и устроим встречу под кабановскими тополями. И услышит нас земля. И, может, что-то вроде памятника деревне и однодеревенцам соорудим...”

Родник под навесом и в самом деле как памятник тому, что было здесь и есть. Мимо него уже не пройдешь, широкая дорога ведет к нему. И в начале этой дороги недавно появившийся указатель – “Мало-Кабаново, 200 метров”.

В каринском храме, где восемьдесят лет назад в ту же июльскую пору крестили Владимира Ситникова, прохладно и тихо. На стенах и сводах старинная роспись – Владимирская Божья Матерь, выполненная в манере художника Васнецова “Трифон Вятский”, евангельские сюжеты. Под некоторыми надписи еще с ятями “Усердием крестьян дер. Вандыши”, “Усердием женщин и части 1-го священника 1914 года”, “Усердием крестьян Тимофея и Марины Широких д. Закаринская”. Усердием же нынешнего поколения каринских жителей храм бережно восстановлен: пол выложен плиткой, в окнах цветное стекло, одиннадцать колоколов на колокольне, с которой все деревни видно, всю землю от края до края. Земля Ситникова – она то расширяется до пределов, которые вмещают и Моравию, где бывал его дед Василий Фадеевич, то сжимается до крохотного пространства малой родины. Пылит июльская дорога, петляет по полям, ведет к зеленеющей вдали гриве тополей. К горизонту. К роднику.

До нас дошла тяжкая весть о кончине нашего автора и друга, Владимира Александровича Макарова. Мы всегда будем помнить этого замечательного омича, русского поэта и человека, стихи которого всегда нами ценились и публиковались на наших страницах.

Редакция